ISSN 0130-6545

11.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хасэгава Кэйити. Осенняя тишина.

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Тэраси Кацудзиро. Ворота в пещеру.
Хагимото Ёсиэ. Память моря.

Цветные иллюстрации номера —
работы современных
японских художников

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

11 ноябрь 1990

СОДЕРЖАНИЕ

СОЛ БЕЛЛОУ — Герцог (*Роман. Перевод с английского В. Харитонова*) 5

ЯН СКАЦЕЛ — Стихи (*Перевод с чешского А. Кушнера и А. Пурина. Вступление О. Малевича*). Маленькие рецензии. (*Перевод с чешского В. Каменской*) 65

ШМУЭЛЬ ИОСЕФ АГНОН — В сердцевине морей (*Роман. Перевод с иврита и комментарии Исраэля Шамира. Вступление Л. Аннинского*) 78

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС — Любовник леди Чаттерли (*Роман. Окончание. Перевод с английского И. Багрова и М. Литвиновой*) 128

Литературное наследие

БУСОН — Стихи (*Вступление, перевод с японского и комментарии Т. Соколовой-Делюсиной*) 186

Отклики, встречи, впечатления

Е. КАЦЕВА — Петер Вайс в Советском Союзе 198

Публицистика

Индивидуальное и массовое сознание (*Материалы Вайнгартенского симпозиума. Участвуют: Г. Фюрст, Ч. Айтматов, Ф. Хитцер, Н. Анастасьев, А. Нурпеисов, М. Вальзер, А. Адамович, А. Хампель, Б. Швайгер, И. Друцэ, Е. Сидоров, К-Й. Кушель, А. Мень, Д. Гранин, Д. Латман, А. Бучис, П. Ренц, О. Чухонцев, К. Баше, В. Казак* 203

ХАНС КЮНГ — Религия на переломе эпох. (*Перевод с немецкого Е. Драновой*) 223

Памяти отца Александра 229

ВЛАДИСЛАВ АНДЕРС — Без последней главы (*Перевод с польского Т. Уманской*) 231

Авторы этого номера 256

© «Иностранная литература», 1990

Главный художник **С. И. Мухин**
Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-61-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 14.09.1990. Подписано в печать 26.12.1990. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,98. Тираж 328.700. Цена 1 р. 80 к. Зак. 952:

Типография ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». 252006. Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2.

СОЛ БЕЛЛОУ

Герцог

РОМАН

Перевод с английского В. ХАРИТОНОВА

ПЭТУ КОВИЧИ,
великому редактору и, что важнее, великодушному другу, с любовью посвящается эта книга.

Если я схожу с ума, то быть по сему, думал Мозес Герцог. Кое-кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Он потащил его из Нью-Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на западе Массачусетса. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты, общественным деятелям, друзьям и близким и, наконец, покойникам, начав со своих, никому неведомых, и кончив известными всем.

Для Беркшир это была вершина лета. В большом старом доме Герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе — на своем охладелом супружеском ложе — либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего-то — светящиеся, газообразные тела, минералы, теплота, атомы, но в пять утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемуся в пальто.

Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню, там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка, случалось, Герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Они выгладывали дыры в парафиновой заливке консервов, до фитиля прогрызли свечи для торта. Крыса въелась в хлебный брикет, оставив в мякише свою матрицу. Герцог съел другую половину булки, намазав ее вареньем. С крысами он тоже умел делиться.

Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу; он отмечал шелковицу — ее вовсю обклевывали

пернатые. Дни стояли жаркие, вечера — распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым.

Его друг (бывший) Валентайн и жена (бывшая) Маделин пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это?

Обходя вокруг пустого дома, он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба по прямизне носа на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта.

Поздней весной Герцогом завладела потребность объяснить, объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью-Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор Герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. К концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощенья» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках; он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось — решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал, ему представлялась замечательная дилемма: он открыт наружу — он замкнут в себе; и все это безмолвно выражали его глаза, рот — томление, непреклонность, жгучий гнев. Все это можно было видеть. В мертвой тишине класс ждал три минуты, пять минут.

Поначалу в его записях не было системы. Это были фрагменты — случайные слова, выкрики, переиначенные пословицы и цитаты, либо, пользуясь идишем его давно умершей матери, *трепвертер* [1] — остроумие задним числом, когда ты уже сходишь по лестнице.

Он, например, записывал: *Смерть — умереть — снова жить — снова умереть — жить.*

Нет человека — нет смерти.

Еще: *Поставили душу на колени? Нет худа без добра. Скреби пол.*

И еще: *Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих.*

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему [2].

Выбери одно.

Он сделал такую запись: *Благодаря Уолтеру Уинчеллу* [3] *я вижу, как И. С. Бах надевает черные перчатки, чтобы сочинить заупокойную мессу.*

Герцог едва ли сам сознавал, как относиться к своей писанине. Он поддался возбуждению, заставлявшему его хвататься за ручку, и временами подозревал здесь симптом распада. Это его не пугало. Лежа на кухонном диване в своей меблирашке на 17-й улице, он иногда воображал себя неким заводом, производящим личную историю, и видел себя от рождения до смерти. Он поверял листку бумаги:

Не могу найти оправдания.

Задумываясь над прожитой жизнью, он сознавал, что все в ней напортил — решительно все. Свою жизнь он, как говорится, погубил. Но поскольку потерял он не бог весть что, печалиться особенно не из чего. Перебирая на вонючем диване столетия — девятнадцатое, шестнадцатое, восемнадцатое,— он в последнем выудил афоризм, который ему нравился: *«Печаль, сэр,— это вид безделья».*

---

[1] Треп, болтовня (*идиш*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

[2] Книга Притчей Соломоновых, 26, 5, 4.

[3] Уолтер Уинчелл — популярный с предвоенных лет радиожурналист сенсационного толка.

Лежа на животе, он продолжал подводить итоги. Умный он человек или идиот? Пожалуй, на сегодняшний день он себя не посчитает умным. Может, и были у него в свое время задатки умного человека, но он предпочел витать в облаках, и прохвосты обобрали его дочиста. Что еще? Начал лысеть. Рекламу «Дерматологи Томаса» он читал с преувеличенным скептицизмом человека, истово, отчаянно желающего верить. Помогут тебе дерматологи, как же. Так вот... прежде он был красивый мужчина. Сейчас это не лицо, а хроника мордобоя. Впрочем, он сам напросился и еще добавил силы своим мучителям. Отсюда он задумался о своем характере. Какой он у него?

Если воспользоваться современной терминологией, то он — нарциссист, мазохист, анахронист. Его клиническая картина: депрессия, хотя не самая тяжелая, не маниакально-депрессивный случай. Бывает хуже. Если допустить, как это делают сейчас, что человек больное животное, то не получится ли, что он драматически больной человек, беспроглядно слепой, феноменально деградировавший? Нет, не получится. Как насчет сообразительности? Его интеллект был бы куда действеннее, имей он сам агрессивный, параноический характер, стремление властвовать. Он ревнив, но дух соперничества не захватывает его целиком, как это бывает у параноиков. Теперь: как с ученостью? И тут он был вынужден признать, что профессор он тоже — так себе. Нет, он серьезный человек, в нем достаточно некой недооформившейся основательности, однако систематичность всегда будет ему недоступна. Он прекрасно начал докторской диссертацией по философии: «Место Природы в английской и французской политической философии 17—18 веков». Закрепил репутацию несколькими статьями и книгой «Романтизм и христианство». Но другие его честолюбивые замыслы один за другим расстроились. Благодаря прежним успехам он без труда находил работу, получал научные стипендии. Наррагансеттская корпорация годами выплачивала ему пятнадцать тысяч долларов на дальнейшие занятия романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже,— восемьсот страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела. Ему было больно думать об этом.

На полу, под рукой, лежали листки бумаги, и время от времени он, свесившись, делал записи.

Сейчас он писал: *Моя жизнь не затянувшаяся болезнь: моя жизнь — затянувшееся выздоровление. Либерально-буржуазная переоценка, иллюзия улучшения, яд надежды.*

Припомнился Митридат, чья система учила выживать от яда. Тот провел своих убийц, опрометчиво травивших его малыми дозами, и хотя весь промариновался, все же не погиб.

Tutto fa brodo [1].

Возобновляя копание в себе, он признал, что был плохим мужем — причем дважды. Он отравлял жизнь первой жене, Дейзи. Вторая, Маделин, чуть не доконала его самого. Сыну и дочери он был любящим, но плохим отцом. Собственным родителям — неблагодарным сыном. Отчизне — безучастным гражданином. Братьев и сестру он тоже любил, но — издалека. С друзьями индивидуалист. В любви ленив. В радости скучен. Перед силой уступчив. С собственной душой уклончив.

Удовлетворенный собственной суровостью, наслаждаясь жесткой дотошностью своего приговора, он лежал на диване, заведя руки за голову и праздно вытянув ноги.

При всем том мы сохраняем наше обаяние.

Бедолага папа умел расположить к себе и птицу, и крокодила. Бездна обаяния была у Маделин, а еще она красавица и умница. Валентайн Герсбах, ее любовник,— тоже обаятельный мужчина, хотя в более грубом, брутальном стиле. Тяжелый подбородок, полыхающая копна медных волос, которые буквально перли у него из головы (дерматологам

[1] Все сгодится (*итал.*).

Томаса тут нечего делать), из-за протеза у него ныряющая, как колыхание гондольера, походка. Да и сам Герцог далеко не лишен обаяния. Но Маделин подавила в нем сексуальную энергию, а не умея привлечь женщину — как он восстановится? В основном по этому пункту он и полагал себя выздоравливающим.

Ничтожность этих сексуальных баталий.

С Маделин несколько лет назад Герцог начал жизнь заново. Он отбил ее у церкви: когда они познакомились, она была свежеиспеченной новообращенной. Имея двадцать тысяч долларов, завещанных обаятельным отцом, он, ублажая новую жену, оставил престижное академическое поприще и купил большой старый дом в Людевилле, штат Массачусетс. В покойных Беркширах, с друзьями под боком (Валентайн Герсбах с женой), не составит труда написать второй том по идеологии романтизма.

Герцог сошел с академической стези не потому, что у него не заладилось дело. Напротив, у него была хорошая репутация. Его диссертация оставила след, была переведена на французский и немецкий языки. Его первая книга, едва замеченная по выходе, сейчас включалась во многие рекомендательные списки, и молодое поколение историков видело в ней образчик нового подхода, «историю, которая интересна нам» — личностная, engagée [1] — и которая домогается у прошлого ответа на сегодняшние запросы. Пока Мозес был женат на Дейзи, он вел ничем не примечательную, почтенную и основательную жизнь доцента. Его первая работа строго научно показывала, чем было христианство для романтизма. Во второй он повел дело жестче, с большей верой в себя. В его характере, вообще говоря, было немало крепости. У него был запал и талант полемиста, вкус к философии истории. Женитьба на Маделин и уход из университета (потому что ей так хотелось), а потом обоснование в Людевилле выявили у него вкус и талант к опасности и крайностям, к ереси, к испытаниям — фатальную тягу к «Гибельному Граду» [2]. Приемля, вслед за де Токвилем [3], всеобщее и долговременное развитие равенства состояний, прогресс демократии, он предполагал написать такую историю, где были бы реально учтены революции и катаклизмы двадцатого столетия.

Однако он не мог обманываться насчет этой работы. Он начал разуверяться в ней. Его честолюбие резко одернули. Гегель причинял ему массу беспокойств. Десять лет назад он был уверен, что понимает его идеи о согласии и гражданском обществе, но что-то разладилось с тех пор. Он мучился, раздражался, злился. При этом очень странно складывалась семейная жизнь. Маделин разочаровалась. Она первая не хотела, чтобы он оставался ординарным профессором, но после года деревенской жизни переменила свои взгляды. Она-де слишком молода, умна, энергична и общительна, чтобы похоронить себя в далеких Беркширах. Она надумала завершить свое славяноведческое образование. Герцог написал в Чикаго относительно работы. Надо было еще подыскать место Валентайну Герсбаху. Герсбах работал диктором, диск-жокеем в Питсфилде. Таких людей, как Валентайн и Феба, сказала Маделин, нельзя заживо хоронить в этом захолустье. Чикаго выбрали потому, что Герцог там вырос, остались кое-какие связи. Вот так получилось, что он вел курсы в центральном колледже, а Герсбах работал режиссером учебной программы на местной станции в Петле [4]. Людевилльский дом заперли, двадцать тысяч долларов стоивший дом, с книгами, английским костяным фарфором и всяким благоустройством на потраву паукам, кротам и полевкам,— двадцать тысяч кровных папиных денег!

---

[1] «Ангажированная», выражающая определенную позицию (*франц.*).

[2] Город на пути героя в аллегорическом романе «Путешествие пилигрима» Джона Беньяна (1628—1688) — средоточие мирских пороков и заблуждений.

[3] Алексис де Токвиль (1805—1859) — французский социолог, историк. В идеях буржуазного равенства, замыкающего человека в рамках частной жизни, провидел опасность деспотизма, торжества «массы» («равенство в рабстве»).

[4] Петля — Центральный район Чикаго, окруженный эстакадой железной дороги.

Герцоги переехали на Средний Запад. Но, не прожив в Чикаго и года, Маделин решила, что с Мозесом ничего у них не клеится — и захотела развода. Он был вынужден дать его — а что делать? Развод был мучительным. Он любил Маделин, не представлял, как он будет без малышки-дочки. Но Маделин отказалась состоять с ним в браке, и с чужими желаниями надо считаться. Живем не в рабское время.

Ему дорого обошелся этот второй развод. Он весь разваливался, распадался, и доктор Эдвиг, чикагский психиатр, пользовавший супругов Герцог, согласился, что, пожалуй, самое лучшее для него — уехать из города. С деканом колледжа договорились, что он вернется, когда почувствует себя лучше, и на одолженные у брата Шуры деньги Мозес уехал в Европу. Не всякий на пороге краха может позволить себе поездку в Европу с целью развеяться. Большинство продолжают работать — каждый день ходят на службу, ездят в метро. Случается, попивают, ходят в кино и там отводят душу. Герцогу было за что благодарить судьбу. Вообще всегда есть за что благодарить судьбу, если хоть как-то остаешься в живых. И он, надо сказать, благодарил ее.

К тому же, в Европе он не бездельничал. Он ехал от Наррагансеттской корпорации с культурной программой, читал лекции в Копенгагене, Варшаве, Кракове, Берлине, Белграде, Стамбуле и Иерусалиме. Когда же в марте он вернулся в Чикаго, его состояние было куда хуже ноябрьского. Он сказал декану, что, пожалуй, ему лучше пожить в Нью-Йорке. В тот свой приезд он не видел Маделин. Вел он себя дико и, по ее мнению, угрожающе, отчего она через Герсбаха запретила ему появляться вблизи дома на Харпер авеню. В полиции есть его карточка, и, если он покажется в квартале, его задержат.

Сам неспособный ничего планировать, Герцог только теперь начинал понимать, насколько продуманно освобождалась от него Маделин. За шесть недель до того, как выставить его, она убедила за двести долларов в месяц снять дом в районе Мидуэя. Въехали, он навесил полки, расчистил двор, починил ворота гаража, вставил в окна вторые рамы. Всего за неделю до разговора о разводе она отдала почистить и выгладить его вещи и в последний его день покидала их все в коробку, а коробку потом спустила в подвал: кладовки нужны ей самой. И еще всякое было, грустное, комическое, жестокое — как посмотреть. До самого последнего дня в отношениях между ними сохранялся самый серьезный тон, иначе говоря, мысли, личности, проблемы уважались и принимались к обсуждению. Объявляя ему свое решение, например, она подавала себя с достоинством, завораживала своей властностью. Она обдумала это со всех сторон, сказала она, и вынуждена признать свое поражение. У них ничего не получится вместе. Она готова в чем-то признать и свою вину. Конечно, для Герцога это не было полной неожиданностью. Но он действительно надеялся, что дела шли на поправку.

В ясный, пронизывающий осенний день это все и случилось. Он был на заднем дворе, занимался оконными рамами. Первый морозец уже прихватил помидоры. Трава была густая и мягкая, она особенно хороша с приходом холодных дней, в утренней паутине; обильная роса держится долго. Помидорные побеги побурели, красные плоды лопнули.

Он видел Маделин в верхнем заднем окне, она забирала Джун спать, потом услышал пущенную в ванне воду. Теперь она звала его из кухонной двери. От резкого ветра с озера в раме дребезжало стекло. Герцог осторожно прислонил раму к веранде и снял парусиновые рукавицы, а берет не стал снимать — как чувствовал, что ему предстоит дорога.

Маделин яро ненавидела отца, но не зря тот был известным антрепренером, «американским Станиславским», как его называли порой: готовя это событие, она безусловно выказала драматическое дарование. На ней были черные чулки, туфли на высоком каблуке, бледно-лиловое платье индейского тканья из Центральной Америки. Она надела опаловые серьги, браслеты, надушилась, на новый пробор расчесала волосы

и до блеска засинила веки. Глаза у нее голубые, на густоту цвета каким-то образом влияет изменчивый оттенок белков. Прямо, красивой линией сходивший от бровей нос слегка подергивается, когда она перевозбуждена. Герцогу даже этот тик был дорог. В его любви к Маделин было что-то зависимое. И поскольку она командовала, а он ее любил, приходилось мириться с тем, что выпадало. На той очной ставке в неприбранной комнате сошлись два индивидуалиста, и с нью-йоркского дивана они так виделись Герцогу: она празднует победу (она готовила эту великую минуту и сейчас совершит долгожданное: нанесет удар), а он празднует труса, его можно брать голыми руками. Какие ни выпадут ему страдания, он их заслужил; он славно погрешил на своем веку; вот и расплата.

В окне на стеклянных полках декоративно выстроились венецианские и шведские бутылочки. Они остались тут от прежних хозяев. Сейчас к ним подобралось солнце и зажгло их. Герцог видел, как на стену легли волны, струйки цвета, призрачные скрещения полос, и в центре, над головой Маделин, разгорелось большое белое пятно. Она говорила: — Мы больше не можем жить вместе.

Ее монолог продолжался несколько минут. Грамотно излагает. Монолог, значит, репетировали, а он, выходит, все это время ждал, когда поднимут занавес.

Их брак не из тех, что могут сохраниться. Маделин никогда его не любила. Сейчас она признавалась в этом.— Мне больно признать, что я никогда тебя не любила. И никогда не полюблю,— сказала она.— Поэтому нет смысла продолжать все это.

— Но я-то люблю тебя, Маделин,— сказал Герцог.

Шаг за шагом Маделин набирала тонкости, блеска, глубины. Она расцвела, ожили брови и этот ее греческий нос, глазам передался жар, горлом поднимавшийся из груди. Она была в ударе. Она так жестоко разделалась с ним, пришла ему мысль, так натешила свою гордыню, что избыток сил прибавил ей даже ума. Он понял, что присутствовал в минуту, может быть, величайшего торжества ее жизни.

— Ты должен беречь это чувство,—сказала она.— Я верю, что это настоящее. Ты действительно меня любишь. Но ты должен еще понять, какое для меня унижение — признать крах этого брака. Я вложила в него все, что имела. Я совершенно раздавлена.

Раздавлена? Прекрасно она при этом выглядит. Есть определенный наигрыш, но много больше искреннего чувства.

И вот Герцог, бледный и издерганный, но еще крепкий мужчина, затянувшимся по случаю весны вечером лежит на своем нью-йоркском диване, имея снаружи клокочущий энергией город, осязаемую и обоняемую речную влагу, грязноватую кайму — вклад штата Нью-Джерси в закат ради красоты и эффекта, он лежит в своем одиноком углу, еще сильный физически мужчина (в своем роде оно чудо — его здоровье, уж как он над ним измывался), он лежит и воображает, как все могло обернуться, если бы он не стал ловить и осмысливать слова Маделин, а просто дал ей пощечину. Сбил с ног, схватил за волосы, поволок, визжащую и отбивающуюся, по комнате, выпорол до крови. Вот если бы! В клочья изорвать платье, белье, содрать ожерелье, отвесить пару затрещин. Вздохнув, он отменил эту мысленную расправу. Его испугало, что втайне он способен на такую жестокость. Но по крайней мере он мог предложить *ей* убираться из дома. В конце концов, это *его* дом. Если она не может с ним жить, то почему сама не уходит? Испугался скандала? Но из-за маленького скандала глупо лишаться дома. Пусть больно, пусть дико, но, в конце концов, без скандалов общество не обходится. Однако в той комнате с горящими бутылками Герцогу даже в голову не пришло постоять за себя. Он, видимо, еще рассчитывал на то, что выедет на безответности, на личности — просто на том, что он Мозес, в конце концов, Мозес Елкана Герцог, хороший человек и заведомый благодетель Маделин. Он же на все шел ради нее — на все!

— Ты обсуждала свое решение с доктором Эдвигом? — сказал он.— Что он думает?

— А что переменится от его отношения? Он же не скажет, что делать. Разве только поможет уяснить себя... Я ходила к адвокату.

— К кому именно?

— К Сандору Химмельштайну, раз он твой приятель. Он говорит, ты можешь пожить у него, пока будешь устраиваться.

Разговор был кончен, и Герцог вернулся в тень и зеленую сырость заднего двора к своим вторым рамам, к путаному разбирательству с самим собой. Человек беспорядочного образа мыслей, он действовал на авось: потолкаешься среди случайных обстоятельств — и вдруг выйдешь к самому главному. Он часто надеялся напасть на это главное врасплох, каким-нибудь хитрым образом. Ничего подобного не происходило сейчас, когда он справлялся с дребезжащим стеклом, боясь наступить на свисавшие с колышков, опаленные морозцем помидорные побеги. Кусты резко пахли. Он продолжал возиться с окнами, чтобы не поддаться чувству сломленности. Он страшился чувства, которое еще откроет ему свои глубины, и уж тогда никакой блажью от него не заслониться.

Поверженно простертый на диване, в виде рухнувшего шимпанзе, забросив руки за голову и разбросав ноги, он лучившимися больше обыкновенного глазами вглядывался в свои тогдашние садовые дела с той отрешенностью, с какой рассматриваешь четкое мелкое изображение в обратную сторону подзорной трубы.

Страдалец-балагур.

Два необходимых пояснения. Он понимал весь бред перевода бумаги, письмовничества. Это шло помимо его воли. Блажь подмяла его.

Внутри меня сидит кто-то. Я в его руках. Когда я говорю о нем, я чувствую, как он дубинкой наводит порядок в моей голове. Он погубит меня.

Сообщалось, писал он, *что пропало несколько экипажей советских космонавтов; распались — так это надо понимать. От одного поймали сигнал SOS — «Всем, всем, всем». Советского подтверждения не последовало.*

Дорогая мама! Относительно того, что я давно не приходил на твою могилу...

Дорогая Ванда, дорогая Зинка, дорогая Либби, дорогая Рамона, дорогая Соно! Я страшно нуждаюсь в помощи. Я боюсь развалиться на части. Дорогой Эдвиг! Беда в том, что безумие мне не грозит. Не знаю, зачем я Вам вообще пишу. Уважаемый господин президент! Налоговое законодательство превратит всю нацию в счетоводов. Жизнь каждого гражданина становится бизнесом. По-моему, это едва ли не худшее толкование смысла жизни за всю историю. Человеческая жизнь не бизнес.

Как, скажите, это подписать? — подумал Герцог. Возмущенный гражданин? Возмущение — изнурительная вещь, лучше приберечь его для капитальной несправедливости.

Дорогая Дейзи, писал он первой жене, *я знаю, что сейчас моя очередь ехать в родительский день к Марко в лагерь, но, боюсь, мой вид не очень желателен для него на этот раз. Я ему писал, так что я в курсе его дел. Он, к сожалению, осуждает мой разрыв с Маделин и переживает, что я бросил его сестричку. Откуда мальчику понять разницу между моими двумя разводами.* Здесь Герцог задался вопросом, насколько разумно обсуждать это с Дейзи, и, представив ее красивое сердитое лицо склонившимся над этими еще не дописанными строками, решил: неразумно. *Я думаю,* продолжал он, *что Марко лучше не видеть меня сейчас. Я болен, наблюдался у врача.* Он с неудовольствием уличил себя в желании разжалобить. Личность всегда себя окажет. А рассудок — пусть пожурит. За свою личность Герцог не переживал, тем более сейчас, когда он не отвечает за ее капризы. *Постепенно восстанавливая здоровье*

и силы. Весть, что его дела пошли на поправку (если это так), ее порадует — человека здравомыслящего, положительного, современного, с широким взглядом на вещи. Но подвластная капризам собственной личности, она, конечно, будет искать в газете его некролог.

Сильный организм Герцога исподволь боролся с ипохондрией. В начале июня, когда общее пробуждение жизни поселяет во многих тревогу и при взгляде на молодые розы — хотя бы и в витрине магазина — люди вспоминают о своих болячках, о бесплодии и смерти, в эту пору Герцог решил обследоваться. Он отправился в Вест-сайд против Центрального парка к доктору Эммериху, престарелому беженцу. Пахнущий старостью неряшливый привратник в фуражке балканской кампании начала века провел его в осыпающуюся сводчатую приемную. В тревожной, зловеще зеленой смотровой комнате Герцог разделся; темные стены казались распухшими от хвори, подтачивающей старые нью-йоркские дома. Он не был крупным мужчиной, но он крепко сбит, тяжелая деревенская работа развила его мышцы. Он потешился мускулатурой, широкими и сильными кистями рук, гладкостью кожи, но, взглянув на себя со стороны, он ужаснулся роли самодовольного молодящегося старика. Старый дурак, выругал он себя и отвел глаза от зеркала, седеющий, с веселыми и горькими морщинами. Сквозь жалюзи он выглянул в парк, увидел бурые слюдистые камни и жизнерадостный трепет июньской зелени. Скоро листья разлапятся, Нью-Йорк пригасит краски сажей и вид будет скучный. Но пока кругом благолепие, всякая мелочь радуется — веточки, зеленые жальца и нежные припухлости. Красота не людских рук дело. Сгорбленный, но расторопный доктор Эммерих осмотрел его, простукал грудь и спину, посветил зайчиком в глаза, взял кровь, ощупал предстательную железу, оплел проводами для электрокардиограммы.

— Ну что, вы здоровый человек, не как в двадцать один год, но еще крепкий.

Конечно, Герцог выслушал это с удовольствием, но осталась некоторая досада. Он рассчитывал на какую-нибудь такую болезнь, что ненадолго уложит его в больницу. И не надо будет заботиться о себе. Более или менее отдалившиеся братья разом слетятся к нему, и, может, за ним походит сестра Хелен. Семья возместит расходы и содержание Марко и Джун. Теперь на это надеяться нечего. Если не считать дрянь, которую он подхватил в Польше, у него хорошее здоровье, да и та излеченная дрянь ничего страшного собой не представляла. Виновато, скорее всего, было его душевное состояние, депрессия и усталость, а не Ванда. Страшно вспомнить тот день, когда он решил, что это гонорея. Надо написать Ванде, подумал он, заправляя рубашку и застегивая пуговицы на рукавах. *Chère Wanda,* начал он. *Bonnes nouvelles. T' en seras contente* [1]. Это был не единственный его роман на французском языке. Не зря же он зубрил Фрейзера и Сквэра в школе, а в колледже читал Руссо и де Местра! Он сделал успехи не только в учебном, но и в сексуальном плане. Впрочем, какие там успехи. Гордыня, пожалуй, удовлетворена. А плоти досталось то, что осталось.

— Так что же с вами происходит? — сказал доктор Эммерих. Седой узколицый старик проницательно заглянул ему в глаза. Герцог вроде бы понял его мысль. В этом задрипанном кабинете, внушал ему доктор, он смотрит действительно немощных, безнадежно больных людей, обреченных женщин, умирающих мужчин. Что Герцогу-то от него надо?

— Вы очень возбуждены,— сказал Эммерих.

— Совершенно верно: возбужден.

— Хотите попринимать милтаун [2]? Или змеиный корень? На бессонницу не жалуетесь?

— В общем, нет,— сказал Герцог.— Мысли у меня ни на чем не задерживаются.

---

[1] Дорогая Ванда! Хорошие новости. Они тебя порадуют (*франц.*).

[2] Транквилизатор (типа мепробамата).

— Может, я вам порекомендую психиатра?

— Не надо, психиатрией я сыт по горло.

— Тогда, может, отдохнуть? Съездите с барышней в деревню, к морю. Дом в Массачусетсе еще имеется?

— Если я решусь его отпереть.

— Ваш друг по-прежнему там живет? Диктор. Как зовут того рыжего верзилу на протезе?

— Его зовут Валентайн Герсбах. Нет, он переехал в Чикаго со мной... с нами.

— Очень забавный человек.

— Да. Очень.

— Я слышал, вы развелись. Кто мне сказал? Это грустно.

Гонясь за счастьем, готовься к скверному итогу.

Эммерих нацепил бен-франклиновские очки и черкнул несколько слов в карте.

— Девочка, очевидно, с Маделин в Чикаго,— сказал доктор.

— Да...

Герцог старался вытянуть из Эммериха, как тот относится к Маделин. Она ведь тоже была его пациенткой. Но Эммерих ничего не скажет. И правильно: доктор не должен обсуждать своих пациентов. Впрочем, о чем-то-нибудь проговорится взгляд, который перехватит Мозес.

— Она необузданная истеричка,— сказал он Эммериху. Старик сложил губы для ответа, но передумал говорить, и Мозес, по странной привычке договаривать за других, мысленно признался себе, что сам он тоже не подарок.

Чудно́е сердце, сам не могу с ним разобраться.

Теперь было ясно, что к Эммериху он пришел ради того, чтобы свалить вину на Маделин или хотя бы поговорить с человеком, который ее знал и мог трезво судить о ней.

— Вам нужна другая женщина,— сказал Эммерих.— Неужели никого нет? И сегодня вы обедаете в одиночестве?

У Герцога была Рамона. Прелестная женщина, но с ней, увы, тоже были проблемы, не могло их не быть. У Рамоны было дело — цветочный магазин на Лексингтон авеню. Немолодая, ей хорошо за тридцать, точных лет она Мозесу не скажет, но чрезвычайно привлекательная, с легким иностранным шармом, образованная. Магазин она получила в наследство почти одновременно с магистерской степенью от Колумбийского университета — в области истории искусств. При этом она посещала вечерние лекции Герцога. Вообще говоря, он был против романов со студентками, даже если те были рождены для них, как Рамона Донзелл.

Проделывая все, что полагается дикому человеку, писал он, *оставаться все время серьезным. Проделывать это до ужаса всерьез.*

Эта вот серьезность, безусловно, и привлекала Рамону. Идеи зажигали ее. Она обожала поговорить. К тому же прекрасно готовила, знала секрет креветок Арно, к которым подавала Пуйи Фюиссе. Несколько раз на неделе Герцог ужинал у нее. Когда из обшарпанной аудитории они катили на такси в ее просторную квартиру в Вест-сайде, она предложила послушать, как бьется ее сердце. Он нашел запястье, стал искать пульс, но она сказала:— Мы не дети, профессор,— и переложила руку в другое место.

Через несколько дней Рамона уже говорила, что у них не проходной роман. Она понимает, говорила она, что с Мозесом сейчас все очень непросто, но есть в нем что-то такое милое, нежное, здоровое и изначально надежное (словно, пережив ужасы, он уже совсем освободился от своей психопатии), что, видимо, все дело сводится к правильному выбору женщины. Она относилась к нему все серьезнее, и он, соответственно, забеспокоился, задумался. Побывав у Эммериха, он несколько дней спустя сказал ей, что доктор рекомендует ему отдых. Рамона тут же сказала: — Конечно, тебе нужен отдых. Поезжай в Монток, у меня там дом, и я

буду наезжать в выходные. Может, весь июль вместе и пробудем там.

— Я не знал, что ты домовладелица,— сказал Герцог.

— Несколько лет назад его можно было выгодно продать, да и велик он для меня одной, но после развода с Харолдом мне нужно было какое-то отвлечение.

Она показала ему цветные слайды. Приникнув к окуляру, он сказал: — Очень мило. Сколько цветов.— Но на сердце ему лег камень — тяжелейший!

— Там можно чудесно отдохнуть. Только ты должен купить что-нибудь летнее, поярче. Зачем ты носишь этот мрак? У тебя совсем юношеская фигура.

— Это я зимой отощал, в Польше и Италии.

— Чепуха, не говори таких слов. Ты знаешь, что ты красавец мужчина. И даже гордишься этим. В Аргентине о тебе скажут: *macho* — сильный пол. Ты представляешься тихоней, чтобы не выдать дьявола, который в тебе сидит. Зачем ты его зажимаешь? Что бы вам поладить, а?

Оставив вопрос без ответа, он мысленно писал: *Дорогая Рамона, бесконечно дорогая Рамона. Ты мне очень нравишься, ты мне дорога, ты настоящий друг. И дальше все может быть еще лучше. Но почему же я не выношу, когда меня учат, хоть я и сам учитель? Наверно, меня подавляет твоя мудрость. Потому что твоя мудрость совершенна. Если не более того. Я вовсе не возражаю, чтобы меня поправили. Меня во многом надо поправлять. Практически во всем. И я не упускаю счастливый случай...* Все это истинная правда — от первого до последнего слова. Ему таки нравилась Рамона.

Она происходила из Буэнос-Айреса. Корни у нее были самые интернациональные — испанцы, французы, русские, поляки и евреи. В школу она ходила в Швейцарии и до сих пор говорила с еле заметным очаровательным акцентом. Она была невысокого роста, плотного, крепенького сложения, с приятной округлостью зада и упругой грудью (всему этому Герцог придавал значение: он считал себя моралистом, однако форма женской груди имела большое значение). Рамону тревожил подбородок, но за свою прелестную шею она была спокойна и потому всегда высоко держала голову. У нее была всюду поспевающая походка, рассыпавшая резкую, в кастильском духе, каблучную дробь. Заслышав ее, Герцог терял голову. Она входила в комнату с вызывающим, отчасти надменным видом, трогая рукой бедро, словно под эластичным поясом у нее спрятан нож. Вроде бы так принято в Мадриде, и роль неприступной испанки была очень по душе Рамоне: *una navaja en la liga* [1] —этому выражению она выучила Герцога. Он часто воображал себе этот нож, видя ее в белье, в этом экстравагантном черном шитве без застежек, стянувшем талию и выпустившем книзу красные резинки, а называлось это «Веселая вдова». У нее короткие, полноватые белые ляжки. Сдавленная эластичным поясом, кожа темнела. Болтались шелковые ленты, пряжки. У нее карие глаза, живые и цепкие, чувственные и трезвые. Она знала, что делает. Нагретый запах духов, покрытые пушком руки, точеная грудь, прекрасные белые зубы и чуть кривоватые ноги — это все работало. Страдая, Мозес страдал со вкусом. Удача никогда не оставляла его совсем. Он, может, даже не осознавал, как ему сейчас повезло. Рамона старалась открыть ему на это глаза.— Эта сука оказала тебе услугу,— говорила она.— Тебе будет только лучше.

Побеждает, плача,— писал он,— *плачет, побеждая,— вот вам Мозес. Полное неверие в победу.*

Впряги звезду в свое страдание [2].

Но в тихую минуту, вызвав перед собой образ Рамоны, он писал, имея возможность ответить ей только мысленно: *Ты мне большая поддержка. Мы имеем дело с вещами более или менее устойчивыми, более или менее управляемыми, более или менее безумными. Это так. Во мне*

[1] Нож в резинке для чулок (*исп.*).

[2] Переиначенная цитата из Эмерсона: «Впряги звезду в свою повозку».

заключена дикая сила, хотя внешне я тихоня. Ты думаешь, что эту мою дикость утолит только секс, и поскольку мы ее утоляем, то почему бы не наладиться и всему остальному?

Вдруг ему пришло на ум, что Рамона сделалась своего рода сексуальной профессионалкой — или жрицей. Сам он в последнее время привык иметь дело с дрянными дилетантками. *Не представлял, что смогу соответствовать настоящему мастеру постельных дел.*

К этой ли сокровенной цели ведет меня мой уклончивый странническ ий путь? И после всех моих промахов не кажусь ли я себе сейчас неугаданным прежде сыном Содома и Диониса, орфическим типом? (Рамона обожала поговорить об орфиках.) Этаким мелкобуржуазным дионисийцем?

Он записывал: *К чертям эти классификации!*

— Может, я действительно куплю себе что-нибудь на лето,— сказал он Рамоне.

Я таки люблю хорошо одеться, продолжал он. *В юности я смазывал лакированные туфли маслом. Моя русская мама звала меня «красавцем»* [1]*, и, даже став угрюмым смазливым студентом, сдуру ударившимся в высокомерие, я чрезвычайно заботился о брюках и сорочках. Это позже, уже преподавателем, я запустил себя. Прошлой зимой я купил в берлингтонском пассаже яркий жилет и пару швейцарских ботинок, в каких сейчас ходят по Виллиджу гомики. На сердце кошки скребут,* продолжал он, *а туда же — приоделся. Впрочем, с моим тщеславием не разгуляешься и, по правде говоря, я уже не очень ношусь и со своим израненным сердцем. Вроде как пустая трата времени.*

Трезво все прикинув, Герцог счел за лучшее не принимать предложения Рамоны. По его подсчетам, ей тридцать семь — тридцать восемь лет, а это значит, что она ищет мужа. Ничего зловредного и тем более смешного здесь нет. На что, казалось бы, утонченные натуры — и те подвержены простым общественным установлениям. Своим эротическим ухваткам Рамона училась не по учебникам, а в рискованных, сумбурных встречах, не раз и не два, может, обмирая от страха в грубых и часто совсем случайных объятьях. Ясно, сейчас она стремится упрочить свое положение. Раз и навсегда отдать свое сердце хорошему человеку, выйти замуж за Герцога и перестать быть общей подстилкой. Он ловил ее обдумывающий взгляд. Ее глаза волновали его до глубины души.

В своем деятельном воображении он рисовал Монток: белые пляжи, слепящий свет, маслянистые буруны, усыхающий в своем панцире мечехвост, морские петухи и собаки-рыбы. Герцог томился желанием улечься в плавках, погреть на песке капризный живот. Но возможно ли это? Опасно злоупотребить милостями Рамоны. Можно поплатиться свободой. Сейчас-то она ни к чему, эта свобода: сейчас ему нужен отдых. А после отдыха, может статься, он опять захочет свободы. В чем, однако, не было уверенности. Но возможность такая оставалась.

После отдыха я с тем большей силой отдамся своей дерганой жизни.

А выглядел он, нужно признать, кошмарно, хуже некуда; стали падать волосы, и в этом стремительном износе он видел уступку Маделин и ее любовнику Герсбаху, вообще — всем своим врагам. По его доброжелательному виду никак не скажешь, что у человека может быть столько врагов и ненавистников.

На вечерних курсах кончался семестр, и Герцог убедил себя, что умнее всего будет сбежать и от Рамоны. Он решил поехать на Виньярд, но полное одиночество его не устраивало, и он по льготному ночному тарифу дал в Виньярдскую Гавань телеграмму старой приятельнице (в свое время между ними начинался, но не склеился роман, и с тех пор они очень тепло относились друг к другу). В телеграмме он объяснил положение вещей и Либби Вейн — собственно, Либби Вейн-Эриксон-Сиссслер: она только что в третий раз вышла замуж, дом в Гавани, при-

[1] В оригинале — русское слово.

надлежал мужу, химику-технологу,— Либби незамедлительно позвонила и очень эмоционально, от чистого сердца позвала приезжать и жить, сколько захочется.

— Сними мне комнату, недалеко от пляжа,— попросил Герцог.

— Живи у нас.

— Нет-нет, об этом не может быть речи. Не хватало еще мешать молодоженам.

— Ай, Мозес, не будь романтиком. Мы с Сисслером живем вместе уже три года.

— Все равно сейчас-то у вас медовый месяц.

— Ай, не говори чепуху. Я расстроюсь, если ты не приедешь. У нас шесть спален. Приезжай без разговоров, я слышала, чего ты там нахлебался.

В конечном счете, как и следовало быть, он уступил. При этом он чувствовал, что поступает неправильно. Своей телеграммой он фактически вынудил у нее приглашение. Лет десять назад он крепко помог Либби, и, не заставь он ее сейчас платить долг, он нравился бы себе больше. Надо все-таки думать, к кому обращаешься за помощью. Пошлое дело — дать слабину, подгадить.

Во всяком случае, думал он, я не буду все окончательно портить. Не буду допекать Либби своими неприятностями и предстоящую неделю рыдать на ее груди. Приглашу ее с мужем пообедать. За жизнь надо бороться. При этом главном условии ты ее сохраняешь. Чего ради тогда опускать руки? Рамона права. Заведи летний гардероб. У брата Шуры можно еще занять денег — он охотно дает, знает, что вернешь. В жизни действует похвальное правило: плати долги.

Так он отправился покупать себе одежду. Он посмотрел рекламы в «Нью-Йоркере» и «Эсквайре». Наряду с молодыми администраторами и атлетами на их страницы теперь допускали людей в возрасте, с морщинистыми лицами. Побрившись чище обыкновенного и причесав щеткой волосы (что-то он увидит в сверкающем трельяже магазина?), он поехал автобусом в центр. Выйдя на 59-й улице, он спустился по Мадисон авеню до сороковых и по Пятой авеню пошел вспять к «Плазе». Тут и солнце вспороло серые облака. Вспыхнули витрины, Герцог заглядывал в них с пугливым интересом. Новые веяния в моде шокировали его, резали глаза: хлопчатобумажные пиджаки в полоску, шорты с красочными подтеками, как у Кандинского,— это же смех надеть такое человеку среднего возраста или старику с брюшком. Уж лучше пуританская сдержанность, чем казать сморщенные колени и варикозные вены, пеликанье пузечко и до неприличия износившееся лицо под спортивной кепкой. Конечно, Валентайн Герсбах, отбивший у него Маделин и шутя управляющийся с деревянной ногой,— тот может облечься в эти яркие, сверкающие раковые шейки. Он денди, Валентайн. У него крупное лицо, широкие скулы и тяжелый подбородок, чем-то он напоминал Мозесу Путци Ханфштенгеля, личного пианиста Гитлера. Для рыжеволосого человека у него совершенно необыкновенные глаза — карие, глубокие, полные жизни и огня. И ресницы тоже живые — жгуче-красные, длинные, детские. Плюс зверской густоты волосы. Нет, к своей внешности у Валентайна не было ни малейших претензий. Что чувствовалось. Он знал, что он чертовски красив. И ожидал, что женщины — причем решительно все — должны сходить с ума от него. И многие сходили — разве нет? Включая вторую миссис Герцог.

— Чтобы я это надел? — сказал Герцог продавцу в магазине на Пятой авеню. И все-таки он купил этот пиджак в малиново-белую полоску. А продавцу бросил через плечо, что в Старом Свете его родичи ходили в черных лапсердаках до пят.

После юношеских угрей у продавца осталась скверная кожа. У него было пунцово-красное лицо, он дышал гнилостно, как собака. Еще и нахамил слегка Мозесу: когда он спросил размер талии и Мозес ответил

«тридцать четырех», продавец сказал: «Ладно хвастать-то». У него это вырвалось, и Герцог, воспитанный человек, не одернул. Проявленная выдержка приятно растравляла душу. Не поднимая глаз от серого ковра, он прошел в примерочную и уже там, раздеваясь и влезая с ботинками в новые брюки, написал парню письмецо. *Милый друг. Каждый день якшаться с уродами. Гонор. Наглость. Чванство. А ты изволь дать обхождение. Трудненько, если ты зажатый и злой. Славен прямотой житель Нью-Йорка! Видит Бог, ты малоприятный человек. А что в ложном положении — так и мы в таком же. Учись быть повежливее. И в истинном положении нам всем может прийтись несладко. Вот у меня от вежливости разболелся живот. Что до лапсердаков, то отсюда рукой подать до алмазного дистрикта, где лапсердаки и бороды ходят косяком. Господи!*— взмолился он под конец.— *Прости грехи наши. И не допусти на станцию Пенна* [1].

Натянув итальянские брюки с отворотами и красно-бело-полосатый блейзер с узкими лацканами, он не стал подробно разглядывать себя в освещенном трельяже. Его неприятности вроде бы не отразились на фигуре, она вынесла все удары. Опустошению подверглось лицо — глаза в первую очередь,— и, увидев себя в зеркале, он побледнел.

Задумавшись о своем у молчаливых полок с одеждой, продавец не услышал шагов Герцога. Он предавался размышлениям. Торговля вялая. Снова некоторый спад. Сегодня один Мозес при деньгах. Которые еще предстоит занять у денежного брата. Шура не жмот. И брат Уилли не будет жаться. Но Мозесу проще занять у Шуры, тоже немного греховодника, чем у добропорядочного Уилли.

— Спина не моршит? — Герцог повернулся спиной к продавцу.

— Как на заказ,— ответил тот.

Ему все глубоко безразлично. Это совершенно ясно. Интереса к себе я не добьюсь, понял Герцог. Так обойдусь без него, пусть знает. Сам решу. Мое, в конце концов, дело. И, укрепившись духом, он ступил в зеркальное пространство, сосредоточив внимание на пиджаке. Пиджак сидел хорошо.

— Заверните его,— сказал он.— Брюки я тоже беру, причем мне надо сегодня. Прямо сейчас.

— Не получится. Портной перегружен.

— Сегодня,— сказал Герцог,— иначе я не играю. Я уезжаю из города.

Тут кто кого перетянет.

— Попробую на него нажать,— сказал продавец.

Он ушел, Герцог расстегнул чеканные пуговицы. На украшение сибаритского пиджака, отметил он, пошла голова какого-то римского императора. Оставшись один, он показал себе язык и вышел из примерочной. Он вспомнил, сколько удовольствия получала Маделин от примерки в магазинах, с какой любовью, гордясь собой, смотрелась в зеркало, тут поглаживая, там поправляя, румянясь холодным лицом, полыхая голубыми глазами, встряхивая челкой, поворачиваясь камейным профилем. Она получала от себя всестороннее удовлетворение — по высшему разряду. В какой-то их очередной переломный период она поделилась с Мозесом новыми мыслями о себе перед зеркалом в ванной.— Еще молода,— сказала она, открывая список,— красива, полна жизни. Почему все это должно достаться тебе одному?

Да Боже сохрани! Оставив в гардеробе бумагу и карандаш, Герцог поискал вокруг, на чем записать. И на обороте книжки, забытой продавцом, набросал: *Обжегшись на суке, семь раз отмерь.*

Перебирая стопку пляжных вещей, он посмеивался в душе, просившейся на волю, и пару плавок все-таки купил, а увидев полку с допотопными соломенными шляпами, взял и шляпу.

---

[1] Станция метро в «платяном квартале».

Потому ли он приобретает вещи, спросил он себя, что старик Эммерих предписал ему отдых? Или готовится к новым эскападам, предполагает очередную интрижку в Виньярде? С кем, спрашивается? Да мало ли с кем. Женщин везде хватает.

Дома он стал мерить покупки. Плавки оказались тесноваты. Зато шляпа, легко опустившаяся на волосы, еще густые у висков и за ушами, его порадовала. В ней он походил на отцовского кузена Элайаса Герцога, мучного торговца, в далекие двадцатые работавшего от «Дженерал-миллз» на севере Индианы. Имевший чисто выбритое открытое американизированное лицо Элайас ел яйца вкрутую и пил запретное пиво — домашнее польское пивочко. Он аккуратно надкалывал яйца о перила на веранде и прилежно их очищал. Он носил цветные рукавные резинки и такую вот шляпу на такой же копешке волос, которыми, в свою очередь, был обязан *своему* отцу, рабби Сандору-Александру Герцогу, имевшему вдобавок роскошную бороду, этакий лучистый веер, скрывавший подбородок и вельветовый воротник сюртука. Евреи с красивыми бородами были слабостью матери Герцога. В ее родне все старцы были густобородые, библейские. Мозеса ей хотелось видеть раввином, и сейчас он ужаснулся несоответствию: плавки, соломенная шляпа, лицо, набрякшее печалью, от глупейшего упоения которой религия, может статься, избавила бы его. Эти губы, налитые желанием и несмиряемой яростью, прямой до беспощадности нос, угрюмые глаза! Эта его телесность, сплетение длинных вен, набухающих в повисших кистях рук, древнейшая ирригация, древнее самих евреев. Вокруг соломенной низкой тульи шла красно-белая, в тон пиджаку, лента. Он освободил рукава от оберточной бумаги и надел пиджак, распялив его полосы. Без туфель он был вылитый индус.

«Посмотрите на полевые лилии, вспомнил он, *не трудятся, ни прядут, но и Соломон во всей славе своей не одевался так...»*[1]

Эти слова он выучил восьмилетним, когда лежал в детском отделении больницы королевы Виктории в Монреале. Раз в неделю приходила дама-христианка, и он читал ей вслух из Библии. *«Давайте, и дастся вам,* читал он, *мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплю вам в лоно ваше»* [2].

Больничная стреха щерила рыбий оскал сосулек, на их остриях горели капли воды. У постели сидела гойка в юбке до пят и ботинках. Шляпная булавка торчала на затылке, как троллейбусная штанга. От ее одежды шел клейкий запах. По ее указке он читал: *«Пустите детей приходить ко мне»* [3]. Она казалась доброй женщиной. Только лицо у нее напряженное и хмурое.

— Ты где живешь, мальчуган?

— На улице Наполеона.

Где живут евреи.

— Чем занимается твой отец?

Мой отец бутлегер. В Пойнт-Сент-Чарльз у него стоит аппарат. Отца выслеживают. Он сидит без денег.

Конечно, ничего такого Мозес никогда не скажет. Уже в пять лет он хорошо соображал. Мать не зря учила: «Помалкивай».

Тут есть своя мудрость, думал он, точно болтанка способна вернуть равновесие, а толика безрассудства нужна для прояснения мозгов. А вообще-то он любил показать себе язык. Вот и сейчас он упаковал летние вещи, которых стеснялся, и собирался дать тягу от Рамоны. Он знал, чем все обернется, если он поедет с ней в Монток. Как ручного медведя, она будет водить его в Истхэмптоне по коктейлям. Он мысленно увидел эту картину: смеющаяся, не закрывающая рта Рамона, выпроставшая

---

[1] Евангелие от Матфея, 6, 28—29.
[2] Евангелие от Луки, 6, 38.
[3] Евангелие от Марка, 10, 14.

плечи из какой-то своей крестьянской блузки (они прекрасны, нужно признать, эти женские плечи), головка в темных кудряшках, накрашенное лицо; он почти услышал запах ее духов. Есть в глубине мужского естества нечто такое, что на подобный запах крякает: «Кря!» Некий сексуальный рефлекс, которому нипочем возраст, душевная тонкость, мудрость, опыт, история, *Wissenschaft, Bildung, Wahrheit* [1]. Здоров человек или немощен, но на запах надушенной женской плоти идет дремуче: кря! кря! Так вот, Рамона выведет его в этих новых брюках и полосатом пиджаке, он будет потягивать мартини... Мартини для Герцога — яд пустых разговоров он не терпит. Так и стоит он с подтянутым животом, на затекших ногах, попавший на крючок профессор, рядом зрелая, удачливая, смеющаяся, сексуальная женщина. Кря! Кря!

Чемодан собран, он запер окна и задвинул шторы. Квартира пропахнет затхлостью, когда он вернется из своего холостяцкого загула. Два брака, двое детей, а он на неделю едет бить баклуши. Его природе, еврейскому чувству семейственности было больно, что дети растут без отца. А что делать? К морю! К морю! Откуда море?! Всего-то залив между Ист-Чопом и Уэст-Чопом — какое море? Тихая заводь.

Он вышел, изо всех сил стараясь не печалиться об одинокой своей жизни. Он распрямился, задержал дыхание.— Ради Бога, не плачь, идиот! Живи либо помирай, только не порть ничего.

Зачем этой двери нужен полицейский запор — этого он не понимал. Преступность растет, но у него нечего красть. Разве какой-нибудь возбужденный после «травки» подросток, затаившись под дверью, проломит ему голову. Герцог завел в пол металлическую лапу и повернул ключ. Проверил, не забыты ли очки. Нет, они во внутреннем кармане. Также на месте ручки, записная и чековая книжки, кусок полотенца, пущенного на носовые платки, и пластиковая упаковка фурадантина. Эти таблетки он принимал против заразы, которую подцепил в Польше. Сейчас он от нее избавился, но таблетку иногда принимал — для подстраховки. Страшно вспомнить, как в Кракове, в номере отеля, он обнаружил первые признаки. Доигрался, подумал он: триппер! Это в моих-то обстоятельствах! У него упало сердце.

Он пошел к врачу-англичанину, тот накричал на него: — Где вас угораздило? Вы женаты?

— Нет.

— В общем, это не триппер. Поднимите брюки. Вы, конечно, попросите пенициллин. Как все американцы. Я его вам не назначу. Попринимайте сульфаниламид. Спиртное не пить, только чай.

Они не прощают половой распущенности. Злой, язвительный парень был этот мозглявый эскулап с Альбиона. И я — открытая рана под гнетом вины.

Надо бы знать, что такая женщина, как Ванда, не заразит гонореей. К телу, к плоти у нее честное, верное, сакраментальное отношение. Она исповедует религию цивилизованного человека, то есть почитает наслаждение вдохновенное и изощренное. У нее тонкая белая кожа, шелковистая и теплая.

Дорогая Ванда, писал Герцог. Английского она не знала, и он перешел на французский. *Chère Princesse, Je me souviens assez souvent... Je pense à la Marszalkowska, au brouillard* [2]. По-французски женщину проймет любой второстепенный, третьестепенный и даже более низкого разбора мужчина, чем и занимался сейчас Герцог. Хотя сам он был другой складки. Он хотел выразить искренние чувства. Сколько доброты было в ней, тревоги за него, когда он заболел, а это дорогого стоит, если женщина пышет здоровой, польской красотой. У нее полновесная, червоного золота копна волос, немного клювиком нос, впрочем, от-

[1] Знания, образование, истина (*нем.*).

[2] Дорогая княгиня, я довольно часто вспоминаю... Мне представляется Маршалковская, в тумане (*франц.*).

личной лепки, с точеным кончиком, что совсем неожиданно у полноватой особы. Она налита белизной, здоровой, крепкой белизной. Как большинство варшавянок, она носила черные чулки и узкие итальянские туфли, при том что шубка была вытерта до лысинок.

В моем горестном положении, в ожидании лифта записывал Герцог на отдельном листке, *откуда мне было знать, что я делаю? Провидение,* писал он, *печется о верных. Я предчувствовал, что встречу такого человека. Мне ужасно повезло.* «Повезло» он несколько раз подчеркнул.

Герцог видел ее мужа. Бедняга, живой укор, сердечник. Единственная промашка Ванды — что она настояла на его встрече с Зигмунтом. Мозес так и не уяснил, зачем это было нужно. Предложение развестись Ванда отвергла. Она была совершенно довольна своим браком. Все бы такие были, говорила она.

Ici tout est gâché [1].

Une dizaine de jours à Varsovie — pas longtemps [2].

Если можно назвать днями эти мглистые зимние паузы. Солнце изнывало в стылой бутылке. Во мне изнывала душа. Колоссальные плотные занавеси уберегали вестибюль от сквозняков. Деревянные столики загажены, избиты, в чайных пятнах.

Ее кожа оставалась белой при всех приливах и отливах чувства. Зеленоватые глаза казались вышивкой на ее польском лице (природа-белошвейка). Пышная, полногрудая женщина, она была тяжеленька для стильных итальянских лодочек. Без каблуков, в этих своих черных чулках, она казалась вполне дородной. Он скучал по ней. Когда он брал ее за руку, она говорила: *«Ah, ne toushay pas C'est dangeray»* [3]. Хотя совсем об этом не думала. (Как он липнет к своим воспоминаниям! Какие слюни распускает! Может, он извращенец на почве памяти? Не надо таких слов. Какой есть.)

И еще постоянно вспоминалась грязноватая Польша, стылая куда ни глянь, замызганная, подрумяненно серенькая, где самые камни словно источали запах военного лихолетья. Он много раз ходил на руины гетто. Ванда водила его туда.

Он тряхнул головой. Ему-то что полагалось делать? Он еще раз нажал кнопку вызова, теперь уже углом саквояжа. И услышал гул плавного движения в шахте — смазанные цепи, гул мотора, отлаженный темный механизм.

Guéri de cette petite maladie [4]. Не надо было говорить Ванде: она была буквально убита, сгорала от стыда. *Pas grave du tout* [5], писал он. Он довел ее до слез.

Лифт встал, и он кончил: *J'embrasse ces petites mains, amie* [6].

Как по-французски: белые припухшие костяшки пальцев?

Пробираясь в такси раскаленными улицами вдоль сплоченно стоящих кирпичных и известняковых домов, Герцог держался за ремень и широко открытыми глазами вбирал виды Нью-Йорка. Прямоугольные массы не бездействовали — они жили, он чувствовал их затаенное движение, побратимство с ним. Каким-то образом он осознавал свою причастность всему — в комнатах, в магазинах, в подвалах, и в то же время его пугало это множественное возбуждение. Хотя с ним-то обойдется. Он переволновался. Надо успокоить издерганные, разболтавшиеся нервы, загасить внутренний чадящий огонь. Скорее бы Атлантика — песок, соленый воздух, целительная холодная вода. После морских купа-

---

[1] Здесь ничего не вышло (*франц.*).
[2] Десять дней в Варшаве — не дольше (*франц.*).
[3] Ой, не трогайте. Это опасно (*франц., искаж.*).
[4] Выздоровел от этой маленькой болезни (*франц.*).
[5] Совсем ничего серьезного (*франц.*).
[6] Целую маленькие ручки, дружок (*франц.*).

ний ему лучше, яснее думается. Мать верила в замечательное действие купаний. Сама — как рано умерла! Себе он пока не может позволить умереть. Он нужен детям. Его долг — жить. Остаться в здравом уме, жить, заботиться о ребятах. Поэтому-то, допеченный жарой, с резью в глазах, он убегал из города. Он бежал от перегрузок, от проблем, от Рамоны, наконец. Бывают такие времена, когда хочется уползти куда-нибудь в нору. И хотя впереди ясно виделся только безвыходный поезд с принудительным отдыхом (в поезде не побегаешь) до самого Вудсхоул — а это еще надо пропахать Коннектикут, Род Айленд и Массачусетс,— рассуждал он вполне здраво. Сумасшедшим, если они не безнадежны, морское побережье на пользу. Он готов попробовать. В ногах чемодан с шикарным барахлом, а где соломенная шляпа с красно-белой лентой? Она на голове.

Жарясь на раскаленном сиденье, он вдруг поймал себя на том, что его гневливый дух снова вырвался на волю, и опять потянуло писать письма. *Дорогой Смидерз,* начал он. *Недавно на ленче* — для меня смерть эти казенные ленчи, у меня на них отнимаются ноги, в крови лютует адреналин, а про сердце даже не говорю. Я стараюсь держать себя в руках, но у меня мертвеет лицо от скуки, в мыслях я выливаю суп и соус всем на головы, мне хочется кричать, терять сознание — *нас попросили предложить темы будущих лекций, и я сказал: может, цикл лекций о браке? Аналогично мог сказать: о смородине, о крыжовнике.* Смидерзу выпал очень счастливый жребий. Рождение — ненадежная штука. Во что-то оно выльется? А вот ему выпало родиться Смидерзом — и страшно повезло. Он похож на Томаса Э. Дьюи[1]. Такая же щербина под верхней губой, щеточка усов. *Серьезно, Смидерз, у меня есть хорошая мысль относительно будущих лекций. Вам, организаторам, надо прислушиваться к нашему брату. Это фикция, что на вечерние курсы ходят набираться культуры. Люди извелись, изголодались без здравого смысла, ясности, истины — хотя бы крупицы ее. Они погибают — это не метафора — без чего-то реального, с чем можно к вечеру вернуться домой. Вы посмотрите, как они заглатывают самую дикую чушь!* Ах, Смидерз, собрат мой усатый! Подумайте какая ответственность лежит на нас в этой раздобревшей стране! Задумайтесь, чем могла стать Америка для всего мира. И посмотрите, чем она стала. Какая порода могла в ней вывестись. И посмотрите на всех нас — на себя, на меня. Почитайте газеты, если еще можете.

Такси уже проехало 30-ю улицу, а там была табачная лавочка на углу, где год назад Герцог покупал пачку «Вирджинии раундз» для Тинни, своей тещи, жившей в одном квартале оттуда. Он вспомнил, как звонил сказать, что уже едет. В телефонной будке было темно, узорная жесть местами затерлась до черноты. *Дорогая Тинни, возможно, мы переговорим, когда я вернусь с побережья. Недоумение, почему я больше не прихожу, переданное мне через адвоката Симкина, по меньшей мере, грудообъяснимо. Я знаю, какая у Вас нелегкая жизнь. Что Вы без мужа.* Тинни и Понтриттер были в разводе. Старый импресарио жил на 57-й улице, где руководил актерской студией, а Тинни — на 31-й, в своих двух комнатах, смотревшихся как декорация былых побед бывшего мужа. Со всех афиш лезло его имя:

ПОНТРИТТЕР,
постановщик Юджина О'Нила, Чехова

И хотя они уже не были мужем и женой, отношения продолжались. Понтриттер катал Тинни на своем «Громобое». Они вместе ходили на премьеры и обеды. Стройная пятидесятипятилетняя женщина, она была повыше Пона, а тот был дородный, властный, с печатью неуживчивости и ума на смуглом лице. Он любил испанские костюмы, и последний раз Герцог видел его в белых парусиновых штанах тореадорского типа

[1] Томас Эдмунд Дьюи (р. 1902) — американский политический деятель, юрист.

и в альпаргатах [1]. На загорелом черепе рос наперечет сильный белый волос. Маделин унаследовала его глаза.

Ни мужа. Ни дочери, писал Герцог. И начинал заново: *Дорогая Тинни, я видел Симкина по делу, и он мне сказал: «Ваша теща удручена».*

У себя в конторе Симкин восседал в роскошном кресле «Сайкс» под целой стеной законоведческих книг. Человек рождается осиротеть и осиротить других, но с таким креслом, если им разжиться, жизнь переносится много легче. Симкин не столько даже сидел, сколько лежал в этом седалище. При широкой толстой спине у него жидкие ляжки, к всклокоченной боевой голове дана пара мелких рук, покойно сложенных на животе, и с Герцогом он говорил застенчиво, словно робея. Без тени насмешки называл его «профессором». Дельный адвокат, настоящий богач, он, гляди, уважал Герцога. Он вообще питал слабость к сбившимся с толку благородным личностям, к людям с духовными запросами, как Герцог. Таких только могила исправит! В Мозесе он, ясное дело, видел растерянного инфантильного мужчину, старающегося держаться с достоинством. Он отметил книгу на колене у Герцога: в метро и автобус Герцог непременно брал с собой книгу. Что это было в тот раз — Зиммель [2] о религии? Тейяр де Шарден? [3] Уайтхед? [4] Как же я отвык собираться с мыслями! Но доподлинно был Симкин, толстячок, глядевший сквозь спутанные волосы. Говорил он с ним зажатым, умирающим голосом, но как же раздался вширь этот голос, когда на вызов секретаря он включил селектор. Он громко и твердо сказал: — Да?

— Мистер Динштаг на проводе.

— Кто? Этот шмук? Мне нужен аффидевит [5], он знает. Истец даст ему под зад коленом, если он не представит. И пусть этот шмегеги [6], добудет его сегодня же.— В полную силу его голос грохотал, как морской прибой. Он отключил селектор и в прежнем искательном тоне сказал Мозесу: — Вай, вай! Как же я устал от этих разводов. Что делается! И что еще будет. Десять лет назад я думал, что со всем этим совладаю. Сам практичный, циничный — смекалкой, думал, обойдусь. Куда там! За ними не поспеешь. Взять этого шнука [7] мозольщика — ведь на какой стерве женился! Сначала она говорит, что не хочет детей, потом — что хочет, снова не хочет, опять хочет. Наконец швыряет ему в морду свой колпачок. Идет в банк. Из сейфа берет общие тридцать тысяч. Жалуется, что муж пытался толкнуть ее под машину. Лается со свекровью из-за кольца, из-за меха, из-за куренка, еще из-за чего-то. А потом муж находит письма от другого дяди.— Симкин потер ладошками свою хитрую, видную голову. Потом показал правильные крепкие зубки, словно обещая улыбку, а на самом деле собираясь с мыслями. Прочувственно вздохнул.— Знайте, профессор: Тинни удручена вашим молчанием.

— Я полагаю. Но я пока не могу заставить себя пойти к ней.

— Прелестная женщина. И такие выродки в семье! Я просто довожу до вашего сведения, потому что она просила.

— Понятно.

— Такая порядочная...

— Я знаю. Она связала мне шарф. Целый год вязала. С месяц назад получил его по почте. Надо бы подтвердить получение.

— Конечно, почему не сделать? Она вам не враг.

---

[1] Альпаргаты — испанская национальная обувь на подошве из дрока или пеньки.

[2] Георг Зиммель (1858—1918) — немецкий философ-идеалист, социолог. Один из наиболее значительных представителей «философии жизни».

[3] Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955) — французский философ, теолог, оказавший влияние на обновление доктрины католицизма.

[4] Алфред Норт Уайтхед (1861—1947) — английский философ-неореалист, математик.

[5] Письменное показание под присягой.

[6] Лентяй, бездельник (*идиш*).

[7] **Растяпа, лопух** (*идиш*).

Он нравился Симкину, в этом Герцог не сомневался. Но действующему реалисту вроде Симкина требуется подзарядка, и некоторая зловредность помогала ему держать форму. И фрукт вроде Мозеса Герцога, этакий непрактичный простачок, хотя и очень себе на уме, баловень и вертопрах, у которого только что увели жену самым смешным образом (куда тут истории с мозольщиком, от которой Симкин в поддельном ужасе вздевает руки и издает тихий стон), такой Мозес был счастливой находкой для Симкина и иже с ним, любящих заодно и пожалеть, и посмеяться. Симкин учит реализму в жизни. Таких много. У меня на них легкая рука. Химмельштайн такой же, но он жестокий человек. А жестокость убивает меня, реализм — нет. Симкин безусловно знает все о связи Маделин с Валентайном Герсбахом, а чего не знает, ему доскажут друзья, Понтриттер и Тинни.

Тридцать пять лет Тинни жила богемной жизнью, таскаясь за мужем, как привязанная, словно была женой бакалейщика, а не театрального гения, и теперь оставалась той же чуткой заменой длинноногой старшей сестры. А ноги подурнели, и крашеные волосы огрубели, стали как перо. Она носила очки в оправе «бабочка» и «абстрактные» украшения.

Ну, пришел бы я к Вам — дальше что? — спрашивал Герцог. *Разводить вокруг Вас чуткость, когда душа лопается от обид, причиненных Вашей дочерью. Вы такие же обиды терпели от Понтриттера и простили его.* Она заполняет вместо старика его налоговые декларации. Ведет его студийные книги, стирает ему носки. В последний раз я видел его носки у нее в ванной, на батарее. И постоянно говорит, как она счастлива, что они в разводе: живет никого не спрашиваясь, занимается собою. *Мне жаль Вас, Тинни.*

Но ведь это в твою квартиру властная красавица дочь приводила Валентайна (скажешь, нет?) и, отослав тебя с внучкой в зоопарк, в твоей постели занималась с ним любовью. Этот полыхает рыжиной волос, та внизу голубеет глазами. Так что же от меня ожидается сейчас: прийти, усесться и потолковать о пьесах и ресторанах? Тинни непременно расскажет о греческой харчевне на Десятой авеню. Она рассказывала о ней уже добрый десяток раз.— Один друг (понимай: Понтриттер) водил меня обедать в «Марафон». Это что-то особенное. Греки, чтобы ты знал, готовят измельченное мясо и рис в виноградных листьях, с очень интересными специями. Кому хочется, сами по себе танцуют. Греки очень раскованные люди. Ты бы видел, как эти толстяки разуваются и танцуют перед всеми.— Тинни говорила с ним по-девичьи непосредственно и восторженно, втайне он ей очень нравился. И прикус у нее, как у семилетней девочки, для которой внове постоянные зубы.

Что говорить, думал Герцог, ей похуже моего. В пятьдесят пять лет развестись и все еще выставлять напоказ ноги, когда это уже мощи. Плюс диабет. Плюс климакс. Плюс третирующая дочь. И тебе ли ее упрекать, если для самозащиты Тинни и припомнит зло, и покривит душой, и пустится на хитрости? То ли насовсем, то ли в долгое пользование, то есть с возвратом, хотя в другое время это называлось свадебным подарком, она дала нам набор мексиканских серебряных ножей и теперь хотела получить его обратно. Потому и передала через Симкина насчет удрученного состояния. Ей не хочется потерять свое серебро. И ничего циничного тут нет. Она хочет, чтобы они остались друзьями, и при этом хочет обратно свое серебро. Это ее ценности. *Серебро в сейфе, в Питсфилде. Тяжеловато тащить его в Чикаго. Само собой, я верну. Постепенно.* Я никогда не держался за ценности — серебро там, золото. Для меня деньги не средство. Это я для них средство. Через меня все это проходит — налоги, страховка, закладные, алименты, арендная плата, судебные издержки. Прилично выглядеть, наделав ошибок, дорогое удовольствие. Женись я на Рамоне, полегче было бы, наверно.

В «платяном квартале» тележки загородили им дорогу. На верхних этажах гремели электрические швейные машинки, вся улица сотряса-

лась. Был такой звук, словно полотно рвут, а не сшивают. Улицу заливал, затоплял этот грохотный шквал. Сквозь него проталкивал фуру с дамскими пальто негр. У него была красивая борода, он дул в золоченую детскую дудочку. Его было не слышно.

Потом движение открылось, и такси с рычащей малой скорости дернулось на вторую.— Время поджимает, — сказал таксист.

Они резко свернули на Парк авеню, и Герцог ухватился за сломанную оконную ручку. При всем желании не открыть окно. А откроешь — задохнешься от пыли. Тут одно ломают, другое строят. Авеню забита бетономешалками, тяжело пахнет сырым песком и серым порошком цемента. Внизу долбят землю, забивают сваи, наверху головокружительно и жадно рвутся к голубенькой прохладе стальные конструкции. Пучками свисали с кранов оранжевые балки. В глубине же улицы, где автобусы отрыгивали ядовитую гарь дешевого топлива и машины шли впритирку друг к другу, была совершенная душегубка, как надсаживались моторы и колготился озабоченный люд — это ужас! Конечно, надо выбраться на побережье и хоть дохнуть воздухом. Лучше было лететь самолетом. Но он достаточно налетался в прошедшую зиму, особенно польскими рейсами. Машины у них старые. Из Варшавы он летел на двухмоторном самолете, сидел в переднем кресле, уперев ноги в переборку, и держался за шляпу: привязных ремней не было. Крылья побиты, обтекатели обуглены. За спиной елозили почтовые мешки и корзины. Сквозь злую снежную круговерть они летели над белыми польскими лесами, полями, над шахтами и заводами, над реками, послушными своим берегам, они вязли в облаках, потом развиднелось, и внизу ложилась бело-коричневая карта.

Нет уж, пусть отдых начинается с поезда, как в детстве — в Монреале. Они всем кагалом, с корзиной груш (хлипкой, прутья потрескались), набивались в трамвай до Главного вокзала, груши были перезрелые, Джон Герцог за бесценок покупал их на Рейчел-стрит, плоды уже пошли пятнами, подгнивали, приманивая ос, но пахли чудесно. В поезде усаживались на вытертый зеленый ворс, и папа Герцог чистил грушу русским ножиком с перламутровой ручкой. Он с европейской сноровкой снимал кожицу, вращая плод, резал его на куски. Между тем паровоз вскрикивал, и клепаные вагоны приходили в движение. Солнце и фермы выкладывали на саже геометрические фигуры. У заводских стен прозябал чумазый чертополох. Из пивоварен доносило запах солода.

Поезд повисал над Св. Лаврентием. Мозес нажимал в туалете педаль и в отверстую загаженную воронку видел, как пенится река. Потом он стоял у окна. Река сверкала, выглаживая каменные горбины, вскипала пеной на Лашинских порогах и с грохотом мелела. На другом берегу была Конавага, индейские хижины там стояли на сваях. Потом потянулись выжженные летние поля. В вагоне открыли окна. Эхо отзывалось из соломы глухо, как сквозь бороду. Паровоз сыпал искры и сажу на огненные головки цветов и заволосатевшие сорняки.

Так это было сорок лет назад. У сегодняшнего скорохода литая грудь, сверкает стальное членистое тело. В нем не едят груш, в нем не едут Уилли, Шура, Хелен и мама. Выходя из такси, он вспомнил, как мать, смочив слюной платок, вытирала ему лицо. Ни к чему сейчас вспоминать это, понимал он, обратив голову в соломенной шляпе в сторону Большого Центрального. Он теперь зрелый муж, ему жизнь надо как-то наладить, если получится. А вот остались в памяти запах материной слюны на платке, летнее утро, приземистый пустой канадский вокзал, черное железо и надраенная медь. У всех детей есть щеки, и все матери, поплевав, трут их. Такие вещи могут иметь значение, а могут его не иметь. От общего порядка вещей зависит, какое придавать этому значение. Острота же самих воспоминаний может быть признаком разлада. Постоянную мысль о смерти он воспринимал как греховную. Веди повозку свою и плуг по мертвым костям.

В вокзальной толчее Герцог, как ни старался сделать нужное, сосредоточиться не мог. Мысли развеивались в подземном гуле поездов, голосов и шагов, в переходах, освещенных бульонными блестками, в удушающем смраде подвального Нью-Йорка. У него вымок воротник и взмокло под мышками, пока он брал билет, еще он купил «Таймс» и чуть не разорился на плитку шоколада «Кадбериз», однако удержался, вспомнив траты на обновленный гардероб, в который можно и не влезть, переборщив с углеводами. Враги будут праздновать победу, если он нагуляет жирок, отпустит второй подбородок, обрюзгнет, раздастся в бедрах, вывалит живот и обзаведется одышкой. И Рамоне это не понравится, а с ее вкусами надо очень и очень считаться. Он всерьез подумывал жениться на ней — при том, что в эту самую минуту покупал билет, сбегая от нее. Вообще говоря, для нее только лучше, что он в разброде, зряч и слеп одновременно, издерган, сломлен, озлоблен, капризен — ненадежен. Он хотел позвонить ей в магазин, но на сдачу дали только пятицентовик, монетки в десять центов у него не было. Можно разбить бумажку, но леденцы или резинка ему не нужны задаром. Он подумал о телеграфе, но не стал выказывать слабость — давать телеграмму.

На душном перроне Большого Центрального он опустил саквояж на составленные ступни и развернул увесистую «Таймс» с лохмотно разрезанными страницами. Мимо сновали бесшумные электрокары с почтовыми мешками, он с усилием продирался к новостям. Несъедобное варево черной печати *ЛунныегонкиХрущпредупреждаеткомитетгалактическиеикслучиФума.* Шагах в двадцати от себя он увидел белое мягкое лицо независимо смотревшей женщины в лаково-черной соломенной шляпке, обособившей голову и глаза, которые даже из источенной указателями темноты настигали его с такой силой, какой не ведала за собой их обладательница. Они могли быть голубыми или, скажем, зелеными, серыми, наконец,— этого он никогда не узнает. Но то были сучьи глаза, это совершенно точно. Из них лез тот бабский апломб, на который он моментально ловился; в ту же минуту он получил сполна: круглое лицо, ясный взгляд светлых сучьих глаз, пара гордых собою ног.

Нужно написать тете Зелде, решил он тогда же. Пусть не думает, что им это сойдет с рук — сделать из меня посмешище, обвести вокруг пальца. Он свернул толстую газету и заспешил к поезду. Девушка с сучьими глазами оказалась на другом пути — и слава Богу. Он вошел в нью-хейвенский вагон, и рыжевато-бурые пневматические двери, шипя, сомкнулись за ним. Воздух тут был прохладный, кондиционированный. Он — первый пассажир и мог выбирать, где сесть.

Он сидел скрючившись, уперев в грудь саквояж — свой походный столик, и быстро писал в сшитом спиралью блокноте. *Дорогая Зелда, понятно, что ты будешь держать сторону своей племянницы. Я вам чужой человек. Вы с Германом назвали меня членом семьи. И если я сдуру распустил сопли (в моем-то возрасте) после задушевного трепа на семейную тему, разве заслужил я то, что имею? Мне льстило, что Герман, якшаясь с публикой сомнительного пошиба, привязался ко мне. Меня распирало от гордости, что во мне видят «своего парня». Значит, мои духовные метания в качестве рекрута от культуры не сделали меня сухарем. Ну, написал книгу о романтиках — что из того? Нашел же во мне приятеля и родственную душу и берет с собой на скачки и хоккей деятель демократической головки округа Кука, который знается с игорным синдикатом, с букмекерами и королями лотереи, с Коза Ностройи вообще всякой шпаной.* На самом же деле Герман еще дальше от синдиката, чем Герцог от практической жизни, и оба отводят душу на домашний манер — с русской баней и чаем, с копченой рыбкой и селедочкой на закуску. А дома между тем плетут заговор их неуемные бабы.

Пока я был Мади хорошим мужем, я был замечательным человеком. Но стоило Мади навострить лыжи, как я сразу сделался бешеным псом. Обо мне заявляют в полицию, ведут разговоры о лечебнице. Я

знаю, что Сандор Химмельштайн, мой друг и адвокат Мади, справлялся у доктора Эдвига, не гожусь ли я по психическому состоянию для Мантено или Элджина. Ты поверила Мади, и все другие поверили.

А ведь ты знала, чего она добивается, ты знала, зачем она уезжает из Людевилля в Чикаго, зачем я должен был найти там работу для Валентайна Герсбаха, зачем подыскивал Герсбахам жилье и устраивал в частную школу малютку Ефраима. Каким глухим и пещерным должно быть чувство, с которым люди — нет, женщины — ополчаются против обманутого мужа, и уж теперь-то я знаю, что, отпуская меня с Германом на хоккейные матчи, ты сводничала своей племяннице.

Герцог не держал зла на Германа, не считал, что тот был в заговоре. *«Черные Соколы против Кленовых Листьев».* Тихоня и скромник дядюшка Герман, умница и чистюля, в расклешенных брюках и черных мокасинах, пожарной каске подобна утвержденная на голове федора [1], с кармашка сорочки скалится крошечная химера. На площадке шершнями метались проворные, подбитые ватой, желтые, черные, красные игроки — броски, прорывы, кружения на льду. Над площадкой облаком взрывоопасной пыли стоял табачный дым. Через громкоговорители администрация призывала не бросать монеты на лед. Округлив глаза, Герцог старался, по примеру Германа, расслабиться. Он даже выиграл ставку и повел того в «Фритцелз» смотреть девочек. Там собрался весь чикагский бомонд. Интересно, какие мысли думал тогда дядюшка Герман? Допуская, что знал, чем заняты сейчас Маделин и Герсбах? Несмотря на кондиционную прохладу в нью-хейвенском вагоне, его лицо мгновенно взмокло.

Когда я в марте вернулся из Европы нервнобольным и поехал в Чикаго посмотреть, что еще можно — и можно ли еще — поправить, я в самом деле мало что соображал. Отчасти, может быть, из-за погоды, из-за перемены климата. В Италии была весна. В Турции цвели пальмы. В Галилее среди камней рдели анемоны. А в Чикаго я вышел в мартовскую вьюгу. Меня встретил сочувственно глядевший Герсбах, тогда еще мой ближайший друг. На нем были штормовка, черные галоши, ярко-зеленый шарф, на руках он держал Джун. Он обнял меня. Джун поцеловала в щеку. Мы прошли в зал ожидания, и я достал игрушки и детские вещи, а также флорентийский бумажник для Валентайна и польское янтарное ожерелье для его Фебы. Поскольку Джун пора было укладывать, а метель разыгралась, Герсбах повел меня в «Серф-мотель»: в «Уиндермире» — это ближе к дому, всего десять минут ходьбы — мест, сказал он, не было. К утру намело сугробы. Озеро вспушилось и снежно засияло, теснимое хмурым горизонтом.

Я позвонил Маделин, та бросила трубку; Герсбаха на службе не было; доктор Эдвиг обещал себя только на следующий день. Своих — сестру, мачеху — Герцог избегал. Он пошел к тете Зелде.

Такси в тот день как вымерли. Он добирался автобусами и на пересадках весь промерз в коверкотовом пальто и мокасинах на тонкой подошве. Умшанды жили в новом пригороде, за Палос-парком, у кромки Лесопарка,— край света! Вьюга здесь утихла, но ветер налетал пронизывающий, и с веток рушились пласты снега. Мороз обметал ледком витрины. Хоть и небольшой любитель спиртного, Герцог купил бутылку Гакенхаймера крепостью 43 градуса. День только начался, но у него стыла кровь, и на тетю Зелду он дышал запахом виски.

— Я согрею кофе. Ты, наверное, промерз насквозь,— сказала она.

В кухне с эмалированной и медной посудой, как это принято в пригородах, со всех сторон напирали литые женственные формы белого цвета. Холодильник был полон расположения, плита лизала кастрюльку синими, как у горечавки, язычками огня. Зелда намазалась, надела золотистые широкие брюки, туфли на пластиковом прозрачном каблуке. Сели за стол. Через стеклянную столешницу Герцог видел, как она за-

[1] Мягкая шляпа с загнутыми полями (по названию одноименной пьесы В. Сарду).

жала руки между колен. Когда он заговорил, она опустила глаза. У нее совершенно белое лицо, смугловатые, теплого тона веки поверх белил густо засинены. В ее опущенном взгляде Мозес поначалу увидел знак союзничества либо сочувствия, но, приглядевшись к носу, осознал свою ошибку: нос дышал недоверием. По тому, как он подергивался, было ясно, что ничему из услышанного она не верит. И то сказать: он же не в себе — больше того, заговаривается. Он постарался взять себя в руки. Пуговицы застегнуты через одну, глаза красные, небритый — он неприлично выглядел. Непристойно. Он излагал Зелде свой взгляд на происшедшее.

— Я знаю, она настроила тебя против меня, отравила твое сознание.

— Нет, она тебя уважает. Просто она разлюбила тебя. У женщин это бывает.

— Любила — разлюбила. Не тебе повторять этот обывательский бред.

— Она была без ума от тебя. Обожала тебя, я же знаю.

— Перестань! Пожалуйста — без этого. Ты сама знаешь, что это не так. Она больной человек. Больная женщина, и я заботился о ней.

— Я этого не отрицаю,— сказала Зелда.— Что правда, то правда. Но болезнь болезни...

— Вот оно что! — взорвался Герцог.— И ты, значит, любишь правду!

Влияние Маделин налицо: та слова не молвит без правды. Не выносит лжи. От лжи сатанеет буквально в ту же минуту, а теперь Зелду перевоспитала, куклу с паклей вместо волос и сизыми червяками на веках. Боже! — думал Герцог в поезде, чего только они не творят со своим телом! А нам терпеть, глядеть, слушать, мотать на ус, вникать. Теперь эта Зелда с умеренно морщинистым лицом, с мягкими засосными ноздрями, раздувшимися от подозрения, пораженная его состоянием (а он умел заявить о себе, если отбросит вежливость),— теперь она втирает ему насчет правды.

— Разве мы с тобой не одного поля ягода? — говорила она.— Я не какая-нибудь клуша из пригорода.

— Это, видимо, потому, что Герман будто бы знается с бандюгой Луиджи Босколлой?

— Не делай вид, что не понимаешь...

А Герцог и не хотел ее обижать. Он вдруг понял, почему она ведет такие речи. Маделин убедила Зелду в ее исключительности. Все, близко соприкоснувшиеся с Маделин, вовлеченные в драму ее жизни, делались исключительными, талантливыми, яркими. С ним это тоже было. Но его вышибли из жизни Маделин, вернули в темноту, и он снова стал зрителем. Он видел, как кружит голову тете Зелде ее новое самоощущение. Даже за такую близость он ревновал ее к Маделин.

— Да нет, я знаю, что ты не такая, как все тут...

У тебя другая кухня, и все другое — итальянские лампы, ковры, мебель из французской провинции, посудомойка, норковая шуба, загородный клуб, урильники на случай паралича.

Я уверен в твоей искренности. Что ты не была неискренней. Настоящая неискренность редко встречается.

— Мы с Маделин были, скорее, как сестры,— сказала Зелда.— Что бы она ни сделала, я продолжала бы ее любить. И я безусловно рада, что она потрясающе себя вела — серьезный человек.

— Чепуха!

— В серьезности она тебе не уступает.

— Взять напрокат мужа и потом сдать обратно — это как?

— Ну раз ничего не получилось. У тебя тоже есть недостатки. Вряд ли ты будешь отрицать это.

— С какой стати.

— Нетерпимый, замкнутый. Вечно в своих мыслях.

— Более или менее — да.

— Требовательный. Чтобы все было по-твоему. Она говорит, ты ее изъел заклинаниями: помоги, поддержи.

— Все верно. Добавь: вспыльчивый, раздражительный, избалованный. Что-нибудь еще?

— Ни одной женщины не пропускал.

— Возможно, раз Маделин дала мне отставку. Надо же как-то вернуть уважение к самому себе.

— Нет, это было еще когда вы жили вместе.— И Зелда подобрала губы.

Герцог почувствовал, что заливается краской. В груди сильно, горячо и больно сдавило. Заныло сердце, взмок лоб.

Он выдавил: — Она превратила в ад мою жизнь... половую.

— При вашей разнице в возрасте... Что теперь считаться,— сказала Зелда.— Твоя главная ошибка в том, что ты похоронил себя в глуши ради своей работы, этого исследования незнамо чего. И ведь так ничего и не сделал, правда?

— Правда.

— О чем хоть эта работа?

Герцог попытался объяснить о чем: что его исследование должно подвести к новому взгляду на современное положение вещей, утверждая творчество жизни через обновление универсалий; опрокидывая держащееся доселе романтическое заблуждение относительно уникальности личного начала; ревизуя традиционно западное, фаустовское миропонимание; раскрывая социальную полноту небытия. И многое другое. Но он прервался, потому что она ничего не поняла и обиделась, не желая признать себя домашней клушей. Она сказала: — Звучит впечатляюще. Все это, конечно, важно. Но дело-то не в этом. Ты свалял дурака, что похоронил себя и ее — молодую женщину! — в Беркширах, где словом не с кем обмолвиться.

— А с Валентайном Герсбахом, с Фебой?

— Разве только. Ведь это ужас — что было. Особенно зимой. О чем ты думал? Она в том доме была как в тюрьме. Это кто хочешь взвоет: стирка, готовка, и еще ребенка унимай, иначе, она говорит, ты устраивал скандал. Тебе не думалось под детский плач, и ты с воплем прибегал из своей комнаты.

— Да, я был глуп, совершенный болван. Но понимаешь, я как раз обдумывал одну из тех моих проблем: сейчас можно быть свободным, однако свобода ничего в себе не заключает. Это вроде кричащей пустоты. Я думал, Маделин близки мои интересы — она же любит науку.

— Она говорит: ты диктатор, настоящий тиран. Ты затравил ее.

Я в самом деле напоминаю незадавшегося монарха, вроде моего старика, с помпой иммигрировавшего, чтобы стать никудышним бутлегером. А что в Людевилле жилось скверно, кошмарно жилось — это правда. Но разве не по ее желанию мы купили этот дом — и уехали, как только она захотела? Разве я не позаботился обо всем и обо всех, даже о Герсбахах, чтобы выехать из Беркшира всем вместе?

— На что она еще жаловалась? — сказал Герцог.

Зелда поколебалась, как бы прикидывая его способность вытерпеть правду, и сказала: — Ты думал только о своем удовольствии.

Вот оно что. Понятно, о чем речь: преждевременная эякуляция. Его взгляд вспыхнул яростно, сердце бешено застучало, он сказал: — Был грех. Но за последние два года ни разу. А с другими вообще никогда.— Жалкие объяснения. Зелда не обязана им верить, и он вынужден защищать самого себя, а это позорная и проигрышная ситуация. Не вести же ее в спальню за подтверждением своей правоты, и свидетельских показаний от Ванды или Зинки у него тоже нет. (Вспоминая сейчас в стоявшем поезде ту протестующую горячность, с какой он предлагал свои объяснения, оставалось только рассмеяться. Но по лицу скользнула лишь слабая улыбка.) Какие же они все проходимки — Маделин, Зелда... другие тоже. Некоторым вообще наплевать, что довели мужика до

ручки. Послушать Зелду, так девица вправе требовать от мужа еженощного удовлетворения, предосторожностей, денег, страховки, мехов, драгоценностей, прислуги, драпировок, платьев, шляп, ночных клубов, загородных клубов, автомобилей, театров.

— Мужчина не удовлетворит женщину, если она его не хочет.

— Вот ты сам и ответил на свой вопрос.

Мозес было заговорил, но спохватился, что снова сбивается на глупейшие оправдания. Побледнев, он плотно сжал губы. Он чудовищно страдал. Ему было до такой степени скверно, что похвастаться, как бывало, выдержкой он бы сейчас не смог. Он молчал, внизу шумела сушилка.

— Мозес,— сказала Зелда,— я хочу быть уверена в одном.

— То есть?

— В *наших* отношениях.— Не отвлекаясь на крашеные веки, он теперь смотрел ей прямо в глаза, в ясные карие глаза. У нее мягко напряглись ноздри. Ее лицо могло быть очень располагающим.

— Что мы по-прежнему друзья,— сказала она.

— Мм...— сказал Мозес.— Я люблю Германа. Тебя.

— Я *в самом деле* твой друг. И я всегда говорю правду.

Глядя на свое отражение в окне, он отчетливо слышал свои тогдашние слова: — Я думаю, ты искренний человек.

— Ты веришь мне?

— Конечно, хотел бы верить.

— Ты должен мне верить. Я душой за тебя болею. Глаз не спускаю с Джун.

— Вот за это спасибо.

— Хотя Маделин хорошая мать. Тебе не о чем тревожиться. Мужчин она близко к себе не подпускает. Они ей постоянно названивают, не дают проходу. Еще бы: красавица и вообще исключительная личность, яркая. Ты бы удивился, кто стал обрывать ее телефон в Гайд-парке, когда узнали про развод.

— Мои добрые друзья, разумеется.

— Будь она, прости господи, вертихвосткой, ей было бы из кого выбирать. Но не тебе говорить, какой она серьезный человек. И потом, такие люди, как Мозес Герцог, тоже, знаете, на земле не валяются. Твоему обаянию и уму трудновато найти замену. В общем, она все время дома. Все передумывает заново, всю свою жизнь. И никого с ней нет. Ты знаешь: мне можно верить.

Если ты видела во мне опасность, то, конечно, ты была обязана лгать. Сознаю, что я отвратно выглядел: распухшее лицо, красные дикие глаза. *Вообще говоря, серьезная штука — женский обман. Мрачные восторги вероломства. Заговорщицкие интриги секса. На чем и выезжают. Я видел, как ты выбивала из Германа второй автомобиль, знаю твою повадку. Ты боялась, что я могу убить Мади и Валентайна. Но ведь когда я все узнал, почему, спрашивается, я не пошел в ломбард и не купил пистолет? Или того проще: после отца остался револьвер, он и сейчас в его столе. Но я не криминальный тип, во мне этого нет, и если я кому и страшен, то только самому себе. Я знаю, Зелда, тебе доставило колоссальное удовольствие, ты радовалась за двоих, когда от полноты души лгала мне.*

Поезд как-то сразу отошел от платформы и вошел в туннель. Лишившись света, Герцог придержал перо. Нудно тянулись сочившиеся влагой стены. В пыльных нишах светили лампочки. Отсутствующим богам. После долгого подъема поезд вырвался к слепящему свету и покатил по насыпи над трущобами верхней Парк авеню. На восточной 90-й с чем-то улице, у хлещущей колонки, с визгом скакала малышня в облипших штанишках. Теперь за окном возник тяжелый, темный, жаркий, испанский Гарлем, а далеко справа обозначился Куинс, густо заполненная кирпичная хартия, прикрытая атмосферной пленкой.

Герцог писал: *Никогда не пойму, чего хотят женщины. Чего они хотят? Они едят зеленый салат и запивают кровью.*

Над Лонгайлендским проливом прояснело. Воздух совсем расчистился. Ровная гладь нежно-голубой воды, сверкающая трава, усеянная полевыми цветами, среди камней густо растет мирт, цветет земляника.

Теперь я вполне знаю смешную, грязную, патологическую правду Маделин. Есть о чем задуматься. Тут он поставил точку.

Не сбавляя скорости, Герцог проскочил стрелку и погнал письмо к старому чикагскому другу Лукасу Асфалтеру, университетскому зоологу.

Что на тебя нашло? Я часто заглядываю в колонку «Интересные люди», но никак не думал встретить там своих друзей. Теперь вообрази мое удивление, когда я увидел в «Пост» твое имя. Ты не сошел ли с ума? Я знаю, что ты обожал свою обезьяну, и жалею, что она умерла. Но зачем же было делать Рокко искусственное дыхание «рот в рот», тем более что он умер от туберкулеза и наверняка кишел микробами? Асфалтер был патологически привязан к своим животным. Герцог подозревал, что он склонен наделять их человеческими свойствами. Совсем не была забавным существом эта его макака по имени Рокко: упрямая и капризная тварь тусклого окраса, пасмурным видом напоминавшая еврейского дядюшку. Но если он угасал от чахотки, ему, конечно, не полагалось иметь жизнерадостный вид. Оптимист и лопух в практических вопросах, Асфалтер, без научной степени подвизавшийся сбоку академического поприща, занимался сравнительной анатомией. Он ходил в ботинках на толстой каучуковой подошве и замызганной спецовке; вдобавок облысел, бедняга, поувял. Потеряв в одночасье волосы, он остался с чубчиком, и сразу выдались вперед красивые глаза под сводчатыми бровями и чащобно потемнели ноздри. Надеюсь, он не наглотался бацилл от Рокко. Говорят, набирает силу какой-то новый гибельный штамм, туберкулез возвращается. В свои сорок пять лет Асфалтер оставался холостяком. Его отец когда-то держал ночлежку на Мадисон-стрит. В юности Мозес часто заходил к ним. И хотя лет десять — если не все пятнадцать — Мозес не поддерживал с Асфалтером близких отношений, они вдруг обнаружили у себя массу общего. От Асфалтера, кстати, Герцог и узнал, на что способна Маделин и какую роль в его жизни сыграл Герсбах.

— Страшно неприятно говорить тебе, Мозес,— сказал ему у себя на работе Асфалтер,— но ты связался с законченными психопатами.

Это было на третий день после того мартовского бурана. Кто бы сказал, что тут вовсю бушевала зима. Подвальные окна были распахнуты во внутренний двор. Ожили черные от сажи тополя, вышелушив красные сережки. Они заполнили собой и своим благоуханием весь серый дворик, открытый только небу. В соломенном кресле сидел Рокко с больными, потухшими глазами, забуревший, как припущенный лук.

— Я не могу допустить, чтобы ты сломал себе шею,— сказал Асфалтер.— Лучше скажу... Тут у нас есть лаборантка, она сидит с твоей дочкой, так она мне много чего рассказала про твою жену.

— Что конкретно?

— Про нее и Валентайна Герсбаха. Он там днюет и ночует, на Харпер авеню.

— Правильно. Я знаю. Он единственный, на кого можно положиться в нашей ситуации. Я ему доверяю. Он показал себя настоящим другом.

— Да знаю я это, знаю,— сказал Асфалтер. На его бледном круглом лице проступили веснушки, большие, темные с поволокой глаза глянули с горестной задумчивостью.— Все знаю. Валентайн безусловно украсил жизнь в Гайд-парке, какая еще там оставалась. Удивительно, как мы без него обходились раньше. Сколько от него тепла, шума — и шотландцев с японцами славно изобразит, и голосом погрохочет. Любой

разговор забьет. Кипит человек жизнью! Да, этого хоть отбавляй. И раз ты сам привел его, все считают его твоим закадычным другом. Он первый об этом говорит. А сам...

— Что сам?

Асфалтер выдержанно спросил: — Ты что, не знаешь? — У него отлила от лица кровь.

— Что я должен знать?

— Я считал само собой разумеющимся, что при твоем уме — таком незаурядном — ты что-то знал. Или догадывался.

Какой-то ужас готов был обрушиться на него. Герцог призвал на помощь мужество.

— Ты о Маделин? Я понимаю, иногда... молодая все-таки женщина... она конечно...

— Нет,— сказал Асфалтер.— Не иногда.— И выложил: — Всегда.

— Кто! — сказал Герцог. Кровь кинулась ему в голову и разом схлынула.— Герсбах?

— Вот именно.— Асфалтер уже не владел лицом, оно смялось от боли. Губы спекшиеся, черные.

Герцог кричал: — Не смей так говорить! Не смей это говорить! — И оскорбленно глядел на Лукаса. Им овладела мутная, тошнотная слабость. Его тело словно ужалось, в один миг ссохшись, выдохшись, заскорузнув. Он едва не потерял сознание.

— Расстегни воротник,— сказал Асфалтер.— У тебя не обморок, нет? — Он гнул книзу голову Герцога.— Колени разведи,— сказал он.

— Пусти,— сказал Мозес, но в голове было горячее варево, и он сидел скрючившись, пока Асфалтер отхаживал его.

Все это время, сложив на груди лапы, на них красными сухими глазами взирала громоздкая бурая обезьяна, испуская зловещий ток. Смерть, думал Герцог. Вот — настоящее. Зверь умирает.

— Тебе лучше? — сказал Асфалтер.

— Открой хоть окно. Вонища в ваших зверинцах.

— Оно открыто. На, глотни воды.— Он сунул Мозесу бумажный стаканчик.— Прими таблетку. Сначала эту, потом бело-зеленую. Прозин.— Пробку не могу вынуть. Руки дрожат.

Герцог отказался от таблеток.— Лук... это правда — про Маделин и Герсбаха? — сказал он.

Взвинченный, с бледным конопатым лицом и чернотами глаз, Асфалтер сказал: — Очнись! По-твоему, я, что ли, это придумал? Наверно, я не очень тактично сказал. Я думал, ты сам давно догадался... Конечно, правда.— И неловким движением своих лаборантских рук он словно сунул ему эту правду — дальше, мол, сам разбирайся. Он натужно дышал.— Ты *действительно* ничего не знал?

— Да.

— Но теперь-то тебе все ясно? Складывается картина?

Герцог лег грудью на стол и переплел пальцы. Он смотрел на мотающиеся сережки, красноватые и фиолетовые. Остаться в своей скорлупе, уцелеть и выжить — на большее он сейчас не рассчитывал.

— Кто тебе рассказал? — сказал он.

— Джеральдин.

— Кто это?

— Джерри — Джеральдин Портной. Я думал, ты ее знаешь. Приходящая няня у Мади. Она работает в анатомическом театре.

— Чего-чего?..

— Тут за углом медицинский факультет и при нем анатомичка. У нас любовь. Вообще-то ты ее знаешь, она ходила на твои лекции. Хочешь поговорить с ней?

— Нет,— зло отрезал Герцог.

— Она написала тебе письмо и отдала мне, чтобы я сам решил, передавать тебе или нет.

— Я не буду его сейчас читать.

— Возьми,— сказал Асфалтер.— Может, потом захочешь прочесть.

Герцог сунул конверт в карман.

Сидя в вагоне на своем плюшевом месте, с чемоданом на коленях вместо письменного стола, бежавший из Нью-Йорка со скоростью семьдесят миль в час, Герцог недоумевал, отчего он не расплакался тогда у Асфалтера. Он легко пускал слезу, стесняться Асфалтера тоже незачем, они старинные друзья, у них столько общего — происхождение, привычки, характеры. Но когда Асфалтер поднял крышку и показал правду, что-то скверное вползло в его каморку, смотревшую во двор, как дух какой-нибудь забористый или липкая стыдная подробность. Слезы тут не подойдут. Уж очень похабная причина, абсолютно дикая. Вот кто действительно умел с отменным чувством пролить слезу, так это Герсбах. Горячей слезой частенько омывался его карий с краснотой глаз. Всего несколько дней назад, когда Герцог приземлился в О'Хэар и обнимал дочурку, там же был верзила Герсбах, струивший сочувственные слезы. Очевидно, думал Герцог, он и в постели с Маделин обливается по мне слезами. Бывают минуты, когда мне противны мое лицо, нос, губы, потому что у него они тоже есть.

Да, на Рокко в тот день лежала тень смерти.

— Чертовски неприятно,— сказал Асфалтер. Он затянулся несколько раз и бросил сигарету. Пепельница была набита длинными окурками — он выкуривал в день две-три пачки.— Давай пропустим по маленькой. Пообедаем вместе. Я веду Джералдин в «Волну». Там и решишь, как тебе с нею быть.

Сейчас Герцог задумался о некоторых странных обстоятельствах в связи с Асфалтером. Возможная вещь, что я повлиял на него, ему передалась моя эмоциональность. Он заключил Рокко, этого косматого мыслителя, в свое сердце. Как иначе объяснить эту панику — подхватить Рокко на руки, разжать ему зубы, дышать рот в рот? Боюсь, с Луком неладное. Надо заняться им — и странностями этими, и вообще. *Тебе надо бы сделать манту. Я не мог понять...* Герцог прервался. Проводник позвонил к ленчу, но у Герцога не было времени на еду. Он приступал к другому письму.

Уважаемый профессор Бышковский, благодарю за любезный прием в Варшаве. По причине моего нездоровья наша встреча скорее всего разочаровала Вас. Я сидел у него дома и сворачивал пилотки и кораблики из «Трибуна люду», а он как мог подталкивал беседу. Наверно, он был мною очень озадачен, этот высокий дородный профессор в твидовом охотничьем костюме песочного цвета (бриджи, норфолкская куртка). Я убежден, что у него доброе сердце. И глаза у него — такие славные. Полноватое красивое лицо, вдумчивое, мужское. А я сворачивал бумажные пилотки — о детях, должно быть, задумался. Пани Бышковская, радушно склоняясь надо мной, предлагала варенье к чаю. У них полированная, старая мебель ушедшей центральноевропейской эпохи — впрочем, и нынешняя эпоха отходит, и, может, еще быстрее, чем все прочие. *Надеюсь, Вы меня простите. Сейчас я нашел возможность прочесть Ваш труд об американской оккупации Западной Германии. Многие факты производят тягостное впечатление.* Впрочем, у меня не спрашивали совета ни президент Трумэн, ни мистер Макклой [1]. *Признаться, я не изучал германский вопрос с должным вниманием. По-моему, никакому правительству нельзя верить до конца. Есть еще восточногерманский вопрос. Вы его даже не коснулись в своем исследовании.*

В Гамбурге я забрался в квартал публичных домов. Мне, собственно, подсказали: надо, мол, посмотреть. Некоторые шлюхи в черном кружевном белье были обуты в немецкие солдатские ботинки, они стучали вам по окну рукояткой хлыста. Красномордые девки звали и скалили зубы. Холодный безрадостный день.

Уважаемый сэр, писал Герцог. *Вы очень терпимы к подонкам из*

[1] Джон Дэй Макклой — верховный комиссар в Западной зоне Германии.

Бауэри[1], *которые являются к Вам в церковь напиться, нагадить, побить бутылки о могильные камни и натворить других пакостей. Поскольку от порога Вашей церкви видна Уолл-стрит, я бы предложил Вам написать памфлет, объясняющий, что Бауэри подыгрывает Уолл-стрит. Сбродная улица контрастирует Уолл-стрит и потому необходима. Напомните им притчу о Лазаре и богаче. Благодаря Лазарю богач еще слаще вкушает и вознаграждается от своих роскошеств.* Хотя какие там особенные радости у богача. А задумай он развязаться со всем этим, ему одна дорога: Сбродная улица. Будь в Америке такая вещь, как пристойная бедность, добродетельная бедность, зашатались бы устои. Значит, бедность должна быть безобразной. Значит, подонки работают на Уолл-стрит — подпирают эту стену. Но преподобный Бизли — он-то от кого кормится?

Мы слишком мало задумывались над этим.

Дальше он писал: *Отдел кредита универмага «Маршал Филд энд Компани». Я более не ответствен за долги Маделин П. Герцог. Поскольку с десятого марта мы не являемся мужем и женой. Посему не посылайте мне больше счета — последний меня едва не угробил — на четыреста долларов с гаком! — за покупки после нашего развода. Конечно, я должен был заблаговременно написать в нервный центр доверия* — Интересно, есть такой? Где он располагается? — *но некоторое время мне было ни до него.*

Уважаемый профессор Хойл[2], *боюсь, я не могу уразуметь Вашу теорию пористого золота. Что тяжелые металлы — железо, никель — тяготеют к центру земли — это я себе представляю. Но как собираются легкие металлы? Далее, объясняя образование малых планет,* в том числе нашей трагической земли, *Вы говорите о связывающих веществах, которые скрепляют агломераты осадочной породы...*

Под ногами неистовствовали вагонные колеса. Набегали и заваливались назад леса и выгоны, ржавели рельсы на запасных путях, ныряли на бегу провода, справа наливался, густел синевой пролив. Сменялись эмалированные коробки рабочего поезда, нагруженные под завязку товарные платформы, силуэты старых новоанглийских мельниц с узкими строгими окнами; поселки, монастыри; буксиры, вспарывающие парусящее полотно воды; сосновые посадки, игольный ковер на земле животворного красновато-бурого цвета. Получается так, рассуждал Герцог, сознавая элементарность своей картины мироздания: звезды лопаются и зачинаются миры, возникают невидимые магнитные тяжи, благодаря чему тела удерживаются на орбите. Астрономы представили дело таким образом, как если бы в колбе встряхнули газы. А через много миллиардов лет — световых лет — является ребячливое, но далеко не наивное существо с соломенной шляпой на голове и немножко чистым — немножко подлым сердцем в груди и пытается — с грехом пополам — составить собственное представление об этой грандиозной увязке.

Уважаемый доктор Баве[3], начал он новое письмо, *я читал о Вашей работе в «Обсервере» и тогда же захотел присоединиться к вашему движению. Я всегда стремился вести духовную, полезную, деятельную жизнь. Но я не знал, с чего начать. Нельзя делаться утопистом. Тогда еще труднее определить, в чем конкретно твой долг. Побуждая, однако, владельцев крупных состояний поделиться землей с обедневшими крестьянами...* Вот они идут по Индии, эти смуглые мужчины. Герцогу кажется, он видит их сияющие глаза и сквозящий свет души. Надо заниматься несправедливостями, которые видны всем и каждому, а не решать проблемы будущего устройства. *Недавно я видел Патера Панча-*

[1] Бауэри — улица в Нью-Йорке, снискавшая скандальную славу питейными заведениями и сомнительными отелями.

[2] Фред Хойл (р. 1915) — английский астрофизик, автор научно-фантастических произведений.

[3] Ачарья Виноба Баве (р. 1895) — индийский философ, ученик и последователь М. Ганди, основавший в 1951 г. движение за перераспределение земли в пользу бедных.

ли. Я полагаю, Вы это знаете, поскольку речь там идет об индийской деревне. Две вещи глубоко потрясли меня: старуха, выскребающая пальцами кашу и уходящая потом в кусты умирать, и смерть маленькой девочки в сезон тропических дождей. Едва ли не единственный зритель в кинозале на Пятой авеню, Герцог заплакал с матерью ребенка, когда, нагнетая скорбь, полилась музыка. Какой-то туземный медный рожок очень похоже рыдал, хрипел предсмертно. В Нью-Йорке, как и в сельской Индии, тоже шел дождь. Ныло сердце. И у него была дочь, и его мать была несчастна. Он спал на дерюге из-под мучных мешков.

Он подумывал передать движению Баве свой дом и имущество в Людевилле. Только как распорядится ими Баве? Пошлет индусов в Беркширы? Они этого не заслужили. Кроме того, существует закладная. Дар должен обладать «безусловным правом собственности», а для этого мне надо собрать еще восемь тысяч долларов, причем скидки налоговое ведомство мне не даст. Зарубежная благотворительность, может, не учитывается. А Баве его крепко выручит. С этим домом он сильно промахнулся. Его купили в чаянии счастья, этот развалившийся приют с богатейшими перспективами — вековые деревья, настоящий английский парк можно оборудовать в часы досуга. Дом стоял заброшенный много лет. Охотники и любовные парочки забирались в него и хозяйничали как хотели; когда Герцог обнародовал свои права на имущество, эти парочки и охотники принялись его травить. Кто-то, побывав в доме ночью, оставил использованную гигиеническую подушечку в закрытом блюде на столе — там хранились его заметки по романтизму. Так приняли его аборигены. В поезде, оставлявшем за собой луга и залитые солнцем сосны, по его лицу лучиком скользнула ироническая к себе улыбка. А прими я их вызов? Стал бы настоящим Моисеем, людевилльским евреем-патриархом с белой бородой, стриг бы допотопной косилкой траву под развешенной постирушкой. Питался бы сурками.

Он писал в Беер-Шеву кузену Ашеру: *Я упомянул о старой фотографии твоего отца в форме царского времени. Сестру Хелен я просил ее поискать.* Ашер служил в Красной Армии, был ранен. Сейчас он электросварщик, смотрит бирюком, показывает крепкие зубы. Он ездил с Моисеем к Мертвому морю. Был душный день Они сели остыть у входа в соляную копь. Ашер сказал: У тебя нет отцовой фотографии?

Уважаемый господин президент, я слышал Ваше недавнее оптимистическое послание и, если судить по налогам, нашел малооправданным Ваш оптимизм. Новое законодательство в высшей степени дискриминально, и, по мнению многих, наращивая автоматизацию, оно лишь обострит проблемы безработицы. Это означает, что умножившиеся подростковые банды приберут к рукам безнадзорные улицы больших городов. Стрессы перенаселенности, негритянский вопрос...

Уважаемый доктор-профессор Хайдеггер, мне бы хотелось знать, какой смысл Вы придаете словам «заброшенность в повседневное»? Когда это случилось? Где мы были, когда это произошло?

Мистеру Эммиту Строфорту, США. Служба общественного здравоохранения, писал он. *Дорогой Эммит, я видел по телевидению, каким дураком ты себя выставлял. Поскольку мы с тобой однокурсники (М. Е. Герцог, поток 38 года), я чувствую себя вправе высказаться о твоей философии.*

Все это Герцог зачеркнул и адресовал письмо в «Нью-Йорк таймс». *Снова чиновный ученый, доктор Эммит Строфорт, выступил со своей Философией Риска в дискуссии о радиоактивных осадках, куда теперь подверстывается также проблема пестицидов, отравление грунтовых вод и т. д. Рассуждения ученых на общественные и нравственные темы тревожат меня в такой же степени, как и прочие виды отравления. Доктор Строфорт судит о Рейчел Карсон, доктор Теллер* [1] *— о генетических*

[1] Эдвард Теллер (р. 1908) — американский физик. Участвовал в создании атомной и термоядерной бомб.

последствиях радиоактивности. Недавно доктор Теллер утверждал, что новомодные тесные брюки, повышая температуру тела, могут угнетать половую железу сильнее, чем радиоактивные осадки. Даже самые уважаемые современники часто оказываются опасными безумцами. Возьмите фельдмаршала Хейга. Он утопил в болотах Фландрии сотни тысяч людей. Хейг был большое, уважаемое начальство, и Ллойд Джордж спустил ему это. Таким людям позволительно делать свое дело. Не странно ли, что человек, потребляющий героин, может получить двадцать лет тюрьмы за вину перед самим собой... Разберутся, к чему я клоню.

Перед лицом радиоактивности доктор Строфорт велит нам усвоить его Философию Риска. После Хиросимы (оспаривающих его решение мистер Трумэн называет «кровоточащими сердцами») жизнь в цивилизованных странах (собственно, изживание страха) вся построена на риске. Так рассуждает доктор Строфорт. И сравнивает человеческую жизнь со страховочным капиталом в бизнесе. Придет же такое в голову! Большой бизнес не знает риска, чему свидетельством недавнее исследование накоплений. Я хотел бы привлечь ваше внимание к одному прогнозу де Токвиля. Он полагал, что современные демократии будут плодить меньше преступлений — больше частных пороков. Вероятно, он должен был сказать: меньше частных преступлений — больше коллективных. В массе своей эти коллективные, или организованные, преступления имеют целью как раз минимальный риск. Сейчас я понимаю, насколько безнадежно навести порядок на планете с населением, превышающим два миллиарда человек. Сама эта цифра из разряда чудес, опрокидывающих наши практические подходы. Немногие интеллектуалы постигли социальные закономерности, лежащие за этой количественно выраженной переменой.

Мы живем в буржуазной цивилизации. Я пользуюсь этим определением не в марксистском смысле. Дерьма пирога! *Согласно лексиконам современного искусства и религии, буржуа признает мироздание созданным для нашей пользы — чтобы нам было удобно, покойно и надежно жить. Свет за одну секунду пробегает четверть миллиона миль, чтобы мы могли не вслепую поправить прическу или прочесть в газете, что окорок подешевел со вчерашнего дня. Жажду благосостояния де Токвиль считал одним из сильнейших стимулов демократического общества. Не будем упрекать его в том, что он недооценивал разрушительных сил, развязанных этой самой жаждой.* Нет, надо быть не в своем уме, чтобы писать такое в «Таймс»! Есть миллионы готовых Вольтеров, в чьих сердцах клокочет яростная сатира, однако их удерживает ненайденное слово — самое острое, самое ядовитое. Тебе бы замахнуться на стихотворение, болван. С какой стати в твоей расхлябанности должно быть больше правоты, нежели в их организованности? Ты ездишь в их поездах, верно? Расхлябанность не строит железных дорог. Садись и пиши стихотворение, трави их желчью. Стишки всегда возьмут, чтобы забить пустоту вокруг передовицы. Письмо, однако, он продолжал писать. *О проблеме Риска писали Ницше, Уайтхед и Джон Дьюи*[1]. *Дьюи объясняет, что человечество не верит собственной природе и пытается обрести опору вовне или наверху — в религии или философии. Для Дьюи прошлое зачастую ошибочно.* Тут Мозес одернул себя. Говори по существу дела. Только в чем оно, это существо? А существо дела в том, что есть люди, способные уничтожить человечество, что они глупы и надменны, безумны и нужно заклинать их не делать этого. Пусть враги жизни устранятся. Пусть каждый сейчас исследует свое сердце. Без кардинальной ломки сердца я не поручусь за себя у кормила власти. Люблю ли я человечество? И достанет ли этой любви на то, чтобы пощадить человеческий род, имея возможность отправить его в пекло? Давайте все накроемся сава-

---

[1] Джон Дьюи (1859—1952) — американский философ, один из ведущих представителей прагматизма.

ном и двинемся на Вашингтон и Москву. Давайте все ляжем — мужчины, женщины и дети — и станем кричать: «Пусть продолжится жизнь, может, мы ее не заслуживаем, но пусть она продолжится!»

Во всяком сообществе есть разряд людей, изначально опасных для всех других. Я не имею в виду преступников. Для них имеются карательные санкции. Я имею в виду начальство. Самые опасные люди неизменно домогаются власти. А тем временем на своих сходках кипит негодованием здравомыслящий гражданин.

Господин редактор, мы обречены быть рабами имеющих власть уничтожить нас. Я сейчас не о Строфорте. Мы с ним учились. Играли в пинг-понг в Рейнолдс-клубе. У него было белое срамное лицо в бородавках, толстый червеобразный большой палец, которым он ловко закручивал мяч. Щелк-пощелк над зеленым столом. Не думаю, чтобы у него был такой уж высокий КУР [1], хотя как знать, но математика и химия давались ему нелегко. Я же тем временем пиликал в полях на скрипке. Как тот кузнечик из любимой песенки Джуни:

За жилье расплатиться нечем,
Но грустить не желает кузнечик
И со скрипкой уходит в поля.

И пока не настанет вечер,
И пока не устанут плечи,
Он пиликает почем зря.

Счастливая улыбка тронула его губы. При мысли о детях лицо ласково наморщилось. Замечательное у детей понятие о любви! Сейчас Марко замыкается, сдержан с отцом, зато Джуни в точности прежний Марко. Лезет на колени к отцу, причесывает его. Топчет ножками. Он сжимает ее косточки изглодавшимися отцовскими руками, ее щекочущее дыхание пробирает его до глубины души.

Он катил коляску по Мидуэю, перед встречными студентами и коллегами, трогая поля зеленой на зависть мшистым склонам и ложбинам велюровой шляпы. Ребенку в сборчатом бархатном чепчике, убежденно думал он, перепало от папочки немало милых черт. Улыбаясь дочурке сморщившимся лицом, темными глазами, он читал стишок:

В корзине старуха
Быстрее, чем муха,
С метлой унеслась в небеса.

— Дальше,— сказала девочка.

Где бабка летает,
Узнать не мешает,
Но нет у метлы языка.

— Дальше, дальше.

Теплый восточный ветер с озера подгонял Мозеса, вел мимо серой готики. В конце концов, ребенок-то при нем был, пока мать с любовником раздевались в чьей-то спальне. И если в том скотском и предательском объятье им потворствовали жизнь и природа, он готов отступить в сторону. Да-да, он готов смириться.

Кондуктор — вот тоже вымирающая порода, этот кондуктор с землистым лицом,— вытянул билет из-под ленты герцоговой шляпы. Компостируя его, он вроде хотел что-то сказать. Может, соломенная шляпа навеяла ему прошлое. Но Герцог дописывал письмо. *Будь даже Строфорт философом на троне, разве допустимо, чтобы он мудрил с генетическими основами жизни, отравлял атмосферу и воды земные? Я понимаю: глупо возмущаться. И все же...*

[1] Коэффициент умственного развития.

Кондуктор сунул пробитый билет за номерную планку на кресле, и ушел, а Мозес продолжал себе писать на чемодане. Можно, конечно, перейти в клубный вагон, но там нужно брать выпивку, говорить с людьми. А главное, на очереди одно из важнейших писем — доктору Эдвигу, чикагскому психиатру.

Итак, Эдвиг, писал Герцог, *Вы тоже оказались обманщиком. Как это мило!* Нет, так не начинают. Перепишем. *Мой дорогой Эдвиг, у меня для Вас новости.* Вот это гораздо лучше. Повадка всезнайки раздражала в Эдвиге, спокойном протестантско-нордическо-англокельтском Эдвиге с его седеющей бородкой, с талантливыми, кольчатыми, прядающими волосами, в круглых, чистых и сверкающих очках. *Конечно, я достался Вам в плохом виде. Психиатрическое лечение Маделин поставила условием нашей совместной жизни. Если помните, она сказала, что у меня опасное душевное состояние. Мне предоставили самому подобрать себе психиатра. Естественно, я выбрал такого, кто писал о Барте, Тиллихе, Бруннере*[1] *и т. д. Тем более что Маделин, будучи еврейкой, пережила христианский период в качестве новообращенной католички, и я рассчитывал с Вашей помощью лучше ее постичь. Вместо этого Вы сами увязли в ней. Не отпирайтесь. Вы уже поддавались ей, выслушивая от меня, какая она красивая, умная, хоть и вполне сумасшедшая, и вдобавок религиозная.* Вместе с Герсбахом она обдумала и направила каждый мой шаг. Так они объявили, что психиатр может принести мне облегчение — больному человеку, законченному, если не безнадежному, неврастенику. Во всяком случае, лечение свяжет меня, сосредоточит на самом себе. Четыре дня в неделю они знали, где я нахожусь — у врача на кушетке, и могли спокойно лечь в постель. *Я был на грани нервного расстройства, когда пришел к Вам в тот день,— мокрядь, снег с дождем, автобусное пекло.* Снег, впрочем, не остудил моего сердца. Выстланные желтыми листьями улицы. Старуха в зеленой плюшевой шляпе, в безмятежно зеленом кошмаре, мягкими складками обложившем голову. А вообще говоря, не такой уж плохой был день. Эдвиг сказал, что все винтики у меня на месте. Просто реактивно-депрессивное состояние.

— А Маделин говорит, что я безумен. Что я...— Порываясь и дергаясь, его исстрадавшийся дух уродовал лицо, больно распирал горло. Но ободряла мягкая бородатая улыбка Эдвига. И ободренный Герцог делал все, чтобы вызвать его на откровенность, но в тот день врач сказал только, что страдающие депрессией немыслимо зависят от своих привязанностей, и лишение этих привязанностей, угроза их утраты приводит к истерии.— И разумеется,— добавил он,— из сказанного вами следует, что есть тут и ваша вина. Жена ваша, думается мне, человек раздражительный — это раз. Она когда отпала от церкви?

— Точно не скажу. Я думал, она давно с ней развязалась. Но в первую великопостную среду я вдруг увидел сажу у нее на лбу. Говорю: «Маделин, мне казалось, ты перестала быть католичкой. Тогда что у тебя между глаз — зола?» Она говорит: «Не понимаю, о чем ты». То есть делает вид, что у меня галлюцинации или еще что. Но какая там галлюцинация. Обычное пятно. Пятнышко, скажем. Она дает понять, что мне недоступны такие материи, хотя мы с ней одинаково евреи.

Герцог видел, как Эдвиг ловит каждое слово по адресу Маделин. Кивая, он с каждым новым предложением все выше вздергивал подбородок, трогал аккуратную бородку, поблескивал очками, улыбался.— Вы считаете, она — христианка?

— Меня она считает фарисеем. Так прямо и говорит.

— Ага! — уцепился Эдвиг.

---

[1] Карл Барт (1886—1968) и Генрих Бруннер (1889—1966) — швейцарские протестантские теологи, выступавшие против растворения религии в культуре, за возвращение к идеям Реформации. Напротив, Пауль Тиллих (1886—1945) — немецко-американский протестантский философ и теолог — призывал к созданию «теологии культуры», примиряющей разум и откровение.

— Что — ага? — сказал Мозес.— Вы согласны с ней?

— С какой стати? Я почти не знаю вас. А на мой вопрос вы что ответите?

— Вы полагаете, в двадцатом веке христианин имеет право поминать еврейских фарисеев? С еврейской точки зрения, чтоб вы знали, это не лучший период вашей истории.

— Но как вы считаете, у вашей жены христианское мировоззрение?

— Неким доморощенным запредельным понятием, я считаю, она обладает.— Герцог выпрямился на стуле и заговорил отчасти свысока: — Я не согласен с Ницше, что Иисус принес в мир немочь, отравил его рабской моралью. Но у самого Ницше был христианский взгляд на историю, в реальной жизни он всегда видел перелом, падение с классических высот, порчу и зло, от которых надо спасаться. Это я и называю христианским убеждением. И оно таки есть у Маделин. Как в той или иной мере у большинства из нас. Мы думаем, как остаться в живых после отравы, ищем спасения, искупления. Маделин нужен спаситель, и я в этом качестве ей не подхожу.

Это было именно то, чего ждал от Мозеса Эдвиг. Пожимая плечами и улыбаясь, он копил аналитический материал и казался вполне удовлетворенным. Светлый, мягкий человек с жидковатыми прямыми плечами. Старомодные, в розовой выцветшей оправе очки придавали ему стертый вдумчиво-медицинский облик.

Мало-помалу — даже не пойму, как это случилось,— Маделин стала основной фигурой психоанализа и взяла его в свои руки, как прибрала к рукам меня. И вас она приручила. Я стал замечать, что вы рветесь увидеть ее. Необычность моего случая, говорили вы, требует собеседования с ней. И постепенно вы втянулись в религиозные прения с ней. В конечном счете стали лечить ее тоже. Вы сказали, что понимаете, чем она меня взяла. И я вам сказал: — Я же говорил, что она необыкновенная. Она яркая, сука такая, до жути! По крайней мере, вы теперь знаете, что если мне, как говорится, отбили мозги, то сделала это незаурядная женщина. Что касается Мади, то она увеличила список своих достижений, дурача вас. Еще больше утвердилась в себе. И поскольку она готовила докторскую по истории русской религиозной мысли (кажется, так), ваши посиделки стоимостью двадцать пять долларов каждая составили многомесячный курс лекций по истории восточного христианства. А потом у нее развились странные симптомы.

Для начала она обвинила Мозеса в том, что он-де нанял детектива шпионить за ней. Свою обвинительную речь она начала отчасти в британской манере, отчего он привычно насторожился.

— Надо иметь,— сказала она,— недюжинный ум, чтобы нанять такую откровенную рожу.

— Нанять? — сказал Герцог.— Кого я нанял?

— А тот жуткий тип, вонючий кабан в куртке? — Абсолютно уверенная в себе, Маделин опалила его своим страшным взглядом.— Попробуй только отпереться. Тебя презирать за это мало.

Видя, как она белеет, он призвал себя к осторожности — и упаси Бог задеть эту ее британскую манеру.— Мади, тут какая-то ошибка.

— Никакой ошибки. Даже не предполагала, что ты способен на это.

— Но я не понимаю, о чем речь.

У нее уже поплыл, стал срываться голос. Она жарко выдохнула: — Мразь! Не смей заговаривать мне зубы. Я знаю все твои гребаные фокусы.— Завизжала: — Ты это прекрати! Я не потерплю, чтобы за мной таскался хвост! — Ее сверлящие чудесные глаза стали наливаться красным.

— Но зачем мне следить за тобой, Мади? Не понимаю. Что мне выяснять?

— Все утро этот тип не отставал от меня в Ф-ф-филде.— Приходя

в ярость, она часто заикалась.— Я п-п-полчаса пряталась в уборной, а он не уходил. И еще в туннеле... когда п-п-покупала цветы.

— Так, может, кто-то подкалывался к тебе. Я тут при чем?

— Это был хвост! — Она сжала кулаки. Губы пугающе подобрались, ее колотило.— Он и сейчас сидел у соседей на крыльце, когда я вернулась.

Бледнея, Мозес сказал: — Покажи мне его, Мади. Я с ним потолкую... Покажи этого человека.

Эдвиг определил: параноический эпизод; на что Герцог только и нашелся сказать: — Неужели! — Собравшись с мыслями, он выкатил на доктора глаза и горячо вскричал: — Вы в самом деле считаете, что это была галлюцинация? Что она не в себе? Невменяема?

Осторожничая, выбирая слова, Эдвиг сказал: — Однократный инцидент еще не свидетельствует о невменяемости. Я имел в виду только то, что сказал: параноический эпизод.

— Так это она больна, а я еще ничего.

Бедная девочка! Клинический случай. Действительно больной человек. Страждущих Мозес особенно жалел. Он заверил Эдвига: — Если это так, как вы говорите, я послежу за собой. Постараюсь быть внимательным.

Словно мало натерпевшись в наши дни, милосердие всегда будет подозреваться в червоточине — садо-мазохизм, извращеньице какое-нибудь. Любое высокое, душевное движение подозревается в жульничестве. На словах мы воздаем ему должное, а нутром не принимаем, перетолковываем. Во всяком случае, Эдвиг не кинулся поздравлять Мозеса с его обещанием позаботиться о Маделин.

— Мой долг предупредить ее,— сказал Эдвиг,— что у нее вот такая предрасположенность.

Однако профессиональное заключение о параноических галлюцинациях, казалось, не встревожило Маделин. Для нее, сказала, не новость узнать о своей патологии. Совершенно спокойно ко всему отнеслась.— Со мной, во всяком случае, не соскучишься,— так и сказала Мозесу.

На этом, однако, неприятности не кончились. Еще неделю-другую, почти ежедневно, доставка везла из Филда драгоценности, блоки сигарет, платья и пальто, лампы и ковры. Маделин не помнила, чтобы она это покупала. За десять дней счет достиг тысячи двухсот долларов. Одно утешение — хорошие были вещи, очень красивые. Вкус не изменял ей даже в помрачении ума. Отсылая их обратно, Мозес с нежностью думал о ней. Эдвиг обещал, что настоящий психоз у нее не разовьется — будут всю жизнь вот такие приступы. Грустная перспектива для Мозеса, но, может, в его вздохах была и малая толика удовлетворения. Очень может статься.

Доставка вскоре прекратилась. Маделин вернулась к своим аспирантским занятиям. Но однажды ночью, когда они были нагишом в своей захламленной спальне и Мозес, подняв простыню и обнаружив под ней ветхие книги (большие пыльные тома старой русской энциклопедии), резковато высказался на сей счет, тут она и сорвалась. Она завизжала на него, пала на постель, сдирая одеяла и простыни, грохая на пол книги, ногтями царапая подушки, исходя диким, загнанным воплем. Оставшуюся на матраце полиэтиленовую подстилку она всю перекрутила, безостановочно изрыгая косноязычную ругню обметанным в углах ртом.

Герцог поднял упавшую лампу.— Маделин, ты не думаешь, что тебе надо попринимать что-нибудь... от этого? — Дурак, он потянулся ее успокоить, и тут она поднялась и влепила ему пощечину — небольно от неумелости. Она бросилась на него с кулаками, не тыча ими по-женски, а размахивая, как уличный хулиган. Герцог отвернулся и подставил спину. А что делать? Больная же.

Может, к лучшему, что я не отлупил ее. Не дай Бог, еще вернул бы ее любовь. Но что я Вам скажу: ее бесила моя уступчивость при этих ее срывах, словно я искал победы в религиозном турнире. Я знаю, Вы об-

суждали с ней агапэ[1] *и прочие высокие материи, но даже слабейший проблеск чего-то подобного во мне приводил ее в бешенство. Для нее я был симулянтом. Ее параноидальное сознание разложило меня на простейшие составные. Отчего я и полагаю, что ее отношение могло перемениться, отлупцуй я ее как следует. Возможно, у дикарей паранойя — нормальное состояние духа. И если моя душа, такая несвоевременная и неуместная, переживала высокие чувства, то веры к ним ниоткуда не было. От вас не было — при том, как Вы относитесь к добрым намерениям. Читал я Ваш вздор о психологическом реализме Кальвина. Надеюсь, Вы не станете возражать, что этот вздор обнаруживает низкую, рабскую, недобрую концепцию человеческой природы. Таким мне видится Ваш протестантский фрейдизм.*

Рассказ Герцога о нападении в спальне Эдвиг выслушал спокойно, не без улыбки. Потом сказал: — Почему, вы думаете, это случилось?

— Наверно, из-за книг. Как вмешательство в ее занятия. Когда я говорю, что в доме грязь и вонь, она считает, что я не одобряю ее духовные запросы и гоню на кухню. Не уважаю права личности.

Эдвиг реагировал неудовлетворительно. Когда требовалась отзывчивость, Герцог находил ее у Валентайна Герсбаха. К нему он и пошел со своей бедой. Правда, сначала его обдаст холодом (причины он не знал) Феба Герсбах, открывавшая на звонок. Очень у нее изможденный вид — сухая, бледная, зажатая. Конечно — бежит коннектикутский ландшафт, громоздится, ужимается, открывается в глубину, сверкает атлантическая вода,— конечно, Феба знала, что муж спит с Маделин. А было у Фебы всех дел и забот в жизни: удержать при себе мужа и отца своего ребенка. И вот она открывает дверь страдающему придурку Герцогу. Тот явился к своему другу.

Сильным человеком Феба не была; напора маловато, для иронии — поздновато. Что касается жалости, то за что бы ей жалеть его? Адюльтер? — дело обычное, они оба не принимают его всерьез. И уж, с ее точки зрения, обладать телом Маделин не Бог весть какое везение. Жалости, может, заслуживала глупейшая умственность Герцога, его несуразная манера осмысливать свои неприятности в высоких категориях; наконец, его можно пожалеть за страдания. Только, наверное, сердца ей едва хватало разобраться со своей жизнью. Герцог был уверен, что она винит его в раздувшемся зазнайстве Герсбаха: Герсбах — общественный деятель, Герсбах — поэт, телевизионный интеллектуал, читающий лекции о Мартине Бубере[2] в Хадассе[3]. Герцог сам ввел его в культурную жизнь Чикаго.

— Вэл у себя в комнате,— сказала она.— Извини, мне надо собрать мальчика в Темпл[4].

Герсбах навешивал книжные полки. Сосредоточенный, тяжелый, замедленный в движениях, он размечал доски, стену, писал на штукатурке цифры. Ловко управлялся с ватерпасом, подбивал костыли. Толстое, кирпично-красное, вдумчивое лицо, широкая грудь, скособоченная на протез фигура; слушая рассказ Герцога о дикой вспышке Маделин, он привередливо подбирал сверло для электродрели.

— Мы уже ложились.

— Так.— Он заметно сдерживал себя.

— Разделись.

— Какие-нибудь попытки были? — Его голос посуровел.

— С моей стороны? Нет. Она отгородилась стеной из русских книг. Владимир Киевский, Тихон Задонский. В моей постели! Мало они травили моих предков! Она всю библиотеку перерыла. Тащит всякую за-

---

[1] В Древней Греции — жертвенная, бескорыстная любовь; в христианстве — жертвенная, безмотивная любовь «к ближнему».

[2] Мартин Бубер (1878—1965) — еврейский религиозный философ и писатель, близкий к диалектической теологии и экзистенциализму.

[3] Хадасса — женская еврейская организация.

[4] Синагога у евреев-реформистов.

валь, которую пятьдесят лет никто не брал. Там уже бумага крошится.

— Опять жаловался?

— Не без того, наверно. Скорлупа, кости, банки консервные — под столом, под диваном... Каково ребенку все это видеть?

— Вот где твоя ошибка! Она терпеть не может занудного лживого тона. Если ты хочешь, чтобы я помог утрясти это дело, я буду говорить начистоту. Ни для кого не секрет, что вы оба для меня самые дорогие люди. И я тебя предупреждаю, *хавер* [1]: не мелочись. Кончай с этим поносом и будь абсолютно честным и серьезным.

— Я понимаю,— сказал Герцог,— она переживает кризис, ищет себя. А я, бывает, срываюсь. Мы с Эдвигом обсуждали эту проблему. Но в воскресенье вечером...

— Ты уверен, что не приставал к ней?

— Конечно. Так вышло, что мы были близки накануне ночью.

Герсбах страшно рассердился. Уставив на Мозеса кирпично-красные глаза, он сказал: — Я не спрашивал тебя об этом. Я спрашивал про воскресенье. Научись, черт побери, простым вещам. Если ты не будешь со мной честным, я ни хера не смогу для тебя сделать.

— Да почему же мне не быть честным с тобой? — Мозеса озадачили несдержанность, яростно-пылающий взгляд Герсбаха.

— Тем не менее. Ты виляешь.

Под неотступным карим взглядом Мозес признавал обвинение. У Герсбаха глаза пророка, *шофета* — вот именно: судьи Израилева, царя. Загадочный он человек, Валентайн Герсбах.— Мы были близки накануне ночью. И сразу после этого она включила свет, взяла какой-то пыльный русский том, поставила его себе на грудь и стала читать. Я еще был с ней, когда она тянулась за книгой. Ни поцелуя, ни последней ласки. Только дергает своим носом.

Валентайн смутно улыбнулся.— Может, вам врозь спать?

— Можно, конечно, перебраться в детскую. Только Джун и так плохо спит. Ночью встает и бродит в пижаме. Проснусь, а она у моей постели. Часто мокрая. Она чувствует напряжение.

— Кончай про ребенка.Не припутывай ее сюда.

Герцог понурил голову. Он чувствовал, как подступают слезы. Герсбах вздохнул и медленно прошелся вдоль стены ныряющей походкой гондольера.— Я объяснял тебе на прошлой неделе...— сказал он.

— Повтори еще раз. Я не в состоянии соображать.

— Тогда слушай. Обсудим проблему снова.

Красивому лицу Герцога невзгоды нанесли серьезный урон — изуродовали, попросту говоря. Жертвы его самовлюбленности могли торжествовать, видя такое его падение. Он словно в насмешку преобразился. И такой же насмешкой были рацеи Герсбаха: пылкие, несдержанные, солоноватые речи пародировали взыскующую тягу ввысь, вглубь, к обретениям. Подставившись холодному солнцу, Мозес сидел у окна и слушал. Шторы с золочеными желобчатыми карнизами лежали на столе вперемешку с досками и книгами.

— В одном ты можешь быть уверен, *брудер* [2],— сказал Валентайн.— Я не имею своего интереса. У меня нет тут предвзятости.— Валентайн любил ввернуть фразочку на идише — как правило, не к месту. Герцог унаследовал идиш благородных кровей. Язык резников, ломовиков, простонародья, отзывавшийся в речи Валентайна, его коробил, за что он себя и казнил: Господи Боже! никак родословные предрассудки, нелепицы утраченного мира! — Не будем про то, чем ты дышишь,— сказал Герсбах.— Допустим, ты гнида. Допустим даже — уголовник. Ничто — повторяю: ничто! — не поколеблет моей дружбы. Это не жук насрал, ты прекрасно знаешь. Я стерплю все, что ты мне сделал.

Снова Мозес сказал озадаченно: — Что я тебе сделал?

---

[1] Приятель (*иврит*).

[2] Брат (*идиш*).

— Гори это огнем. *Хоб эс ин др'ерд* [1]. Я знаю, что Мади — сука. Думаешь, мне Фебе не хочется дать под зад коленом? Этой *клиппе?* [2] Но уж такая их бабская природа.— Он тряхнул головой, осаживая копну волос, редеющую в глубине. Затылок ему обкромсали варварски.— Ты заботился о ней одно время — я знаю, молодцом. Но если у нее мерзавец отец и *кветч* [3] вместо матери, то как еще обращаться с таким человеком? На спасибо не рассчитывай.

— Я и не рассчитываю. Меньше чем за год я спустил двадцать тысяч. Все, что получил в наследство. А в результате имеем нору на Лейкпарк и поезда всю ночь. Трубы воняют. В доме бардак и грязь, русские книги, нестираное детское бельишко. И еще сдавай бутылки из-под кока-колы, пылесось, жги бумагу и собирай кости по всему дому.

— Она, сука, тебя испытывает: такой важный профессор, на конференции зовут, пишут со всего света. Она хочет, чтобы ты признал ее важность тоже. Ты *ферштер менш.*

Если все терпеть, души не спасешь. Мозес тихо поправил: — *Беримтер* [4].

— Те-бе — какая разница? Может, все дело не в славе твоей, а в эгоизме. Что не стать настоящим *менш?* В тебе это есть. А ты никак не надышишься своим драгоценным дерьмом. Вот уж повезло: такая редкая личность — и умирает от любви. Плакать хочется. Чушь собачья!

Общаться с Валентайном — все равно что предстоять царю. Хватка у него крепкая. Ему бы скипетр в руку. Да он и был царем — в области чувства, в полноте своего сердца. Словно по божественному духовному праву, он присваивал себе чужие чувства. Он греб их под себя, поскольку, считал, лучше распорядится ими. Крупная величина, такому все мелочь — кроме истины. (Смотри, опять истина!) Перед величием Герцог преклонялся, даже перед дутым величием (а уж такое ли оно было дутое?).

Они вышли освежиться по холодку. На Герсбахе была просторная, стянутая поясом штормовка, он шел с непокрытой головой, выдыхая пар, бороздил снег протезом. Мозес опустил поля своей зеленой, как смерть, велюровой шляпы: от искристого снега у него болели глаза.

Устами Валентайна высказывался человек, поднявший себя из руин, перенесший страдания, не многим выпавшие на их долю. Его отец умер от склероза. И у него будет склероз, он тоже от него умрет. О смерти он вещал — иначе это не назовешь, его глаза дивно вспыхивали, круглились, наливались, цепенели — навар души, думал о них Герцог, с пылу, с жару.

— Я как потерял ногу? — говорил Герсбах.— В Саратога-спрингс, мне семь лет, побежал за продавцом воздушных шариков, тот в дудочку дудел. И дернуло меня срезать дорогу через сортировочную, пополз под вагонами. Счастье, что тормозной кондуктор нашел меня сразу, как колесом оттяпало ногу. Завернул он меня в свое пальто и бегом в больницу. Когда я очнулся, из носа шла кровь. И я один в палате.— Герцог слушал с белым лицом, мороз его не румянил.— Нагибаюсь с кровати,— продолжал Герсбах сказочным тоном,— и на пол падает капля крови, а под кроватью мышь, сидит и смотрит на эту каплю. Потом отпряла, усами и хвостиком — дерг-дерг. И яркое-яркое солнце в палате...— (И на солнце бывают бури, подумал Герцог, а у него тишь и гладь.) — Под кроватью был свой, маленький мир. И тут я понял, что ноги у меня больше нет.

Валентайн, конечно, будет отрицать, что прослезился из жалости к себе. Скажет: черта с два! Не себя он оплакивал, а того малыша. Есть свои истории и у Мозеса, он их рассказывал сотни раз, так что ставить Герсбаху в вину заезженную пластинку не приходится. Но Герсбах поч-

[1] В гробу я это видел (*идиш*).
[2] Здесь: ведьма (*идиш*).
[3] Нытик, плакса (*идиш*).
[4] Знаменитый человек (*идиш*).

ти всегда плакал, и это было диковато при его слипающихся проволочно-медных ресницах; для ранимого сердца у него все-таки очень топорная внешность, широкое, с грубыми чертами, заросшее лицо, откровенно бульдожий подбородок. Согласно своим правилам, Мозес ставил выше себя всякого, кто больше страдал, а что Герсбах страдал больше, что его муки под товарным вагоном не шли в сравнение с какими-то там страданиями Мозеса,— это он с готовностью признавал. Мраморно-белое, измученное лицо Герсбаха было прошито посверкивающей щетиной красной бороды. Нижняя губа почти ушла под верхнюю. Какая громадная, жаркая скорбь! Плавка скорби!

Доктор Эдвиг, писал Герцог, *Вы неоднократно высказывали мнение о глубокой религиозности Маделин. В пору ее обращения, еще до нашей женитьбы, я не раз захаживал с ней в костел. Отлично помню... В Нью-Йорке...*

По ее настоянию. Однажды Герцог подвез ее к церкви на такси, и она велела ему войти с ней. Он просто обязан это сделать. Между ними не может быть отношений, сказала она, если он не уважает ее веру.— Но я вообще не разбираюсь в церквах,— сказал Мозес.

Она вышла из такси и взбежала по ступеням, уверенная, что он последует за ней. Расплатившись с водителем, он нагнал ее. Она плечом толкнула дверь-вертушку. Обмакнув руку в купель, она перекрестилась, словно всю жизнь только это и делала. Надо полагать, насмотрелась в кино. Но выражение пугающего одушевления на лице, пугливой растерянности и мольбы — это откуда? В сером костюме с беличьим воротничком и широкополой шляпе, она заспешила вперед на высоких каблуках. Сняв шляпу и прихватив пальцами ворот своего крапчатого пальто, Герцог поплелся следом. Тело Маделин словно подобралось, подтянулось к груди и плечам, лицо горело возбуждением. Строго забранные под шляпу волосы выбились, у висков повисли локонами. Церковь была новостройкой — маленькая, холодная, темная, сверкают лаком дубовые скамьи, у алтаря стылыми пятнами теплятся огоньки. В проходе Маделин преклонила колени. Что преклонила! — грянулась, поверглась на пол, в идеале, домыслил Герцог, простерлась ниц и выложила сердце на доски пола. Он сидел в ложе, зашторенный с обеих сторон рамой. Что он здесь делает? Он муж, отец. Женатый человек, еврей. Зачем он в этой церкви?

Прозвонили колокольцы. Проворный и скучный священник затараторил латынь. В ответствиях хор подстраивался к высокому, чистому голосу Маделин. Она перекрестилась. Встала на колени. Потом они вышли на улицу, ее лицо обрело обычный цвет. Она улыбнулась и сказала: — Поедем в какое-нибудь хорошее место и позавтракаем.

Мозес велел таксисту ехать в «Плазу».— Я одета неподходяще,— сказала она.

— Тогда поведу тебя в молочную Стейнберга, мне там даже больше нравится.

Но Маделин уже мазала губы, оправляла блузку, поправляла шляпу. Сколько в ней прелести! Лицо веселое, полное, румяное, пронзительной голубизны глаза. Никакого сравнения с нагоняющим страх менструальным холодом ее гнева, глядящего глазами убийцы. Из своего роскошного укрытия в преддверии «Плазы» к ним сбегал швейцар. Порывисто дул ветер. Она впорхнула в холл. Пальмы, розоватого тона ковры, позолота, лакеи...

Я не совсем понимаю, что Вы разумеете под словом «религиозная». Религиозная женщина может обнаружить, что разлюбила своего любовника или мужа. А что, если она его возненавидит? И будет постоянно желать его смерти? Причем особенно сильно желать ее в минуты их близости? Что, если в эти самые минуты он прочтет в ее голубых глазах это нескромное девичье желание? Я не простак, доктор Эдвиг, и частенько жалею об этом. Мало пользы иметь путаную голову и не быть при

этом философом. Я не ожидаю, чтобы религиозная женщина была душенькой, безгрешной киской. Но хотелось бы знать, почему Вы решили, что она глубоко религиозна.

Я сам каким-то образом влез в этот религиозный турнир. Вы, Маделин, Валентайн Герсбах — все талдычат о религии, и я тоже оскоромился. Решил побыть смиренником. Как будто идиотское безволие, мазохистское пресмыкательство, трусость — это все смирение, послушание, а не кошмарнейший распад. Ах, гадство! Терпеливейшая Гризельда[1] *Герцог! Из чистого милосердия я вставил вторые рамы и оставил дочь обеспеченной, оплачивая ренту, отопление, телефон, страховку, сам сидя на чемоданах. И едва я убрался, Маделин, Ваша святая, послала в полицейский участок мою фотографию. Если я хоть раз приду повидать свою дочь, она вызовет полицейскую машину. Ордер на арест у нее припасен. И ребенка приводил ко мне и потом уводил домой Валентайн Герсбах, еще один советчик и утешитель, поборник религии. Он приносил мне книги (Мартина Бубера). Велел изучать их. В нервной горячке я читал «Я и Ты», «Между богом и человеком», «Вера пророков». Потом мы их обсуждали.*

Вы, убежден, знаете взгляды Бубера. Несправедливо превращать человека (субъект) в вещь (объект). Посредством духовного диалога отношение «Я — Оно» становится отношением «Я — Ты». Бог объявляется в душе человека. И люди объявляются в душах друг друга. Иногда они объявляются в постелях друг у друга. Вы ведете диалог с человеком. Спите с его женой. Берете беднягу за руку. Смотрите ему в глаза. Подаете ему утешение. И все это время вы переустраиваете его жизнь. Вы даже рассчитываете его бюджет на годы вперед. Вы лишаете его дочери. И каким-то таинственным образом это все оборачивается глубокой религиозностью. Вдобавок ваши страдания превосходят его страдания, потому что вы больше грешник. И этим заходом вы добиваете его. Вы убеждали меня, что подозревать Герсбаха нет никаких оснований, даже намекнули на паранойю. Вы действительно не знали, что он был любовником Маделин? Она не говорила Вам? Наверно, не говорила, иначе Вы не стали бы убеждать меня в обратном. Еще бы ей не бояться частного детектива. Никакой психопатии тут не было. Ваша пациентка Маделин сообщала Вам только то, что хотела. Вы ничего не знали. И сейчас ничего не знаете. Она задурила Вас. К тому же Вы влюбились в нее, правда? На это она тоже рассчитывала. Ей нужно было угробить меня с Вашей помощью. Она бы так и так меня угробила. Но подвернулся такой удобный исполнитель. А я... Я был Вашим пациентом...

Уважаемый губернатор Стивенсон[2], писал Герцог, цепляясь за кресло в несущемся поезде, *у меня к Вам пара слов, дружище. Я поддерживал Вас в 1952-м. Вместе со многими я надеялся, что эта страна готова открыть великую эпоху в мировой истории, и наконец-то интеллект заявит о себе в общественной жизни, оживут страницы эмерсоновского «Американского ученого» — интеллектуалы займут подобающее им место. Но люди глухо отринули духовность, ее символы и идеи, возможно подозревая их в зарубежном происхождении. Свою веру они предпочли облеченной в реальные вещи. И все остается по-старому: одни много думают и ничего не решают, другие вовсе не думают, но явно вершат все дела. Полагаю, на свой лад, Вы содействуете такому положению. Я уверен, что нашему Кориолану тягостно дался его срок: целовать избирательские задницы, да еще в холодных штатах вроде Нью-Гэмпшира! Возможно, кое-что полезное за это десятилетие Вы таки сделали, являя нам старомодную самоуглубленность «гуманиста», фигуру «интеллигента», оплакивающего утрату личной жизни, принесенной на обществен-*

---

[1] «Терпеливая Гризельда» — образец супружеской верности и долготерпения у Боккаччо (последняя новелла «Декамерона»), Чосера, Т. Деккера.

[2] Эдлай Стивенсон (1900—1965) — один из лидеров Демократической партии США. В 1952 и 1956 гг.— кандидат на пост президента.

ный алтарь. Какая муть! Генерал победил, поставив на низкопробную всеобщую картофельную любовь.

А чего, собственно, ты хочешь, Герцог? Ангела с небеси? Его раздавит этот поезд.

Дорогая Рамона, если я по-хамски дал тягу, не думай, что ты мне безразлична. Отнюдь нет! Я почти постоянно ощущаю тебя рядом. Когда прошлый раз, на вечеринке, я увидел тебя у противоположной стены— в шляпе с цветами, напустившую волосы на пылающие щеки,— мне пронзительно открылось, как сильно тебя можно любить.

Он мысленно кричал: Выйди за меня замуж! Будь моей женой! Прекрати мои мучения! — и сам поражался своему безрассудству, слабости, наконец, характерности этого параксизма, поскольку увидел в нем нервный срыв — типичный. Мы должны быть самими собою. Это непреложно. Но — каковы мы? Убежав от Рамоны, он сейчас старается прилепиться к ней. Он думал, что привязывает ее к себе, а между тем сам связал себе руки, и венцом этой хитроумной дурости будет сунуться в ловушку. Саморазвитие, самоосуществление, счастье — вот какими словами прикрывается этот идиотизм. Ах, бедняга! — и Герцог свысока взглянул на самого себя, смыкаясь с объективным миром. Он тоже может посмеяться над Герцогом, попрезирать его. Но факт остается фактом: Герцог — это я. Мне назначено быть этим человеком. Мне, а не кому другому. И, отсмеявшись, нужно возвращаться в самого себя и разбираться. Теперь с этой бредовой идеей о третьей миссис Герцог. Вот что понаделали детские фиксации, ранние травмы, и из них не вылиняешь, не бросишь выползок — не цикада. Подлинная личность, способная распоряжаться жизнью и смертью, доселе не существовала. Только безумцы, мученики либо выродки и шуты еще надеялись обрести какой-то там идеал влечением к нему, силой своего непомерного хотения. Но чаще они вынуждали человечество поверить им, беря его на испуг.

Во многих отношениях лучшей жены, чем Рамона, не приходилось желать. Толковая. Образованная. Живет в хорошем районе. Обеспеченная. А в сексуальном отношении просто чудо природы. Какая грудь! Роскошные плечи. Подобранный живот. Ноги коротковаты и кривоваты, но в этом их особая прелесть. Казалось бы, не зевай. Но кое-где еще оставалось отлюбить и отненавидеть. Герцог еще не подвел черту.

Дорогая Зинка, ты мне снилась на прошлой неделе. Мы гуляли по Любляне, и я тогда же купил билет в Триест. Мне не хотелось уезжать. Но для тебя лучше, чтобы я уехал. Шел снег. Он не только во сне шел. Он пошел при мне даже в Венеции. В этом году я объездил полсвета и перевидал такое множество людей, что, кажется, никого не пропустил, кроме мертвых. Хотя их-то, может, я и искал. Уважаемый господин Неру, мне надо сказать Вам одну чрезвычайно важную вещь. Уважаемый господин Кинг, алабамские негры преисполнили меня восхищением. Белой Америке грозит деполитизация. Будем надеяться, что негры потревожат сонное царство большинства. В условиях современной демократии общественную проблему делает политической ее жизненность. Если она отвлекается в область фантастики, политика как таковая кончается. Я, со своей стороны, не могу не признать нравственное достоинство Вашей группы. Его нет ни у таких, как Пауэлл, в продажности не желающих уступить белым демагогам, ни у мусульман, строящих на ненависти.

Уважаемый начальник полиции Уилсон, я Ваш сосед на прошлогодней конференции по наркотикам, Герцог, полноватый темноглазый господин со шрамом на шее, с сединами, в традиционном костюме интеллектуальной элиты (жена выбирала), с плохой стрижкой (чересчур молодящей). *Не откажите выслушать некоторые соображения относительно полицейской службы. Один человек не может быть ответствен за то, что не поддерживается общественный порядок. Но я очень заинтересованное лицо. У меня маленькая дочь, она живет рядом с Джексон-парком, а мы с Вами хорошо знаем, что парки патрулируются недостаточно.*

Из-за хулиганских банд в них просто опасно входить. Уважаемый господин олдермен, так ли необходимо, чтобы армия сохраняла зенитную установку в Пойнте? Абсолютно бесполезную, на мой взгляд, устарелую и только занимающую место? В городе масса других площадок. Не передвинуть ли это никому не нужное железо поближе к какой-нибудь свалке?

Быстрее, еще быстрее! Поезд пронзал пейзаж. Он вихрем миновал Нью-Хейвен. Он изо всех сил рвался в Род-Айленд. Невнимательно смотревший в тонированное, наглухо запечатанное окно Герцог чувствовал, как его растревоженный, летучий дух говорливо изливается, вникает, высказывает ясные суждения, выносит окончательные оценки, находит только самые нужные слова. Он испытывал головокружительный восторг. Одновременно он сознавал, что его суждения обнаруживают непомерную, неправомерную повелительность и упрямство, присущую его душевной организации занудливость.

Дорогой Мозес Е. Герцог, с каких это пор Вы зажглись интересом к общественным проблемам, к внешнему миру? Еще недавно Вы вели жизнь блаженного ленивца. И вдруг на Вас нисходит фаустовское недовольство, стремление переделать весь мир. Вы брюзжите, бранитесь.

Уважаемые господа, информационная служба любезно прислала мне из Белграда посылку с зимней одеждой. Я не захотел брать кальсоны в Италию, в этот ссыльный рай, и пожалел потом. Когда я приехал в Венецию, там шел снег. Я не смог взойти на речной трамвай с моим чемоданом.

Уважаемый господин Юдалл[1]*, недавно я летел на северо-запад с нефтяником, и он сказал мне, что наши собственные запасы нефти почти истощены и есть проект взорвать на обоих полюсах водородные бомбы, чтобы добраться до тамошней нефти. Что Вы скажете на этот счет?*

Шапиро!

Герцогу предстояло серьезно объясниться с Шапиро, и тот безусловно ждал его объяснений. Добродушием Шапиро не отличался, хотя выражение лица сохранял добродушное. У него острый, злой нос, и только улыбчивость выручает его злые губы. Белые пухлявые щеки, редкие волосы, зачесанные назад, отливающие по моде двадцатых годов, как у Рудольфа Валентино или Рикардо Кортеса. Он плотного сложения, но одевается щеголевато.

При всем том Шапиро на сей раз в своем праве. *Шапиро, мне давно следовало написать Вам... извиниться... загладить вину...* Правда, у меня замечательная уважительная причина: неприятности, болезнь, нервы, тоска. *Вы написали прекрасную монографию. Надеюсь, из моей рецензии это явствует со всей определенностью. Только в одном случае меня подвела память, и про Иоахима Флорского я наврал.* Вместе с Иоахимом простите великодушно. Я был в жутком состоянии. Еще до всех неприятностей согласившись отрецензировать сочинение Шапиро, Герцог уже не мог отвязаться от этого дела. И таскал тяжеленный том в чемодане по всей Европе. У него стало болеть в боку, он боялся заработать грыжу и вдобавок переплачивал за лишний вес. Герцог домучивал книгу из соображений дисциплины и под давлением растущего чувства вины. Под визг трамваев в стылой ночи он читал ее в белградском «Метрополе», прихватив в постель бутылку с вишневым соком. *Наконец в Венеции я сел и написал рецензию.*

Свои промахи я объясняю таким образом:

Допускаю, коль скоро он в Мадисоне (штат Висконсин), *что Вы слышали, как я погорел в Чикаго в октябре прошлого года. Дом в Людевилле мы к тому времени уже покинули. Маделин захотела остепениться в области славянских языков. Это значило прослушать десяток лингвистических курсов, к тому же она увлеклась санскритом. А как она от-*

[1] Стюарт Юдалл — министр внутренних дел при Кеннеди и Джонсоне (1961—1969).

дается делу, Вы можете себе представить — с ее кругозором и страстностью. Помните, когда Вы два года назад навещали нас в деревне, мы обсуждали Чикаго? Мол, разумно ли прозябать в захолустье?

Одетый как для званого обеда, в элегантном костюме в полоску и остроносых туфлях, Шапиро сидел на лужайке у Герцогов. У него худощавый профиль. Острый нос, провислый зоб и чуть припухлые у губ щеки. Шапиро вообще большой угодник, а тут еще Маделин произвела на него впечатление. Такая красивая, думал он, такая умная. Все правильно. Завязался живой разговор. Приехав к Мозесу якобы «посоветоваться» (а на самом деле заручиться поддержкой), Шапиро блаженствовал в обществе Маделин. Она возбуждала его, он смеялся, даже прихлебывая хинную воду. День был жаркий, но свой консервативный галстук он не ослабил. Сверкали его остроносые черные туфли; у него толстые ступни, с высоким подъемом. В рваных нелинючих брюках Мозес сидел на подстриженной им траве. Взбудораженный Маделин, Шапиро оживился чрезвычайно, только что не визжал от смеха, а смехом он разражался то и дело, необузданно и беспричинно. Тем строже, взвешеннее, благоразумнее старался он подать себя. Высказывался длинными периодами — прустовскими, должно быть, мнилось ему, хотя это была немецкая тягомотина, помноженная на чудовищную фанаберию.— В конечном счете, я не отважусь дать оценку тенденции, требующей более тщательного анализа,— такими словами он говорил. Бедный Шапиро. Жалкая тварь. Этот рычащий буйный смех, эти пенящиеся губы, когда он облаивает всех и вся. На Маделин он тоже действовал возбуждающе, и она тоже подавала себя в лучшем виде. Они заводили друг друга с полоборота.

Она несла из дома бутылки и стаканы на подносе, там же сыр, печеночный паштет, крекеры, лед, селедка. На ней голубые брюки и желтая китайская блузка, на голове приглянувшаяся мне на Пятой авеню панама конусом, как у кули. У нее, она говорила, бывают солнечные удары. От укрывшегося в тени дома она стремила свою побежку к искрящемуся газону, кошка прыскала из-под ног, звякали бутылки и стаканы. Она спешила, боясь потерять нить разговора. Когда, склонившись, она разгружала поднос на садовый столик, Шапиро прикипел взглядом к ее туго обтянутому крупу.

«Затерянная в лесу» Маделин рвалась к ученому разговору. Шапиро знал литературу по всем областям — он читал все, что печаталось; у него были книжные связи по всему свету. Выяснив, что Маделин не только красавица, но еще готовит докторскую работу по славистике, он сказал: — Какая прелесть! — Причем сам понял, выдав себя нажимным тоном, насколько неестественно это «Какая прелесть» в устах русского еврея из чикагского Вест-сайда. Такое сошло бы немецкому еврею из Кенвуда: капиталец помещается в мануфактурном деле с 1880-го. А у Шапиро-отца денег не было, он торговал с тележки гнилыми яблоками. В тех побитых, порченых яблоках, как и в самом старике Шапиро, пахнувшем лошадью и своими паданцами, было больше правды жизни, чем в самых ученых рефератах.

Маделин и достойный гость толковали о русской церкви, о Тихоне Задонском, Достоевском и Герцене. Шапиро привел великое множество ученых справок, правильно произнося все иностранные слова — французские, немецкие, сербские, итальянские, венгерские, турецкие, датские,— выпаливая их со смехом, этим своим здоровым, обезоруживающим, лающим, безадресным смехом, выставляя мокрые зубы и запрокидывая голову. Ха! Хвороста хруст («Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом» [1]). Гремели хоры цикад. В том году они вышли из земли.

При таких воздействиях с лицом Мади стали происходить странные вещи. Задвигался кончик носа, с нервическим нетерпением заерзали, словно сдергивая пелену с глаз, ее не знавшие косметики брови. Доктор

[1] Екклесиаст, 7, 6.

Эдвиг скажет: первый признак паранойи. Под гигантскими деревьями, в окружении Беркширских склонов, без единого дома, портящего вид, стояла свежая, густая, тонкорунная трава, чудесная июньская трава. Красноглазые цикады, плоские, яркой окраски коробочки, после линьки мокрые, лежали недвижимо, а подсохнув, копошились, подскакивали, валились на бок, взлетали и на высоких деревах сильно включались в несмолкаемую песнь.

Культура, идеи вытеснили Церковь из сердца Мади (странный он у нее, этот орган!). Ушедший в свои мысли Герцог сидел на людевилльской траве в нелинючих рваных брюках, босой, но лицо не обманет: образованный, воспитанный еврей, тонкогубый и темноглазый. Он смотрел на жену, которую обожал (всем своим встревоженным, сердитым сердцем — еще одно редкое сердце), а та знай раскрывала перед Шапиро свои духовные богатства.

— Я знаю русский хуже, чем полагалось бы,— сказал Шапиро.

— Но вы столько знаете о моем предмете,— сказала Маделин.

Она была совершенно счастлива. Лицо пылало, голубые глаза потеплели и зажглись.

Перешли к новой теме: революция 1848 года. У Шапиро вымок от пота крахмальный воротник. Такой полосатой сорочкой позволительно соблазниться разве металлургу-хорвату, бредящему долларами. Как он относится к Бакунину, Кропоткину? Читал ли работу Комфорта? Читал. А Поджоли? Тоже. И считает, что Поджоли не отдал должное некоторым важным фигурам — хотя бы Розанову. Хотя Розанов имел вполне безумные представления о некоторых вещах, например, о еврейском ритуальном омовении, но он громадная фигура, его эротический мистицизм в высшей степени оригинален. В высшей степени. Русские на это способны. Их вклад в западную цивилизацию велик, при том что они всегда отвергали Запад и высмеивали его. По наблюдениям Герцога, Маделин возбудилась до опасной степени. Когда ее голос стал крепнуть и в горле зазвучал кларнет, он уже знал, что ее распирают мысли и чувства. И то, что он не вступал в разговор, а сидел, по ее словам, как чурбан, скучал и дулся, доказывало, что он не уважает ее интеллект. Герсбах — тот будет гудеть не умолкая. И такая у него эмфатическая погудка, так выразительны глаза, таким умником выглядит, что не успеваешь задаться вопросом: а есть ли вообще смысл в его говорении?

С лужайки на склоне открывался вид на поля и леса. Зеленая полянка сбегала слезой, и в источной ее части стоял серебристый вяз, пораженный голландской болезнью, обагрившей серую кожу исполина. Бедновато листвы для этакой силищи. Серым сердечком свисало с ветвей гнездо иволги. Из-за господней завесы вещи смотрят загадочно. Будь в них меньше особенностей, подробностей, роскошества, я нашел бы среди них больше умиротворения для себя. Но я приговоренный перцепиент, подневольный свидетель. Они бередят мне душу. Между тем обитаю я в уныло-дощатом доме. Вяз заботил Мозеса. Не срубить ли? Очень не хотелось. И между тем крутили кольцо в брюшке, сокращали роговую заднюю связку цикады. Из обступившей чащи глядели, таращились миллионы красных глаз, и крутые приливные волны звука затопляли летний полдень. Редко случалось ему слышать такую красоту, как этот множественный неумолчный верезг.

Шапиро упомянул Соловьева (Соловьева-сына). Правда, что ему было видение — причем где! — в Британском музее? Как по заказу, Маделин в свое время проштудировала младшего Соловьева, и теперь был ее выход. Она уже не стеснялась свободно высказываться при Шапиро — ее оценят, и по достоинству. Последовала краткая лекция о жизни и философии давно умершего русского. Мозесу достался ее оскорбленный взгляд. Она пожаловалась, что он никогда не слушает ее по-настоящему. Только сам хочет блистать все время. Но причина была в другом. Эту самую лекцию он слышал много раз, причем далеко за полночь. И уж тогда ему точно было не до сна. Вообще говоря, в тех обстоятель-

ствах, в их беркширском затворничестве, был неизбежен принцип qui pro quo [1], ему приходилось обсуждать с ней запутанные проблемы Руссо и Гегеля. Он целиком доверял ее суждениям. До Соловьева она рассказывала ему — о ком бы, вы думали? — о Жозефе де Местре. А де Местру, выстраивал он список, предшествовали Французская революция, Элеонора Аквитанская, шлимановские раскопки в Трое, экстрасенсорное восприятие, потом гадальные карты, еще потом христианская наука, а до нее Мирабо или детективы (Джозефин Тей)? А может, научная фантастика (Айзек Азимов)? Напор не ослабевал. Постоянным ее пристрастием оставались детективы с убийством. За день она проглатывала их три-четыре.

От нагревшейся под травой черной земли поднимались холодные испарения. У Герцога стыли босые ноги.

От Соловьева Мади естественным образом перешла к Бердяеву и, разбирая «О рабстве и свободе человека» (концепция соборности), открыла банку с маринованной селедкой. Шапиро моментально пустил слюну и в срочном порядке понес ко рту сложенный носовой платок. Герцог помнил его страшным обжорой. В их школьной спаленке на двоих он, громко чавкая, уминал свои ржаные с луком сандвичи. Сейчас от запаха специй и уксуса у Шапиро поплыли глаза, хотя вид он сохранял достойный, одухотворенный, промокал платком выбритые щеки. Пухлая безволосая рука, перебор пальцев.— Нет, нет,— говорит он.— Премного благодарен, миссис Герцог. Прелесть! Но у меня трудности с желудком.— Трудности! У тебя язва. Из самолюбия боится сказать; психосоматические неполадки, ясное дело, не украшают. Позже в тот день его стошнило в раковину. Клюнул на наживку, думал Герцог, убирая за ним. Но почему не в туалете — живот мешал нагнуться?

Впрочем, гость на дворе — и беда на дворе. Еще раньше, вспомнил Герцог, приехали Герсбахи, Валентайн и Феба. Они остановили свой малютку-автомобиль под катальпой, в ту пору усыпанной цветами вперемежку с прошлогодней лузгой. Из машины выбрались и направились к ним характерно колыхавшийся на ходу Валентайн и жалобно звавшая его — Вэ-эл, Вэ-эл! — бледнолицая во всякое время года Феба. Она приехала вернуть огнеупорную кастрюльку, гордость железных кастрюль Маделин, красную, как панцирь омара, «Десковер» (made in Belgium). Их наезды — непонятно почему — часто портили ему настроение. Маделин велела принести еще складных стульев. А может, его разбередил преловатый медовый запах белых колокольчиков катальпы. С исподней стороны слабо разлинованные розовым, отягченные пыльцой, они усеяли гравий. Какая красота! Маленький Эфраим Герсбах сгребал колокольчики в кучу. Мозес с большим удовольствием отправился за стульями — в пыльный беспорядок дома, в глухую каменную укромность подвала. Он не спешил со стульями.

Когда он вернулся, все говорили о Чикаго. Запустивший руки в задние карманы брюк, свежевыбритый, с густым медным подбоем оперенья, Герсбах подавал совет бежать ко всем чертям из этого болота. Видит Бог, тут ничего не происходит со времен сражения у Саратоги, что за горами. Усталая и бледная Феба курила сигарету, слабо улыбаясь и, наверно, желая, чтобы про нее забыли. Рядом с напористыми, образованными, речистыми людьми она чувствовала себя простушкой, неполноценной. На самом деле она далеко не глупа. У нее красивые глаза, грудь, хорошие ноги. Зря она строит из себя старшую медсестру — тогда и залегают педагогические складки на месте ямочек.

— Чикаго всенепременно! — говорил Шапиро.— Лучшая школа для аспиранта. И тамошнее сонное царство воспрянет с такой ученицей, как миссис Герцог.

Лопай селедку, подумал Герцог, и знай свое вонючее дело. Маделин бросила на мужа быстрый косой взгляд. Она была на верху бла-

[1] Одно вместо другого (*лат.*).

женства. Пусть, пусть ему напомнят, если он сам забыл, как высоко ее ценят окружающие.

Как бы то ни было, Шапиро, меня не увлекли ни Иоахим Флорский, ни сокровенная судьба Человека. Ничего особо сокровенного я там не видел — все ясно до боли. Слушай, давным-давно много понимающим о себе студентом ты сказал, что однажды мы «подискутируем», имея в виду наши серьезные расхождения во взглядах уже в ту пору. Я думаю, они обозначились в прудоновском семинаре и в наших долгих коридорных спорах об руку со стариком Ларсоном о крушении религиозных основ цивилизации. Неужели все традиции исчерпаны, верования иссякли, сознание масс не готово к дальнейшему развитию? Неужели пошел полный распад? Неужели приспел такой гнусный срок, когда нравственное чувство отмирает, совесть глохнет и обычай уважать свободы, законы, общественные приличия и что там еще изводится трусостью, маразмом, кровью? От темных и злых предвидений старика Прудона не отмахнешься. Но мы не должны забывать о том, как быстро гениальные предвидения превращаются в интеллектуальные консервы. Консервированная кислая капуста шпенглеровского «Прусского социализма» [1], *банальности на тему Опустошенной земли, дешевая духовная затравка отчуждения, словесный понос по случаю неподлинности и заброшенности. Я не могу принять этот мрачный бред. Мы говорим о целостной жизни человечества. Слишком высок предмет — и слишком глубок, чтобы праздновать труса и слабака,— слишком глубок, Шапиро, слишком высок. Я безумно страдаю, что тебя не туда занесло. Чисто эстетическая критика современной истории! Это после войн и массовых истреблений! Ты умнее этого. В тебе хорошая кровь. Твой отец продавал яблоки.*

Опять же не скажу, что моя позиция проста. В этом веке мы — уцелевшие, и поэтому теории прогресса не про нас: мы слишком хорошо знаем ему цену. Это страшно — осознавать себя уцелевшим. От сознания того, что ты избранник, хочется плакать. Когда мертвые уходят, ты взываешь к ним, но они уходят черным облаком лиц и душ. Они выпархивают дымком из труб лагерей уничтожения и оставляют тебя на ярком свету исторического торжества — торжества западной техники. И под грохот крови ты понимаешь, что делает это — человечество, и делает во славу свою, оглушаясь грохотом крови. Сплоченные страшными войнами, в непроходимой нашей глупости ученные революциями, голодом, напущенным «идеологами» (наследниками Маркса и Гегеля, расфасовщиками консервированного разума),— может, мы, современное человечество, сделали-таки практически невозможное, а именно: чему-то (возможно ли?) научились. Ты знаешь, что упадок и гибель цивилизации совершаются не по античной модели. Старые империи рухнули, но силы, которыми они держались, окрепли как никогда. Я не скажу, что мне по душе видеть процветающую Германию. Но что есть — то есть, не прошло и двадцати лет, как ее сокрушил дьявольский нигилизм Гитлера. А Франция? Англия? Нет, аналогии с упадком и гибелью классического мира мы не выдерживаем. Происходит что-то другое, и это другое ближе предвидению Конта (плоды рационально организованного труда), нежели провидению Шпенглера. Из всех зол стандартизации в шпенглеровской буржуазной Европе наихудшим, наверно, был стандартизированный педантизм самих шпенглеров, это лютое свирепство, производное Gymnasium [2] *и культурной муштры бюрократами старой школы!*

В деревне я предполагал вписать новую страницу в историю романтизма, показать, как в условиях современной Европы в нем реализовались зависть и честолюбие плебея. Поднимавший голову плебс требовал пищи, власти и сексуальных привилегий — это так. Но еще он требовал для себя, на правах наследования, старорежимных аристократических прерогатив, кои в новейшее время могут обернуться правом говорить об

---

[1] Имеется в виду книга немецкого философа Освальда Шпенглера «Прусачество и социализм».

[2] Гимназия (*нем.*).

упадке. В области культуры новоявленные просвещенные классы смешали в одну кучу эстетические и нравственные оценки. Они начали гневным осуждением индустриальной порчи пейзажа (британский вариант «Темпейских долин» у Рескина) [1], *а кончили забвением старомодных нравственных установок Рескина и иже с ним. В конечном счете они готовы отказать в человечности индустриализированным, «оболванившимся» массам. Мудрено ли, что пророки Опустошенной земли уподобились тоталитаристам. Вопрос об ответственности художника остается в силе. Надо сознавать, например, что вырождение языка и его обесценивание суть дегуманизация общества, прямиком ведущая к фашизму в культуре.*

Еще я планировал всесторонне рассмотреть вопрос о моделях (imitatio) в истории цивилизации. Долгое время занимаясь ancien régime [2], *я отваживаюсь предложить теорию о воздействии на личность француза (и вообще европейца), высоких традиций двора, политики и театра Людовика XIV. Приватность буржуазного бытия в новейшее время лишила людей способности переживать Большие Страсти, зато получила развитие самая, может быть, яркая, но и менее всего душевная романтическая тенденция. (Эта своего рода личная драма сказывается — среди прочего — в том, что перед колониальным миром западная цивилизация разыгрывает из себя аристократку.) Когда ты приехал, я работал над главой «Американский джентльмен» — это краткий очерк восхождения по общественной лестнице. Я сам в Людевилле — чем не сквайр Герцог? Или граф Потоцкий-Беркширский. Смешно переплетаются события, Шапиро. Когда вы с Маделин, закусив удила, кокетничали, хвастались, выставляли напоказ белые острые зубы — травили ученые разговоры, я в это самое время пытался критически оценить свое положение. Мне было ясно, что Маделин спит и видит вытеснить меня из научного мира. Обскакать. Ей предстоял последний рывок к вершине, а там она королева интеллектуалов, железный синий чулок. И под изящным острым каблучком извивается твой друг Герцог.*

Эх, Шапиро, победитель при Ватерлоо отошел в сторонку оплакать павших (которых сам послал на смерть). Не такова моя бывшая половина. В жизни она не разрывается между разными Заветами. Она покрепче Веллингтона. Ее прельщают «одержимые профессии», как называет их Валери,— то есть такие, где основным инструментом является твое собственное мнение о себе, а сырьем — твоя репутация или положение.

Что касается твоей книги, то в ней чересчур много вымышленной истории. В значительной мере это просто утопия. Я никогда не переменю своего мнения. При этом мне очень понравилась твоя мысль о тысячелетнем царстве и паранойе. Кстати, Маделин таки выманила меня из научного мира, вошла в него сама, захлопнула дверь и теперь сплетничает там обо мне.

Не то чтобы она была страшно оригинальной, эта идея Шапиро, но поработал он головой на совесть. *В своей рецензии я высказал предположение, что психологи-клиницисты могли бы стать захватывающе интересными историками. Лишить профессионалов куска хлеба. Мегаломания в случае с фараонами и римскими императорами. Меланхолия в средние века. Шизофрения в восемнадцатом столетии. Теперь этот болгарин, Банович, всякую борьбу за власть трактует как параноидное умонастроение* — чудно́е, неприятное направление ума (у Бановича, то есть), исходящее из того, что миром всегда правит безумие. Диктатору нужны живые массы и гора трупов. Человечество предстает в виде каннибалов, рыщущих стаями, горланящих, оплакивающих свои же убийства, вытесняющих живую жизнь как отработанный шлак. Дорогой Мозес Елкана, не убаюкивай себя детскими погремушками и байками матушки-Гусыни.

[1] Джон Рескин (1819—1900) — английский писатель, теоретик искусства, идеолог прерафаэлитов.

[2] Старый порядок, режим (*франц.*) — о режиме во Франции до буржуазной революции 1789 г.

Сердца, взбадривающие себя дешевым, жиденьким милосердием или сочащиеся картофельной любовью, не пишут историю. Если на то пошло, Шапиро смотрит в корень, благодаря своим кусачим зубам, прожорливости, брызжущей слюной, и язве, ножом сидящей в брюхе. Фонтаны крови из свежих могил! Поголовная резня! Никогда не мог понять этого.

Недавно я взял у психиатра симптоматику паранойи, я просил его выписать для меня ее признаки. Думал, поможет кое в чем разобраться. Он охотно составил такой список. Я ношу его в бумажнике и затверживаю, как казни египетские. Как «Дом, цфардеа, кинним» в Хаггаде [1]. Вот он: «Чувство собственного достоинства, гневливость, неумеренный «рационализм», гомосексуальные наклонности, дух соперничества, недоверие к чувствам, нетерпимость к критике, враждебные замыслы, мании». Будьте любезны — все это имеется! Я за каждым определением вижу Мади, и хотя у нее еще все впереди, мне ясно, что бросить на нее малютку никак нельзя. Мади не Дейзи. Та жесткая, со скверным характером, но положиться на нее можно. Марко перенес испытания вполне благополучно.

Бросив Шапиро — письмо вызвало слишком много больных мыслей, а как раз этого следовало избегать, если решил устроить себе отдых,— он обратился к брату Александру. *Дорогой Шура,* писал он, *кажется, я должен тебе 1500 долларов. Что, если мы округлим цифру до 2000? Очень нужно. Чтобы привести себя в норму.* У Герцогов были свои фамильные проблемы, но скупость не входила в их число. Мозес знал: плутократ нажмет кнопку и скажет секретарю: — Пошлите чек раздолбаю Мозесу Герцогу.— Он посматривает из лимузина с княжеским высокомерием, его красивый, плотный, седоволосый брат, на нем костюм, которому нет цены, вигоневое пальто, итальянская шляпа, его побрили за миллион долларов и розовым лаком покрыли ногти унизанных перстнями пальцев. Шура всех знал, всех покупал и всех презирал. Мозеса, из родственных чувств, он презирал меньше других. Шура, если хотите, истинный ученик Томаса Гоббса. Мировые проблемы для дураков. Жируй во чреве Левиафана и являй обществу гедонистический пример — чего лучше? Шуру забавляло, что Мозес может его любить. А Мозес любил родню откровенно и неуклюже. Любил брата Уилли, сестру Хелен, кровных братьев и сестер. Он сознавал свою детскость. Оставалось только сокрушаться о вопиющем изъяне в своем духовном развитии. Порой он задумывался, мысля привычными категориями, не есть ли это его архаическая грань, доисторическая. Чувство племени, что ли. Связанное с поклонением предкам и тотемизмом.

Поскольку у меня вышли неприятности с законом, может, ты порекомендуешь адвоката. Кого-нибудь из своей же, шуриной команды, тогда и платить не придется.

Сейчас он составлял в голове письмо Сандору Химмельштайну, чикагскому адвокату, который опекал его прошлой осенью, когда Маделин выставила его из дому. *Сандор! Последний раз я писал тебе из Турции. Каково?* Хотя для Сандора, пожалуй, подходяще: все-таки страна «Тысячи и одной ночи», а в Сандоре много от восточного базара — при том, что его контора размещается на четырнадцатом этаже бернемовского [2] здания на одной улице с Сити-холл. Герцог познакомился с ним в парилке Постловского клуба здоровья, на углу Рэндолф и Уэллс-стрит. Сандор — коротышка с перекореженной грудной клеткой. В Нормандии, объясняет он. Вероятно, он проходил как крупный карлик, когда его брали в армию. Получается, что в военно-юридический штабной отдел комиссия пропускала даже карликов. Герцог, надо думать, стеснялся того обстоятельства, что его из-за астмы списали с корабля и он не ви-

[1] «Кровь, жабы, мошки» (*иврит*) в сказании об исходе из Египта, которое читается на Пасху.

[2] Даниэл Хадсон Бернем — американский архитектор и глава фирмы, в конце XIX в. построившей в Чикаго ряд общественных зданий.

дел военных действий. Между тем этот карлик и горбун получил свою фугаску перед самой высадкой десанта. Почему он и горбун. Еще о нем: гордое, острое, красивое лицо, бледные губы и болезненного цвета кожа, крупный нос, редкие седые волосы. *В Турции я был в плачевном состоянии.* Опять же из-за погоды в том числе. Весна вовсю ломилась в дверь, но вдруг воздух переменился. Небо закрылось над белыми мечетями. Пошел снег. Одетые в брюки, мужеподобные турчанки закрывали чадрой свои строгие лица. Никогда не предполагал за ними такой крепкой, крупной походки. На улице был свален уголь, но его не разбирали и печей соответственно не топили. Герцог пил в кафе сливянку и чай, для разогрева крови тер руки и шевелил пальцами в ботинках. Он был озабочен тогда кровообращением. Вид заснеженных первых цветов добавил ему хандры.

Я послал вам запоздалое письмишко, тебе и Би, с благодарностью за то, что вы меня приютили. Не какие-нибудь старые друзья, а просто — знакомые. Гость я наверняка был трудный. Больной, злой — сломленный паскудством. Пью таблетки, а сна нет, хожу с ватной головой, от виски началась тахикардия. Мое место было в психиатрической палате. *Примите мою благодарность. Я был очень вам благодарен.* Дипломатической благодарностью бессилия — страдалец, снедаемый яростью. Сандор меня забрал. Я был ни на что не годен. Он перевез меня к себе, в южную часть города, это десять кварталов от Иллинойского вокзала. Машину Мади оставила у себя, якобы для Джуни — возить ее в зоопарк и вообще.

Сандор сказал: — Рядом с выпивкой, считаю, ты не откажешься спать,— потому что раскладушка стояла рядом с баром. В комнате толклась школьная компания Кармел Химмельштайн.

— Вон отсюда! — завизжал на подростков Сандор.— Накурили-то — хоть очки надевай! Вам лучше пепельницы нет, чем бутылка из-под кока-колы? — Он включил кондиционер, а Мозес, еще красный с холода, с белыми полукружиями под глазами, продолжал стоять с чемоданом — тем самым, что сейчас лежал у него на коленях. Сандор убрал фужеры с полок.— Разгружайся, малыш,— сказал он.— Складывай свои пожитки. Через двадцать минут едим. Би в ударе. Sauerbraten[1]. Фирменное блюдо.

Мозес послушно выложил на полки свое добро: зубная щетка, бритва, гигиеническая присыпка, снотворное, носки, монография Шапиро, старенькое малоформатное издание Блейка. Закладкой в нем была полоска бумаги с выписанной доктором Эдвигом симптоматикой паранойи.

После обеда, в первый же вечер у Химмельштайнов, Мозес начал с досадой убеждаться в том, что, воспользовавшись гостеприимством Сандора, совершил очередную, характерную для себя оплошность.

— Выкарабкаешься. Ничего страшного. Справишься,— говорил Сандор.— Я на тебя ставлю! Ты умничка.

И темноволосая Беатрис с яркими, без помады, прелестными губами сказала: — Мозес, мы понимаем, как ты переживаешь.

— Суки приходят и уходят,— сказал Сандор.— Знал бы ты их повадки — и что вообще творится в нашем городе Чикаго.— Он помотал тяжелой головой и свел губы в брезгливую гримасу.— Если она хочет уходить — хер с ней! Пусть уходит. Тебе же лучше. Значит, был прокол. Велика беда! Все на ком-нибудь прокалываются. Я, например, сам от голубоглазых натерпелся. Но у меня хватило ума влюбиться в эту прекрасную пару карих глаз. Чем не хороша, скажи?

— Всем хороша.— Надо уважить. Не убудет, в самом деле. В сорок с гаком уже не теряешься в такие минуты. Что у пуританина ложь, то у культурного человека — вежливость.

— Никогда не пойму, чем ей-то приглянулся такой урод. В общем, так, Мозес: пока побудешь у нас. Тебе сейчас нельзя без друзей. Я знаю,

[1] Жаркое, тушенное с уксусом (*нем.*).

у тебя тут родные. Встречаю твоих братцев в «Фритцелзе». С вашим средним на днях разговаривал.

— С Уиллом.

— Замечательный парень, активно участвует в еврейской жизни,— сказал Сандор.— Не то, что этот *махер* [1], ваш Александр. Чего о нем только не говорят. Вчера он в игровом рэкете, сегодня снюхался с Джимми Хоффой [2], завтра заодно с группой Дирксена [3]. Что ж, они высоко летают, твои братья. Только у них ты бы извелся. А тут тебе никто не будет задавать вопросов.

— У нас ты можешь расслабиться,— сказала Беатрис.

— Не понимаю я ничего,— сказал Мозес.— Всякое у нас было, но вроде бы жизнь налаживалась. Весной встал практический вопрос: связывать мне себя арендой? — и мы всерьез обсуждали перспективы нашего брака. Мади сказала, что как только кончит диссертацию, мы заведем второго ребенка...

— Слушай меня,— сказал Сандор.— Если хочешь знать, ты сам напортачил.

— Каким образом?

— Потому что сам с претензиями — и женился на бабе с претензиями. Каждый интеллектуал по-своему мудак. Вы на свои же вопросы не знаете ответа. Хотя ты как раз не безнадежен, Моше.

— А именно?

— Ты не прохиндей, как вся ваша университетская бражка. Ты mensch. На что годятся эти гребаные умники? За благородное дело берется темный мужик вроде меня. Пусть у себя в конторе они держат портрет Лернида Хэнда [4], йейльские пижоны, только искать концы в Трамбул-парке, или пугать дристунов в Дирфилде, или вступаться за того же Томпкинса...— Сандор гордился успехом в деле негра Томпкинса, почтового служащего, своего подзащитного.

— С Томпкинсом, понятно, хотели разделаться потому, что он негр,— сказал Герцог.— Но увы, он еще пьяница. Ты сам говорил. И стоял вопрос о его соответствии.

— Забудь, что ты сейчас сказал,— велел ему Сандор.— Этим могут злоупотребить. Не болтай о том, что тебе сказали конфиденциально. Там стоял вопрос о законности. Белые служащие не пьют, что ли? Сомневаюсь я.

— Сандор... Беатрис... Такой кошмар. Опять развод, опять на улице — в мои-то годы. Не могу взять в толк. Это... в сущности, та же смерть.

— Шш, не надо этих слов,— сказал Сандор.— Малышку жалко, а ты выкарабкаешься.

Когда ты говорил, а я соглашался, что мне не след оставаться одному, может, одному-то мне и следовало побыть, писал Герцог.

— Слушай, я все устрою,— убеждал его Сандор.— Из этого говна ты у меня выйдешь огурчиком. Все предоставь мне, ладно? Ты мне доверяешь? Или думаешь, я хитрю с тобой?

Надо было взять комнату в университетском общежитии.

— Тебя нельзя предоставить самому себе. Это не для тебя. Ты — человек! Mensch! И тебе насрали в душу. А ведь разумение у тебя как у моего десятилетнего Шелдона.

— Я хочу от всего этого избавиться. Не хочу быть жертвой. Ненавижу эту роль,— сказал Мозес.

Химмельштайн сидел в кресле с подголовником, вывалив брюшко на поджатые ноги. У него влажные, свежеогуречного цвета глаза, красивые ресницы. Страшные ногти отполированы. Маникюр он делает в Палмер-

---

[1] «Деятель», махинатор (*идиш*).

[2] Джеймс Хоффа (р. 1913) — американский деятель рабочего движения, председатель Профсоюза водителей грузового транспорта (с 1957 г.); в 1967 г. осужден за злоупотребления.

[3] Эверетт Дирксен (р. 1896) — лидер республиканского меньшинства при Кеннеди и Джонсоне, сенатор от Иллинойса (1951—1969).

[4] Лернид Хэнд (1872—1961) — американский юрист, член Верховного суда.

хаус.— Умная сука,— сказал он.— Дьявольски привлекательная. Умеет принимать решения. Сказано — отрезано. Какая воля! Таких поискать.

— Сначала-то она тебя любила, Мозес,— сказала Беатрис. Она говорит медленно, очень медленно — такая у нее манера. Темно-карие глаза лежат в кратерах глазниц. Губы розовые, жаркие. Мозес не хотел встречаться с ней взглядом: выдерживать его придется долго и добросовестно, а пользы никакой. Хоть она и сочувствует ему, но не одобряет.

— Не думаю, что она меня любила,— сказал Мозес.

— А я так уверена.— Вот она, мещанская женская взаимовыручка: защитить хорошую девочку от обвинений в дальних расчетах и испорченности. Хорошие девочки выходят замуж по любви. А случись им разлюбить, они вправе полюбить другого. Порядочный муж не пойдет против ее сердца. Это как закон. И что-то тут есть. Но это новый закон. Во всяком случае, подумал Герцог, спорить с Беатрис не годится. Он ее гость, она его утешительница.

— Ты не знаешь Маделин,— сказал он.— Когда мы познакомились, она пропадала без помощи. И только муж ей мог помочь...

Я знаю, какие они долгие — бесконечные — человеческие истории, когда есть на что пожаловаться. И какие они скучные для других.

— Я все же думаю — она лапочка,— сказала Би.— Сначала вроде задирала нос, с недоверием относилась, а когда я сошлась с ней, она оказалась такой душевной — просто лапочка. В основе она хороший человек..

— Говна пирога! Все люди хорошие — в большинстве. Только дайте им возможность,— сказал желтолицый, красивый Сандор.

— Мади все рассчитала,— сказал Герцог.— Почему она не пошла на разрыв до того, как я подписал аренду?

— Потому что должна была обеспечить ребенку крышу над головой,— сказал Сандор.— А ты как думал?

— Как я *думал?* — вспрянул с места Герцог, сразу растерявший все слова. Лицо белое, глаза выпучены, глядят в одну точку. Они глядели на Сандора, тот сидел, как султан, составив ножки под выпяченным животом. Вспомнилось, как волоокая Беатрис просила не сердить Сандора. У того опасно подскакивает давление, когда он раздражается.

Герцог писал: *Я был признателен тебе за дружбу. Правда, я был не в себе. В таком состоянии предъявляешь непомерные, невозможные требования. В гневе люди сущие диктаторы. Отказываются понимать.* Я был в ловушке. Этот бар под рукой. Отлично понимаю Томпкинса. Неудивительно, что он набрался, когда Сандор привез его сюда.

— Ты ведь опекунства добиваться не будешь? — сказал Герцогу Сандор.

— А если буду?

— Тогда, — сказал Сандор,— слушай, что будет в суде присяжных,— это тебе адвокат говорит. Они посмотрят на Маделин, цветущую и прелестную, потом на тебя, седого доходягу,— и накрылся твой иск об опеке. Вот так работают присяжные. Пещерные люди — я понимаю, что тебе неприятно это слышать, но лучше я скажу. Мужик в нашем возрасте должен смотреть в лицо фактам.

— Хороши факты,— сказал Герцог, шалея, теряясь, негодуя.

— Я знаю,— сказал Сандор.— Я на десять лет старше. Но это правило для всех после сорока. Скажи спасибо, если добьешься одного свидания в неделю.

Беатрис пыталась сдержать Сандора, но тот шикнул на нее. Повернувшись к Мозесу, он качал головой, все ниже клоня ее к изуродованной груди и топыря острые лопатки под белой сорочкой.— Откуда, на хер, ему знать такую вещь: смотреть в лицо фактам. Он хочет одного: чтобы его все любили. Если этого нет, он поднимает хай. Ладно! После Дня «Д» [1] я лежал искромсанный в английском госпитале. Калека. И что? Послал врача подальше и сам ушел. Возьми его приятеля, Валентайна

[1] Здесь — день высадки союзных войск в Европе (6 июня 1944 г.).

Герсбаха. Вот мужик так мужик. Уж этот рыжий хромуша хлебнул горя. А живет на всю катушку, трое на шести ногах не угонятся за его одной. Не дергайся, Би,— Мозес усвоит. Иначе перед нами еще один Профессор Розга, и я с таким подонком просто не буду иметь дела.

От бешенства Герцог едва владел речью.— Что ты хочешь сказать? Может, мне умереть из-за своих волос? С ребенком как быть?

— Ты перестань ломать руки, не валяй дурака: дураков не люблю,— прикрикнул на него Сандор. Его зеленые глаза высветлила ярость, задергались губы. Ему, должно быть, представлялось, как он выбирает из души Герцога всю скверну заблуждений, и он сучил длинными белыми пальцами, крутил ими.

— При чем умереть? При чем волосы? Что ты несешь? Я только сказал, что ребенка присудят молодой матери.

— Это Маделин тебя подучила. У нее свой расчет: чтобы я не возбуждал дела.

— Она *ни при чем.* Я тебя учу твоей пользе. Она сейчас пристреливается. И она победит, а ты проиграешь. Может, у нее есть кто на примете.

— Правда? Она говорила?

— Она мне ничего не говорила. Я говорю: может быть. Теперь успокойся. Налей ему выпить, Би. Из его бутылки. Он не любит шотландское виски.

Беатрис встала и принесла бутылку 43-градусного Гакенхаймера.

— Хватит,— сказал Сандор,— кончай молоть чепуху. Не смеши людей.— Он смягчил взгляд и повеял теплом в сторону Герцога.— Когда ты страдаешь, это серьезно. В тебе настоящий еврейский корень — из глубины тянешь. Ценю. Понимаю. Что ни говори, сам на Сангамон-стрит вырос, когда еврей еще был евреем. Я знаю цену страданиям — мы с тобой путаемся в одной сетке.

Герцог-пассажир записывал: *Я ничего не понимал, хоть убейте. Я думал, меня вот-вот хватит удар, разлечусь на куски. Чем больше ты меня утешал, тем ближе я был к смертному порогу. Что я все-таки делал? Зачем был в твоем доме?*

Смеху подобно, как я убивался. Смотрел из комнаты на безлистую растительность во дворе. Хрупкий коричневый костяк амброзии. Молочай, зевающий пустыми стручками. А то пялился на тусклый лик телевизора.

Рано утром в воскресенье Сандор позвал Герцога в гостиную.— Приятель,— сказал он,— я подобрал тебе жуткий страховой полис.

Герцог, подвязывая ночную рубаху, ничего не понимал.

— Какой?

— Можно выписать на тебя страшненький полис и обеспечить ребенка.

— Ты о чем?

— Я говорил тебе на днях, только ты думал о другом. В случае твоей болезни, несчастного случая, потери глаза и даже рассудка Джуни будет защищена.

— Но я еду в Европу и уже застраховался.

— Это на случай смерти. А тут ребенок ежемесячно получает средства к существованию даже в том случае, если тебя поразит душевная болезнь и ты ляжешь в клинику.

— Почему возник разговор о душевной болезни?

— Слушай, я для себя стараюсь, что ли? Мое место посередке,— сказал Сандор, топнув босой ногой в густой ворс ковра.

Воскресенье, серый туман наползает с озера, мычат суда, как вплавь перегоняемый скот. Гулкая пустота в их чреве. За участь палубного матроса, идущего в Дулут, Герцог отдал бы все на свете.

— Либо тебе нужны мои юридические советы, либо нет,— сказал Сандор.— Я хочу, чтобы вам всем было хорошо. Правильно?

— Я лучшее этому подтверждение. Ты взял меня к себе.

— Вот и давай говорить дело. С Маделин у тебя не будет проблем. На себя ей не нужны алименты. Она скоро выйдет замуж. Я водил ее обедать в «Фритцелз», так вся братва, которая годами не могла выкроить времечко для Сандора Х., тут набежала скопом, пихая друг дружку. Включая моего собственного рабби. Лакомый кусочек.

— Ты сумасшедший. А что она из себя представляет, я тоже знаю.

— Ты о чем? Она меньше других блядь. В этой жизни мы все бляди, чтоб ты знал. Я так совершенно точно. А ты, как я понимаю, выдающийся *шнук*. Так мне говорят ученые люди. Но я рискну одежей, что и ты блядь.

— Ты знаешь, что такое человек массы, Химмельштайн?

Сандор нахмурился.— То есть?

— Человек массы. Человек толпы. Ее душа. Всеобщий уравнитель.

— Какая душа! Давай без этих слов. Я имею дело с фактами.

— Для тебя факт всякая грязь.

— Факт и есть грязь.

— Но ты считаешь его истинным постольку, поскольку он грязь.

— А ты... ты чистоплюй. Откуда ты такой принц? Мать обстирывала семью, пускали жильцов, старик промышлял самогонкой. Знаю я вас, Герцогов, и ваш *йихес* [1] знаю... Нечего шум поднимать. Я сам пархатый и кончил занюханную вечернюю школу. Договорились? И давай не будем говниться, мечтатель ты мой.

Герцог потрясенно, подавленно молчал. Зачем он сюда приехал? За помощью? Обнародовать свой гнев? Возбудить негодование понесенной несправедливостью? Пока что на арене только Сандор. Лютый карлик с выпирающими зубами и перепаханным лицом. С перекошенной грудью, выпиравшей сквозь зеленую пижаму. Это плохой Сандор, злой, думал Герцог. Но он бывает другим — обаятельным, великодушным, общительным, даже с юморком. Так развороτить грудную клетку могла хоть бы и лава его сердца, а зубы — их выпер наружу злобный его язык. Такие вот дела, Моше Герцог: если нужно, чтобы тебя жалели, если ты просишь помощи и выручки, тебя всегда и непременно приберет к рукам какая-нибудь невыдержанная личность. И разнесет тебя в пух и прах своей «правдой». Вот это и значит твой мазохизм, *майн зисе нешамеле* [2]. Добрые души падки на чужое мнение о них и не задумываются о себе. Очисти зрак самопознанием и опытом. А вообще говоря, настоящая дружба не поддакивает. Бытует такое мнение.

— Хочешь ты позаботиться о собственном ребенке или нет? — сказал Сандор.

— Конечно, хочу. Хотя ты сам говорил на днях, что лучше мне ее забыть и что она вырастет чужим человеком.

— Правильно. Она уже в следующий раз тебя не узнает.

Это ты про своих так думай, а на мою девочку пошла благородная глина. Уж она-то меня не забудет.— Я не верю этому,— сказал Герцог.

— Как адвокат я взял обязательство перед ребенком. Я должен защищать ее интересы.

— Ты? У нее есть отец.

— Ты можешь спятить. Умереть, наконец.

— Мади тоже может умереть. Почему бы на нее не выписать страховку?

— Так она тебе и даст. Это не женское дело. Это мужское дело.

— Не в нашем случае. Маделин разворачивается вполне по-мужски. Как она все провернула, чтобы оставить себе ребенка, а меня выпереть на улицу. Она думает, что может быть одновременно матерью и отцом. *Ее* страховку я буду оплачивать.

Вдруг Сандор стал кричать:

— Мне насрать на нее! Мне насрать на тебя! Я волнуюсь из-за ребенка!

---

[1] Происхождение, родословная (*иврит*).

[2] Моя сладкая душенька (*идиш*).

— Да почему ты решил, что я умру первым?

— Говори потом, что ты любишь эту женщину,— сказал Сандор, сбавляя тон. Очевидно, вспомнил про свое опасное давление. Сдерживающее усилие выдали бледные глаза, губы и ставший рябым подбородок. Он сказал еще ровнее: — Я бы сам застраховался, да врачи не дадут. Приятно, знаешь, окочуриться и оставить Би богатой вдовой. Я бы хотел.

— Чтобы она поехала в Майами и покрасила волосы.

— Правильно. А то и я в ящике кисну, и она тут жмется с деньгами. Мне для нее не жалко.

— Ладно, Сандор,— сказал Герцог, желая кончить разговор.— Сейчас у меня просто нет настроения готовиться к смерти.

— Это что за диво такое — твоя гребаная смерть? — кричал Сандор. Он весь подобрался. Стоявший почти вплотную к нему Герцог даже заробел от такой истошности и опустил широко открытые глаза на лицо своего хозяина. Оно было резко очерченное, по-грубому красивое. Топорщились усики, в глазах стыл пронзительно-зеленый, млечный яд, кривились губы.— Я выхожу из дела! — возобновил он крик.

— Что с тобой происходит? — сказал Герцог.— Где Беатрис? Беатрис!

Но миссис Химмельштайн только плотнее закрыла дверь спальни.

— Она тебе найдет таких стряпчих — они тебе настряпают кой-чего.

— Перестань, ради Бога, кричать!

— Тебя прикончат.

— Прекрати, Сандор.

— Обдерут как липку. Живьем освежуют.

Герцог зажал уши.

— Я больше не могу.

— Кишки завяжут узлом. Ублюдок. Поставят счетчик на нос и будут брать за вдох и выдох. Тебя запечатают спереди и сзади. Вот тогда ты вспомнишь про смерть. Вот тогда ты ее поторопишь. Тебе гроб милее гоночной машины глянется.

— Но я же не бросал Маделин.

— Я сам такое проделывал, знаю.

— Что плохого я ей сделал?

— Суду начхать. Ты читал бумаги, которые подписывал?

— Нет, я тебе доверился.

— Тебе швырнут Библию в морду. Она же мать. Женщина. Тебя сотрут в порошок.

— Но я ни в чем не виноват.

— Она тебя ненавидит.

Сандор уже не вопил. Перешел на обычную громкость:— Господи Боже! Ты ничего не смыслишь,— сказал он.— И это образованный человек! Слава Богу, моему старику не на что было послать меня в университет. Я работал в магазине Дейвиса и ходил в школу Джона Маршалла. Образование! Смех один. Ты не знаешь, что происходит вокруг.

Герцог был сломлен. Он пошел на попятный.— Хорошо,— сказал он.

— Что — хорошо?

— Я застрахую свою жизнь.

— Не из любезности ко мне!

— Не из любезности...

— Там рвут большой кусок — четыреста восемнадцать долларов.

— Деньги я найду.

Сандор сказал: — Хорошо, мой мальчик. Наконец умнеешь. Теперь завтрак, я сварю овсянку.— И в пестро-зеленой своей пижаме он направил на кухню свои длинные босые ноги. Еще в коридоре Герцог услышал его вопль над раковиной: — Ты погляди, какую срань развели! Ни кастрюли — ни чашки — ни ложки чистой! Вонь, как из помойки! В отхожее место превратили! — Ошалело вылетел тучный, в плешинах, старый пес, стуча когтями по кафелю — клак-клак, клак-клак.— Мотов-

ки, суки! — поминал своих женщин Сандор.— Мандовошки! Только бы задом вихлять в одежной лавке и по кустам шастать! А дома нажраться пирожных и валить всю грязь в мойку. Теперь спроси — откуда прыщи.

— Спокойнее, Сандор.

— Как будто я много требую! Заслуженный ветеран, инвалид, носится по этажам Сити-холла, мотается по судам — да еще на 26-ю успей и на Калифорнийскую сбегай. Для них же! Знают они, как надо подсуетиться, чтобы иметь хоть какую работу? — Сандор запустил руки в раковину. Яичную скорлупу и апельсиновые корки он швырял в угол, к мусорному ведру, загаженному кофейной гущей. Работа привела его в исступление, и он стал бить посуду. Длинными пальцами горбуна он выхватывал липкую от сахара тарелку и вдохновенно бил ее об стену. Смахнув на пол сушилку и мыльный порошок, он яростно зарыдал. Он злился еще на себя — что так распускается. Разъявленный рот, зубы торчком. Клочкастая шерсть на изуродованной груди.

— Мозес, они меня убивают. Убивают своего отца.

В своих комнатах чутко залегли дочери. Малолетний Шелдон ушел с отрядом на разведку в Джексон-парк. Беатрис не появилась.

— Не нужна нам каша,— сказал Герцог.

— Нет, я вымою кастрюлю.— Он еще струил слезы. Под сильно бьющей водой его наманикюренные пальцы скребли стальной стружкой алюминий.

Успокоившись, он сказал: — Знаешь, Мозес, я ведь к психиатру ходил насчет гребаной посуды. За час я на двадцать долларов набиваю. Что мне делать с моими ребятами, Мозес? Из Шелдона вроде будет толк. И Тесси еще ничего. Но Кармел! Не знаю, как к ней подойти. Боюсь, парни уже лезут к ней в трусы. Пока ты здесь, профессор, я ничего не прошу (понимай: за стол и постель), но будь человеком: вникни в ее духовное развитие. Когда ей еще встретится интеллектуал — известная личность — светило. Может, поговоришь с ней?

— О чем?

— О книгах там, об идеях. Своди погулять. Побеседуй. Сделай милость, Мозес, я тебя прошу.

— Ну конечно, я поговорю с ней.

— Я и раввина спрашивал, но какой спрос с раввинов-реформистов? Знаю, я вульгарный ублюдок. Бешеный мистер Затрещина. Я работаю ради своих ребят...

Он в бараний рог скручивает бедняков. Скупает расписки у торговцев, в рассрочку толкающих барахло проституткам в Саут-сайде. И мне, видите ли, можно запросто отказаться от собственной дочери, а его хомячкам подавай возвышенные беседы.

— Будь Кармел постарше, я бы сказал: женись.

Бледный, озадаченный Мозес сказал:— Она совершенно очаровательная девочка. Только совсем маленькая.

Длинными ручищами Сандор облапал Герцога за поясницу и привлек к себе.— Не будь перекати-полем, профессор. Веди нормальную жизнь. Где тебя только не носило — Канада, Чикаго, Париж, Нью-Йорк, Массачусетс. А братцы твои выбились на дорогу здесь, в своем городе. Конечно, что хорошо для Александра и Уилла, такому *махеру*, как ты, не подойдет. У Мозеса Е. Герцога нет денег в банке, зато его имя найдешь в библиотеке.

— Я надеялся, что мы с Маделин как-нибудь осядем.

— В этом своем лесу? Не глупи. С этой егозой? Кого ты дуришь? Вертайся к своему очагу. Ты еврей из Вест-сайда. Я тебя ребенком видел в Еврейском народном институте. Тормози. Прищеми хвост. Я люблю тебя больше своих. Ты мне никогда не пудрил мозги гарвардской липой. Держись людей с добрым сердцем, любящих. Ну! Что скажешь? — Он откинул свою большую, красивую желтую голову, заглянул Герцогу в глаза, и тот снова почувствовал себя в кольце приязнен-

ных чувств. Все в бурых рытвинах, лицо Химмельштайна радостно сияло.

— Ты можешь продать эту мусорную кучу в Беркширах?

— Наверно.

— Тогда решено. Умей проигрывать. Они порушили Гайд-парк, но тебе все одно не жизнь с выпендрешными *шмо* [1]. Селись ко мне поближе.

Хотя он обессилел вконец и сердце по-дурному надрывалось, но эту сказку Герцог слушал завороженно.

— Возьми себе экономку примерно своих лет. И чтобы для этого дела годилась. Кому плохо? Или давай подберем экономку роскошного шоколадного цвета. Только японок больше не надо.

— Ты что имеешь в виду?

— Ты знаешь, что я имею в виду. А может, тебе нужна такая, чтобы прошла концлагеря и будет благодарна за домашнее тепло. Мы с тобой как заживем! Будем ходить в русскую баню на Норт авеню. Пусть меня помяли на курорте, но клал я на них: еще двигаюсь. Заживем любодорого. Подберем себе ортодоксальную *шуль* [2], расплюемся с Темплом. Ты да я — славные будем *хазаны* [3].— Расплющив губы и выявив неброскую ниточку усов, он запел: — *Мипней хатоэну голину меарцёну* — И за грехи наши изгнаны были из земли нашей.— Ты да я — два старозаветных еврея.— Он облучал Мозеса росисто-зелеными глазами.— Умничка ты мой. Чистая, добрая душа.

Он поцеловал Мозеса. Тот ощутил привкус картофельной любви. Любви расплывчатой, вспухающей, голодной, неразборчивой, трусливой — картофельной.

«Ах, болван!— крыл себя Мозес в поезде.— Болван!»

На крайний случай я тебе оставил деньги. Ты их все отдал Маделин — на тряпки. Ты чей был адвокат — ее или все-таки мой?

По его отзывам о клиентках, по нападкам на мужчин я давно должен был все понять. Но Бог мой, как я угодил во все это? Зачем вообще связался с ним? Вот уж, поистине, сам напросился на весь этот бред. Я до такой степени завяз в идиотизме, что даже эти Химмельштайны разбирались во всем лучше меня. Открывали мне глаза на жизнь и наставляли в истине.

Отмщенный ненавистью за собственную гордую глупость.

Позже, когда день уже догорал, он ждал парома в Вудс-хоул и сквозь зеленую густоту смотрел на кружево светлых отражений на дне. Он любил задуматься о силе солнца, о свете, об океане. Чистота воздуха умиляла. Ни пятнышка не было в воде, где стайками ходили пескари. Герцог вздохнул и сказал себе: — Славь Господа — славь Господа.— Дышалось легко. Его будоражили открытый горизонт, густые краски, йодистый океанский запашок от водорослей и моллюсков, белый, мелкий, тяжелый песок, в особенности же вот эта зеленая прозрачность, которую он пронизал до каменного дна в плетении золотых линий, всегда подвижных. Отражайся его душа так же ясно и чисто, он бы молил Бога дать ему такое применение.

Только очень уж это просто. Очень по-детски. В действующей среде нет этой ясности — она бурлива и гневлива. Люди вовсю действуют. Смерть начеку. И если у тебя есть немного счастья — спрячь его. А когда твое сердце полно, замкни свои уста.

У него бывали минуты здравомыслия, но растянуть их надолго он не мог. Паром пришел, он ступил на палубу, плотно надвинув шляпу от ветра и немного стесняясь естественного в такие минуты воскресного настроения. Клубя песок и пыль, заезжали машины, Герцог с верхней палубы смотрел на погрузку. Поставив чемодан на попа, он вытянул на него ноги и во время переправы загорал, щурясь на встречные суда.

---

[1] Здесь — негодяи (*идиш*).
[2] Синагога (*идиш*).
[3] Кантор (*иврит*).

В Виньярдской Гавани он поймал на верфи такси. Машина свернула вправо, на главную улицу, параллельную гавани, обсаженную большими деревьями,— справа море и парусники, сверху напитанная солнцем листва. Сияли золотые вывески на красных фасадах. Торговый центр походил на яркую декорацию. Такси двигалось медленно, словно щадя свое барахлившее сердце. Проехали публичную библиотеку, развязки, обставленные столбиками, лирообразные гигантские вязы и яворы с клочковатой белой корой: яворы он отметил. В его жизни они занимали важное место. Сгущалась вечерняя зелень, и все слабее синело море, когда с потемневшей травы переведешь на него глаза. Такси опять свернуло вправо, к берегу, и Герцог вышел, за расчетом пропустив мимо ушей половину шоферских указаний. «Вниз по лестнице, потом вверх. Я понял. О'кей». Он увидел принарядившуюся Либби, высматривавшую его с веранды, и махнул ей рукой. Она послала ему воздушный поцелуй.

Он сразу понял, что сделал ошибку. Ему нечего делать в Виньярдской Гавани. Здесь прекрасно, и Либби очаровательна — таких на всем свете раз-два и обчелся. А приезжать не надо было. Это неправильно, думал он. Могло показаться, что он высматривает дощатые ступеньки в склоне холма, а он тянул время, крепкий мужчина, обеими руками обжимавший чемодан, словно игрок, изготовившийся для передачи. У него большие, с набрякшими венами руки, не скажешь, что это человек умственного труда,— руки каменщика, маляра. Ветерок с моря надувал легкую одежду, облеплял тело. А какой взгляд у него был, какое лицо! Его существование предстало ему в такой степени необычным, что хочешь не хочешь надо его осмыслить — жадное, скорбное, нереальное, опасное, безумное и «комическое» вплоть до гробовой доски. Всего этого достаточно, чтобы человек молил Господа освободить его от громадного, костоломного бремени личности и самосовершенствования, чтобы он, неудачник, вернулся к простейшим средствам излечения. Но таков же утверждавшийся и едва ли не общепринятый взгляд на всякую отдельно взятую жизнь. Согласно этому воззрению, само человеческое тело — пара рук и вертикальный торс — уподоблялось кресту, на коем вы претерпевали муку самосознания и свою отдельность. И такой курс примитивного лечения он имел благодаря Маделин, Сандору и прочим; так что в недавних его несчастьях можно видеть некое коллективное мероприятие (при его участии) по искоренению самолюбия и притязаний на личную жизнь — с тем чтобы он, подобно множеству других, распался, страдал и ненавидел, и не на кресте, избраннически, а в смраде разложения постренессансного, постгуманистического, посткартезианского — на грани Пустоты. Тут все себя проявили. Всем развязала руки «история». Даже Химмельштайны, в жизни не державшие книги по метафизике,— и те рекламировали Пустоту, словно пользующуюся спросом недвижимость. Этот маленький демон был напичкан новейшими идеями, и одна в особенности горячила его страшное маленькое сердце: пожертвуй своей жалкой, жалобной, жадной индивидуальностью, которая, в сущности, не что иное, как (с аналитической точки зрения) задержавшаяся детская мания величия либо (с точки зрения марксистской) презренная буржуазная собственность,— принеси ее в жертву исторической необходимости. А также — истине. А истинная истина — та, что больше бесчестит и мрачит человека, и предоставь она что-нибудь помимо зла — она иллюзия, а не истина. И разумеется, Герцог, не приемля, как и следовало ожидать, таких выводов, тем более старался — упрямо, вызывающе, опрометчиво, без достаточной смелости и смышлености старался быть *изумительным* Герцогом, то есть таким Герцогом, который, может быть, неуклюже выказывает изумительные качества, смутно угаданные им. Допустим, он зарвался, не рассчитал своих способностей и сил, но ведь так осекается человек с порывистой душой, даже с верой, не имея ясных представлений. Допустим, он потерпел неудачу — неужто это означало, что не было истовости, великодушия, святых минут? И лучше бы ему оставаться простым, без честолюбия Герцогом? Конечно нет. И за

такого никогда не вышла бы замуж Маделин. Ей и нужен-то был позарез именно честолюбивый Герцог. Чтобы сбить его с панталыку, унизить, растоптать, чтобы губительной своей сучьей ногой выбить ему мозги. Сколько же он напутал, какая пустая трата ума и чувств! Когда он думал о неизбывной хлопотной скуке ухаживаний и брака с пропастью сопряженных расходов — и все самых нужных: поезда, самолеты, гостиницы, магазины, банки, больницы, врачи, лекарства, залезание в долги; когда вспоминал собственные приобретения, как то: свирепая бессонница, желтые тоскливые дни, превратности сексуального ратоборства, весь этот кошмар самоутверждения,— когда он думал обо всем этом, ему было непонятно, как он еще выжил. Больше того, ему было непонятно, зачем ему хотелось выжить. Другие его ровесники жили на износ, умирали от удара, от рака, возможно и сами помогали смерти. Он же, путаник и недотыка, оказался хитрее, устойчивее. Он выжил. Для чего? Для чего суетиться дальше? Чтобы и дальше налаживать *личные отношения,* покуда не иссякнут силы? Для того только, чтобы иметь потрясающий успех в частной сфере, покорять сердца? Влюбчивый Герцог ищет любовь и открывает объятья Вандам, Зинкам и Рамонам поочередно? Нет, это женское занятие. Вешаться на шею и терпеть разочарование пристало женщинам. Мужчине же приличествуют долг, дело, культура, политика — в аристотелевском смысле. Так зачем, спрашивается, я притащился в эту Виньярдскую Гавань, да еще в качестве отдыхающего! В растрепанных чувствах, в расфранченном виде, в этих итальянских брюках, с авторучками и печалью за пазухой, явился трепать нервы бедняжке Либби, злоупотреблять ее хорошим отношением, требовать должок за то, что повел себя как отзывчивый, порядочный человек, когда ее предыдущий муж, Эриксон, спятил и пытался ее задушить, а себя отравить газом. Что ж, в то время моя помощь была очень кстати. А не будь она такой красивой и желанной, не прояви ко мне явного интереса, стал бы я с такой готовностью помогать ей? И совсем мало хорошего в том, что я докучаю ей, свежеиспеченной новобрачной, своими проблемами. В самом деле, что ли, quid pro quo? [1] Поворачивай-ка назад, Моше-Ханан, и садись на обратный паром. Тебе просто надо было проехаться в поезде. И овчинка стоила выделки.

Подошла Либби и поцеловала его. На ней было нарядное оранжевое, скорее даже макового цвета вечернее платье. Он не сразу разобрался, откуда запах — от ближайшей клумбы с пионами или же от ее плеч. Она непритворно радовалась встрече. Уж честно там или нечестно, но друга он себе приобрел.

— Здравствуй!

— Я не останусь,— сказал Герцог.— Это неправильно.

— О чем ты говоришь? После стольких часов в дороге! Пошли в дом, познакомишься с Арнолдом. Сядешь, выпьешь. Какой ты смешной.

Она рассмеялась, и он вынужденно рассмеялся в ответ. Сисслер, мужчина за пятьдесят, помятый и сонный, хотя веселый, приветственно гудя, вышел на веранду. Он был в розовых клешах на резиновом поясе.

— Он уже возвращаться думает, Арнолд. Я тебе говорила, какой он смешной.

— Вы специально ехали сказать нам это? Заходите, заходите. Я как раз собираюсь затопить. Через час похолодает, а у нас гости к обеду. Как насчет выпить? Шотландское или бербон? А может, предпочитаете искупаться? — У Сисслера широкая, приветливая, морщинящая лицо черноглазая улыбка. Глаза маленькие, зубы редкие, лысый, густые волосы на затылке образуют козырек наподобие древесного гриба на мшистой стороне ствола. Либби достался уютный, мудрый барбос, такие таят немалый запас чуткости и теплоты. Благодаря подсветке с моря она выглядела неотразимо — счастливая, с загорелым разглаженным лицом. Оранжевые напомаженные губы, витого золота браслет, тяжелая золо-

[1] Обычно — путаница; здесь — кто кому обязан (*лат.*).

тая цепочка на шее. Она чуть сдала, ей, по его догадке, лет тридцать восемь — тридцать девять, но когда еще были такими ясными ее темные, близко поставленные глаза (у нее точеный прелестный носик), глядевшие зыбко, затягивающе? Она была в том возрасте, когда наследственность спохватывается и предки лезут наружу: проступило пятнышко или резче обозначились морщинки — сначала это даже красит женщину. Смерть-художница без спешки наносит первые мазки. Для Сисслера, например, это уже не имеет никакого значения. Он это принял и, громыхая русским акцентом, останется честным бизнесменом до самой смерти. Когда же настанет тот день, он умрет на боку — из-за волосатого горба на затылке.

Идеи, способные обезлюдить мир.

Но когда Герцог брал виски, и слышал своим ясным голосом сказанное спасибо, и видел себя садящимся в ситцевое кресло, он допустил, наторелый психолог, что не Сисслер привиделся ему на смертном ложе, а какой-то другой женатый человек. Может, то была его собственная воображаемая смесь. Он был женат (дважды), и фантазии со смертельной подоплекой были обычны для него. Известно: необходимым условием крепости человека является истое желание упомянутого человека жить. Так говорит Спиноза. Это необходимо для счастья (felicitas). Он не будет действовать хорошо (bene agere), если жить он не хочет. Но если в такой же степени естественно, как уверяет психология, мысленное убийство (ежедневный труп врага сэкономит вам врача), то одним только желанием жить жизнь не продержится. Хочу я жить? Или я хочу умереть? Но не в светской же обстановке решать такие вопросы, и он глотнул ледяной бербон из клацнувшего о зубы стакана. Виски внедрилось огненным жгутом, приятно обжигая грудь. Внизу он видел рябой берег и пылающий закат на воде. Паром возвращался. Когда солнце ушло совсем, его широкое тулово вспыхнуло электричеством. В притихшем небе вертолет тянул в сторону Хайаннис-порта, где жил клан Кеннеди. Большие дела вершились там в свое время. Властители мира. Что мы знаем об этом? Острой болью вспомнился покойный президент. (Интересно, как бы я живьем беседовал с президентом.) Он с еле заметной улыбкой вспомнил, как мать похвалялась им перед теткой Ципорой:

— А уж язычок у него! Мойшеле и президенту найдет, что сказать.— Президентом тогда был Гардинг. Или Кулидж? Тем временем разговор продолжался. Сисслер окружал его заботой — должно быть, я действительно кажусь не в себе, Либби выглядит встревоженной.

— Не беспокойтесь обо мне,— сказал Мозес.— Я немного возбужден из-за того-сего.— Он рассмеялся. Либби и Сисслер переглянулись и чуть успокоились.— У вас прекрасный дом. Вы его арендуете?

— Собственный,— сказал Сисслер.

— Замечательно. Прекрасное место. Живете только летом, да? Его легко утеплить.

— Это обойдется тысяч в пятнадцать, если не больше,— сказал Сисслер.

— Так дорого? Видимо, на вашем острове работа и материалы в цене.

— Да я бы сам все сделал,— сказал Сисслер.— Но у нас заведено тут отдыхать. Вы вроде бы тоже домовладелец?

— В Людевилле, штат Массачусетс,— сказал Герцог.

— Это где?

— В Беркширах. Ближе к Коннектикуту.

— Красотища, наверно?

— Красотищи хватает. Только глушь. Все далеко.

— Еще плеснуть?

Похоже, Сисслер решил, что выпивка успокоит его.

— Может, Мозесу надо привести себя в порядок с дороги,— сказала Либби.

— Я провожу.

Сисслер понес наверх чемодан Герцога.

— Какая чудесная старая лестница,— сказал Мозес.— Такую теперь не сделают и за тысячи. Сколько труда вложено, а ведь всего-то летний дом.

— Шестьдесят лет назад еще были мастера,— сказал Сисслер.— Вы поглядите на двери: птичий глаз. Вот ваша комната. Тут все, что вам потребуется — полотенца, мыло. Вечером зайдут соседи. Одинокая дама. Певица. Мисс Элайза Тернуолд. Разведенная.

Комната была просторная, удобная, с видом на залив. На обоих его мысах — Восточном и Западном — зажглись голубоватые огни маяков.

— Прекрасное место,— сказал Герцог.

— Распаковывайтесь. Устраивайтесь. Не торопитесь уезжать. Вы были хорошим другом Либби в трудную минуту, я знаю. Она говорила, как вы уберегли ее от этого бешеного Эриксона. Он ведь пытался задушить бедную крошку. Кроме вас, ей не к кому было кинуться.

— Вообще говоря, Эриксону тоже не к кому было кинуться, кроме нее.

— Ну и что? — Сисслер говорил, отвернув морщинистое лицо ровно настолько, чтобы хитрые его глазки видели Герцога в полной мере.— Вы ее защитили. Для меня это главное. И не только потому, что я люблю крошку, а еще потому, что очень много развелось всяких гадов. У вас, я вижу, неприятности. Места себе не находите. Значит, у вас есть душа, Мозес.— Он помотал головой, прижимая к губам прокуренные пальцы с сигаретой, и загудел дальше: — И ведь не выбросишь ее на помойку, стерву! Страшно она мешает, душа.

Мозес глухо ответил: — А я так не уверен, что она у меня еще есть.

— Куда она денется? М-да,— вывернув кисть, он поймал золотым циферблатом гаснущий свет.— У вас есть время передохнуть.

Он ушел, и Мозес прилег на постель — хороший матрас, чистое стеганое одеяло. Он пролежал четверть часа ни о чем не думая — распустив губы, вытянув руки и ноги, ровно дыша и не спуская глаз с обойного рисунка, пока его не поглотила темнота. Потом он встал — но не умыться и переодеться, а написать прощальную записку. В ящике кленового стола нашлась бумага.

Вынужден вернуться. Не в силах пока выносить доброту. Чувства, сердце — все разладилось. Брошенные дела. Спасибо вам обоим, и будьте счастливы. Может, в конце лета увидимся, если вы подтвердите приглашение. С благодарностью, Мозес.

Он прокрался по дому. Сисслеры были на кухне. Сисслер гремел ванночками для льда. Мозес быстро спустился и тихо юркнул в дверь с марлевой сеткой. Через кусты прошел на соседний участок. Потом шел к морю, на паромную пристань. Потом брал такси до аэропорта. Билеты оставались только на бостонский рейс. Он полетел и в Бостоне успел пересесть до Айдлвайлда [1]. В 11 вечера он лежал в своей постели, пил теплое молоко и ел бутерброд с арахисовым маслом. Это путешествие обошлось ему в кругленькую сумму.

(Окончание следует)

[1] Прежнее название международного аэропорта имени Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

ЯН СКАЦЕЛ

■

С чешского

Что нам оставил Ян Скацел

7 ноября 1989 года, за десять дней до начала «нежной» революции, в Брно скончался Ян Скацел — шестидесятисемилетний поэт, который в сознании соотечественников оставался одним из хранителей идеалов «пражской весны».

Встретиться с ним мне довелось лишь однажды. Мы сидели за столиком кафе Дома писателей в Ленинграде. Ян Скацел, невысокий, черноволосый, смотрел на Неву и говорил о свободе. Прежде всего о свободе слова. В ту пору, в канун «пражской весны», мне казалось, что чешским литераторам можно только позавидовать, но Скацел говорил о все еще существующих цензурных рогатках, о необходимости отмены литературной цензуры как таковой. В то время он был уже известным поэтом и возглавлял журнал «Гост до дому», издававшийся в городе Брно. По-русски этот тоненький ежемесячник назывался бы «Гость на порог» (по пословице: «Гость на порог — Бог на порог»). Название имело литературную предысторию: «Гость на порог» — заглавие первой стихотворной книги Иржи Волькера, в 20-е годы не менее популярного в Чехии, чем у нас Есенин. В своем журнале из номера в номер, с 1964 года и до его закрытия в 1970 году, Скацел публиковал прозаические миниатюры, которые называл «маленькими рецензиями». Произведения этого созданного поэтом своеобразного жанра, полные юмора, лиризма и фантазии, представляют собой нечто среднее между микрорассказом, стихотворением в прозе и мини-эссе (часть их собрана в книге «Одиннадцатый белый конь», выдержавшей в середине 60-х годов два издания). Отправной точкой для построения микросюжета могла быть обыкновенная корова или экзотический ибис, Альберт Эйнштейн или попугай принца Евгения Савойского. Нередко, как, например, в «Маленькой рецензии на овцу», которую читатель найдет в этой подборке, Скацел прибегал к эзопову языку. Не менее красноречива и стихотворная «Маленькая рецензия на похороны стукача»:

Нелегко было бедняге
все о нас знал
и всегда заботился о благе человечества
Заметили вы приятель —
лежа в гробу он походил
на испорченный рентгеновский аппарат?

(Перевод мой.— О. М.)

Ян Скацел — моравянин до мозга костей. Что значит быть моравянином? Скацел попытался раскрыть это в «Маленькой рецензии на моравский гимн»: «Гимн пленительной страны Моравской (которая не является страной) не исполнит даже самая лучшая капелла на свете. Не сумеет. Потому что моравский гимн — это тишина.

Я скажу вам напрямик: моравский гимн — это пауза между «Где родина моя?» и «Над Татрами молнии сверкают» [1].

У этого гимна нет слов. В нем ничего не утверждается, не прокламируется, не навязывается. Он не грустен и не весел. Он состоит из абсолютной тишины, а тишина — сила прекрасная и вещь плодотворная.

И вот, пока другие народы стоят навытяжку и восхваляют красоты своей страны и возносят их над красотами других стран, мы тут, в Моравии, хотя тоже стоим навытяжку из уважения к чехам и словакам, но ждем своей паузы. А дождавшись, молчим и про что-то думаем.

Большей частью про что-то хорошее, однако не выкрикиваем свои мысли, не выражаем их музыкальными звуками, а оставляем в себе».

Моравия дала чешской культуре великого педагога Яна Амоса Коменского, великого историка Франтишека Палацкого, великого политика, «отца» чехословацкой государственности Томаша Гаррига Масарика. Особенно значителен ее вклад в чеш-

[1] Чешский и словацкий национальные гимны. (*Здесь и далее — прим. автора статьи.*)

скую поэзию XX века: Отокар Бржезина, Иржи Волькер, «эпикуреец» Витезслав Незвал и его трагический антипод Франтишек Галас, Йозеф Кайнар и Ольдржих Микулашек. Галас был поэтическим учителем Скацела, Кайнар и Микулашек — его друзья и старшие поэтические собратья.

Писать стихи он начал в годы второй мировой войны. За многократные попытки уклониться от «тотальной» трудовой повинности гитлеровцы отправили его на работу в австрийские Альпы, где сооружались туннели для подземных заводов. Трудовой лагерь мало чем отличался от концентрационного. И Скацел, сознавая, что свойственная поэзии метафоричность помогает обходить цензурные препоны, решил посылать родным вместо писем стихи. Несколько лет спустя нуждающийся студент, помышляющий скорее о прозе, чем о поэзии, послал одно из своих старых стихотворений в краевую коммунистическую газету «Ровность» («Равенство»). Оно попало в руки редактора литературной рубрики Ольдржиха Микулашека, и тот чуть ли не силой затащил упирающегося новичка на Олимп, а заодно — и в редакцию «Ровности».

В 1952 году эту редакцию фактически разогнали за «троцкистские» и иные грехи. Скацел поступает на завод точного машиностроения и на два года возвращается в хорошо знакомую ему рабочую среду. Но все тот же Ольдржих Микулашек сначала тянет его за собой на брненское радио, а затем уступает ему редакторское кресло в журнале «Гост до дому».

Подчас работа в газете и на радио приводит поэта к тому, что он начинает писать статьи, репортажи или даже фельетоны в стихах. У Скацела, пожалуй, получалось наоборот: журналистская работа поглощала его настолько, что стихам он отдавал лишь слова, созревшие в молчании. В 1967 году Антонин Ярослав Лим записал такое его высказывание: «Поэзия страшно меня притягивает и одновременно вызывает во мне отвращение... Я боюсь, что в результате широчайшего развития современной поэзии в поэтическом труде ослабеет сопротивление материала. Для поэта материал — слово... Кроме того, как страстный читатель я охотнее читаю, чем пишу, и меня наполняют ужасом кубометры печатного текста. Ничто так не угнетает, как полки большой библиотеки...» [1] Боязнь словесной инфляции заставляла Скацела добиваться максимальной нагрузки на слово, выделять поэтическую фразу смысловыми и ритмическими перебивами. Его поэзия — это поэзия, полная пауз. Поэзия сосредоточенная.

Едва ли не все, кто писал о нем, сравнивали его стихи с китайской и японской живописью. Эту связь, видимо, ощущал и сам поэт, включивший в сборник «Час между псом и волком» (1962) стихотворение «Что советует принцесса Чау». А советовала она «девушкам и читателям стихов» больше всех доверять тому, кто «сидит перед вами молча, как устрица перед губернатором».

После событий 21 августа 1968 года Скацел демонстративно не захотел войти в новый, политически «профильтрованный» Союз чешских писателей. Тринадцать лет стихи его не печатались в Чехословакии. Новые циклы распространялись в «списках». Даже когда в 80-е годы сборники Скацела наконец начали выходить на родине поэта («Давнее просо», «Надежда с буковыми крыльями»), некоторые четверостишия из самиздатовских циклов «опускались».

В последних своих книгах «Отпечатки в утраченном воске» (1984) и «Пьющий впотьмах вино» (1988) Скацел как бы заново опробывает свою поэтическую клавиатуру. Горожанин по культуре и широте интересов, поэт всегда оставался в душе селянином. Капилляры его поэзии наполнены соками моравской деревни. В его стихах городской пейзаж все чаще уступал место деревенским впечатлениям, запавшим в душу с детства. Одновременно все явственней обнаруживалась связь Скацела с фольклорной традицией и поэтами-классиками, творчество которых было вскормлено ею (Карел Яромир Эрбен, Йозеф Вацлав Сладек). В последних книгах Скацела эта «деревенская» струя, восходящая к народным песням, сказкам и балладам, представлена стихами, достигающими классической легкости, глубины и прозрачности. И вместе с тем он постоянно обновляет традицию и даже иронизирует над ней, нарушая высокий поэтический антураж намеренной прозаизацией. Трагический опыт недавних десятилетий отразился в таких стихах, как «Запрещенный человек» и «Те, кто запретил самих себя». Лейтмотивами этих книг становятся тема смерти и тема неистребимой человечности, которая помогает поэзии пройти «через игольное ушко» среди тьмы и бойни.

Поэт, пользующийся широким признанием на родине, издавался и за ее рубежами. Книги его выходили в ГДР, Италии, ФРГ. За полгода до смерти ему была присуждена премия Петрарки — высшая поэтическая награда ФРГ. Русскому читателю Скацел практически неизвестен. Стихи из двух последних сборников поэта и прозаические миниатюры, составляющие нашу подборку, по сути дела, представляют его нашей читательской аудитории впервые.

Девять поэтических сборников, книга прозаических миниатюр, четыре небольшие книжечки для детей — это все, что оставил нам Ян Скацел. Казалось бы, не так много за полвека жизни в литературе. Зато написанное им останется надолго, ибо его жизнь и его книги — пример нравственной бескомпромиссности, творческой честности, бережного отношения к слову.

О. МАЛЕВИЧ

[1] Antonin J. Lichm. Generace. Köln, 1989. S. 264.

Стопятидесятый сонет о весне

Хрупкою весною
свет напоминает
ломок и непрочен
рожки улиток

травы так курчавы
листочки в кулечки
собраны тугие
утро бесконечно

целый день продлится
и до поздней ночи
на ветке зацветшей

черный дрозд меж капель
распевает громко
словно сумасшедший

Перевод А. КУШНЕРА

Кто в скрипочку войдет

Не бойся ничего не бойся
душа невзгоду переждет
и человек всегда найдется
который в скрипочку войдет

Дни ясные на этом свете
сменяются ненастным днем
в конце концов мы успокоясь
все в гроб как в скрипочку войдем

Ах скрипка скрипочка такая
знакома с детства нам с тобой
смычком над примулой помятой
застыл кузнечик луговой

Награда

Любому все иметь позволь
и то
чего он не имеет
что променять он не посмеет
продать за ласку или боль

Должник просроченной вины
дорожник бархатной дороги
нелепый леший из берлоги
как небо звезды — свои сны
над долами родной страны

неси покуда держат ноги

Песня

Щавель у тракта
вековой
ромашки
запах луговой

Дневного солнца
львиные лапы
и даль
ободранная как бы

И стародавняя
память кладки
где ветер в риге
поет украдкой

В лиственной роще
к лета исходу
кукушки
считают годы

Дикие гуси
тянутся клином
крик растеряв
по долинам

Ты лишь послушай
что речкой этой
нам говорится
и сам не сетуй

Кукушкины слезки
под белой пылью
и ласточек
черные крылья

Ты этой песни
знаешь слова
но где ту песню
скрыла трава?

Она зарыта
На скрещенье
двух рек
За наши прегрешенья

Бессмертники

Леса в мученьях за рекою
роняют порванный наряд
и скоро клином отлетят

Боимся словно быть одни мы
в лугах подмоченных тоскою

Бывает жутко нам увы
от пожней святостью повитых
и бледных хрупких ядовитых

бессмертников среди травы

Краткое описание лета

Пожары Лето выжжено окрест
Дурманяще цветут акаций рощи
на виноградниках душа вина томится
и дикий мак в хлебах кровоточит

Приходит мрак
серебряным мостом луна крадется

Мир словно хлеб что вытащен из пе́чи
А ночь его съедает

Без названия

И бабье лето словно нить
седая долгая Ее ли
с подола лета отпороли
чтоб нас к раздумию склонить?

В просторах пахнущих дымком
прощаясь с обманувшим летом
мы тишину вдеваем эту
в иглу со сломанным ушком

Перевод А. ПУРИНА

Расстилая постель

Вечером когда кровать ты стелешь
молча я стою в ее ногах
думая кто нам постелет ложе
самое последнее впотьмах

есть у нас на глиняное право
горькая отрадна эта мысль
нас никто лишить его не может
думаю на спинку опершись

Перевод А. КУШНЕРА

Слова

Выпрошенных в последний момент
продержавшихся до конца
кажется нам и хватит

Скажи мне
сколько их потребует стих
чтобы впору ему пришлось

А сколько камешков ляжет в ладонь ребенка
и сколько в страждущий рот

Целый день разбрасывал ты слова
чтобы к вечеру хватило на стихотворенье

Кто-то идет следом и подбирает

Перевод А. ПУРИНА

Молитва за воду

Все меньше мест куда ходила по́ воду
красавица былых времен
где лани пили где жила лягушка
где путники склонялись низко
чтобы напиться из ладоней

Вода об этом вспоминает
вода прекрасна
у воды
блестят распущенные волосы
храните воду не давайте
ослепнуть зеркалу старинному

К ней приведите жеребенка
коня как полночь вороного
вода печальна
у воды
блестят растрепанные волосы
кто к ней на дно теперь нырнет
к пушистым звездам за колечком

Вода печальна у воды
как у вдовы
посыпанные пеплом волосы
вода по нам истосковалась

Перевод А. КУШНЕРА

Из книги «Пьющий впотьмах вино» (1988)

Путы

Детство что было моим когда-то
только из снов еще воровато
тянется словно обрывки пут
ждет: как веревочку оборвут

Мудрым осознанный опыт нажит
он ту веревочку не развяжет
он среди взрослых страстей и смут
не перерубит прекрасных пут

Перевод А. КУШНЕРА

Испытываю жалость

Дни в сентябре
прозрачны и резки́
на алтаре
его златое тело

И ослик за листвой
скрываясь на год целый
похоже до сих пор
спасителя несет

И всюду тишина
и дождь зарядит вскоре
зайчишек мокрых
дрожь возьмет в лесу

Грозит им пулей
борозда любая
испытываю жалость —
ergo sum [1].

[1] Значит, существую (*лат.*). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Перелеты

Как будто валуны на гладких плитах вод
противятся теченью эти утки
и капля конской крови в поле сохнет

Лишь начался обратный перелет
и на пути к нам трепетные крылья
И внешней тишины утрачен вес

Ночи и дни Калитку за тобой
кто затворит последнюю и лаской
шмыгнет по следу хищный ветерок

Дней страхолом не ведает конца
всю исчеркав окрестность
тьма не тает
Из глины тьма растет растет из глины тьма

Пьющий впотьмах вино

Всю ночь ожидает ангела
который грехи измерит
и верит — ангел поверит

Ангелы между тем
(трое по крайней мере)
мнутся медлят у двери
придумывая порог

Перевод А. ПУРИНА

Острова

Надежду разбудив и с нею боль
ночь наизнанку выворачиваем
под звездным небом раздеваем тьму

И если б материк пошел ко дну
надежды нашей
и отошли бы с ним и вы едва видны

Отчаиваться ни к чему

Из моря времени всплывут за нами следом
для новых тонущих другие острова

Те, кто запретил самих себя

Найдутся и такие кто расхочет
быть узеньким как скважина замочная
и пойманы на яблонях и грушах
не слишком соблазнительных
через забор спастись не захотят

Не слезут с веток но закинув голову
на дереве застрянут навсегда
к чужому небу чуточку поближе

И можно будет видеть их сквозь ветки
когда листва с деревьев упадет

Естествознание утрат когда-нибудь
их упомянет как бы с сожаленьем
и строгой редкостью
воспоминанье о воспоминанье
отложится в беспамятстве вселенной

Мир есть яйцо

Желток в нем время выгрызло хорьком
и усики белком облепленные
двумя полосками свисают по бокам

Посещения

Приходят к нам нервные лани на двор
головы низко склоняя красивые

Запахи ужас на них нагоняют
пробуют страх языком словно соли валун

С бьющимся сердцем глядят в наши сны
звездное сено горячее тащат с небес

Тихо уходят оставив в дворовой пыли
четкие оттиски острых копытец

Лани сердитые нас посещают
топчутся долго уходят от нас поутру

Запрещенный человек

Все что имею
внутрь обращено
как галстуки на дверце шкафа

Я привыкаю к тишине

Из грязи перышко подняв
не уроню

Рассказываю что-то сам себе
и песенку пою
о том что ночи созданы для боли
душа для испытаний

Неслышен я как свет

Подробностями занят тишины
и страх на ощупь подрезаю

Чужой и свой

А потому слепые оглянувшись
меня своим призна́ют

Через игольное ушко во тьме пройдем

Перевод А. КУШНЕРА

Сонет о смерти Дон Кихота написал Санчо Панса оруженосец

В печали Санчо плачет Дульцинея
гогочет за оградой подлый сброд
Христос раскрой нежнейшие объятья
к тебе идет твой рыцарь Дон Кихот

Пусть меч лежит в небесном гардеробе
седло хранится средь ночных светил
от ржавчины спаси тот шлем тяжелый
что тазиком цирюльнику служил

Он бился за свободу птахи пленной
за честь и доброту во всей вселенной
ну и дела! — народ дивился вслух

в борьбе с неправдой не было достойней
а нынче под ножом на главной бойне
бедняга Росинант испустит дух

Сонет о плевании с моста в воду написал Псевдол раб

Есть вещи о которых думать стыдно
и времени на это негде взять
чем наплевать на собственную душу
уж лучше с моста в воду поплевать

Как тихо над бесшумною рекою
как хороша бегущая вода
и свешиваясь вниз через перила
могу шептать: спешишь ты но куда?

Река и мост хвалы достойны равной
смотрю вослед как мой плевочек славный
плывет себе и к морю держит путь

Гляжу на воду нежно и без гнева
свой хлеб я ем свои пою напевы
они скромны хлеб черств не обессудь

Перевод А. ПУРИНА

Арфа в снегу

За несколько дней до Рождества я сочинял письмо младенцу Иисусу. Или, быть может, Деду Морозу, уж и не знаю,— мальчику, который меня об этом попросил, было все равно.

Для мальчика не важен был адресат, главное — суть заказа. Письмо имело чисто коммерческий характер. Я заказывал (с доставкой на дом) скрипку и барабан, игрушечный автобус, Кашпарека [1] и ширму для кукольного театра. В свою очередь от имени клиента я предлагал чистые уши, обещание целый год хорошо себя вести (а ведь год — срок немалый!) и по вечерам пить рыбий жир. Кончив письмо, я вспомнил собственные рождественские пожелания за все прожитые мною годы — и мне стало грустно.

Я жил тогда на свете всего года три и к Рождеству попросил арфу. Интересно, что арфу я хотел не для того, чтобы дрынкать на ней и напевать, как царь Давид, а чтобы уложить ее спать. Как-то я услышал колядку, в ней, как в колыбельной, пелось: «Лебедь моя и лютня моя, соловушка мой, спи-усни, арфа моя драгоценная, сыночек мой».

Вместо арфы я получил ботинки. Вернее — детские башмачки.

Потом мне было шесть лет, падал снег, и я мечтал о золотой, как у пожарников, каске. Но получил муфту.

В восемь лет ребенок становится мужчиной — мне был до зарезу необходим пулемет.

Десятилетнему, мне положили под елку вместо собрания сочинений Карла Мая [2] сказки Карела Яромира Эрбена [3]. Они у меня сохранились до сих пор. Впервые я прочитал их, когда вернулся с действительной.

В двенадцать я мечтал о самой прекрасной женщине на свете. Я знал, где она живет. Они этого не знали и одарили меня полосатой пижамой.

С той поры переменилось все: и деревья, и облака, и певчие дрозды. Я поумнел, а возможно — поглупел, желания мои стали скромнее, зато я не так часто разочаровываюсь. Где-то в ящике моего стола лежит портсигар, у меня дюжина галстуков, кальсоны, которые я ни разу не надевал, даже одна кожаная перчатка с левой руки. Но с того рокового Рождества, когда мои мечты обрели настолько разумный характер, что стали осуществимы, само Рождество утратило для меня все свое очарование. А потому, когда недавно я сочинял для мальчонки коммерческое рождественское письмо-заказ, в моей душе зародилось и, как кипарис, выросло до самого неба страстное желание. Я хочу арфу, положите мне в этом году под елку арфу. Лучше всего золотую, а струны могут быть и серебряные.

Вы задолжали мне арфу. Такую, чтобы ее можно было уложить спать.

Маленькая рецензия на падение Икара

Пейзаж с падением Икара (эта картина Питера Брейгеля Старшего хранится в Брюссельском Королевском музее) написан темперой. Размеры полотна 73,5×112 сантиметров. Тютелька в тютельку! На картине мы видим небо, море, землю, горы, солнце, три корабля, одного пахаря, пастуха, собаку, стадо овечек и две Икаровы ноги.

---

[1] Чешский Петрушка.
[2] Карл Май (1842—1912) — немецкий писатель, автор приключенческих романов.
[3] Карел Яромир Эрбен (1811—1870) — чешский поэт, историк, фольклорист.

У меня дома есть репродукция этого произведения Брейгеля, я часто вынимаю ее из папки и с удовольствием разглядываю. Занятие это приятно и глубоко поучительно.

Мне нравится, что художник всему нашел на картине подобающее место. Даже внимательному зрителю отнюдь не с первого взгляда удастся обнаружить несчастного Икара. Он совсем неприметен в правом углу картины. Художник изобразил Икара в момент, когда тот, наглотавшись соленой воды, пускает пузыри, а потому, как уже было сказано выше, видны только две его болтающиеся в воздухе ноги.

И создается впечатление, будто падение Икара осталось незамеченным. Его трагедия не заинтересовала ни пахаря, сосредоточенно вышагивающего за плугом в центре картины, ни пастуха, который в эту минуту считает ворон. (Должно быть, это сказано грубовато, но так уж принято в моем родном краю.)

Я забыл еще про рыбака. У того в миг падения Икара «клевало», и хотя бедняга тонет вниз головой совсем рядышком, рыбак и бровью не поведет. Солнце как раз опускается в море, у него свои заботы. Корабли спешат к пристани, и моряки думают о женщинах. Деревья вообще ничего не думают, а овечки, опустив головы, щиплют траву и целиком заняты этим полезным делом.

Не знаю почему, но пейзаж Питера Брейгеля Старшего, на котором изображено падение Икара, как-то меня успокаивает. Я могу просиживать над его репродукцией целые вечера. Ибо эта пейзажная идиллия исполнена мудрости и безумцам не уделяет никакого внимания.

Маленькая рецензия на то, что нас ждет и не минует

Когда я наблюдаю жизнь из-за кустарника в своем саду, когда размышляю о том, почему кого-то все минует, а кого-то не минует ничего, мною овладевает подозрение, что боги, ответственные за этот мир и управляющие им, очень похожи на печально известного учителя *X*, преподававшего перед войной в брненской гимназии историю и географию.

Многие ученики и поныне его не забыли, причем вспоминают с весьма неоднозначными чувствами.

Этот учитель делил учеников на две резко противоположные категории и откровенно в том признавался. Даже говорил вслух, поднимая указующий перст:

— Гимназисты бывают двух сортов. Симпатичные и антипатичные.

Он не только так говорил, но и на практике придерживался своей теории. До самой пенсии.

О том, кто относится к числу счастливчиков, пользующихся симпатией старого педагога, а кто ему решительно не мил, гимназисты узнавали, когда тот вызывал их к доске. Обычно на уроке географии.

Все становилось ясным уже из заданного вопроса.

А вопрос всегда был один и тот же, вечный и неизменный. Касался он небольшого островка, затерянного в бескрайних водах Атлантического океана, где-то посередине морского пути между мысом Доброй Надежды и Патагонией. Вопрос короткий и острый, как бритвенное лезвие марки «силвер-супер».

— Скажите, молодой человек, сколько сейчас жителей на острове Тристан-да-Кунья?

И когда мы отвечали «двадцать семь», учитель *X* радостно подскакивал на стуле и объявлял:

— А вот и нет, вчера один утонул во время рыбной ловли.

(Хотя порой на том идиотском острове кто-нибудь рождался, нам от этого было не легче: учитель всегда узнавал о случившемся раньше, чем мы.)

Все это действовало нам на нервы. Смерть посещала остров, названный в честь мореплавателя Тристана-да-Куньи, очень часто — всякий раз, когда у доски оказывался гимназист, относящийся к категории антипатичных. С той минуты судьба его была решена: он знал, что его ждет вплоть до выпускного экзамена, и никакое лихо не могло его миновать.

(Когда же к доске вызывали любимчиков, на отдаленном острове, жители которого пребывали в полном неведении относительно своей судьбы и не подозревали, что вопрос их жизни и смерти решается на уроках географии в одной брненской гимназии, рыболовам сопутствовала удача, море было гладким, как стекло, и не требовало человеческих жертв.)

Бывшие гимназисты часто и во всех подробностях вспоминают уроки учителя *X*. Я один из них, но не слишком-то скучаю по господину учителю. С первого класса я знаю, что никогда в жизни ни от чего не увильну, ничто меня не минует. И лишь порой мою совесть мучают те пять несчастных рыбаков с острова Тристан-да-Кунья, в чьей смерти я, по всей вероятности, повинен.

Маленькая рецензия на подсчет паутинок

Милану Зезуле[1]

Надо научиться рисовать крылом бабочки, пересчитывать паутинки, искать то, что мы оставили в летней поре: капельки, капли, самую мелкую капель, туманы, облака, пузырьки на воде, ракушки.

За всем этим ходят в лес, как по грибы. Не только в лес, еще и в сказки, в мельничные терема, в сны, в мучные лари, в детство, к осиному гнезду и к старым пням — обиталищам лесовичков. Кое-что можно обнаружить на рассвете, а кое-что в полдень. Кое-что суть явления природы, а кое-что лишь ее флер. Распашонки, пеленки, саваны, клочья свадебных сорочек на ветвях.

Собранное по росе, все это хрупко и боится слов, но такие вещи необходимы людям, чтобы и в минуты забвения не забывать. Надо искать и находить их вовне и в самих себе. Надо со смирением и добротой помнить о них, чтобы мы сами были добры и смиренны, надо помнить о них, чтобы нам не было так бесконечно грустно.

На этом свете.

Нужно научиться рисовать на хрупком стекле, которое так легко разбивается. А если рисунок упадет наземь, останутся осколки, многие сотни, многие тысячи осколков, разноцветных, радужных, похожих на те, какими любуются, глядя в калейдоскоп, дети.

И все это должно быть маленькое, крошечное, едва умещающееся на ладони или еще меньше, совсем неприметное. Настает великая потребность в неприметном.

И пуще смерти да убоимся слов.

Маленькая рецензия на овцу, чтобы она осталась цела

Вполне естественно, что овца из пословицы имеет явную эгоистическую заинтересованность в том, чтобы волк нажрался, а она при этом осталась цела. Кого бы удивило такое стремление бедняжки.

Не должен тому удивляться и волк, которому необходимо время от времени нажраться. Все это оскорбляет наши нежные чувства и представляется весьма неприглядным, однако факт остается фактом: если волк голоден, а поблизости пасется овца, маловероятно, чтобы она осталась цела. Овцу мы потом пожалеем, а на волка обозлимся.

---

[1] Милан Зезула (род. в 1921 г.) — чешский живописец, график и иллюстратор.

В глазах человека волк выглядел бы куда симпатичней, если бы научился пастись. И овцам бы это пришлось по душе, можно даже надеяться, что они оставили бы ему немного травы. Впрочем, с уверенностью утверждать это не беремся.

Если же мы станем на точку зрения волка, нам придется объективно признать, что просто исключено, чтобы он нажрался, а овца бы при этом осталась цела. Овце же такая точка зрения явно не подходит, поскольку непосредственно затрагивает сам факт ее существования. Словом, прийти к согласию на одной лужайке волк и овца не смогут. Это жестокий, но бескомпромиссный закон. Однако пословицы придумывают люди, и потому в пословицах компромисс возможен. Порой случается — в переносном смысле,— что и волк сыт, и овцы не убыло.

Рассуждение об овце и волке выражает скорее стремление к некоей абстрактной справедливости, чем голую реальность. В действительности же трудно представимо, да и вообще невозможно, чтобы овца в целости и сохранности пережила голод волка. И хотя в переносном смысле это порой удается, мы в таком случае, преисполнясь сарказма, произносим вслух известную пословицу.

Такой уж у нас характер.

Настоящая же овца, которая живет не в пословице, а пасется на косогоре, компромиссов не признает. Да и к чему? Ведь когда наестся овца, волк-то останется цел.

(Все это жалкая философия, да притом еще мы забыли поинтересоваться, что думает трава.)

Жизнь

Всегда меня мучил вопрос, чего я, собственно, жду от жизни; порой казалось — я это знаю, но потом каждый раз выяснялось, что я не прав. Недавно мои раздумья были прерваны: на один вечер мне доверили маленького мальчика, чтобы я за ним присмотрел и не тратил времени впустую, поскольку и так ясно, что ничего толкового я не придумаю.

Но именно благодаря такой оказии меня вдруг осенило. (Родители пока сидели в театре и ничего не подозревали.) А случилось это так: прозрение снизошло на меня, когда я спросил своего маленького приятеля, что он хочет на ужин.

Вообще-то, ответил малыш, он не знает, но наверняка что-нибудь другое.

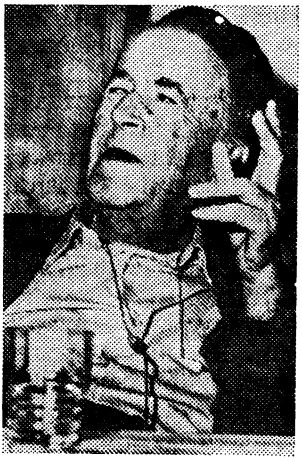
Добрых пять минут я не мог прийти в себя. Потом стал действовать согласно требованиям жизни. Отвесил ему хорошую затрещину и сварил манную кашу. Каша немного подгорела, да что поделаешь — такова жизнь. Что-нибудь другое! И так до самой смерти. От нее мы тоже хотели бы что-нибудь другое.

Мальчонка распустил нюни, тогда я уложил его в постель и прочел из «Книги джунглей» главу о том, как Маугли отправился к обезьянам. Мой подопечный блаженно уснул.

А я подсел к ночному окну и стал глядеть на красивое дерево, которое стояло на улице и не хотело быть ничем иным — только красивым деревом.

Я завидовал всему. Его листьям, ветвям, ветру, музыке в листве и годовым кольцам, образующим круглую дату. Дерево было выразительнее меня.

Перевод В. КАМЕНСКОЙ



ШМУЭЛЬ ИОСЕФ АГНОН

В сердцевине морей

РОМАН

Перевод с иврита и комментарии ИСРАЭЛЯ ШАМИРА
Вступление Л. АННИНСКОГО

Агнон в вечности и в текущем моменте

Что значит Агнон для человечества, уже несколько прояснено; что значит он для русского читателя, еще предстоит понять.

С точки зрения человечества его оценил, вручая премию, Нобелевский комитет. Агнона сравнили с Сервантесом. Точнее, его сравнили с Борхесом, который салютовал Сервантесу. В обоих вариантах имеется в виду печальный образ Рыцаря, ведомого идеалом сквозь жизнь, лежащую во зле; во втором варианте к изначальному донкихотству добавляется еще и нынешний скептицизм, сознающий бессмысленность донкихотства и, однако, сохраняющий ему верность.

Что касается литературного замысла, то у Агнона замысел таков: перед нами реконструкция души средневекового еврея (собственно, не средневекового; шире: от изгнания до алии — две тысячи лет, вся диаспора), как если этот еврей тратил бы себя в веках не исключительно на чтение Торы и Талмуда и на хранение допотопной веры, а и на то специфическое автопортретирование, которое в наше время называется художественным творчеством.

Конкретнее говоря, Агнон во всеоружии теперешней литературной техники воссоздает портрет еврейства, как если бы еврейство написало о себе само в ту пору, когда оно о себе не писало, и даже техники такой не было.

Решая эту задачу, Агнон стал великим еврейским писателем. «Он создал светскую литературу — современницу и сестру религиозной еврейской словесности»,— как формулирует Исраэль Шамир, переводчик Агнона на русский язык. И добавляет, что ролью своей в становлении литературы на иврите Агнон аналогичен Пушкину, давшему России современный литературный язык.

Шамир тотчас предусмотрительно уточняет: правда, Пушкин малопереводим и к другим языкам не прививается. Продолжая аналогию, мы вправе спросить: а что даст Агнон современному русскому читателю, не озабоченному специально развитием ивритской словесности? Что нам сегодня до раздумия какого-нибудь резника из Бучача, или ребе из Язловиц, живших в позапрошлом веке и решавших: идти им в Святую Землю или оставаться в польских или молдавских краях?

И еще: как нам читать Агнона, если замечания, коими обмениваются его герои, может понять только тот, кто всю жизнь просидел в мидраше, изучая «Мишну, и Гемару, и Галаху, и Аггаду»?

Хорошо, нашелся подвижник, Исраэль Шамир, засел-таки за святые и прочие книги, веря, что Агнон нужен русскому читателю,— не просто перевел избранные тексты великого старика, но написал обширнейший и увлекательный комментарий, своего рода агнониаду, «путеводитель по Агнону», создав тем самым к о н т е к с т, в котором русский читатель сможет воспринять эти пряные и необычные тексты.

Хотя, строго говоря, элементы, из которых слагаются Агноновы легенды, в русской культуре известны. Точнее, известны в русской литературной традиции те элементы, из которых слагает русскую версию Агноновых легенд Шамир. Вообще же перевод — таинство. Тем более перевод оригинала, изначально ориентированного на просвечивание одних стилистических слоев сквозь другие. У Агнона сквозь местечковый говор галицийского еврея (еще не выветрившийся из русской памяти) просвечивает тысячелетний пласт талмудического мудрствования над Книгой, а сквозь мудрствование книжников просвечивает наивная вера пастухов эпохи патриархов, а сквозь веру — еще и бездна, из которой вышла вера.

Стараясь выстроить в русской речи этот сложный сказ, Шамир использует аналогичные или близко лежащие пласты русской культурной традиции.

Первое, конечно,— это библейский ритм, восходящий в русской речи к синодальному переводу Священного писания и к старославянским его вариантам,— этот ритм имеет в русском контексте колоссальную знаковую силу:

«...Сказали Хананье: видно, много дорог исходил ты. Сказал он: так оно, неблизок был мой путь. Сказали ему: где бывал? Сказал им: где был — там быльем поросло».

Лапидарное падение слов из бездны небытия в бездну бытия. Камнепад символов.

Но: «быльем поросло...» Присказка наготове. Современный русский литературный сказ произрастает на просторечии, на народной байке, и еще: сказ — не просто повествование о событиях, это непрерывная игра с «готовыми смыслами», непрерывный отсыл к традициям либо вызов традициям, это, собственно, повествование вообще не о событиях, а об исполнении некоего замысла, о подтверждении некоего ожидания. Слово в таком сказе отсвечивает ассоциациями. Иногда переводчик превышает уровень допустимости, переигрывает; например — когда привлекает к делу м ы с и ю, прыгнувшую сюда из «Слова о полку Игореве». В этом есть филологическое щегольство (не мыслию же растекаются по древу, как принято у профанов,— мысию, то есть векшею, белкой), однако «Слово» настолько далеко от Агнона, что словечко кажется нарочитым и искусственным.

Основной же стилевой пласт выверен и реализован с точным внутренним прицелом: перед нами речи человека простецкого, отягощенного массой магических познаний, наивного, доверчивого, суеверного и простодумного, верящего в сглаз, и в порчу, и в премудрость книжников, и в приметы векового опыта. Если навернется слово о бедах, обязательно будет прибавлено: «не про нас будь сказано», ежели о покойнике, то «мир праху его», а если о Господе, то непременно: «да святится имя Его» или что-нибудь в этом духе. Речь, конечно, получается витиеватая, петлистая, медленная и препинающаяся, зато каково соприсутствие смыслов! И Нечистый из-за каждого слова может высунуться, но, с другой стороны, и волос с головы человека не упадет без воли на то Всевышнего.

Разумеется, и эта стилистика сама по себе не содержит в русской традиции ничего фатально невиданного: и она в свой час прошла через магнитное поле житий, да еще через фабльо, миракль, фацецию, жарт, если говорить о переводах и вариациях. Во всяком случае, Агнон вряд ли вызвал бы такой интерес у современного (мирового) читателя, если бы просто реконструировал средневековые жанры ради реанимации «средневековой души». И Шамир, перелагая Агнона в русскую речь, откликается, конечно, на куда более острые и современные нужды.

И находит весьма нетривиальные ответы в русской стилистике.

«Вышли они из города и полсжились на коней...»

Чувствуете многозначность этого «положились»: и усталость всадника, легшего на гриву, и нетерпение, которое ложится над землей стелющимся галопом... Что-то летит сквозь застой быта, какая-то сквозная песнь слышится в препинающейся простецкой речи, какая-то поэма брезжит в жизни пришибленных резников и шинкарей из Бучача и Язловиц.

Кого это напоминает?

«...А рядом с ней стояла ее родственница Фейга, вдова ребе Юделя из Стрыя, мир праху его,— был он из рода владык и богачей, много золота посылавших беднякам Страны Израиля...

А рядом с ней стояла Сарра, жена ребе Моше, внука ребе Авигдора-старосты, да будет ему земля пухом.

А рядом с ней стояла Песиль, дочь ребе Шломо Когена, что овдовела в то время и собиралась следовать за отцом своим, чтобы принять страдания Земли Израильской...»

Разумеется, в прозе самого Агнона так же мало гоголевского, как и того, что идет от «Слова о полку Игореве». Но если реминисценции из «Слова» уводят русское ухо от Агнона, то Гоголь, как ни странно, на него наводит, помогает воспринять и понять. Почему? Потому что здесь бытийное, эпическое, героическое сращено с бытовым, профанным, комическим. Именно Гоголь сделал это сочетание неабсурдным для русского сознания. Именно Гоголь соединил божественное с «низовым», так что мы спокойно терпим соседство библейских коленоперечней (жена Моше... внучка Авигдора) с тем, что Авигдор — «староста» или даже с чем-нибудь вроде того, что вдова откусила ухо заседателю. Важно не то, ч т о вдова сделала, а тот факт, что о сделанном ею «знают все».

Кто «все»?

Весь Бучач.

То есть, в данном случае «весь Бучач» — это, без сомнения, весь мир. «Во всем мире не найдешь городка ближе к Бучачу, чем Язловиц...» Вы слышите! Вот чем весь мир занимается: он о Бучаче думает. Весь мир стоит в свидетелях того, как человек в рваной одежде по имени Хананья отправляется из галицийского местечка на землю праотцев. В е с ь м и р — вот место действия для героев Агнона, завороженно идущих сквозь смуты и погромы, сквозь гнев и милости местных начальников, сквозь нищету, которая ничему не препятствует, сквозь достаток, который ничего не стоит.

Эпос мирового духа кроется в душе оборванного Хананьи точно так же, как на русской нашей почве он может быть сокрыт в душе какого-нибудь Чичикова. Это как раз и значит, что ни волос не падает с головы человека без воли Господа, хотя жизнь человека висит на волоске. Как зачарованные идут к своей цели герои Агно-

на. Всякий встречный может их обидеть: разбойник может ограбить, стражник — посадить во узилище, разбушевавшаяся народная толпа — уничтожить или спасти. И летят они, как пылинки в солнечном лучике, и чувствуют только направление светового луча. Все внешнее — страшно, неустойчиво, ненадежно, неверно, смертельно опасно в их жизни, зато внутри, в душе — невероятная, несгибаемая, несдвигаемая твердость. И все — Богу, каждое словечко, каждое движение. Живет человек в каких-нибудь Понизовицах, но Понизовиц этих в упор не видит, а парит в воздухе. Бричка его — как колесница. Всякий помысел — не просто помысел, но свидетельство. Кому? Богу, что о любом его волоске думает. И эта связанность внутренней жизни идет об руку с неслыханной, сомнамбулической свободой: жизнь «сквозь все» — жизнь в воздухе...

Не здесь ли — глубинная связь с Сервантесом? Человек смотрит на ветряные мельницы, а видит великанов. Все происходит в контексте вечности, все мелочи равнозначимы в напряженнейшем поле смыслов. И юмор, недобродушный юмор Агнона, в сущности, тяжел от внутренней околдованности, от перенапряжения символики. Внешняя легкость — и свинцовый заряд внутри: зачарованность, гипноз Слова, гипноз Знака, гипноз Книги. «Еврейский синдром».

Да, еврейский. Но с тем уточнением, что Агнон по существу раскраивает эту еврейскую душу, распластывает ее, проводя скальпельную линию между униженностью «галута» и гордостью «Израиля». Писавший на обоих еврейских языках: на идиш и на иврите, Агнон вобрал в себя оба начала, ибо идиш — язык еврейского рассеяния, а иврит — язык еврейского сплочения. Агнон сопоставил две душевные ипостаси еврейства: душу изгнанника, вечного «гостя», сидящего «на чужом пиру»,— и душу хозяина, возвращающегося в свой дом. Герои Агнона — на перепутье, они меж изгнанием и домом, но внутреннее решение их твердо: в противовес героям диаспоры, застенчиво выпрашивающим себе право на жизнь, они с к в о з ь эту жизнь идут, как бы не замечая ее,— тихие одержимцы, «очарованные странники» (лесковским словом говоря),— идут исполнить Завет и Закон.

Сплетается судьба из паутинных случайностей, но человек говорит себе: закон — есть, и то, что он есть,— чудо. Человек счастлив и обретает мир в душе неожиданно и странно, в момент, когда, казалось бы, он теряет все. Он идет с саженцами на землю, которой нет; з н а ч и т, она есть. Фантастика духа. Измаильтянин воюет и убивает, поэтому проигрыш войны для него — конец и родины, и судьбы, а у израильтянина «все наоборот»: идет с саженцами и верит, что земля, потерянная две тысячи лет назад, ждет его, как невеста, и что родина, «которой нет», все-таки есть.

Что такое «две тысячи лет», когда герои Агнона живут в н е в р е м е н и! И что такое «родины нет», если ее нет «только» в координатах той или иной чужой земли! Координаты пространства неважны, вместо них есть одна значимая точка: Синай, она и есть пространство. И координаты времени неважны, ибо во времени есть только одна значимая точка: Завет, она и есть время.

Душевная организация, совершенно безумная с привычной и обыденной точки зрения. Вечность есть, а времени нет: течения времени нет; мировая история — какой-то проходной эпизод в лоне господня мира. «Из-за злодея Тита я родился в Галиции, а должен был родиться в Иерусалиме»,— похоже, что эта фраза была для Агнона главной в его Нобелевской лекции; конечно, «злодей» — ритуальная маска римского полководца, давно скрывшегося в толще истории, но для Агнона это — вот сейчас; Тит — лично обездоливший его злодей; никакой толщи истории нет; сегодняшняя страсть пылает сквозь предание.

Для Агнона события не развиваются по исторической восходящей, они равноудалены (или равноприближены) относительно точки исходного (и конечного) смысла. О падении Мосады он может говорить с такой же неугасающей болью, как о шестидневной войне, которую восьмидесятилетний старик застал на этой земле. Истории нет — есть Закон, который исполняется либо не исполняется.

Монолитность души, связанная с этой сомнамбулической концентрацией вокруг центральной точки, изумительна. Когда думаешь о том, в о к р у г ч е г о собралось, создалось еврейство, ч т о з а с и л а погнала Авраама из Месопотамии в пустыню, р а д и ч е г о надо было так отрезать себя от «остального человечества», то поражает видимая простота и односложность идеи: Бог един. И только! Вместо множества — единство. Ничего больше. Бог невидим, неизобразим, неохватен. Он неопределим. Просто един — и все. Константа. Неизменность. Неподвижный ориентир в скользящем бытии. Ради этого — на костры, в душегубки, во рвы расстрелов. Это — и в основе, и в результате. Е д и н.

Не мало ли? Не странно ли? Не узко ли? Что за сила таится в этом упрямом «однообразии»? Уже ведь и от ствола единобожия отпочковались две мощные ветви: христианство и мусульманство, и охватили полмира — именно потому, что вняли многообразию мира, потянулись к его изменчивости, к его новизне, выстроили ступени к ней, приняли ее. Иудаизм остался — «при стволе»: при Завете, при Договоре, при чистоте первоначального Слова. Что же, верность — самоцель?

Да, самоцель! Чем шире, многообразнее, непредсказуемее разливается Смысл по пестрому лону жизни, тем упрямее стоят жестковыйные при чистоте первоначальности. Даже тогда, когда эта чистота есть просто знак. Знак верности как таковой.

Сидит тихий еврей всю жизнь над Книгой и не слышит звуков мира; мир бурлит и меняется, а Книга равна себе.

Стоит маленький герой Агнона перед миром, как Давид перед Голиафом; Голиафа терзают сомнения, а Давид сомнений не знает.

Плывет смешной Хананья через Средиземное море — в Иерусалим — на платочке, но это не смешно.

Агнон не ставит своей задачей ни развлечь нас — при всем своем юморе, ни увлечь — при всей своей убежденности. Он ставит перед нами зеркало, странное зеркало, в котором мы видим себя с фантастической точки. Но видим — себя. Я понимаю, что моя попытка смоделировать восприятие агноновских легенд есть не более чем гипотеза, к тому же взращенная на чисто российской почве. И все-таки: представим себе, от противного, ту душу, которая смотрится в Агнона, как в перевернутое зеркало.

Что нам до Хананьи, до платочка, до «средневекового еврейства», как если бы оно вздумало написать о себе! Что нам до Синая, если мы никогда там не были и не будем! Что нам в Иерусалиме — ведь не нам уготована эта Земля-Невеста! Что нам Договор, заключенный не нами и не про нас!

Но сама магия Договора, сама твердость Закона! Мы, в непредсказуемости нашей волюшки гуляющие по земле, ненавидящие всяческую «крепость», преступающие всяческие «пределы»,— разве не чувствуем, что немеряная земля наша стонет стоном от нашей гульбы и души наши разрываются от того, что нам закон не писан?

И все мечтаем с очередным поворотом «поступательного развития» усилиться и слепить «нового человека», а потом оказывается, что человек этот новый пятнист, как и его пращур времен Каина.

А самогипноз единства! Мы, помешавшиеся на всепонимании и всеотзывчивости, всему откликающиеся и ко всему причастные,— не чувствуем ли, как мир наш ползет и распадается, и «плюрализм», к которому мы кидаемся как к спасению от тоски «сплочения», слепит и путает нас многоцветьем и непредсказуемостью,— и разве не тоскуем мы по какой-то неведомой нам внутренней основе, любой,— только бы душа была равна себе?

А история, в которую мы впряглись как ломовые лошади! Мы, наследники той пьянящей традиции, которая на перекрестке «Афин и Иерусалима», впервые осенила жизнь человечества как п р о ц е с с, как путь — в противовес языческой античной цикличности и иудейской восточной незыблемости,— мы в полной мере познали и величие, и тяжесть этой традиции. И вот, несколько столетий кряду, втянувшись в гонку сначала «европейской истории», а затем и «мировой», надрываемся, и каждый очередной пленум называем историческим, и все время держим перед собой некую цель, уточняя ее, отдаляя, корректируя,— а потом вдруг обнаруживаем, что все это «историческое действие» отдает самогипнозом и идем мы на самом деле то ли «не туда», то ли «по кругу». Разве не возникает и у нас смутное ощущение, что могут быть ценности и превыше Истории? И что вечность реализуется не только в гонке по «историческому пути»?

Да, есть что-то такое в смешных суеверных героях Агнона, всю жизнь читающих Книгу, написанную Бог знает когда. Есть что-то важное для нас в писаниях этого самоучки, Шмуэля Иосефа Чачкеса, родившегося в 1888 году в местечке Бучач в семье мудрого и образованного еврея, да будет ему земля пухом. Есть что-то в писаниях этого галичанина, австро-венгерского гражданина, взошедшего в Иерусалим, а затем отъехавшего в Германию, где он оставался, пока дом его не сгорел со всеми рукописями, после чего он вторично взошел на Святую землю и стал Агноном. Здесь нашла его в 1966 году Нобелевская премия, здесь нашла и мировая слава. Здесь он умер в 1970 году. Здесь хранится наследие его, в восьми томах изданное при жизни и еще в четырех после смерти.

К малой части этого наследия мы теперь имеем возможность приобщиться.

Глава первая

ПЫЛЬ ДОРОГ

Прежде чем взошли* первые хасиды * на Землю Израиля *, закатился * в их мидраш * человек один, Хананьей звать. Одежа на нем рваная, ноги обмотаны тряпками, а обутков и вовсе нет, и волосья на голове и в бороде покрыты пылью дорог, а все пожитки его увязаны в платок, а платок в руке. Сказал им Хананья, любезным нашим *: Сыны Бога Живого, слыхал я — собираетесь вы взойти на Землю Израиля. Просьба к вам — запишите и меня в ваши книги. Ответили ему: кто возведет нас, возведет и тебя, записали его в свои списки и дали ему пристанище в мидраше. Он радовался им, что

© Русского перевода Исраэль Шамир, 1981

Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

взойдет с ними; а они радовались ему, что он восполнит их число для молитвы *.

Сказали ему любезные наши, сказали Хананье: видно, много дорог исходил ты. Сказал он: так оно, неблизок был мой путь. Сказали ему: где бывал? Сказал им: где был — там быльем поросло. Стали уговаривать его, слово за слово, пока не начал перечислять все свои странствия.

Сказал Хананья: сперва пошел я из своего града в град иной, а из того града — в град иной. Так шел я из града в град, пока не дошел до пределов другой земли, а там никому не дают пройти, если не дать царю тамошнему пошлины. Отобрали у меня все добро, ничего не оставили, кроме платка — прикрыться. Пожалели меня тамошние жители — дали мне все, что мне не хватало,— тфилин и талит для молитвы. А в земле той все больше стужа правит, и в Пятидесятницу * в конце мая дома стоят в снегу, а в Кущи * в сентябре не удержишь в руке пальмовую ветвь от холода, а лимона, заповеданного в Кущи, у них нет, но общины делят между собой один лимон, каждой общине по кусочку, чтобы освежить память Божьего повеления. И встречают они субботу черным хлебом, и провожают молоком, ибо нет у них ни чистых калачей, ни вина. А когда рассказал я им, куда путь держу, приняли меня за бахвала, потому что отродясь не слыхали они, чтобы шел человек в Землю Израилеву. Да и сам я стал сомневаться уже — и впрямь в этом ли мире находится Земля Израильская,— пока не оставил я их и не ушел. Сказал я себе: лучше умереть в пути, чем отчаяться * и утратить страну Израиля. Не упомню, сколько шел и в каких местах проходил, пока не попал я в пещеру к разбойникам *; взяли меня разбойники к себе, но и пальцем не тронули, только каждый раз как уходили людей грабить, говорили мне: молись, мол, за нас, чтобы не попались. А сами они мужи добродетельные, и милосердия исполнены, бедняку в час нужды помогут и в Творца веруют. А если поклянутся вечной жизнью, то хоть душу вынь — от слова своего не отступятся. И поначалу не были разбойниками, но вельможи, у которых они были в крепости, вынудили их оставить свои поля и покуситься на чужое добро. И заметил я, что один из них налагает тфилин *, обознался и принял его за еврея, но на деле не еврей он: бывший ватаман — архистратиг татей — налагал тфилин, а когда его убили, то этот взял себе его тфилин. А убили ватамана так: доверял он татьбину на хранение одному попу грецкой веры. Раз отрекся поп от залога. Пригрозил ватаман, что сочтется с ним. Пошел поп и донес на него царю. Велел царь казнить ватамана. А когда повели его на казнь, сказали: открой, мол, нам, где твои товарищи скрываются, и — помилуем. Сказал он: делайте свое дело. Затянули вервие ему на шее и вытащили душу его. В час смерти сказал: жаль мне тебя, женушка, жаль мне вас, сынки, что оставил вас сиротами.

И сказал Хананья: однажды хотел тот разбойник с тфилин провести меня через одну пещеру глубокую * прямо в Землю Израиля. Закралась мне дума в сердце: а что, если нет на то хотенья Божья — чтобы посаженым отцом на свадьбе * моей с Землей Израиля стал разбойник. А раз закралась такая дума в сердце — не пошел я с ним, потому что была бы воля Божья, чтоб пошел я с ним — не вселил бы он мне думу такую в сердце. Стыдно мне стало перед ним, что милостей его не принял, и ушел я в другое царство. А в том царстве все дни — будние, нет у них ни субботы, ни святого праздника. Сбился я со счету дней и зарекся больше двух тысяч пядей * в день проходить — а вдруг суббота, а вдруг святой праздник. Однажды повстречался мне в пути пан. Говорит: куда, мол, путь держишь? Говорю ему — в город, мол. Приглашает он меня в свою карету. Увидел, что я медлю, и заорал на меня: «Шядай!» Это он по-ляшски говорил, по-ляшски ш я д а й значит с а д и с ь, а мне и невдомек было, думал, что он имя Всемилостивого имеет в виду — Ш а д д а й *, что он меня Именем Божьим зовет. Прыгнул я и уселся в карету.

А день тот — Судный день Иом Кипур * был, а я и не знал, пока не приехали мы в город в час заключительной, последней молитвы Судного дня. Вылетел я из кареты, сорвал с себя башмаки, кинулся в мидраш, бросился на землю и проплакал всю ночь и весь день назавтра. Услышал я — поминают Землю Израилеву, прислушался и услышал, что бучачане * некие решили взойти на Землю Израиля.

Тотчас встал я и пошел к вам, а поелику босиком шел — опухли ноги мои и долгим стал путь.

Пошли и принесли ему башмаки, но не принял он. Сказали ему: семь заветов * указал рабби Акива, и один из них — не оставляй ног без обути. Сказал Хананья: ноги мои, что святости Судного дня не почуяли,— пусть пухнут. А когда рассказал Хананья все это, развязал платок и вынул оттуда Псалтирь и читал, пока не пришло время пополуденной молитвы. После молитвы взял свечу и вернулся к Псалтирю.

Увидел — лампада покрылась ржой,— взял платок свой и завязал на нем узелок. Назавтра, когда вынул талит и тфилин из платка, сказал: зачем это я завязал узелок? К тому, что лампадка заржавела. Взял лампадку и все светильники мидраша, смешал песок с водой и уселся за печкой. Чистил их и тер, пока не заблестели как новенькие. Поговаривали в тот день, что достойны светильники нашего мидраша, мол, сиять перед Тем, Кто сияет во Сионе. И еще одно сделал Хананья: прикрепил чашечки к лампадкам, потому что в царстве Исава, в странах эдомитян зажигают жировые свечи и вставляют в светильник, а в стране Серны, в земле Прелестной *, принято зажигать лампадки с маслом — наливают в чашечку масло и вставляют фитиль. Собрался и приделал чашечки к лампадкам, чтобы можно было наполнить их маслом. И не только светильники, но и ковшик, и таз для омовения, и все причиндалы, и сосуды, где скрывается дух Божий,— все он натер и начистил и придал сияние лику их. И даже рваные книги поправил — к новым дощечкам привязал и в отборную кожу переплел. Вчера были грязные и рваные, а сегодня полны ликования, как их приятие у горы Синай. Сказали ему: да ты, никак, лудильщик? Сказал им: не лудильщик я и не переплетчик, но как увижу вещь с изъяном — переполняется сердце мое жалости к ней. Говорю себе: эта вещь просит, чтобы ее починили,— и Всевышний говорит мне — делай так или — делай этак. Так я и делаю. Сказали любезные наши: вот — человек простой, а какое слово ни обронит, есть в нем назидание другим. Такой человек — куда бы он ни закатился,— Господь его не оставит. Спросил тут один у Хананьи: может, умеешь ты сделать сундук для пожитков? Сказал ему: может, умею. Сказал ему: а то мы отправляемся в долгий путь, вещи в дорогу нам нужны. Может, сумеешь ты сделать нам сундук или ящик или короб какой? Сказал: можно попробовать. Сказал ему: а как пробуют?

Пошел он в лес, приволок оттуда бревен, распилил их на доски, и тесал их, и строгал их, и сколотил их вместе, и сделал из них сундук, и покрасил в красный цвет,— потому что идет вещам эта краска. Увидели другие этот сундук во всей красе его, попросили у Хананьи, чтобы он и им сделал сундуки. Отправился в лес, приволок бревен и сделал и им сундуки, так же, как сделал тому. И даже для свитка Торы сделал он ковчег — чтобы и его возвести на Землю Израильскую. И все сундуки сколотил он железными гвоздями, только ковчег скрепил деревянными клиньями, чтобы — если окажутся они, не дай бог, в магнитных горах, что вытягивают железо из вещей,— ковчег бы не развалился. Всем путешественникам сделал Хананья сундуки в дорогу, а самому Хананье довольно платка-узелка.

Глава вторая

ЗВАНЫЕ ГОСТИ

Вот уже весенний месяц Адар к концу приходит. Облака, покрывающие лик солнца, убывают, а солнце все прибывает. Вчера было часом закатной молитвы, а сегодня стало часом пополуденной, в тот час, что вчера пробуждались, сегодня уже собираются на молитву. Снег растаял и сошел, деревья в поле почернели. Сегодня они черны как земля, а завтра дадут ростки и украсятся, как горы Ливанские. Что ни день, появляется новая пташка и щебечет на крыше. Ходят сердечные наши и вопрошают — когда же дороги откроются для путешествия. Отродясь они не боялись смерти, как в эти дни. Сколько святости в Земле Израильской, хоть и в запустении она, и сколько сил телесных у человека, хотя бы и в годы его расцвета. Вот — собирался человек взойти на Землю Израильскую, а не взошел. И внезапно выскользнет душа из тела и лежит он как камень бессловесный, и никуда уже не едет, и где все его чаяния и надежды? Кто умеет читать Писание — читает Писание, кому под силу Мишна и Талмуд — изучает Талмуд, чтобы укрепить сердце словами Торы. Говорят — попусту потерян день, если не увидел человек лика солнца и луны. Хоть и мешали им дела денежные и продажа домов — освещены были дни сердечных наших сиянием Торы и молитвы.

Пасха миновала. Светило укрепилось на небосводе, и лужи высохли. Болота и те пересохли. Дороги просились в дело, и возницы пустились в путь. Кони ржут от конца и до края света, и колокольчики их звенят, а возницы щелкают вожжами и кричат: гей да вье!

Собрались пилигримы в своем мидраше.

Пришел р. Шломо-старший, коген — семя Аарона-первосвященника, муж мудрых решений, что всю жизнь вел торг, а под конец оставил достояние мирское и решился сердцем взойти на Землю Израильскую. Говаривал р. Шломо: коль гневается царь на рабов своих, не дай Бог бежать царского гнева, пусть стоят в царских вратах и горюют о своей доле и о царской немилости, пока не увидит царь кручины рабов своих и не сжалится над ними.

И пришел р. Алтер-резник, что передал свой нож зятю.

И с ним пришел шурин его р. Алтер-учитель, что всю жизнь сидел в шатре Торы и изучал с учениками Писание истово и дотошно. Однажды сидел он над трактатом «Венчание». Пришла ему мысль в голову, что Земля Израильская — как кольцо *, которым жених — Всевышний — обручился с невестой — Израилем, потеряется кольцо — и распадутся брачные узы. Понял он, что, покуда обретается за пределами Земли Израильской,— не обретает покоя. Отложил он Талмуд, распустил учеников, продал дом и книги Мишны с Альфасиевыми толкованиями и записался в список пилигримов, идущих в Святую Землю.

Пришел и р. Песах, общинный казначей, что ехал с женой своей Цирль. Надеялся он, что по благости Земли Израильской благословит их Господь детьми.

И пришел р. Иосеф Меир, что отослал жену домой, потому что не захотела поехать с ним в Землю Израиля. Сказал ему отец ее: только соизволь принять мою дочь обратно и зажить с ней в Бучаче, как и прежде,— удвою вам приданое. Ответил он: другой суженой * уже обещался я, не могу ее осрамить.

И пришел р. Моше, брат р. Гершома — мир праху его,— того самого Гершома, что отдал душу Господу, распевая стихи: «Введи меня, царь, в чертоги свои».

От любви великой к Земле Израиля оставил р. Моше двух дочерей своих и записал свое имя и имя жены своей в список пилигримов.

И пришел р. Иегуда Мендель, из последних учеников премудрого раввина Уриэля,— Господь да хранит душу его в сокровищнице Своей. Пока жив был р. Уриэль, стелилась полоска Земли Израильской вплоть до дома его, а когда умер, весь мир потерял цену в глазах р. Иегуды Менделя, пока не вселил Господь в его сердце мысль — взойти на Землю Израиля.

И пришел еще один — имени не упомним *.

А еще пришел Лейбуш-мясник, которого извергнула потом Страна Израиля, потому что худое говорил о ней. Говорил он: поглядите, какая это страна,— ничего в ней нет, только одна баранина.

И пришел р. Шмуэль Иосеф * сын р. Шалом-Мордхая Левита, блаженной памяти, что был превеликим знатоком сказаний Земли Израильской. Этими сказаниями украшают имя Всевышнего. И когда он начинал славословить Святую Землю, видели, будто Сокровенное и Тайное Имя Господа — Тетраграмматон * — запечатлено у него на кончике языка.

А когда собрались все, стал Хананья в дверях с платком-узелком в руках, а в нем — талит * и тфилин и прочие пожитки его, как у человека, готового немедля пуститься в путь.

В то время когда мужчины сидели в мидраше, женщины собрались на женской половине: госпожа Милька, торговка жемчугом, что вступила во второй брак, чтобы супруг ее взошел с ней на Землю Израиля, а он не захотел поехать,— и разошлась с ним.

А рядом с ней стояла ее родственница Фейга, вдова р. Юделя из Стрыя, мир праху его,— был он из рода владык и богачей, много золота посылавших беднякам Страны Израиля.

А рядом с ней стояла Гинда, жена р. Алтера-резника.

А рядом с ней стояла Цирль, жена р. Песаха-казначея.

А рядом с ней стояла Эстер *, жена р. Шмуэля Иосефа, сына р. Шалом-Мордхая Левита.

А рядом с ней стояла Сарра, жена р. Моше, внука р. Авигдора-старосты, да будет ему земля пухом.

А рядом с ней стояла Песиль, дочь р. Шломо Когена, что овдовела в то время и собиралась следовать за отцом своим, чтобы принять страдания Земли Израильской.

Приподнялся р. Шломо Коген, встал на ноги, положил руки на стол, опустил глаза и сказал им: зачем вам ехать в Страну Израиля? Неужто неведомо вам, что много лиха выпадает на долю странников, не говоря уж о скудости пищи, страхе злых зверей, о ворах, а на море и того хлеще. Ответствовали ему сердечные наши: нет в нас страха. Если достойны мы перед Всевышним — приведет нас в Землю Израиля, а если мы, упаси Боже, недостойны того — то достойны мы всех бед, что свалятся на нас.

Что он сказал мужчинам, то сказал и женщинам. Как ему ответили мужчины, так ответили ему и женщины. Сказал р. Шломо: блаженны вы, что прилепились сердцем к Стране Израильской, ибо создана Страна Израиля лишь для народа Израиля и никто не остается навеки в Земле Израиля, кроме народа Израиля. И все сказанное было говорено лишь чтобы умножить заслуги ваши.

Положил р. Алтер-резник руку на плечо р. Алтера-учителя, а р. Алтер-учитель положил руку на плечо р. Алтера-резника, и стали они плясать и распевать: «Кто даст с Сиона избавление Израилю? Когда возвратит Господь народ Свой из плена, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль». Спросил р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая га-Леви у р. Моше: может, ведомо тебе, на какой лад распевал брат твой покойный р. Гершом «введи меня, царь, в чертоги свои?» Ответил тот: не принято у нас распевать на этот лад, потому что так брат мой оставил мир сей, но ведомо мне, на какой лад распевал он «влеки меня за собою, вместе мы побежим». Хотите послушать — напою вам. Опустили собравшиеся головы долу, и завел р. Моше: «Влеки меня за собою, вместе мы побежим». Встал р. Иосеф Меир и сказал: дай Бог, чтоб сподобил нас

спеть «введи меня, царь, в чертоги свои» в Иерусалиме — святом граде. И ответили ему хором собравшиеся: аминь, и разошлись с миром по домам.

Когда вышли из мидраша, весь городок уже дремал. Дома прятались под покровом ночи, скрывались во мраке. Ночное светило еще не взошло на небосвод, и лишь звезды освещали верхушки гор. Бучач стоит на горе, и казалось, будто звезды привязаны к крышам его домов. Внезапно вышла луна и осветила весь город. Речка Стрипа, что раньше пряталась во мраке, заблестела внезапно серебром, и из водопоя на рынке восстала пара серебряных подсвечников.

Сказал один из них: сроду не знал я, что городок наш так прекрасен. Кажется мне, что во всем мире не сыщешь града краше нашего. И товарищ его ответил ему: воистину и у меня та же мысль сейчас появилась. Сказал р. Алтер-резник: любой город хорош, если живут в нем хорошие люди. И сказал р. Алтер-учитель; а сейчас хорошие люди едут в хорошее место.

И в то время сказала одна жена соседке: не знаю, что со мной творится. Лишь сказала я, что подобной ночи не видала в жизни, и сразу показалось — ан нет, была уже такая ночь в моей жизни, и даже те же слова, что слыхала сейчас, слыхала я раньше. Хоть и понимаю, что не так это, а сказать, что это не так,— не могу. Сказала ей соседка: может, когда-то уже восходили мы на Землю Израилеву и все, что мы сейчас видим и слышим,— уже видели и слышали раньше, другой ночью. Сказала та: если так — то почему мы здесь, а не в стране Израиля? Сказала ей соседка: соседушка, уже были там. Сказала ей соседка: если мы были там, почему же мы сейчас здесь? Сказала ей соседка: соседушка, ты меня спрашиваешь, как это случилось, и я тебя спрошу, как это случилось, что изгнали нас из страны Израиля и рассеяли меж народами. Сказала ей соседка: не понимаю, о чем ты толкуешь. Сказала ей соседка: соседушка, да не ты ли мне сказала: чудится, мол, мне, что уже видала я такую ночь.

Подрядили они себе две повозки, длинные и высокие, покрытые сенью, как в праздник Кущей, всю утварь домов своих, кроме той, что годится в пути, превратили в золото, а золотые запрятали в торока. Набили сундуки ушатами, мисками, плошками, и ложками, и вяленым мясом, и сухарями, что от времени не портятся, и отправились просить разрешения и благословения у покойников.

Эти пошли на могилы отцов своих и близких, а те пошли к могилам праведников, столпов мира сего, что приняли на себя погребение вне Святой Земли, а вместе с ним — и муки перекатывания под землей по скрытым норам и пещерам до Иерусалима. А приняли они на себя муку эту, чтобы защитить мощами своими городок от гонений и казней. Зарыдали они, ударились в слезы, и пробудились души их — ибо мощи праведников пробуждают души к покаянию. И плакали они, и рыдали, пока не вышли обратно к вратам кладбищенским, к вратам Дома жизни вечной. Повернули лица к могилам и посмотрели вновь. Тут пришел р. Авраам — обрезатель крайней плоти, тот самый р. Авраам, что приобщил почти весь город к завету праотца Авраама, мир праху его, взял нож для обрезания * крайней плоти и провел им под ступнями каждого из них и сказал: сынки, вот, отрезаю я, чтоб не держал вас прах града сего. И под своими ногами тоже провел он лезвием ножа. Ударились тут все в слезы и вернулись по домам.

Обули ноги в здоровенные башмаки, в дорогу справленные, железными гвоздями подкованные,— чтоб износу им не было,— и как шли они — грохот башмаков слышен был от конца и до края города. Так и говорят в Бучаче о крикунах — шумят, как будто в Святую Землю едут. И обошли они все дома собрания и молитвы и все улицы города. Шли они с Торой, молитвой и подаянием, чтоб не пришлось возвращаться, загладить вред али грех какой. И шли они из дома в дом прощаться с живыми. Спрашивали каждого: может, затаил ты на меня что? Может, дол-

жен я тебе? И открыли копилки для сбора пожертвований — называют их копилками р. Меира-чудотворца — и увязали деньги в торока, чтоб отвезти их братьям нашим в Земле Израиля, и поцеловали каждую мезузу, пока не пришли к речке Стрипе. А когда пришли к речке Стрипе, встали, попросили прощения у воды. Сказали: все реки текут в море, заклинаем мы вас, воды реки Стрипы, не гневайтесь на нас в пути. А затем пошли в свой мидраш и там помолились. А затем сели в повозки — женщины в одну повозку, мужчины в другую повозку. Повозку, где мужчины, взял на себя сам возница, а повозку, где женщины, передал в руки Хананье — сделал его подручным своим, как принято в извозе,— если есть две повозки, то доверяют одну из них какому-нибудь ездоку и платы за проезд с него не требуют.

Весь город вышел провожать их, кроме раввина *. Сказал раввин: те, что едут в Землю Израиля до прихода Мессии, напоминают мне мальчишек, что поперек жениха-невесты под брачный венец лезут.

Глава третья

ИСХОД

Вышли они из города и положились на коней. Опустили кони головы и понюхали дорогу, что выбрали для них. Сел возчик на одну повозку, а Хананья — на другую. Натянул возница вожжи, понукая коней, тряхнули кони гривами и уже было пустились в путь, но трогаться временили — вдруг забыли что дома. Но так как слышны были только слезы прощания, махнули ногами и пошли. Взял Хананья кнут и щелкнул им над головами коней, повернули кони головы, посмотрели на него и поскакали. Женщины, что привычны были к поездкам на ярмарки, сказали: отродясь не видали мы такой ровной езды, как сегодня. Спросили женщины у Хананьи: да ты, никак, возчик? Сказал он: нет, не возчик я, но лошади-то — они лошади и знают, что от них требуется. Сказал Хананье возчик: мне ты будешь рассказывать, что ты не возчик. Да ведь по одному посвисту кнута слышно, что ты — возчик. Сказал ему Хананья: отродясь не правил я лошадьми в упряжке, только раз, когда видал — тонет человек в реке вместе с лошадьми, вытащил я их и отвез его домой.

Так они ехали около двух часов по лесам, и полям, и по селам, пока не приехали в святый град Язловиц. Свистнул извозчик коням и остановил упряжку, ибо договорено было сперва задержаться в Язловице, чтобы перед восхождением попрощаться с близкими. Во всем мире не найдешь городка ближе к Бучачу, чем Язловиц, прямо хвост в гриву стоят они рядышком, а мира между ними нет как нет. А дело в том, что, когда оставил старый раввин Бучач, прельстил глаза отцов города молодой зять его, язловицкий раввин. Пришли просить его править над ними, но не принял он. Сказал: неужто оставлю я свой Язловиц — городок маленький, где никто меня от науки не отвлекает, и пойду в великий град Бучач, полный мудрецов и купцов, что все время дергают своего раввина: те — своими заумными рассуждениями, а эти — своими торговыми промыслами. Что же сделали бучачане? Взяли упряжку коней, приехали к нему ночью, усадили его в повозку и умчали в Бучач *. Не успело воссиять солнце нового дня, как засиял Бучач от сияния молодого раввина, а свет Язловица померк. И с тех пор, если забредет какой бучачанин в Язловиц, не миновать ему трепки, да и шапки на голове не сносить — в память того, что Бучач похитил венец с главы града Язловица. Но сейчас, когда покинули они Бучач и отправились в Страну Израиля, исчезла ненависть из сердец язловичан, мало того — весь город собрался в честь их и вышел встречать их водкой и пряниками, и вареньем всяким, и водой ключевой, студеной. И даже иноверцы воздали им почести — в честь Страны Израиля. Не видали почестей таких в этих краях: прямо бросались пред ними в прах и целовали край их

одежд, и коням их засыпали овса — так люба была им Страна Израиля,— всем, кроме армян, что участия в этом не принимали, потому что армяне — Амалекова семени, а Амалек * — ненавистник Израиля. И живут армяне эти повсюду, и ведут торг с полуденными странами, и привозят оттуда зелья духовитые, ароматы и пряности, и теснят народ Израиля. И царство их — недалеко от реки Самбатион, за которой живут десять колен Израиля, и ходят они войной на Даниила Угодника, что одним махом тыщу из них побивахом, а престол его в Армении в Курьекровище, а сам он царь великий и грозный, росту великаньего, и тридесять царей со единым платят ему дань, и обычай есть такой у этих армян: если кто ударит ближнего своего и убьет, платит в искупление триста шестьдесят пять золотых динаров, по числу жил в теле, но с Израилем им не совладать, ибо сокрушил силу их Иисус Навин *.

А когда отдышались сердечные в пути, вошли они в собор Бога Израиля, в тот самый собор, что дети малые в складках горы отыскали и откопали, и блаженной памяти и блаженного имени Бешт * прятался там на чердаке — Каббалу учил — и там же сподобился Успения, и там язычество поганое не вредит молитвам, и те прибывают в целости и сохранности в небесные Врата Милосердия. Помолились там сердечные, чтобы и им добраться в целости и сохранности и чтобы сонмы злых зверей и воров на суше и на море не вредили им. А затем вновь сели они в свои повозки, и весь город провожал их до самого субботнего предела — городской черты. И кто не видал, как язловичане жмут руки бучачан, сроду не видал братской любви Израиля. А пока взрослые обнимались, дети гладили и расчесывали хвосты лошадей, потому что до рук сидевших в повозке дотянуться не могли. Так и говорят в Язловице человеку мелкому, что старается присуседиться к великим: иди, мол, расчеши кобыле хвост.

Глава четвертая

ИСКУШЕНИЕ

Проехали спутники еще несколько часов и приехали в святой град Ягельницу, переночевали там, а наутро пустились в путь и доехали почти до самого града Лешковича — тот самый Лешкович, что нет равных его ярмарке во всем свете. Съезжаются туда из года в год сто тыщ купцов и ведут торг друг с другом. А тут как раз начиналась ярмарка, и встретились им на пути и торговцы, и телеги, нагруженные всякой всячиной, да так, что дорога прогибалась под ними.

Тут явился Лукавый *, стал им на пути и говорит: куда, мол, вы едете? Сказали ему: в Землю Израильскую. Сказал им: а с чего вы там жить будете? Сказали ему: кто из нас каменные палаты продал, а у кого еще какие доходы есть. Сказал им: неужто неведомо вам, что дорога худит суму? Сказали ему: вестимо, потому и отложено у нас и на ночлег в пути, и на уплату корабельщикам. Сказал он им: а кто из вас глотки граничной страже зальет, а кто за вас выкуп царю агарян * заплатит?

Сказали ему: ну, а сколько он просит выкупа?

Сказал им: дай Бог, чтоб оставил вам чем разговеться. Если так — что делать? Заехать в Лешкович и набить себе суму. Блажен, кто живет в Стране Израильской и не просит куска хлеба у ее святых общин. Сколько человек мучится, пока не придет в Лешкович, а вы уже оказались здесь — так неужто повернете прочь без всякой прибыли?

В то же время, когда Лукавый соблазнял мужчин, соблазнял он и женщин. Платки, и платья, и кофты показал им, пока не забилось у них ретивое, как обычно у женщин, если прельстятся какой одежкой. Сказал Лукавый женщинам: Ревекка, праматерь ваша, когда приехала в Землю Израильскую, что сделала? Сказано: и взяла Ревекка покрывало *, и укрылась им. Для чего укрылась? Чтобы покрасоваться, что

есть у нее такое прелестное покрывало. А вы — собираетесь следовать по пятам праматерей ваших, а примеру их не следуете. Может, до Лешковича далеко? Да нет, вот он у вас прямо перед носом, здесь чихнете, а в Лешковиче крикнут — «здоровьичка!» Даже кони и те тянут в Лешкович: скотина знает, какую дорогу выбрать.

Вытащил р. Шломо кисет, набил трубку тютюном, взял кремень, ударил им по кресалу, разжег табачные листья, прищурился и затянулся наспех, чтобы помочь себе собраться с мыслями. Увидел, что и кони сомневаются, хоть и не в обычае лошадином сомневаться: хотят тянуть в одну сторону, а тянут в другую. Толкнул он длинным чубуком своей трубки возчика и сказал ему: а ну, правь-ка ты в сторону Борщева. И пошпынял его, чтобы ехал быстрее, ибо идущие в Святую Землю, как идущие на молитву: следует им поспешать. Махнул возница кнутом, потянул вожжи, свистнул коня своим и повернул их в сторону Борщева. Опустили кони головы, вскинули круп, да так, что пыль из-под копыт взвилась к небу. Сразу исчезли телеги с товарами, и наполнилась земля вокруг хромыми да кривыми, да всякого рода калеками и увечными, а в руках у них — восковые слепки рук да ног, ибо принято нести их на могилы святых, делать из них свечки, чтобы увидели святые увечья их и исцелили. Поняли сердечные, что искушение было лишь для того, чтобы задержать их и сбить с пути, чтобы пустились в промыслы заработать денег для лучшей жизни в Земле Израиля, а тем временем душу бы растратили в чужой стороне. К примеру, царь пригласил своих любимцев на пир. Умные поспешили прийти, ни о чем не заботясь,— не чаша ли полная царев дворец? А дураки решили повременить, сперва наесться дома,— вдруг не накормит царь? И вот, умные сидят вкруг царя, его снедь едят, и его мед пьют, и царя славят, а дураки сидят себе по домам, от своего винища хмелеют, одежды свои нарядные прахом пачкают и не могут предстать пред лик царский. Рад царь умным придворным, всем одарил их, превыше всех поставил, а на дураков разгневался, и попали они в опалу. Так и Царь Царей, Всевышний приглашает любимцев своих в Страну Израиля. Умные приходят сразу и величают Имя Его Святое Торой, славословиями и гимнами. Рад им Пресвятой и всем одаряет, а дураки сидят себе по домам, ждут, пока наполнят карманы златом, чтоб хватило на все их нужды в Земле Израильской, а в конце концов хмелеют они от своего винища — то есть от злата, и прахом пачкают одеяния свои — то есть тело их, что будет погребено в прахе изгнания.

И ответил р. Алтер-учитель: ненавижу я нечистую силу за то, что людей до греха доводит. И ответил р. Моше ему: заслуживает нечистая сила ненависти, но я ее не виню, ибо все мои заслуги перед Господом через нее приходят. Но злодеям и впрямь пристало ненавидеть нечистую силу, потому что она всегда доводит их до греха, а они — где уж там ненавидеть — бегут за ней, как за возлюбленной своей. Сказал р. Шломо: хорошо ты это сказал. И возчик сказал: в Святую Землю едут, а на тебе — Искусителя жалеют. Дивлюсь я — не возьмут ли и его с собой в Святую Землю. Сказал р. Лейбуш-мясник: ты за нас не бойся, ты знай гони лошадей, чтоб тебя Искуситель не догнал. Гневно глянул на него возчик и сказал: да неужто я могу их в два кнута погонять. Посмотрел р. Иегуда Мендель добрым взглядом на Лейбуша-мясника, любителя самого себя послушать, сунул руку в складки одежды, ибо день был уже на исходе и сила солнца слабела. Ехали они, ехали и приехали в деревню одну недалеко от Борщева, где обычно путники останавливаются на ночлег. Кони сами свернули в постоялый двор и стали у ворот конюшни. Слез возчик с облучка, распряг лошадей, засыпал им овса и напоил, а Хананья помог сердечным нашим снять подушки, и перины, и прочие пожитки. Размяли странники косточки и вошли в корчму — дать покой телу и вознести пополуденную и закатную молитвы.

Глава пятая

СПУСК И ВОСХОЖДЕНИЕ

Увидел их корчмарь и изумился: весь свет едет вниз в Лешкович на ярмарку, а эти забрались сюда. Ответил ему р. Шломо: весь мир сейчас под знаком спуска, а мы под знаком восхождения. Добавил р. Алтер-учитель: весь свет едет вниз на ярмарку, а мы оставляем низины и ярмарки и восходим на Землю Израиля. Обрадовался им корчмарь, побежал и принес две бутылки горилки, чтоб сполоснули глотки от дорожной пыли. Спросил их: вам какого, сладкого или крепкого, что больше любите? Захлопал р. Моше в ладоши от радости и закричал: и Сладкого, и Крепкого, и невдомек было корчмарю, что не вино он имел в виду, а Отца своего Небесного. Благословили Пославшего вино, выпили на долгую жизнь и вознесли молитвы: пополуденную и закатную, мужчины в доме, а женщины — в сенях. Сколько лет простоял дом сей, не слыша ответа «аминь» на молитвы корчмаря с женой, а сейчас раздается в нем молитва в собрании. Собирались было корчмарь с женой перебраться на жительство в город, потому что в городе, как ни восхвалишь Господа, обязательно найдется еврей и ответит: аминь. Однажды остановился у них один праведник и сказал им: почем вам известно, что Всевышнему позарез нужны ваши амини? Может, Ему как раз подавай стакан горилки да миску гречневой каши? Готов я поручиться — угощение, что вы ставите путникам, угоднее Ему, чем все гимны и славословия и хваления, что возносят Ему в городе. Так они и не переехали в город из-за слов того праведника, но старались угодить путникам едою и питьем.

А пока они стояли и молились, стояла корчмарка у печки и стряпала. Блаженна жена, которой привелось принимать таких гостей, даже огонь в очаге и тот признал гостей. Не успели завершить молитву, как ужин оказался на столе: гречневая каша, сваренная на молоке, что надоили во время пополуденной молитвы. Сели всей компанией за стол, мужчины — сами по себе, женщины — сами по себе. И р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая га-Леви усластил их трапезу сказаниями, в коих славилась Земля Израиля. Хоть опустошена она и разрушена, а по-прежнему полна святости, и пророк Илия блаженной памяти приносит каждодневные жертвы на жертвенник Храма: хоть и разрушен он, и опустошен, по-прежнему полон святости. А за ним стоят во свидетельство Отцы мироздания, и святые патриархи, и пииты-псалмопевцы Еман, Асаф и Едутун. А из кож закланных жертв делает Илия свитки, а на них пишет заслуги Израиля.

А как поели, и выпили, и Бога поблагодарили, вытащили они книги из дорожных торб и сели учить Тору, а женщины вытащили спицы и нитки и сели вязать носки. Возчик выпустил коней на лужайку пастись, опутав им ноги, чтоб не ушли в лес диким зверям на поживу. А Хананья переложил солому, постеленную в повозках, и наладил скамейки, чтоб с утра не задерживаться. А затем уселся и он в повозке, вынул Псалтирь из узелка и стал читать в лунном свету. Пришли иноверцы из села и стали у дверей корчмы. Сняли шапки в честь гостей и сказали: гость в дом — Бог в дом. Сидели сердечные наши молча и глядели на вошедших: росту они великаньего, а волосья черны как смола и сзади сыплются на плечи, а спереди надо лбом коротко стрижены и блестят, потому что гребней они не знают, а мажут себе голову свиным жиром, оттого волосья и блестят, а борода у них сбрита и усы с обеих сторон урезаны, а глаза у них потухшие от неволи, потому что крепостят их паны.

Встал главный из них, подошел к столу и сказал: плюньте нам в очи, паломники. Достала Милька медовых пряников, что запасла в дорогу, и наделила их. Поднесли они пряники к глазам и сказали: дар Божий, дар Божий, поцеловали их и спрятали за пазуху к сердцу поближе, попрощались себе и ушли.

Увидел р. Алтер-резник, что Лейбуш-мясник сидит в раздумье. Спросил его: ну, о чем ты призадумался? Сказал ему: иноверцы эти — нет у них ни доли, ни наследия в Земле Израиля — чем она им так полюбилась? Ответил ему р. Алтер-резник: из-за головы праотца их Исава, что похоронен в двойной пещере Махпела. Спросил тот, имя которого позабылось, у р. Иегуды Менделя, которого еще кличут р. Иегуда Мендель Угодник: почему сподобился Исав погребения головы его в двойной пещере? Ответил ему: дело в том, что Хушим сын Дана *, взял посох и ударил Исава по голове, да так, что слетела голова с плеч и упала в ноги Иакову, и похоронили ее заодно с ним. Сказал р. Алтер-учитель, шурин р. Алтера-резника: это — простое объяснение, но за ним кроется великая тайна и подлинная причина — сподобился этого Исав, потому что не покидал он Страны Израиля, даже когда Иаков уходил на чужбину, и зачлось ему это в заслугу. Убоялся Иаков: а вдруг этим Исав и семя его заслужили Землю Израиля. И тут пришло Слово Божье научить нас, что лишь один народ в Стране Израиля — народ Израиля, а не Исав и семя его. А может, Измаилу суждена эта страна? Так нет, сказано в Торе: «Не унаследует сын невольницы вместе с сыном моим с Исааком». Сказал Всеблагой: люба мне Страна Израиля, и народ Израиля люб мне, введу-ка я народ, что люб мне, в страну, что люба мне.

Вынул р. Шломо свою длинную трубку, набил ее тютюном, свернул бумажку, зажег ее, раскурил трубку и затянулся, а затем посмотрел добрыми глазами на своих спутников, что сидят и о Божественном толкуют. Сколько забот уже выпало на их долю с тех пор, как вышли из родного города, а сколько забот еще ожидает их в пути. Возвел он очи горе и подумал: неведомо нам, что просить у Тебя, но делай нам то, что делал нам до сих пор.

Молча сидела хозяйка и смотрела перед собой: свеча горит на столе и звук Учения раздается в доме. Была корчма прежде пустынна без слов Писания, а сейчас голос Писания гремит и откликается в ней. Пока она сидела — влетела ночная бабочка, упала в огонь свечи и сгорела. Что жизнь ее — мгновение, совсем недавно была жива, совсем недавно порхала по всему дому, совсем недавно крутилась вокруг свечки и, наконец, попала в пламя и превратилась в уголек. Так и она — совсем недавно одарил ее Господь, совсем недавно зажег перед ней свет великий, совсем недавно уселась она в мире и спокойствии, слушая слова Бога Живого. А завтра — уйдут гости, и снова она останется без Писания, и без молитвы, и без жизни. Пока она сидела, задумавшись, пришло несколько иноверок, поклонились они земным поклоном пилигримам и высыпали из передников своих груду сосновых шишек — положить их под подушки путникам, идущим в Землю Израиля, чтобы усладить их сон благоуханием. Но сердечные наши не спешили почивать: сидели и толковали, и повторяли слова Писания, а женщины сидели и вязали носки. Повернула Сарра голову к мужу своему, р. Моше, и увидела, что сидит он, подперев голову одной рукой, с книгой в другой руке. Вспомнились ей две ее дочери, что остались в Бучаче, и подумалось ей: сейчас пришли домой их мужья ужинать, может, и они сготовили гречневую кашу с молоком и сейчас посыпают ее мелким сахаром, чтоб усластить ее во рту мужей своих. А те не замечают женских хлопот, сидят себе с книгой за столом, как тесть, так и зятья. Пока она так сидела, задумавшись, толкнула ее соседка и сказала: посмотри только на Цирль, уставилась на Песаха, мужа своего, будто они одни на всем свете. Вздохнула Сарра и сказала: кто никого за собой не оставил — хоть и покинул родное место, все равно радостно ему. Долго ли коротко сидели так сердечные, только пришел наконец возчик и сказал: дайте роздых косточкам своим, пока не побледнеют петушиные гребни и не придется вставать.

Хорошо спится путникам, а тем паче майской ночью в селе, когда весь мир безмолвствует, деревья и травы притихли, а скотина пасется на лужайке, не гневаясь на людское племя; легкий ветерок веет во дворе,

шуршит на крыше и перекатывается по соломинкам, а те шепотом шелестят, ублажая сон людской и услаждая члены тела. Но сердечные не забывали, что сон дан человеку лишь для укрепления тела, чтобы вставал человек с новыми силами на службу Творцу. И не вышла еще третья стража, как встали они. А в этот час возвел Всевышний зарю, и звезды и планиды померкли. Облака порозовели и разошлись в разные стороны. Травы и кусты зашелестели, деревья заблистали от росы. Солнце собралось взойти, и птицы отряхнули крылышки и приготовили свою первую песню. Кони заржали и затопотали копытами и замотали хвостами. Встали сердечные и помолились, и утреннего каравая отведали, и сели в повозки — мужчины в свою, женщины в свою, расстались с корчмой и пустились в путь.

Глава шестая

ПО ЗЕМЛЯМ ПОЛЬСКИМ И МОЛДАВАНСКИМ

Мало-помалу тянутся повозки, кони тонут во всяких травах, больших и малых. Дуют добрые ветры и пробуждают сердце, травы выходят пошуметь в поле, а о чем шумят — одному только Богу ведомо. Немало сел прячется в полях и виноградниках, леса тихи, и сияние солнечное покоится на реках и на берегах рек и озер, и белые облака провожают небесной стороной сердечных наших. Так они ехали землей Польской, пока не пересекли рубеж земли той у городка ли, местечка ли, по названию Окип. Переправились они без урону через Днестр и заночевали в Окипе. Из Окипа поехали в Хотин, что на правом берегу Днестра, а там Израиль володеет домами, сидит в тени державной, и легки ему муки изгнания, и ведет он свои промыслы и торги в почете да величии. А в час смуты народной вельможи прячут их по домам, а вреда им не чинят.

А передают от отца к сыну, что живут они там со времен Второго Храма, кроме тех евреев, что приехали из Польши. Когда набегали степняки, уводили с собой в полон на продажу в земли басурманские, а владыки Польши посылали туда евреев — выкупать пленных. Увидели евреи, что земля богата, народу мало, дешевизна такая, что по всему свету не сыщешь, и сыны Израиля сидят меж сынов Эдома, а страха эдомитян не знают, а платят подать малую царю,— взяли и поселились там. И даже нашли там в фортеции монету времен царей из дома Маккавеев, а на ней отчеканено: Иерусалим, и виноградная кисть, и лимон, и пальмовая ветвь.

И много в тех краях соломенных вдов *, и некому разрешить их. У кого ушли мужья на промыслы в страны Эдома или Измаила и не вернулись, а у кого — сгинули в пути и где в землю легли — неведомо. Одна из этих соломенных вдов повстречалась любезным нашим в пути, и вот ее рассказ. Жила она с мужем в мире да согласии, родила ему сыновей и дочерей и ни разу не слыхала от него бранного слова, и занимался он конским торгом по доверенности для вельмож Эдомских, а вельможи доверяли ему деньги вперед, чтоб купил для них коней, и был он верен своему слову как в делах, что между человеком и ближним его, так и в делах, что между человеком и Престолом. Уехал однажды покупать коней да еще с набитой мошной, и не вернулся. Ясно было, что убит в пути. Подняли евреи большой шум и вышли на поиски убиенного. Спрашивали путников и странников, не видали ли, часом, еврея такого и эдакого, по имени Зуша-лошадник, и отвечали: нет, не видали, но слыхали, что напали лихоимцы на еврея одного в пути и, уж конечно, живым он от них не ушел. И наподобие этому сказала и иноверка одна, колдунья старая: напрасно, мол, шумят евреи, человек этот давно уже сгинул. И наподобие этому, лишь другими словами, выразился один иноверец-звездочет. Так сказал: евреи как дети малые — тратят плоть свою во имя охапки костей, а больше ничего не сказал, ибо в обычае

звездочетов умалчивать то, что им неведомо. А когда умолять его стали, чтоб пожалел женщину с детьми, и слова свои разъяснил, сказал он лишь: евреи как дети малые — ищут на земле то, что лежит в земле. Был там старый судья, сказал судья: если на того еврея — ватамана разбойницкого, что повесили в украинской стороне,— намекал, мое вам слово, что не сыщете его. А почему стали подозревать, что вор тот был Зуша,— дело в том, что несколько лет до этого пришли евреи и рассказали, что видали его,— стоял он как супостат у большой дороги. Сказали они ему: жена твоя и дети о тебе все глаза выплакали, а ты... Не успели и слова сказать, как навалились на них разбойники. Сказал им Зуша: мол, земляки мои, и не причинили им вреда и отпустили их. Прослышали власти предержащие, послали за ним вдогонку, да не поймали — ушел он в чужую сторону. Долго ли коротко, прошел слух, что поймался архистратиг разбойницкий на украинской стороне и повесили его, и Имя Божие на поругание иноверцам вышло, потому что нашли у него тфилин и поняли, что еврей был. А с тех пор ничего о Зуше не слыхали. И жена его брала детей на руки, и ходила от одного праведника к другому, и рыдала перед ними, и никто не дал ей ответа, чтоб от соломенного вдовства разрешить. И пришла она к рабби Меиру в Перемышляны. Сказал он ей: хочешь поплакать, иди туда, где Дунай и море плачут друг о друге, и плачь там. Меир слез не терпел. Поехала она с детьми на место, где Дунай впадает в море, искать там мужа.

Сидят себе женщины и вяжут, и слезы так и текут у них из глаз — о женщине этой, что осталась соломенной вдовой, и о муже ее, что умер в грехе и детей осиротил. Однако женщина эта не отчаялась найти своего мужа и все ищет его. Может ли такое быть, что Зуша, что жил со всеми в мире и согласии и верою-правдой торг вел,— да ушел к ворам. Наверно, все это лишь пустой поклеп. Остановил возчик повозку и окликнул Хананью. Подошел Хананья. Спросил его возчик: слыхал слова соломенной вдовы? Ответил ему Хананья: слыхал, мол. Спросил его: а по-твоему, Хананья, кто был этот казненный вор? Отвечал Хананья: и я думаю, что был это не кто иной, как Зуша.

Солнце спускалось вниз да вниз по небосклону. Уронили женщины спицы и утерли слезы с глаз. Вынул Хананья платок и завязал на нем узелок-памятку. В безмолвии катились повозки вдоль реки, пока не доехали до Липкан и остановились там на ночлег. Из Липкан повернули они на Редеуцы, а там возчик снял зги с лошадиной упряжки, чтоб молодцы с большой дороги не услыхали, и поехали они в Штефанешти, маленький городок на реке Баше, недалеко от реки Прут. А обитатели Штефанешти велики телом и малы ученостью, и «малая толика» * снеди у них в добрые три пригоршни размером, сколько в ручищи влазит,— это, по-ихнему, и есть «малая толика», а из Штефанешти поехали в Яссы и приехали туда с наступлением субботы, к сумеркам. А в Яссах — двадцать два больших Собора Израиля, не считая ста двадцати мидрашей, молельных домов и собраний, но когда приехали в Яссы, то ни в одной из них не довелось им встретить субботу, а вместо этого помолились они себе вдесятером на постоялом дворе, потому что не успели они приодеться, как освятилась суббота. Но назавтра поспешили и побежали в большой хоральный Собор, приодевшись в нарядные субботние одеяния и завернувшись в талиты. Не успели войти, как собравшиеся уже дошли до молитвы «Слушай Израиль», ибо жители ясские — из тех, что бочками запасаются * по словам р. Элиэзера и поспешают с молитвами. И кто не видал Ясс в часы покоя, не знает, что такое тишь да гладь да Божья благодать. А живут там более двадцати тысяч из Израиля, что едят, и пьют, и веселятся, и о грядущей жизни не пекутся, и для некоторых из них важней отведать сладких пряников в Пурим, чем причаститься сухой мацы — опресноков — на Пасху. И немало старались праведники сего поколения поднять их из праха и приобщить к жизни духовной. Короче, вошли сердечные наши посреди молитвы «Слушай Израиль», когда ни переговариваться, ни здороваться не раз-

решается. Стали они себе в сторонке, и никто на них внимания не обратил. А когда настало время читать Тору, пригласил их вдруг староста к амвону: взойти к Торе. А приглашая к амвону, каждого из них он по имени назвал и по батюшке величал, кроме Хананьи, а того и вовсе не пригласил. Принято в мире — придет незнакомец, и захочет староста пригласить его к Торе,— спросит, как его звать-величать, а затем пригласит взойти на амвон. А этот — пригласил их по имени-отчеству, даже и не спрашивая имен. И если он не пророк и не ангел, то, может, еще и почище ангела, потому что и ангелу приходится спрашивать человека, как того звать, как известно нам из случая с праотцем Иаковом, что ангел спросил* его: «Как твое имя?» А после молитвы, когда принято собраться и благословить Дающего вино и преломить хлеб, устроил в их честь настоящий пир. А когда уселись они, принялся он расспрашивать об их делах и промыслах, и дивились они, откуда ему ведомо, что творится у них в доме и в городе. Однако, судя по тому, как он ел да пил, за святого его не примешь. Но как только скрылось вино, раскрылась тайна. Спросил он их: неужто не признали меня? Ответили они: не достойны мы чести такой. Сказал он им: Йоске-казака, что нанимался за шапку серебряных талеров в кесарево войско, помните? Как же, сказали, помним, как ублажали его всякими яствами, хотел изюм — дали ему, хотел унгарского вина — дали ему, хотел постель с перинами и подушками — постелили ему постель с перинами и подушками, а когда повели его отдавать на кесареву службу, попросил, чтоб удвоили плату его,— и удвоили ему плату, а в конце концов сбежал. Спросил он их: куда же, по-вашему, сбежал — в рай, что ли? Ответили ему: по деяниям его не явствовало, что в раю ему самое место. Сказал он им: хотите увидеть его — подымите очи и поглядите на меня. Глянули на него — и признали.

И еще одну диковину видали сердечные в Яссах: человека, у которого выросли волосы на ладони, потому что толковал раз народ о пришествии Мессии-Избавителя, простер он руку и сказал: раньше, мол, у меня на ладони волосы вырастут, чем Мессия придет. Не успел он сказать этого, не успел убрать руку, как покрылась густой волосней. И с тех пор носит он на ней рукавицу, не снимая никогда, разве только чтобы показать людям, чтобы не отчаялись и не разуверились в грядущем избавлении. И пробовали уже озорники вырвать эти волосья, говорят, что он их клеем приклеил, да они вновь отрастали.

А в первый день по субботе выехали из Ясс и приехали в Васлуй, городок на речке Васлуй, что впадает в реку Берлад. А там торг великий медом и воском и пять сот дворов живут с него вольготно. Переночевали там, а поутру поехали в святой град Берлад, что именуется по речке Берлад, а она протекает по городу. И два погоста в городе — один новый, а другой старый, где больше не хоронят, и он прямо посреди города, а там — могильные плиты погибших за веру Израиля, что смертью своей освятили имя Божие. Черны они как сажа и обращены к востоку.

Переночевали они там, а поутру поехали в Текуч — великий град, где народу на пять-шесть молитвенных собраний хватает. Переночевали там, а поутру поехали в Ивешти, а оттуда поехали в великий град Галац, что лежит на берегах реки Дунай, а оттуда уже идут ладьи в Черное море, в тот порт, откуда отчаливают корабли на Стамбул.

А пока ехали любезные наши по сей державе, тянулись повозки их гуськом меж сел, окруженных садами и виноградниками, и стада овец разбросаны по всей земле и пасутся в полях и пьют из корыт у колодцев, а пастухи сидят себе со свирелями в устах и наигрывают на приятный и грустный лад. И напев их — как напев молитвы «Вознеси мольбы наши», что говорят евреи в Судный день. Необрезанные эти простые пастухи, чем заслужили они право сказать «Вознеси»? А это объяснил блаженного имени и блаженной памяти Бешт: что много, мол, бед обрушилось на народ сей, но от Господа своего он не отрекся, и поэтому за-

служил он право сказать стих, что святой народ Израиля говорит в святой день в святом месте перед Пресвятым — да святится имя Его. Тянутся себе повозки гуськом, и кони ржут, задирая хвосты к небу, и из далей отвечают им невидимые кобылы, и они поводят ухом и оглядываются. И овцы без счету идут гуртом и трутся друг о дружку, и шерсть у них колечками, и пастушок идет за ними со свистулькой во рту и посвистывает себе. И высокие горы вздымаются из земли то к востоку, то к западу, и воды сбегают с гор, города появляются и исчезают, и повсюду принимают сердечных наших с любовью — постель им постелена и стол им накрыт едою да питием: мамалыгой, тонущей в масле, и брынзой, и вином, а в путь провожает их певчий, распевая «Радостен исход ваш» и т. д.

День приезда в Галац обернулся для путников днем расставания. Путники собирались ждать ладьи, что доставит их к Черному морю, а возчик пошел искать себе других ездоков. Сидели сердечные себе на постоялом дворе и писали письма братьям своим, что остались в Бучаче. Было о чем писать, затем и писали. Запомнятся им добром перья галацкие, что не царапают бумаги и чернилами не брызгают, потому что гуси у них жирные, а значит, перо мягкое. Отправился возчик на базар и подрядил одну повозку купцам, едущим на ярмарку в Лешкович, потому что продолжалась ярмарка иногда до четырех недель, а иногда и дольше, а другую телегу нагрузил он овечьими шкурами — на продажу в Бучаче, уповая на Господа, что удастся продать их с прибылью. По дороге пришла ему дума и встревожила сердце. Подумал он: ну не дурак ли я — ездоки мои восходят на Святую Землю, а я возвращаюсь в Бучач, и снова буду поить коней, и задавать им овса и соломы; что делал вчера, то же делаю и сегодня, и так всю жизнь до самой кончины, пока не бросят меня в землю, зубами кверху червям на съедение. Но стоит ли об этом задумываться, если б дано мне было взойти, а я отказался бы,— тогда — другое дело, а так, вот р. Авраам — обрезатель крайней плоти, спору нет, достоин взойти на Землю Израильскую, а Господь не сподобил его — и не взошел, остался в Бучаче.

Солнце уже садилось, и отблески его окрасили восток. Красным сиянием покрылись верхушки гор, пока не скрылось солнце за краем тверди, а лик востока все еще алел, но затем потемнел, и горы скрылись во мраке. Но купол небесный все еще не чернел. Внезапно застыла земля, и в небесной выси появилась звезда, и две звезды, и три звезды. Вышла луна и осветила путь. Весь мир утих. Лишь стук смертоубийственных колодцев раздавался — обычай такой у местных жителей: если убьют человека, то роют колодец во искупление греха, а над ним ставят журавель — воду черпать. Махнули кони хвостами, и копыта их стали заплетаться. Глянул возчик и увидел, что сбились кони с дороги. Дернул он вожжами и закричал: ах вы скоты, куда это вы утянули меня, я вас живо научу уму-разуму. Опустили кони голову и пошли куда следовало. Собрал возчик вожжи в руку и снова призадумался — то о себе, то о Хананье. Хананья этот увязал талит и тфилин в платок, обмотал ноги тряпицами и пошел себе в Святую Землю, а я возвращаюсь себе домой в Бучач. И почему это я возвращаюсь в Бучач, а не восхожу на Землю Израиля? Потому что я «не готов» в путь. А если придет ангел смерти по мою душу, неужто спросит, ну как ты, готов отправиться со мной? И пока так толковал возчик с самим собой, упала голова его на грудь, оглянулись на него кони и увидели, что вздремнул. Пошли себе своим путем, пока не остановились вдруг. Пробудился возчик, схватил кнут да ну хлестать их, пока бока лошадиные не вспотели, и орал на них: ах вы скоты, вечно тянете куда не следует, ну ужо постой, отлуплю я вас так, что то, что вы лошади,— и то забудете.

Глава седьмая

ВЕЛИКИЕ ВОДЫ

Пришли артельщики наши в Галац, и уплатили подать салтану басурманскому, и вошли в город. Нашли они там базар со всякою едой, питием, да снедью разной, да плодами всяческими, такими, что и в трактате «Благословение плодов» не упомянуты. Запаслись они в путь провизией, хлебом, и вином, и плодами, и прочими подбадривающими яствами. А обыватели Галацкие явили милость свою и дали всяких снадобий, что возвращают душу в тело на море. Обрили они головы и вошли в баню. Омыла горячая вода усталость с тела, и стали они совсем как новенькие. А затем вышли и подрядили ладью и отплыли вниз по реке Дунаю, до места одного, Вилков именуемого, где оный Дунай впадает в Черное море, а оттуда плывут корабли в Царьград. Обождали там несколько дней, пока не утихнет гнев моря, чтобы можно было сесть на корабль.

Прибыли они в Вилков предвечернею порою, расположились на ночлег, вознесли пополуденную и закатную молитвы и сказали псалом Шестьдесят Восьмой, что начинается словами: «Спаси меня, Боже, ибо захлестывает вода душу мою», а кончается радостно: «Ибо спасет Бог Сион и любящие Имя Его поселятся на нем». А море все больше отмалчивалось, и воды стояли безмолвно, а люди вытащили подушки и перины, миски и ведра, а женщины собрали хворосту и приготовили ужин. И каждый день, пока были там, выходил Хананья вместе с женщинами, собирал смолистые ветки, что благоухают в костре и придают вкус вареву. Сидели на своих сундуках и трапезничали в свете луны. Деревья и кустарники чудно пахнут, и ночь пробуждает приятные запахи, и волны перекатываются в море, и звезды и планиды светят сверху, а земля нашептывает снизу, ободряя их. Встали артельщики, и постелили себе на земле, и улеглись спать, и возгласили: «Слушай, Израиль» — и за себя помолились Богу, чтоб спас и уберег от погубителя и нечистой силы, от злых духов, злых грехов и от злых снов, и вспомянули перед Богом, что они прах да пепел, мразь да червь, чтоб смилостивился над ними и простил все их прегрешения, как сказано: «Ибо Тебе — прощение».

Вдруг навалились на них комары, огромные, как лягушки, и ну кусать их, пока лица не распухли. Ночей хуже этих они не знавали — и сидеть нельзя, и лежать нельзя, и книгу читать нельзя: сидеть нельзя из-за комаров, лежать нельзя из-за нарывов, книгу читать нельзя, потому что комары застят свет. Однако добром помянется р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита, что подсластил муки их былями и небылицами о стране сынов Моисея * и четырех колен Израилевых, что лежит за рекой Самбатион, а палаты у них из драгоценных каменьев и хрусталя, и свеч им по ночам не надобно, ибо каменья в стенах сияют в семь свечей, а дней жизни их — двадесять и сто годов, и не доводится отцу хоронить сына или матери хоронить дочь, а число их — как сорок исходов из Египта, и весь тук земли — в руках их, за то, что учат они Писание Господне и Заветы Господни блюдут, и нет в их местах никакой нечисти: ни скотины нечистой, ни зверя нечистого, ни птицы нечистой, ни всякой мерзости ползучей или погани летучей: ни клопов, ни комаров. И каждый день слышат они: раздается глас с неба и провозглашает... и т. д. И ждут они, когда же, наконец, возвратит их Престол в Страну Обетованную.

Велики деяния Господни, блажен, кто возложит их на сердце свое и сумеет напомнить о них ближним своим. Блажен р. Шмуэль Иосеф, что всегда готов перечислить все блага, какие оказывает Всевышний народу Израиля. И так каждую ночь, пока ждали они у моря погоды, утешал их р. Шмуэль Иосеф рассказами о чудесных избавлениях и спа-

сениях Израиля — к примеру, деяния р. Гада, жителя иерусалимского, и деяния Малькиэля-богатыря, и сказ о письменах, что послали сыны Моисея жителям Иерусалимским.

А как занялся день, предстало пред ними море — ударились женщины в слезы: ой, боязно нам пуститься в море, ой, боязно нам взойти на борт, потому что кто умрет на корабле — то не хоронят его, а привязывают к доске и бросают в море, и набегают разные рыбины, одна из них ступни ног гложет, другая — нос откусит и губы, а под конец приплывает огромная рыба и глотает покойника вместе с доской, к которой он привязан. Или извергнет его тело море на берег, и налетают всякие нечистые птицы — мерзость крылатая,— и глаза его выклевывают, и мясо с костей сдирают — так ли, эдак ли, худо человеку, если не хоронят его по Закону Израиля. Тут же порешили женщины вернуться в Бучач, и ну плакать и кричать, чтобы дали им мужья развод. Пошли в город спрашивать, где у них раввин. Но местные евреи не поняли, о чем они толкуют, потому что в тех местах нет у них раввинов, а вместо того мудрец — хахам — заседает и людям Святое Учение и благонравное поведение проповедует. Спросили женщины: а где у вас судья? Ответили им местные евреи: споров-раздоров у нас мало, и судить между нами нет надобности. Под конец нашли учителя Писания из немецких земель Е. И. В., что проживал в этом городе, и он отписал разводные письма для женщин. А как развелись — вспомнили о муках нор и пещер, и начался рев да стон. Простерлись они перед своими мужьями и рыдали, пока не устроили им обручание и венчание, как положено во Израиле. Сказал р. Моше р. Иосефу Меиру: блажен ты, р. Иосеф Меир, что развелся с женой своей перед поездкой, и сейчас не приходится тебе заботиться ни о разводах, ни о венчаниях. Только соберется еврей с мыслями, приготовится в путь, чтобы со всем сердцем взойти на Землю Израильскую,— тут на него женин гнев: дай мне развод, поведи меня под венец. Не хорошо быть человеку одному, но и с женой не лучше. Не то что, упаси Бог, я на свою скромницу жалуюсь, но как только решит человек разобраться в Талмуде или просто призадуматься о чем — откуда ни возьмись появляется жена и начинает заводить беседы да заговаривать зубы, так время и уходит попусту. Вздохнул р. Иосеф Меир и промолчал в ответ. Сроду не думал он о жене своей, пока не приключилась поездка и не развелся с ней, а как развелся — так и вовсе думать о ней перестал. Однако в этот день, когда бушевали женщины над морем, вспомнилась ему его бывшая жена. Подумал р. Иосеф Меир: завтра Всевышний пошлет ветер и я уплыву в страну Израиля, а она, бедняга, останется в Изгнании.

Долго ли, коротко, утих гнев моря и воцарился мир меж великими водами. Вал, что грозил раньше: восстану и потоплю весь свет, как дошел до берега — упал ничком и уполз обратно. Приказал кормчий поднять утварь и людей на борт. Взял каждый пожитки свои в руки и поднялся на борт, а жены взялись за полы мужей своих и взошли на борт вместе с ними. А как взошли все на борт — взяли корабельщики весла в руки — проложить путь в море. И кричали: «Ой!» и «Эй!» — но не успели накричаться, как подул легкий ветер в паруса корабля, и корабль тронулся и пошел.

Глава восьмая

В МОРЕ

Вышла ладья на течение морское и поплыла себе полегоньку. Восстали любезные наши и вознесли молитву морскую и те восемь стихов, что сложил Иона * во чреве кита, и пели на слезный и покаянный лад Псалом 107, в коем зрится благость Господня и чудеса, Им творимые на суше и на море, ибо Он освобождает страждущих, и собирает их со

всех сторон света, и наставляет их на путь истинный, и насыщает души тянущихся к Нему, и наполняет их всеми благами. И хоть бы, не приведи Господь, оказались они у смертных врат — умчит он их оттуда в милосердии Своем, и от тревог избавит, и в желанный край приведет. А потом рассказывают они о Его подвигах с ликованием. И если насупится на них море и пошлет бурный ветер, немедля он умерит море и укротит волны, и они радостно возблагодарят Господа, и горние силы взирают на них, ведая, что во всем на свете видна благость Господня, надо только посмотреть с умом, и тогда поймешь и возликуешь от благости Господней.

А как завершили песнопение, уселись они на свои котомки, взяли книги в руки и читали из Торы, из Пророков и прочих книг Святого писания. Если занесло человека в чужое место и попалась ему в руки какая вещь из дому — то-то он возвеселится, то-то радости будет ему с этой вещи, а тем паче если это книга, что каждый день читал и учил и штудировал. Сидит р. Моше и читает: «Земля сия очень, очень хороша... если Господь захочет нас, то приведет нас в землю сию и даст нам ее — эту землю, текущую молоком и медом...», а р. Иосеф Меир сидит себе и читает: «Оставил Я дом Мой, покинул удел Мой», и вместе они завершают: «Когда вернутся сыны Израиля, взыщут они Господа Бога своего и царя своего Давида и будут они в страхе Божьем благоговеть перед милостью Его в последние дни». А затем отложили они книги, встали, обняли друг друга за плечи и запели: «Кто даст с Сиона избавление Израилю, когда возвратит Господь народ Свой из плена, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль».

Плывет себе ладья полегоньку, и хороший дух идет от моря. Воды идут своим путем, и волны живут в мире не ссорясь. Разные белые птицы летают над кораблем, машут крыльями и кричат. Светило катится вниз с небосклона, и море чернеет, и Господь возводит луну и звезды и ставит их сиять с небосвода.

Глянул один из артельщиков и увидел, какой-то свет сияет в море. Спросил друга: братец, мол, не ведомо ли тебе, что это? Но не ведал тот. Спросил у друга, а друг — у дружки. Открыли глаза и посмотрели в море и подумали: если это — огонь преисподней, то почему нет дыма? А если это — зрачок Левиафана, то где же сам глаз? Сказал р. Алтер-учитель: наверно, нечистая сила. Сказал р. Шломо: пора вознести вечернюю молитву. Поспешили и встали к молитве, ибо никакой нечистой силе с целым собранием не совладать. А как встали к молитве, увидели, что одного человека до десяти — до молитвенного собрания — они не досчитываются. Этот самый Хананья, что мыкался с ними всю дорогу, исчез. Утром пошел на рынок купить себе съестного и не вернулся. Тут принялись они хлопать себя по башкам и кричать: ой, ой, так ли поступают со спутниками, лучшего из нас — да потеряли. Надо было нам идти и держаться друг за дружку и так вместе взойти на борт, а вместо этого каждый схватил свои пожитки, взбежал на борт и сказал: ныне отпущаеши, аминь. Сколько хлопот и забот избыл Хананья, пока не пришел в их края, полсвета обошел, и догола раздели его, и меж татей обретался и когда Суббота и Праздник Божий, позабыл, и в Судный день оскоромился, и босым по дорогам мыкался, а как к ним пришел, так заботился о них неустанно, книги починил, и лампадки приделал, и сундуки для пожитков сколотил, и мзды не взял, и всю возню с лошадьми на себя принял, и число их до полного молитвенного собрания восполнил, а сейчас — они взошли на корабль и отплыли в Землю Израиля, они тут — а он там. Стояли они и молились поодиночке — так как на собрание их теперь не хватало,— и, молясь, бились головой о борт, чтоб мысли смешались. Наконец разошлись они по местам и сели наземь, как скорбящие по покойнику.

Мгла сгущалась все более, но корабль шел своим путем. Корабельщики прикрепили паруса и сели за еду-питье. А любезные наши, напротив, сидели и ели себя поедом. Бог знает, где теперь Хананья, а вдруг

он попал в полон, не дай Бог, и продали его в неволю. Крысы и крысенята шуршат в трюме и грызут провиант и снасти. Сон любую заботу поможет избыть, да разве можно уснуть, если один из артельщиков покинул артель и никому неведомо, на жизнь или на погибель покинул. Сколько выпало Хананье мыкаться по дорогам, и перед бедой не дрогнул, и жизнь на кон ставил, и телом не дорожил — и все лишь бы увидеть Землю Израилеву, а как пришло время взойти, так в недобрый час не повезло ему, и не взошел.

А как наступила полночь, сели любезные наши на котомки свои и вознесли гимны да хвалу Имени Того, Кто обитает во Сионе. Звезды в тверди поменялись, и луна то выйдет, то спрячется. Воды текут своим путем, и корабль плывет себе, и глас несется ввысь: то глас хвалы и гимнов, что возносятся от тверди земной к тверди небесной и выше, вплоть до сапфирового подножья * Престола, где переплетаются и собираются мольбы всего Израиля, а выше им нет пути, пока не рассветет заря над Землею Израиля. А с другой стороны раздается хвала Богу и из вод морских.

Воды бессловесные и безмолвные, как им хвалить Господа? А это голоса загубленных отроков, что бросились в море во дни оны. Когда Тит Злодей * захватил Иерусалим, было с ним три тыщи ладей, и набил он их отроками иудейскими — увести их в полон. Но как вышли ладьи в море, сказали отроки: мало, что прогневили мы Господа в Его вотчине, сейчас велят нам гневить Его на чужбине, в землях Эдомских,— и бросились в море. А Господь что сделал? Простер десницу и привел их на обширный остров, а на нем деревья плодоносящие, а вокруг волны чудного цвета, цвета лазури и акинфа и мрамора, видом подобны камням Храма, и трава благовонная, коей кадят во Храме, растет там, и кто увидит траву эту — так и бросает его то в смех, то в слезы; в слезы — потому что вспоминается вся сгинувшая слава Храма, а в смех — от радости, ибо суждено той славе вернуться. А отроки те невинны по-прежнему, и от зла ограждены, и ликом подобны лилиям и румянцем — розам, как те цветы, что упомянуты в притче о розовом саде Иерусалимском, и светоч лиц их — как сияние Утренней звезды, что возжигают серафимы, и морщин нет у них ни во лбу, ни на лице, лишь две бороздки под глазами, а по ним слезы текут, и капают в море-окиян, и остужают пламя геенны вокруг тех сынов Израиля, что хоть и взяли лихо на душу, но от Земли Израиля не отреклись. И никакому царю-воеводе они не служат, ни кесарю христианскому, ни салтану агарянскому, ни еще какому владыке из плоти и крови, но стоят они в тени Всевышнего, и кличут они его: Отче, а Он их зовет: дети мои; и каждый день поминают они всю славу Иерусалима, и славу Храма Господня, и славу Первосвященников, и алтарь и фимиам, и тук жертв, и хлеб приношения. И всякий раз, как вспомнит Господь о сынах своих, что рассеяны между народами, и нет у них ни Храма, ни жертвенника искупления, ни первосвященников, ни служителей Храма, ни царей, ни воевод — и сразу преисполняется он жалости, и берет деток этих в руки, и прижимает к сердцу, и говорит им: сынки мои и дочки, помните ли вы славу Иерусалима и славу Израиля в те дни, когда стоял еще Храм и Израиль был во всей красе. И тотчас они рассказывают Ему, что видали во младенчестве и ведут рассказ совсем как Даниил Прелестный или Ионафан сын Узиила, только что Даниил * и Ионафан * говорили на языке Перевода *, по-арамейски, значит, а эти говорят на святом языке Писания, на нем и сам Господь говорит. И пуще радости нет у Господа как забавляться с этими детками, ибо слышит Он от них хвалу Дому Своему — то есть Храму — и домочадцам Своим — то есть Израилю, и говорит Он: Создал Я народ сей, пусть возвестят Мне хвалу; и говорит: утешьтесь, суждено Иерусалиму отстроиться, да еще в тыщу тыщ раз больше, чем был, и Храм будет простираться от конца и до края земли, и крышей касаться светил небесных, и даже колес Божьей колесницы, и Дух Божий осенит всех детей Израиля, и все дети Израиля вознесут хвалу Богу. И из года в год сидят

отроки эти посреди моря и ждут неустанно Избавления, и как поплывет какой корабль в Землю Израиля — отроки враз идут за ним, ибо как заметят они корабль меж волн, так и говорят друг другу: настало время Возврата Изгнанников. И хватают они большие валы, и садятся на них, как на коней, и скачут к ладье. И в скачке распевают они: «Из Башана верну изгнанников, из пучин морских верну», и глас их подобен звону золотых колокольчиков в полах ризы первосвященника, и мореходам знаком он. И слыхали мы от верных людей, что плыли они раз по морю-окияну в Землю Израиля, и раздался тут чудный глас. Хотели они было кинуться на голос в море, да привязали их корабельщики канатами, пока не отдалилась ладья и не затих голос.

Луна закатилась, и звезды зашли, и планиды исчезли. В это время привел Господь рассвет — и озарил весь мир. А как рассвело — увидали сердечные наши очертания человека в море. Пригляделись и увидели, что борода у него окладистая, а по щекам — пейсы, и книга в руках, а под ним разостлан платочек, и сидит он себе на нем как ни в чем не бывало. И вал морской не торопится потопить его, и гад морской не норовит пожрать. А что иноплеменники говорили, увидав, что плывет себе человек в море на разостланном платочке? Одни говорили: чудится такое путникам в морях да пустынях, а другие говорили: прокляли его, вот и нет ему покоя на свете, так и носит его с места на место, вчера видали его на суше, а сегодня — на море. Из семи десятков народов и языков * были на этой ладье, и все расшумелись и испугались, увидев эти очертания. Так они и стояли — Израиль сам по себе и прочие народы мира сами по себе — и смотрели на чудо это, пока ресницы их не опалило солнце. Сказал р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита: это Дух Божий возвращается с Израилем в четроги Свои. Зарыдал р. Моше и сказал: «Тайны Божьи — страшащимся Его, и завет Его — в оповещение им».

Глава девятая

ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ

Плывет себе корабль путем своим, и чудный запах встает из вод морских. Легкие облака плывут по небу, и волны целуются в море. Воздух на свете влажен и на вкус подобен соли. Рыбы высовывают рты и веселят народ, а птица-летица *, что летает туда-сюда, и людского ига не принимает, и с людьми не водится, и от милостей их не кормится, порхает себе в воздухе и машет крыльями, неподалеку от того образа в море. Волны набегают и катятся, а корабль идет себе полегоньку и ездоков своих не беспокоит. Сидят себе любезные наши, кто толкует о новых душах, что получают святые сыны Израиля, когда вступают в Святую Землю, а кто ломает голову над тайнами мироздания, например вот, почему Земля Израиля дана была сперва ханаанеянам, ведь уготована она была Израилю? А тем, чтоб показать грядущим поколениям, что хоть и правят иные народы в Земле Израиля, а народ Израиля предан в руки их, в руки Синахериба, и во власть Навуходоносора, и под иго Тита Злодея — а все же не удерживаются народы эти в Земле Израиля, теснят оттуда друг дружку, и лишь разрушить успеют, как уже изгоняют их другие; но Израиль поселился там навеки. И наподобие этому знаем мы из Писания, что дал Господь Вирсавию, она же Бат-Шева, сперва в жены Урии Хеттеянину, хоть и была она суждена царю Давиду еще с шести дней Творения, и вот — Урия умер бездетным, а Давид сподобился, и вышли из чресел его многие цари и вожди Израиля.

Прощается солнце и уходит восвояси, чтоб уступить место луне и звездам. Выходят звезды и планиды и стоят в небесах, и свет их отражается в волнах, и сладкий голос раздается из моря, подобный пению гимнов и псалмов. Сказал один: братец, слышишь голос? Что это? Ответил

ему тот: братец, это рыбы в море хвалят Господа, а из трактата «Гимны» ведомо нам, что поют рыбы, и поют они стих «Глас Господа над водами». Сказал ему тот: нет, я точно слышал, что раздается стих «Помощь моя от Господа, создавшего небо и землю». Сказал ему тот: этот стих птица-летица говорит, как учит нас трактат «Гимны», поет птица-летица: «Помощь мне от Господа, создавшего небо и землю». Сказали любезные наши: и мы споем гимн. И запел один: «На малое время Я тебя оставил, но с великой милостью к Себе соберу». А товарищи его подхватили хором: «И выкупленные пленники вернутся и в радости воступят во Сион».

Чудный дар есть у Господа, и это — Суббота, и дана она от любви Его великой и жалости к Израилю. Таково величие субботы, что даже простому люду сверкает ее святость, ибо когда приходит суббота, сияет светоч Господень, и в том сиянии горнем все сверкает и стремится приобщиться к его святости. Если так обстоит дело с простым людом, что уж говорить о хасидах и людях Дела Господня, что о себе не пекутся, но лишь порадовать Господа стремятся.

С самого утра Шестого дня Деяния воспрянули сердечные наши и стали готовиться к сретению субботы. Зарезал р. Алтер-резник курицу в честь субботы и сжег лоскут и пеплом покрыл кровь. Фейга развела огонь и сварила курицу, и прочие женщины стали готовить еду на субботу. Прошел мимо них главный корабельщик и глянул по-доброму. Увидели это корабельщики и принесли им рыб, что выудили из моря и научили их печь хлебы, как пекут их в Стране Прелестной, где рассыпают уголья по земле, и на них выливают тесто, и так сподобились женщины исполнять заповедь отделения теста * на Храм, и испекли хлебы и на вечернюю трапезу, и на завтрашний день, и на третью трапезу, что едят перед исходом субботы. И еще до полудня все было уже готово к сретению субботы.

Поспешили сердечные, и умыли лица и руки в теплой воде, и постригли ногти, и переменили одежды, и облачились в нарядные одеяния в честь субботы, одеяния исподние и облачения наружные, и пояс и накидка сверху. Сели они в сторонку и взвесили все дела свои, совершенные за шесть дней деяния, и призадумались о непостижимости путей Господних, что возвысил их из всех обитателей Бучача и дал им силу и мужество покинуть обжитые места и пуститься верной дорогой в Землю Израиля. Но по ком болело у них сердце, так это по Хананье, что все время был с ними и принял на себя всякие тяготы и мучения, лишь бы взойти на Землю Израиля, а как настало время подняться на борт корабля, так в недобрый час не повезло ему и остался в чужелюдных странах. Неужто все еще гневается на него Господь за то, что потерял счет субботам и Судного дня не признал, и не хочет впустить его в Свою вотчину, или есть в этом иной умысел, которого нам не понять. И тут вселился великий страх в сердца сердечных наших, и поняли они, что не в заслугу за праведность, а лишь по милосердию Господню дано им было пуститься в Святую Землю. И порешили они исправить все недоброе, что совершили делом, словом или помыслом, чтоб, не дай Бог, ничто не отвратило бы Горнего Хранителя от решения ввести их в Землю Израиля. И поклялись они возвысить всякие уделы души своей и придать ей силы. Так сидели сердечные, каждый сам по себе и с каждым — Господь, пока не пробудилась душа их в восхищении и как бы новое дыхание духовное пришло к ним. Открыли они Пятикнижие и прочли очередную главу, что положено было читать в эту субботу, два раза прочли на святом языке Писания и один раз в арамейском переводе и затем толкование Раши и Песнь Песней; а женщины вынули из котомок книгу «Огонь Свеч Субботних и Зерцало Премудрости для дщерей Израиля» с объяснениями Закона Божьего для женщин и неучей.

Солнце спускалось в море очиститься омовением пред субботой, однако не спешило: пока не встретили субботу в юдоли, не встречают ее и в выси. Поторопились женщины и сняли варево с угольев, и накрыли

на стол, поставили вино и хлеб и зажгли свечи. Покрылось солнце многосветным покрывалом и ушло в Чертоги Отдохновения, встречать субботу в кругу небесной свиты.

Встали сердечные, и вознесли пополуденную молитву, и сказали восемнадцать * Благодарений и Благословений. Кто вознес Благодарение с намерением и чувством, тот постиг, сколько благости и милосердия оказывает Господь всем сынам Адама, а особенно знают это мореходы в море, что воочию зрят деяния и чудеса Божьи. Кто вознес восемнадцать восклицаний с намерением и тщанием — и меж ними стих «И в милости своей вернись в Иерусалим»,— тот наверняка духом приблизился к Иерусалиму, а особенно мореплаватели, ибо пока произносят они слова эти, Господь движет челн их и приближает к Иерусалиму.

А так как завершились шесть дней деяния и будни окончились, запели сердечные наши Гимн Субботнего Дня. И весь мир заблистал сиянием венцов, что к сретенью субботы возвращает Моисей народу своему, а лишились их сыны Израиля, когда согрешили и поклонились золотому тельцу вместо Единого Бога. А как завершили они вечернюю молитву, освятили вино, и преломили хлеб, и ели и пели, пока свет свеч не померк, а свет звезд не умножился. Плоть и кровь зажигает свечу — то ли разгорится, то ли нет, да хоть и разгорится, так потом погаснет, а Господь сколько свеч зажег в небе — и ни одна не гаснет.

Хороша суббота тем, что дает покой телу. Но еще лучше суббота на корабле, ибо там и в будние дни человек не трудится, и покой субботний приходит не от усталости, а лишь в честь субботы.

Сидели сердечные руки в рукава и смотрели себе на море. Сидит человек неподвижно — уже большое достоинство, ибо не грешит; а если при этом он еще сидит на корабле, плывущем в Святую Землю, то не просто не грешит, а, напротив, доброе деяние и Божий Завет исполняет, ибо восходит он на Землю Израиля, а она стоит всех добрых деяний, заслуг и заветов.

Все заповеди и заветы касаются лишь частей тела: тфилин — руки и головы, малый талит — покрывало с кистями — сердца и только днем, а ночью не обязательно, и только мужчинам, а женщинам не надо. Кущи заповеданы лишь в свой праздник только мужчинам, а женщинам — не надо.

Опресноки — маца — заповеданы только на Пасху, и то лишь в первый вечер. А умрет человек — и вовсе от заповедей освобождается.

Но бытование в Земле Израиля касается всего тела, касается и мужчин, и женщин, и детей, выполняется и днем и ночью, и конца ему нет во веки веков, ибо умирает человек и хоронят его в Святой Земле и Земля искупает его грехи, ибо сказано: «Земля Народа Его Искупленье». И стоит Земля Израиля всех заветов и заповедей, и поэтому едва соберется еврей в Святую Землю, Лукавый тут как тут — стоит на пути и не пускает его.

Сказал р. Алтер-учитель: как собрался я в Землю Израиля, встретил меня Искуситель и спросил: куда ты путь держишь? Сказал я ему: в Землю Израильскую. Говорит он мне: а я, мол, вернулся с полпути из-за муравьев проклятых, что каждый кусок хлеба на корабле облепили. Сказал я ему: напротив, стоит нам поучиться у муравьев, как сказано в Притчах: «Пойди, лентяй, к муравью, учись его повадкам и набирайся ума». Муравей — самая мелкая из Божьих тварей, а летом запасается хлебом впрок: сын Израиля тем более должен впрок запасаться.

И вторил ему р. Моше, и сказал: как сел я в повозку, отправляясь в Святую Землю, встретил меня Лукавый и спросил: куда ты идешь? Сказал я ему: в Землю Израиля. Сказал он мне: сиди-ка ты лучше спокойно и служи Господу, как прочие хозяева, пока не настанет и твой черед взойти вместе со всем народом Израиля.

Сказал я ему: а когда я дом продавал, не ты ли мне нашептывал: запрашивай, мол, побольше, ты, мол, в Святую Землю едешь, а сейчас,

когда я дом продал, ты хочешь мне отсоветовать схать. Нет, нечего мне тебя слушать.

Вторя ему, сказал р. Моше: как сел я в повозку, чтоб ехать в Святую Землю, подошел ко мне Смутитель и говорит: старик, в твои-то лета хочешь еще пуститься в разъезды и промотать все заработанное в поте лица. Сказал я ему: расчетлив ты, но и я умею счесть прибыли и убытки от исполнения заповеди.

Вторя ему, сказал р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита: как собрался я в Святую Землю, подошел ко мне Совратитель и спросил: куда это ты собрался? Сказал я ему: в Землю Израиля. Говорит он мне: зачем тебе туда стремиться, много дополнительных заповедей нужно исполнять еврею в Земле Израиля. Неужто ты уже все заповеди здесь исполнил, что в Святую Землю понадобилось? Готов я побиться об заклад, тебе еще осталось немало заповедей исполнить и вне ее. Сказал я ему: да не ты ли, мол, приходил как-то к одному праведнику и просил его: «Исполняй, мол, все заповеди и заветы, только такой-то заповеди не исполняй»? Помнишь, какой ответ он тебе дал, праведник этот? Сказал он: раз ты просишь, то я все заветы нарушу, лишь бы эту заповедь исполнить как положено. И вмиг оставил меня Совратитель.

Сказал р. Иегуда Мендель Угодник: со мной Нечистому не пришлось долго возиться, потому что мы с ним живем, как соседи добрые. Как пришло мне в голову взойти на Землю Израиля. сказал я себе: чего это люди боятся взойти на Землю Израиля? Неужто нечего там есть-пить, неужто там люди не как мы? Так нет, кто живет тут, может жить и там, ведь не ангелам небесным дана Земля Израиля в вотчину, а нам, грешным. Раз так, то почему бы и мне не поехать? Как услышал это Нечистый, так сразу и отстал от меня.

Сказал р. Песах-казначей: именно это и я сказал жене своей, Цирль. Сказал я ей: ты что думаешь, Цирль, что в Земле Израиля только руины да кущи? Ан нет, и там дома стоят, и там не на святой воде кашу варят. Сказал Лейбуш-мясник: если так, то почему носятся с этой Землей Израиля, как дурни с писаной торбой? Сказал р. Алтер-резник: чтоб в домах тех не грешили. Вздохнул р. Иосеф Меир и сказал: хулой обернулось бы дело, коль дома те были,— лишь то, что око видит.

И снова сидели сердечные и толковали о Лукавом, что старается отговорить сынов Израиля от поездки в Святую Землю, потому что вступивший на Землю Израиля получает новую душу. Блажен, кто взошел и сподобился жить в Святой Земле, горе тому, кто взошел, но не сподобился, ибо вкруг Земли Израиля стоят ангелы и не пускают недостойных, как рассказал нам р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита. Речь идет о двух старцах, что ехали-ехали до границы Земли Израильской. В ночи услыхали жители радостный возглас с одной стороны и горестный — с другой. Глянули и увидели: стоит собрание ангелов с арфами и гуслями и вводят одного старца в Страну Израиля с превеликими почестями и гимны пред ним поют: а далее шайка бесей тащит с позором другого старца. Спросили их: Бога ради, почему вы этому дудите, а этого — срамите? Ответило собрание ангелов: этот сподобился взойти на Святую Землю, вот мы и провожаем его туда, ликуя. Ответила шайка бесей: а этот не сподобился взойти, а взошел, вот мы и выкидываем его оттуда.

Спросил р. Моше у р. Шмуэля Иосефа сына р. Шалом-Мордхая Левита: может, ведомо тебе, почему не сподобился р. Авраам — обрезатель крайней плоти — поехать с нами в Святую Землю? Ведь он — человек достойный и богобоязненный, и добродей, и заветы исполняет, особенно завет обрезания, через который и Земля Израиля была нам завещана. Сказал р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита: за то, что самого праотца Авраама утрудил и понудил Страну Израиля покинуть, за то и наказан, потому и нет ему удела в Земле Израиля. А дело было так: однажды разгулялись школяры в городке, и весь Израиль

попрятался по домам и погребам, а р. Авраам пошел совершить обрезание, отец же младенца был убит при этом буйстве. Пришел р. Авраам, но не нашел ни стула — присесть, ни мужа — младенца подержать. Сказал: да неужто я могу и обрезать и держать младенца? Глянул в окно и видит: идет по улице старик со скамеечкой в руках. Постучал он ему по стеклу и поманил пальцем. Вошел старик, уселся на скамеечку и положил младенца себе на колени. Обрезал р. Авраам младенца и благословил Возлюбившего дитя еще во чреве матери. А после благословения старик исчез. И все были уверены, что Илия * — ангел Завета явился ему, а на самом деле это был праотец Авраам, что явил ласку потомку, вступающему в завет его.

Все семь небес омрачились, и луна и звезды укрылись. Воздух на свете мокрый, и вкус его как вкус соли. Весь мир безмолвствует, кроме морских волн, что целуются себе во мраке. Встали артельщики и пошли почивать. Луна закатывается, и звезды заходят, и планиды уходят к себе.

Плывет себе ладья, а Господь расстилает тьму перед светом и свет предо тьмой, и наводит ветер, и движет ладью. С каждым днем светило крепчает, так что глазу больно, а ночью каждая звезда сияет, как месяц, и волны морские плещутся и бьются, и искорки-светлячки блестят в них, а на них парит платочек, как ладья среди морей, а на платочке сидит человек, и лик его обращен к Востоку. И вал морской не топит его, и гад морской не норовит пожрать, и птица-летица летает, и порхает, и кружится над ним.

Сколько дней уже плывут они на корабле, легко понять: перед выходом в море побрили они головы, а сейчас при молитве чубы тфилин покрывают, но как ни глянут они в море — видят огоньки в воде, а на них плывет платочек, как ладья среди морей, а на платке сидит человек, и лик его обращен к Востоку.

Глава десятая

СТАМБУЛ

Долго ли, коротко, приплыла ладья в Царьград Великий, он же Константинополь, он же Стамбул *. Наняли там малый челн и вошли в город — ждать там большого корабля, идущего в Землю Израиля. А корабль этот подряжает стамбульская община, чтобы каждый сфарадийский еврей — богобоязненный и с достатком — мог бы взойти на Святую Землю, броситься в прах перед могилами праотцев или обосноваться там. А Стамбул — град великий, во всем свете нет ему равных, и дворцов и палат там без счету, и живут там дети всех племен и народов, и правит ими салтан басурманский, возлежит он на ложе слоновой кости, что сон наводит, и одни говорят, что спит он по полгода кряду, а другие говорят, что спит он весь год подряд. А пред ним — табакерка душистого табаку, а на ней сидит Золотой Петушок, а как наступит время пробуждения, открывает Золотой Петушок табакерку, подносит табак к его салтанским ноздрям, он чихнет, а петушок ответит: «Будь здоров». Тут же прибегают все визири, и паши, и вельможи и осведомляются о здравии салтана. А окружают его триста шестьдесят пять визирей, по числу дней года, на каждый день по визирю. И как визирь кончает свою службу, получает от салтана золотой снурок и понимает, что настало ему время попрощаться с белым светом, идет домой и удавливается, а салтан смотрит из окна, и видит это, и хлопает в ладоши, и радуется. И часы висят во дворце салтана, из человечьих костей сделаны, и бой их слышен от конца и до края города, и даже плод в чреве матери содрогается от этого звука. И много там садов и виноградников, и бань и домов неги, один краше другого, внутри — красны, снаружи — грязны. И бродячим псам там числа нет, во всем мире нет стольких без-

домных собак, как в Стамбуле. И стервятники расхаживают по городу в свое удовольствие и кормятся помоями и мертвечиной. А крысы там размером с гуся и живут повсюду, даже во дворцах вельмож. И пожары там часты — как займется один дом, так вся улица сгорает, потому что дома там из дерева, и иногда триста домов сгорит, а иногда четыреста, а иногда и того больше. А пожаров они не тушат, а вместо этого стоят кругом стражники и кричат: нет Бога кроме Бога и Магомет — пророк его. И соборов Израильских в Стамбуле немало — сотня, а может, и больше, парчой да коврами стелены, аксамитом убраны, и восседают там хахамы — великие мудрецы, и учат Явному и Тайному, тому, что видит глаз в Торе Божьей, и тому, что не видит. И много книг есть у них — блажен глаз, узревший сие,— и даже свиток «Прелесть Жизни» * есть у них, а это — великое диво и редкость, как ведомо сведущим. И есть у них разрешение судить и рядить от властей салтана, а языка нашего они не понимают, и говорить с ними приходится на святом языке. И помыслы их чисты, и одеяния их чисты, и речь их приятна, а манеры привольны, и облик — как у сынов царских. И обычаи у них ненашенские, тфилин они налагают сидя, как учит «Дом Иосифа» *, а некоторые налагают оба тфилин одновременно. И суемудрых споров не любят, но главная сила их — в ведовстве. А в сердце их бушует любовь к Стране Израиля, и когда отправляются в паломничество в Страну Израиля, берут с собой ковры, на которых учили Тору, и в праздник Костров — Лаг баОмер — зажигают их на могиле р. Шимона Бар Иохая.

Есть в Стамбуле и караимы *, что не верят Талмуду, учению мудрецов наших, блаженной памяти, но в Пятикнижии они сведущи и все двадцать четыре книги Святого писания знают назубок, как евреи — «Отче наш», и у них свои молельни, и одеяние с кистями — малый талит — они не носят, а вешают на стенке в молельне и лишь глядят на него, ибо в Пятикнижии сказано лишь: и узрите покрывало с кистями, а Талмуду, что указал носить его на теле, они не верят, и так же они поступают и с пальмовой ветвью на праздник Кущей. И есть у них свои мудрецы, что каждодневно освежают толкования Торы, но с раввинами у них спору нет, потому что нуждаются в нас: сами блюдут древние законы чистоты и не оскверняют себя прикосновением к покойникам, а если умрет караим — нанимают бедных евреев, чтоб убрали и похоронили. И раньше сидели они по субботним вечерам в потемках и свеч не зажигали, пока не явился им свет Ученья мудрецов наших. И Земля Израиля любезна им, и горюют они о разрушении и запустении ее, и шлют утварь и деньги в мидраш свой в Иерусалиме. И они всяко ухищряются, лишь бы взойти на Святую Землю и увеличить свою общину в Иерусалиме, но не выходит у них, потому что однажды хотели они осрамить и опозорить учителя нашего Рамбама *, блаженной памяти. Однажды понадобилось мудрецам Иерусалимским тайный совет держать из-за лютых казней, что навалились в то время на Израиль, собрались в караимской молельне, ибо она находилась в долине, в укромном месте. Когда вошли, увидели — одна ступенька торчит. Подняли — и нашли под ней «Мощную длань», книгу Рамбама: положили ее под ноги караимы, чтоб все на нее ступали на позор Рамбаму. Был меж ними раввин — сочинитель «Светоча Жизни» *, и наложил он на них страшное проклятие, чтоб община их не росла и чтоб никогда не сподобились караимы в Иерусалиме молиться вдесятером. И с тех пор если какой караим приедет в Святой город — другого выносят оттуда вперед ногами. А был случай — попробовали они приехать целым кагалом, и все сгинули от мора, не про нас будь сказано.

Сидели себе любезные наши в Стамбуле и ждали корабля. Раз пойдут посетят могилу праведника Иова, другой раз — могилу написавшего «Посвящение в Мудрецы», что скончался здесь на пути в Святую Землю, а то пойдут в порт, посмотреть — а вдруг пришел корабль, а с ним — Хананья, потому что все еще не отчаялись увидеть его. Хананья, что полсвета обошел и во всех испытаниях устоял,— неужто отчаялся,

когда корабль уплыл без него? Наверняка запасся терпением и подождал следующего корабля.

А тем временем р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая га-Леви сидел пред мудрецами Константинопольскими и читал все книги и свитки, большие и малые, мудрые и прямые, богобоязненные и отменные, и набирался ума и страху Божьего, и постигал Явное и Тайное, а также слог и правила святого языка с секретами его. Дошла до нас грамота, что послал он Собранию любезных наших хасидов во граде Бучаче Д[а] Х[ранит их] Г[осподь] С[паситель]. Сим сообщаем, что прибыли благополучно в сл[авный] гр[ад] Царьград, на коий и в «Сиянии» намек содержится. Слава Богу, путь наш был легок. Не задержал нас дождь на суше, не испугала буря в море. И здесь к месту было бы описать всю дорогу и все блага, коими осыпали нас б[ратья наши] с[ыны] И[зраиля] в пути, как едой и питьем и ночлегом, так и добрыми советами и честными наставлениями, как в стране басурманской, так и в державе ЕИВ к[есаря австрийского]. Однако от горести сердечной нет сил писать обо всем этом, ибо пречестной р. Хананья, ведомый вам, потерялся в пути, и неизвестно нам, что с ним приключилось. Так и сообщите об этом п[ремудрому] с[удие] г[рада], многая ему лета. Хоть и знаем мы, что не оставил р. Хананья супруги, но, может, один из братьев его умер бездетным и вдова нуждается в Хананье, чтобы восставил семя покойного* или освободил ее от обета. Прошу сообщить нам, как поживают учителя наши и раввины и т. д., и р. Авраам — обрезатель крайней плоти Д. Х. Г. С.,— что случилось с ним, и передайте привет всем друзьям нашим и возлюбленным, образ которых всегда хранится в нашем сердце, и т. д.

На том постоялом дворе, где остановились любезные наши, остановился и хахам — раввин сфарадийский, что вышел посланцем доброго дела, пробудить в городах Изгнания сострадание к горю и нищете жителей Иерусалима. А сам он — мудрец и знаток, и лик его — как лик царский, а очи темны от слез, ибо все города стоят под небом, а Божий град низвергнут до самой Преисподней. Спросил посланец артельщиков, куда, мол, путь держат? И где хотят обосноваться — в Иерусалиме, или в Хевроне, или в Цфате, или в Тверии? Рассказал он им о прелестях каждого града, и какая там стоит погода, и какие святые места есть там. Кто жил в Цфате и погребен в земле его — а Цфат построен выше всех городов Страны Израильской, и воздух его слаще всех,— вмиг душа его влетает в двойную пещеру Махпела, а оттуда — прямо в рай. И в Цфате народы иноплеменные не притесняют Израиль, и даже женщина может гулять без провожатых по городу и за его стенами. И с жильем в Цфате вольготно, и все можно купить втридешева, и там мидраш святого Ари *, а в нем амвон, с которого он позвал читать Тору самих отцов мироздания — Аарона-первосвященника позвал первым, а Моисея-левита — вторым и Авраама — третьим и т. д. А жители Цфата на Торе выращены и богобоязненны, и жалостливы. А в двух часах от Цфата стоит гора Мерон, а там пещера, где скрывался р. Шимон бар Иохай от гнева римлян. Собираются там три раза в год со всех городов Страны Израиля, и плачут на могиле его, и сидят там день и ночь, и учат книгу Зоар, а три раза это: в месяце Элул, и в конце Адара, и в праздник Лаг баОмер. А в Лаг баОмер собираются там евреи даже из Дамаска, и из Междуречья, и из Египта и разжигают костры в бочках с оливковым маслом, и устраивают настоящие пиршества, и пляшут и бьют в тимпаны, и водят хороводы, и поют псалмы и гимны. Это — великое празднество в честь р. Шимона бар Иохая, ибо в тот же день Дух Божий веселится с праведниками в священных чертогах.

Но важнее Цфата Хеврон, прах его прельстил праотцев, и они погребены там в двойной пещере Махпела, а над ней высится замок, что построил еще царь Давид, мир праху его, но за грехи наши не дают детям Израиля войти в пещеру. Но в воротах есть маленькая скважина, прямо напротив могил праотцев и праматерей, и там зажигают свечи и молятся. А неподалеку от пещеры Махпела — могила Рамбана, блаженной памя-

ти, как написано в заключение трактата его «Поучение Человеку»: пошел я вырыть себе могилу рядом с патриархами. А рядом там могилы Иессея, отца царя Давида, и Атниэля бен Кназа. А внизу — пещеры прочих праведников. И обыватели хевронские — собой молодцы и полны добродетелей, а в особенности отличаются они гостеприимством, наподобие тому, как отличался этим и праотец Авраам, мир праху его. И весь город окружен виноградниками и апельсиновыми рощами, и там дубрава Мамре, где ангел явился Аврааму и Сарре, и ключ с живой водой, где омывалась сама праматерь Сарра, мир праху ее, и шатер праотца Авраама, мир праху его. А шатер обложен тесаным камнем, и внутри — колодец, выложенный тесаным камнем, и источник бьет из колодца, и вода его сладка, как мед, и приятна на вкус.

А не хорошо ли жить в Тверии, она же Тивериада, она же Ракат-Пустица, что там даже пустецы и пустомели полны достоинств, как гранат зерен. Жители Тверии более проворны и скоры на руку, чем жители других городов, и говорили мудрецы наши и учителя блаженной памяти: «Дай мне, Господи, встречать Субботу в Тверии» *. И покойно растут там все злаки и древа заповеданные, в особенности пальмы, и из них они делают себе кущи. А о берег Тверии плещется Генисаретское море, которое пуще всех морей возлюбил Господь, и источник Мириам * сокровен в пучине вод, и открыл нам святой Ари, мир праху его, что вода эта исцеляет душу. С другой стороны, горячие источники Тверии возвращают здоровье телу и исцеляют от всяких болезней. А в конце света восстание мертвых начинается с Тверии, и из Тверии придет Избавление, как говорится в Трактате «Новогодие», на странице тридцать первой.

Но кто променяет на них святость Иерусалима, престол святости нашей, что стоит против врат небесных?

Глава одиннадцатая

ВЕЛИКАЯ БУРЯ В МОРЕ

По истечении нескольких дней настало время кораблю пуститься в море. Поднялись они на борт, а с ними — множество сфарадийских евреев из Стамбула и Измира и из прочих городов Порты,— мужчины и женщины, и, не рядом будь помянуты, необрезанные и обрезанные изо всех народов мира, больше тыщи человек, не считая служителей корабельных и служителей их служителей.

Положили пожитки и стали к молитве, чтоб довелось им прибыть в целости и сохранности в Землю Израиля и чтоб не пострадали по дороге ни от грома, ни от лиха, ни от гада морского. А завершив молитву, разделились на две кучки — одни пошли смотреть, где брать воду для питья и хворост на растопку, а другие пошли посмотреть на корабль и на корабельщиков, что стояли на мачтах, вязали канаты и распускали паруса. И братья наши — сфарадийцы — тоже устроились, развязали торбы, разложили пожитки, вытащили книги, да такие, что приятно посмотреть,— украшенные красными и зелеными кожами и обернутые в разноцветную бумагу, как писаные изразцы в царевых дворцах, и уселись, поджав под себя ноги и помолились, чтоб сподобились ходить под Богом в Стране Живых и быть похороненными в Иерусалиме.

Любо-дорого посмотреть, как они сидят. Наряды чистые, движения приятные, облик — как у сынов царских, борода падает на грудь, и читают они со страхом Божиим и скромностью, истово и степенно, шевеля губами и с радостью в сердце. Труд учения приличествует паломникам, идущим в Святую Землю. А жены их сидят рядом, с разрисованными трубками в зубах, и курят табак из круглых стеклянных кальянов. А как услышат они — слово «Иерусалим» вылетело из уст их мужей,— простирают они ладони к глазам и радостно вторят тем и целуют кончики пальцев, как будто на них отпечатано: Иерусалим. Тем временем солнце

спряталось за твердью и воды потемнели. Корабельщики проверили снасти и мачты и сели есть-пить, распевая песни и былины про вино и про русалок в море, что замечают моряков и похищают их души своими напевами. А евреи, со своей стороны, вознесли вечернюю молитву и освежили душу всякими яствами, а затем перечли Песнь Песней и то место в книге «Сияние», где говорится о грядущем слиянии Господа с Собранием Израиля.

Фейга и Цирль, бой-бабы, у которых все в руках горит, убрали и приготовили для себя и спутников своих удобные места и постелили постель. Улеглись почивать, дать роздых телу, пока не встали на полуночную молитву. Звезды сверкают и прячутся, и другие светила выходят им на смену. В полночь встали сердечные на молитву, а тем временем братья наши сфарадийские терли бобы и варили кофий, питье, пробуждающее сердце и гонящее сон с глаз; в земле Польской кофий почти неведом, но в трактате «Накрытый стол» он упомянут. К братьям своим ашкеназским они отнеслись приветливо и дали им всего — и не только кофию, но и вина, и книг, а в час нужды и заступались за них пред корабельщиками, потому что сфарадийские мудрецы сведущи в иноплеменных языках и некоторые из них по 70 языков знают, как в Великом Синедрионе.

Так мирно протекли три недели. Корабельщики покоряли волну, и корабль плыл себе полегоньку, а сердечные сидели и учили Святое писание, Мишну и Талмуд или восхваляли страну Израиля в своих разговорах. Особенно р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита скрашивал время чудными сказаниями, которыми славится Страна Израиля, к примеру, царь повесил занавес у входа в свой палатин — умный человек раздвинет и войдет. Так и р. Шмуэль Иосеф — раздвигал пред ними врата Иерусалима, и входил с ними, и показывал им все скрытое там. А рядом сидят братья наши сфарадийские, что языка польских евреев не понимают, но видят они ликование собратьев и спрашивают: чему вы так радуетесь? И те отвечают на святом языке: так, мол, и так рассказал нам р. Шмуэль Иосеф,— и тем тоже интересно послушать. Немедля открывает уста р. Шмуэль Иосеф и ведет рассказ на святом языке, как ангел Господень, во славу Иерусалима и про ликование Духа Божьего по прибытию их, ибо с тех пор, как разрушен был Храм, ни дня не проходит без гнева, потому что поклялся Господь, что не вступит он в небесный Иерусалим, пока Израиль не вступит в Иерусалим земной. И братья наши сфарадийские слушают и устами припадают к его словам.

Так мирно протекли три недели, корабль шел себе полегоньку, солнце светило на него днем, а месяц — ночью, и твердь небесная полна звезд, и море ведет себя как положено, и валы бегут, как на игрище. Но в глубинах моря поднялся гнев вод, и ветер ударил в мачты корабля. Поднялась огромная буря. Ладью качало туда-сюда, то направо, то налево, то ее возносит кверху, то кидает вниз, и волны гневно борются с ней, готовые поглотить и се, и плывущих на ней людишек. Все море полно пены, как будто подменили море-окиян морем белой пены. Блажен, кто обретается в такую ночь у своего очага, огражденный стенами от ветра и крышей от дождя, кто улегся в постель и накрылся пуховым одеялом и слышит шаги ночного сторожа пред домом, кто утром пойдет в талите и тфилин на молитву, затем плотно позавтракает, а затем выйдет на рынок — вести честный торг, кто проводит дни свои и годы в почете людском и умирает, снискав себе доброе имя, и сподобится лечь в землю близ родителей своих и праотцев. Эта ночь прогнала сон с глаз и отняла покой у тела. Постель просолена насквозь, как соленая вода. Шестьсот тысяч валов плюют тебе в лицо да еще и гневаются. Где ты, речка Стрипа, в которой окунались перед наступлением субботы в солнечные дни и куда стряхивали все грехи пред Судным днем? Несколько сот верст ходу от них до речки Стрипы. Сейчас стоят они среди морей, и валы, огромные, как горы, вздымаются до самой небесной тверди, и ладья то плывет, то летит, как из пращи, и руки моряков устают дер-

жать снасти и обуздывать воду. И все плывущие на корабле бьются о борт, и кричат, и плачут, и стонут, и лица покрываются холодным соленым потом, и соль стекает капельками с чуба и катится в рот. Кто уже материнское молоко отрыгивает, а у кого подвело живот. Не дай вам Бог, путники морских караванов, испытать такое. А к полночи еще больше разгулялась буря и била по бортам корабля, и снасти лопнули, и рев все нарастал, так что голоса в двух шагах не слышно. Меж мореплавателями поднялось смятение, один простирает руки к небу с мольбой о помощи, а другой рвет на себе волосы, но кто обуздает воду, кто поможет товарищу в трудную минуту? Однако попомним добром славного корабельщика, что места своего не оставил и сердца моряков укреплял, чтоб не отчаялись они в милости Божией и не опускали рук. И вскорости так раскачалась ладья, как будто налетела на рифы и готова разломиться. Вещи полетели вверх, а люди полетели вниз.

Как увидали сердечные, что беда не шуточная, вспомнили, что, когда шли святые паломники в Страну Израиля — р. Нахман из Городенки и р. Менделе из Перемышлян и прочие праведники,— приключилась им подобная беда на море. Взял тогда р. Нахман свиток Торы в руки и сказал: если, не дай Бог, приговорил нас Небесный суд архангелов к погибели, мы — суд Земной вкупе с Господом Богом и Духом Божиим — с этим приговором не согласны и отменяем его,— и все хором ответили: аминь. В этот самый миг взобрался один моряк на мачту и закричал: гляжу я в подзорное стекло и вижу селения Страны Израиля.

Подумали сердечные: вот это были праведники, вот это были богатыри духа, спаси нас Господь от беды этой во имя их и во имя Земли Израиля.

Молитва их полбеды откачала, да корабельщики с другой половиной справились, а Господь Бог в милости своей всю беду разогнал. И вскорости утих гнев морского царя и вид моря переменился к добру. Так и миновал день без вреда, и ночью никакого ущерба не приключилось.

Месяц вышел и засиял, и корабль поплыл себе спокойно, хворые понемножку оправились. Луна бледнеет и исчезает, вот уже и настало время солнцу взойти. И с бликом рассвета утихли воды морские и красноватый покров повис над ликом моря. Ладья без сил стояла в открытом море, и легкий ветерок овевал стан мореплавателей.

Сказал один: знаете, что я вам скажу, братцы, похож я на человека, которому показывают сокровищницу царскую. Спускаются с ним в подземелье, ноги его заплетаются, но так как знает он, куда его ведут — в сокровищницу царскую,— все равно радуется. И сказал р. Иосеф Меир: «Кто взойдет на гору Господню и кто восстанет на месте Его святости?»

Сказал р. Иосеф Шмуэль сын р. Шалом-Мордхая Левита: когда бушевало море и заливало корабль, знаете, о чем я думал в тот час? Думал я о том, что приключилось со святым раввином, р. Шмельке, да оградит нас Господь во имя этого праведника. Однажды наслали власти лютые казни на общину святого града Никльсбурха, но кесарь еще не утвердил указа о казнях. Поехал святой мудрец к кесарю в Вену, а дело было во время ледохода, когда по реке на корабле не пройдешь. Сказал мудрец своему ученику, св. раввину Моше Лейбу из Сасова: поди принеси, мол, люльку. Пошел тот и принес люльку. Сели они в люльку и отплыли, вышли на течение и стали на ноги. Прочел святой мудрец Песнь Моря, ту, что сложил Моисей, когда разверзлось Чермное море, а ученик повторял за ним, пока не прибыли они благополучно в Вену. Стоят жители Вены на берегу, и видят они: плывут два еврея в люльке по реке, в то время когда и в лодке не проплывешь; льдины огромные, как горы, плывут по реке, гневно наваливаются друг на друга с шумом, подобным грому. Услышал про это кесарь, вышел со своими советниками и увидел: стоят два еврея в люльке и поют гимн, а льдины, с гору величиной, трутся и наваливаются друг на друга, но люльку не затирают,

а расходятся и дают ей дорогу. А как пришел праведник к кесарю, сказал ему кесарь: исполню я твою волю, человек Божий,— и отменил указ.

Сказал р. Алтер-учитель: ну, что вы скажете об этом? Сказал р. Алтер-резник: ой, где сейчас найти такую люльку. Вздохнула Фейга и сказала: а мы плывем на большом корабле, и не к кесарю из плоти и крови, а к Царю царей, Кесарю кесарей, а добрых знамений покамест не видать. И сказала Цирль: и я то же самое говорю, едем в Страну Израиля, а ни тебе чудес, ни знамений.

Шикнула на них г-жа Милька и сказала: ах вы неблагодарные, да мало ли чудес и знамений явил вам Господь: вселил в сердце понимание, чтоб пуститься в Страну Израиля, и по суше провел Он нас, и провел Он нас прямиком без препятствий и вреда, и послал нам корабль, чтоб пуститься по морю, и выпустил ветер из кладовых своих — гнать ладью по морю. А когда море разбушевалось, Он унял его и приказал царю морскому унять гнев свой, и унял гнев его, и воды вновь потекли как по маслу, и сегодня-завтра введет Он нас в Страну Израиля, и вы после всего этого говорите: не видать, мол, добрых знамений. Господи Боже мой, если так, то что уж должен был сказать Хананья, сколько горя он измыкал, шел пешком из города в город, из страны в страну, и граничная стража отняла у него все добро и раздела догола, и в плен к разбойникам попался, и счет субботам потерял, и святой день осквернил, и немало помучился, лишь бы добраться до Страны Израиля, а как настало время взойти — ушел корабль без него. Сказал р. Алтер-учитель: вот это да, надо нам брать пример с Мильки. Клянусь вам, что, когда она говорила, все мое тело прочувствовало, какие чудеса явил нам Господь. А как вспомнили Хананью — перекосились их лица от горести и жалости по тому бедолаге, что собой пренебрег во имя Страны Израиля, а как настал час сесть на корабль и отплыть в Страну Израиля — уплыл корабль и оставил его — и неведомо, живым или, не приведи Бог, мертвым. Хоть и огорчилось сердце их, глаза заблестели, как всегда у добрых людей, что вспомнят доброго человека, и глаза у них заблистают.

Сказал Песах-казначей: помните, платочек был у Хананьи, все пожитки он в него увязывал, а в час молитвы вынимал пожитки и подпоясывался платочком. Однажды сказал я ему: Хананья, мол, на тебе пояс, чтобы не возиться с пожитками — развязывать, завязывать,— но не взял он. А какой ответ он мне дал? Сказал он: к вещи надо относиться с уважением, хоть и нашел другую, краше прежней, нельзя перестать прежнею пользоваться. И так же ответил он и Мильке. По дороге дала ему Милька котомку, а назавтра видит: он с тем же узелком. Сказала ему: да разве не дала я тебе котомку для пожитков? Ответил он ей: дала. Сказала ему: а ты все в платочек увязываешь? Ответил он ей: так что, если платок говорить не умеет, так на него уже наплевать можно?

Сказал р. Алтер-учитель: сейчас, когда облегчил нашу долю Господь и успокоились воды моря, не след ли нам вознести утреннюю молитву?

А когда помолились, ничего не смогли отведать, потому что морская вода просолила их припасы. Солил Господь Левиафана впрок, и море наполнилось солью. Да кому нужны еда-питье, если не сегодня-завтра вступят они в Страну Израиля, потому что говорят — близок корабль к пристани. И тут вылетели у них из сердца все дорожные хлопоты, и скудость пропитания на корабле, и буря на море. Тяжелые, как каменья, ноги вдруг полегчали, глаза, что померкли от слез, засияли светом Утренней звезды. Оделись они в субботние одежды и украсили себя во имя Страны Израиля, и особо постарались стряхнуть с одежд прах иных земель, чтобы чистыми вступить в Землю Израиля. У р. Моше на шее висела ладанка с прахом Земли Израиля: как показалось им, что вступают они в Святую Землю, развязал ладанку и бросил прах в море. Сказал р. Моше: сказали мудрецы Израильские, что суждено Земле Израиля простереться по всему свету,— вот я бросаю прах Земли Израиля в море, и станет он скалой, и на ней выстроится один из великих

городов Земли Израиля. И завели они гимны хваления и благодарения, что довелось им добраться до пределов Земли Израиля, и сложили они пожитки и увязали их, чтобы не задерживаться, как наступит время сойти на берег.

Однако не пришел еще их черед стоять в Царских чертогах. Когда взобрались корабельщики на мачты, посмотреть, куда занесло корабль, посмотрели они и увидели очертания большого города, но не Яффы, и не Аккры, и не Тира, и не Сидона, и никакого иного города из городов Земли Израиля, а города Стамбула. И тут опустились руки гребцов и дрожь пронизала их кости. Три недели и долее возились они, чтобы приплыть к берегам Страны Израиля, а затем подхватили ветры корабль и возвратили его в Стамбул. Решил Господь испытать званых гостей, достойны ли быть в его легионах, и навел на них бурный ветер, и воротил их не солоно хлебавши. Кто хочет в Страну Израиля, пускай, мол, останется на корабле, а кто захочет вернуться в страны Эдома и Измаила — пусть вернется себе. Но все, как один, ответили: вперед, в Святую Землю, назад не поворотим.

Послал главный корабельщик моряков в город принести провизии — затем, что все припасы на корабле заплесневели. Взяли моряки весла в руки, спустились в лодочки и отплыли в город. Запаслись там всеми благами Порты и вернулись. Поднял главный корабельщик паруса и натянул снасти. Вмиг выпустил Господь ветер из своих кладовых и предупредил его: смотри, мол, не вреди знакомцам моим. Отплыл корабль и пошел радостно, как в хороводе.

Дважды беде не приключиться. Благословен Проведший их прямым путем по морю, и по суше, и по морю. Пять дней и пять ночей плыла себе ладья полегоньку и благополучно доплыли до Яффы. Когда занялся рассвет дня шестого — последнего дня их плаванья,— вынырнула Яффа из моря, как солнечный диск, что всплывает из Огнь-реки * — воссиять миру. Вот она, Яффа,— врата града Божьего, сюда приходят изгнанники Израиля, и отсюда начинают они восхождение в Иерусалим.

Утро занимается, и светило сияет все сильней и пышет жаром на корабль. Небесный огонь обжигает до пузырей. Моряки разделись и все равно потели, как медведи. И евреи, со своей стороны, тоже скинули верхние облачения и сняли шляпы — но не ермолки,— и ну ими обмахиваться, и все равно кипели от солнечного пота, и солнце кипятило пот и сушило кости в теле.

Обратился Лейбуш-мясник к р. Алтеру-резнику, когда оба они сидели и обмахивались, и спросил его: скажи мне, мол, р. Алтер, почему это солнце такое неистовое? Ответил тот ему: жарит Господь Левиафана на пир праведникам, для этого и растопил солнце.

А одна из женщин сказала подружке: что это, глаза мои меркнут. Ответила ей подруга: ты что думаешь, у меня вместо глаз — стекляшки? Чувствую я, как будто их колют раскаленными спицами. Сказала Цирль: не солнышко здесь на небе, а прямо пещь огненная. Услыхал р. Моше и сказал: меркнут глаза ваши от сияния Духа Божия. Даже Фейгу, что доброй волею ехала, и ту обеспокоило видение глаз ее. Где они, эти дуновения ветра, что в сказах всегда веют в Стране Израиля меж садов, и апельсиновых рощ, и меж пальмами и лимонами, и меж горами благовонными, как в Эдеме? Вместо этого жар геенны наваливается на них и сжигает кости. Неужто занесло их ладью, не дай Бог, в мертвую пустыню, где самумы и скорпионы, и снова приключатся им всякие несчастья? Хоть и знали женщины, что в разрушении стоит Страна Израиля и что много бед поджидают там человека, но помнилось им лишь то, что по вкусу, а что не по вкусу — забывалось. Сидела напротив Милька и улыбалась. Сказала Фейга Мильке: да ты никак подсмеиваешься надо мной? Сказала ей Милька: не над тобой, а над собой я смеюсь. Помню, по дороге в Лешкович пригрезилась мне меховая накидка, пышная, длинная, чтоб целиком укутаться можно было. И как хотелось мне ее купить, а сейчас я думаю — что бы я делала с этой накидкой? Разве что укутать

в нее солнышко, чтоб не простыло. Сказала Фейга: и я тогда сидела в повозке и грезила, и явился мне кожаный тулупчик, и нашептывал мне Лукавый: заезжай, мол, в Лешкович, какие там тебе товары уготованы. Сказала Милька: думаешь, услужить нам хотел Лукавый? Лишь задержать в пути хотел.

Солнце стояло посреди небес и калило ладью, как чан на угольях. Однако кому в сердце засела любовь к Стране Израиля, тот лишь крепнет от святости страны, где горний свет снисходит без препон, хоть и в развалинах она.

И тут оставили сердечные все помыслы о тягости дорог и жалобы, и загорелись лица их от силы Единственного Желания. Простер руки р. Алтер-учитель и запел, отбивая ритм пальцами на сундуке, что перед ним: чада храма восходят в ряд, зеницы малый свет узрят, и р. Алтер-резник подхватил: на царском застолье сядут в приволье, Явление Царское хмелем почтят. И день не избыл, как подошел корабль к берегу Яффы. Прозвучал залп с корабля. Налетели арапы из города. Одежонка на них похабная, рубашонка грязная и короткая, едва колени покрывает, и куском бечевки подпоясаны, и ноги босые — без чулок, только сандалии к ступням привязаны. И речь их шумная, как будто сами на себя гневаются. И людям язык их непонятен. Поднялись на борт, заорали во всю глотку и стали расхватывать людей, как пленных, схватили их и побросали вместе с пожитками в свои худые лодчонки. И сколько платы им ни давали, все им было мало, хотели уж побить любезных наших, да Господь спас их из рук арапов и привел в целости и сохранности на сушу.

Глава двенадцатая

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

А как взошли сердечные наши на берег, бросились они на землю, и целовали прах ее, и возрыдали великим плачем, пока не потекли глаза их, как источники соленые. Возвратятся сыны в отчий дом и найдут его в развалинах — неужто не возрыдают? Но и в час горя обрадуются, что довелось им вернуться. Взялись они за руки и запели: «Возликовал я призвавшим: пойдем во храм Господень». И еще они пели: «Любит Господь врата Сиона пуще всех обителей Иакова». А агаряне стояли в стороне и поглядывали. Так они и шли и пели, пока не пришли на постоялый двор, что именуется Еврейское подворье. А там отделения есть, одно — для молитвы в собрании, если соберется десять евреев, и еще два отделения, что называются богоугодными,— а там постелены постели для заболевших в пути — одно для мужчин, одно для женщин. И еще одно отделение было там — для скотины. Туда загоняют вьючную скотину, на которой едут в Иерусалим.

Караван пустился в путь и дошел до цели — конечно, рады путники, а тем более если приключилась им беда в пути и миновала. Но если недосчитались одного, и неведомо, меж живых ли недосчитались его или меж мертвых, как возвеселятся — так и вспомнится он им, и потревожит их веселье. Так и они — сколько времени мыкался с ними Хананья, сколько приключений испытал — и лишь бы взойти на Землю Израиля, а когда пробил час взойти—не взошел, и кто знает—жив ли он или мертв. Да может ли радость их быть полною? Дали они обет помянуть его в Иерусалиме и помолиться за него в святых местах. А теперь не след ли узнать, что стряслось с Хананьей? Когда пошли товарищи его запасаться припасами в путь, пошел и он с ними. По дороге отстал от них и пошел в одно место, а они и не заметили. А когда вернулся, то их не нашел. Пошел к причалу. А как подошел к причалу, увидел, что отплыл их корабль. Сколько забот изведал человек этот, чтобы взойти на

Землю Израиля, а как настало время взойти —уплыл корабль без него, а его оставил. И он стоит и видит, а уплыть на нем не может.

Хананья проворен был, что ж задержался в пути? Дело в том, что, когда был он на рынке, подвернулся ему один иноверец. Спросил его Хананья, иноверца этого: не ты ли хотел однажды провести меня в Землю Израиля, через глубокую пещеру? Сказал он: так, это я. Спросил его: что ты здесь делаешь? Сказал тот: я и сам не пойму. Каждый раз, когда надеваю я тфилин покойного нашего архистратига, слышу я его: плачет по жене и детям. Вот я и брожу по свету, ищу их. Сказал ему Хананья: сто лет тебе жизни, получил ты долю в мире Грядущем. Пошли вместе. Подошли к одному дому. Постучался Хананья в окно, открыл хозяин окно и спросил: что вам надобно? Сказал Хананья: где она, эта женщина из Хотина? Сказал хозяин: не знаю, утром вышла с детьми и не вернулась. Может, уже вернулась в Хотин. Охнул Хананья и замолчал. Сказал хозяин: что у тебя к этой женщине? Указал Хананья на необрезанного и сказал: этот иноверец может засвидетельствовать, где он видал ее мужа. Сказал хозяин: хорошо, если бы мог он засвидетельствовать это в присутствии раввина. Пока говорил Хананья с хозяином, отошел необрезанный в сторону — возложил тфилин. А тут пришла и эта женщина, увидела тфилин и завопила страшным воплем: это тфилин моего мужа. Сказал необрезанный: если звали твоего мужа Зуша, то это его тфилин. И сразу рассказал, что случилось с Зушей. Из-за этого Хананья и задержался.

Много у нас есть сказаний про чудесное избавление, одно красивее другого. Как, например, сказание о путнике, что заблудился в пустыне. Налетела огромная птица *, усадила его себе на крылья и отнесла домой — час лету, как несколько лет ходу. Однако никакой орел не явился Хананье. Еще лучше был бы плащ царя Соломона, мир праху его. Садился на него Соломон, и нес его ветер, да так, что утреннюю трапезу вкушал царь в Дамаске, а вечернюю отведывал в Мидии, та — на Востоке, а та — на Западе. Однако потаился плащ сей в день, что скончался царь Соломон, мир праху его, и неведомо, где потаился. Да хоть бы и нашел этот плащ Хананья, что бы он мог с ним сделать? Ведь ни одному существу не дано усидеть на этом плаще, кроме самого царя Соломона и четырех его вельмож: один вельможа был из людского племени, один — из бесей, один — из зверей и один — от птиц. Да и в поколении отцов наших совершались чудеса над водами. Как, например, случай со святым мудрецом р. Шмельке из Никльсбурха и его учеником святым р. Моше Лейбом из Сасова, что прошли в люльке реку Дунай в час ледохода. Однако где сейчас найти такую люльку? Как увидел Хананья, что горе его —на этот раз и впрямь горе, возвел он очи горе и сказал: Властелин Вселенной, нет у меня опоры, кроме Твоей жалости. И вселил Господь в сердце его совет: чтоб бросил он свой платок на воду * и уселся на него. Расстелил он платочек и сел на него. И тут же поплыл платочек по морю и понес Хананью, пока не приплыл он в Страну Израиля. И мало этого — еще и раньше своих товарищей приплыл, потому что они задержались в Стамбуле, ждали там корабля, а когда взошли они на корабль — разбушевалось под ними море, и немало они лиха измыкали, а он пересек море в целости и сохранности.

А теперь вернемся к прочим сердечным. Короче, вошли они в воды Яффы. Это воды Яффы, что берегут сокровища для праведников на грядущие дни: все корабли, что тонут в море-окияне, и все их золото и серебро, и драгоценные камни и жемчуги, и хрусталь и украшения — все это выбрасывает море в воды Яффы, и суждено Мессии, помазаннику Божию, собрать все это богатство и разделить его меж праведниками во времена грядущие. Сошли с корабля и сели в утлую лодочку арапов. Взяли гребцы весла и закричали: эй, эй, и обуздали воды, и проложили в море дорогу, и провели лодку меж скал и утесов, что стоят там с шести дней творения, ибо все валы морские и все речки, что впадают в море, приходят поначалу поклониться пред водами Страны Израиля. И если

бы скалы в море не унимали их, то ни одному кораблю не причалить бы к берегам Яффы из-за толчеи волн.

Прошли они море благополучно, и скалы миновали благополучно, и получили все свои пожитки в целости и сохранности, и взошли на сушу, в город Яффу, врата града Божьего. Бросились они на землю и целовали прах ее, и плакали о запустении ее, и радовались, что дано им было добраться. Пришли два сборщика податей и отвели их на Еврейское подворье, а это — постоялый двор для возвращающихся из изгнания. А постоялый двор этот окружен стеной, а посреди — колодезь с водой и плодоносящие деревья посажены. Стали они и помолились по своему обычаю — и отдышались с пути. Пробыли там долго ли, коротко, пока не нашлась вьючная скотина, чтобы пуститься в Иерусалим.

И вышли они в путь в добрый час, в день, что дважды помянут добром в книге Бытия, в главе о Творении, в третий день по субботе, когда дважды сказано: «И увидел Господь, что это хорошо», и ехали, пока не свечерело и не похолодало. Слезли они с ослов, развязали тюки, вытащили подушки да перины, закутались в одеяла, но все равно было им холодно. Сели вновь на ослов, и пустились в путь, и доехали до места, именуемого Рамле,— это Гат древлих, коий покорил царь Давид. Слезли с ослов и остановились там на ночлег. Расстелили свои пожитки и лежали там всю ночь, пока не забрезжил рассвет. А как забрезжил рассвет — помолились, и ломтем утренним закусили, и пустились в путь.

На закате приехали к одному водоему. Слезли с ослов, и остановились там на ночлег, и разложили там свои пожитки, и лежали там, пока не забрезжил рассвет. А как забрезжил рассвет — помолились и ломтем утренним закусили, и сели на ослов, и поехали, и ехали, пока не приехали в одно место, Моца именуемое, а оттуда приносили вербы речные на жертвенник в Храме, как ведомо нам по сказанному: «Место сие перед подъемом в Иерусалим находится и зовется Моца, спускаются туда и собирают ветки верб, а затем ставят их у жертвенника». И по сей день вербы растут там. Остановились там на ночлег и опочивали.

А все эти дороги безлюдны из-за разбойников, так что и самим измаильтянам проехать нельзя, разве что караваном. Но по милости Божией с любезными нашими никаких напастей в пути не приключилось, не считая того, что несколько раз тюки с ослов сваливались. А вокруг возносятся высокие горы и теснят дорогу, и облака разноцветные лежат на них, лазурные и пурпурные, и сияющие, как зарево солнца, и мягкие, как свет луны,— из-за отблеска райских цветов да яхонтов. И с каждым часом новый свет разгорается над ними, непохожий на прежний. И разные ароматические травы издают благовоние. А дворцы и замки, что изяществом своим украшали лик страны, лежат в развалинах, и селений нет там, лишь черные шатры кочевников-бедуинов разбросаны меж гор, и козы сбегают по склонам гор, а все пропитание их — терние да волчцы, как сказано в Писании. А жители местные ходят полуголыми, лишь рубашка с пояском на них, да черный плат покрывает голову, шерстяным снуром подвязан. И ключи там бьют, и ручейки текут с гор и по долине, и вкус у них — вкус рая. Из одних отпили любезные наши, в других омывали руки перед молитвой, в одних смывали с глаз слезы о разрушении Иерусалима, а в других освятили руки в честь Святого града. Так миновало три дня, пока не наступило утро шестого дня по субботе, и тут показался Святой город, радость всея земли. Тут же слезли они с ослов и порвали одежды свои с превеликим плачем, как подобает скорбящим, и шли пешком, пока не подошли к вратам Иерусалима. И целовали камни стен его, и вновь порвали одежды в память о храме, да будет воля Твоя, чтоб отстроился вскорости в дни жизни нашей, аминь.

Глава тринадцатая

ПРИБЫЛИ В ИЕРУСАЛИМ

Лишь они прибыли, распространилась весть об их прибытии по городу. Вышел встречать их весь Иерусалим — и хасиды, и фарисеи приветствовали их, и радовались с ними великой радостью, и почтили их разными почестями, и сказали им: блаженны вы, что пришли сюда, не заботясь о состоянии сумы и тела, что поставили душу во главу угла, и вот — сподобились стоять в чертогах Царя Царей, Всевышнего, да благословится имя Его. И глава иерусалимских хасидов, наипервейший из сфарадийских мудрецов, что в Святом граде, явил паломникам Порты * свою благость и призвал их в свой мидраш. И там они изо дня в день и из ночи в ночь чудные молитвы совершали. И так — четыре недели — супротив четырех времен в жизни человека, на каждую пору — по неделе: одна неделя — это за пору рождения, когда растет младенец, но суть его еще не завершена, а затем и суд небесный его не карает за провинности до двадцати годов, а другая неделя — это за пору мужества — до сорока лет, это — лучшие годы человека, ибо силы человека растут. И еще неделя — супротив поры старения, когда человек все слабеет. И еще одна неделя — это преклонная пора седин, когда дни и годы человека завершаются, пока не расстанется он со светом и не умрет. Но умершие в Стране Израиля не считаются мертвецами: стоят они под престолом Всевышнего и в сиянии Помазанника-Мессии блаженствуют, и видят, как хорошо Израилю, и сколько еще хорошего сделает Господь Израилю. И когда порой темнеют небеса, не пугаются и не кричат, ибо знают — все это из-за туч, что выходят забрать народ Израиля и принести его в Иерусалим, как объясняли учителя наши; суждено Иерусалиму простереться по всей Стране Израиля, а Стране Израиля по всему миру, и тучи соберут Израиль со всех концов света и принесут их в Иерусалим, по словам пророка: «Кто это — летят, как тучи». И каждую субботу входят они в небесное собрание, и там слушают объяснение очередной главы Писания из уст Адама и Эноха, и Ноя, и Сима, и Эвера, и Мелхиседека, из уст Авраама, Исаака и Иакова, и из уст Моисея и Аарона, и семидесяти старцев Синедриона, кроме главы о Творении, вплоть до слов: «Так совершены были небо, и земля, и все воинство их», и кроме рассказа о старости Израиля, начиная со слов: «И призвал Иаков сыновей своих», ибо эти места толкует им сам Всемогущий. А к пополуденной в субботу приходят все пророки и учат с ними очередной отрывок из Пророков, и сам р. Авраам Ибн Эзра разъясняет трудные места, что пророки пророчествовали, а что говорили — и сами не знали. И из всех его объяснений больше всего любо им объяснение стиха: «И купил Иаков часть поля, на котором раскинул шатер свой», почему о такой простой вещи написано в Писании? А чтобы научить нас великому достоинству Страны Израиля, что доля в ней важна, как доля в Царствии Грядущем.

А сейчас — сейчас вернемся к любезным нашим. Короче, приняла их святая община Иерусалимская со всякими почестями и не оставляла их любовью своей, пока не отвели по домам. Принесли им еды-питья и постелили им постели с перинами и подушками. Отдышались сердечные и размяли косточки, пока не настал полдень, а тогда пошли они в баню, очиститься в честь субботы да в честь Города. А Иерусалимские бани прекрасней всех бань на свете. Есть там отделения внутренние и отделения внешние. Во внешних раздеваются, а во внутренних — купаются голыми, и еще есть ореарий, где хранят одежду и где банщики растирают моющихся после купания. И печь там врыта в землю, и топят ее навозом и сором. И все отделения — жаркие, одно жарче другого, и миква — купальня с проточной водой — не горячей и не холодной, а теплой — есть там. Кто приходит в баню, платит две копейки

банщику и копейку служителю и получает полотенце срам прикрыть. Вошли и окунулись, и вышли, и зашли в ореарий, растер их олеариус и ополоснул. Пошли снова и окунулись в микве, вышли и вытерлись, и надели чистое исподнее, и вышли как новенькие. А уходя, дали еще копейку банщику, и тот сказал «с легким паром». Вернулись домой и надели субботние одежды и пошли к Стене Плача. А Западная стена — она Стена Плача — последняя отрада наша с былых времен, что оставил нам Господь по великой милости Своей. Высотой она в двенадцать ростов человека, в память двенадцати колен Израиля, чтобы каждый сын Израиля мог бы устремить свое сердце по росту да по племени своему. И сложена она из больших каменьев, каждый — по пять, а то и шесть вершков, и нет равных им ни в одной постройке на свете. И не скреплены они ни глиной, ни замесом, а все же скреплены воедино, наподобие собрания Израиля, что хоть и нет властей, чтоб держали его воедино, все же нераздельно оно в мире. А напротив Стены Плача и со всех сторон — дворы арапов, что живут себе там со своей скотиной, а Израиль от молитв не отвлекают. Преклонили колена сердечные, простерлись, и вновь преклонили колена, и разулись, и омыли руки, и лицами в прахе шли, пока не дошли до самой Стены, и в слезах лобызали каменья — каждый камень и камень,— и открыли молитвенники, и прочли с пробуждением духовным Песнь Песней, и с каждым стихом все больше пробуждались души их. Припал р. Моше головой к Стене и почувствовал, что стоит он на месте, что Божий Дух вовеки не покидал. И стал читать Песнь Песней с пылом неистовым и на тот лад, что читал брат его р. Гершом, мир праху его, когда оставила его душа мир сей, пока не дошел до стиха «Введи меня, Царь, в чертоги свои», на котором и скончался р. Гершом, и не успел р. Моше завершить этот стих, как осенила его радость бытия в Стране Израиля, и новая жизнь вошла в него. А когда окончили Песнь Песней, сказали несколько псалмов и вознесли пополуденную молитву. И еще помолились они за братию, что в изгнании, и за пропавшего Хананью. Много они оплакивали его на море, и много плакали по нем на суше, но все эти слезы — как капля в море по сравнению со слезами, что пролили по нем перед Стеной Плача, как почувствовали они святость места, а его там нет. К примеру, пришли к царю царевы любимцы и явил им Царь свои сокровища. Стоят они пред царем и вспоминают, что самого близкого царю нет меж ними. Печалятся они, что не видит он царевых сокровищ, тем более что тот больше всех души вложил, чтоб сюда добраться, и конечно, порадовался бы ему царь. Достоин был Хананья стоять во главе их в этом месте, а вышло, что он — вдали от всех благ. Наконец, встретили они субботу песнями и ликованиями, и пошли по домам, и благословили вино, и разделили хлеб, и вкусили субботнюю трапезу, и вошла святость субботы в суставы их.

И дражайшие иерусалимцы пришли к ним, как приходят посетить новорожденного младенца перед обрезанием * — заветом Авраама, ибо подобен пришедший в Страну Израиля новорожденному,— принял он на себя другой завет Авраама — завет Страны Израиля. И бодрствовали они всю ночь напролет, и сказывали сказания, и распевали гимны и псалмы, пока не заблистал рассвет, а тогда — пошли в собор Израиля.

Пришли в собор и со спокойным сердцем помолились. Кто укажет границы величию молитвы в Стране Израиля, а тем более в Иерусалиме, в святом месте, о котором сказано: «Да пребудут там мои очи и сердце», и т. д.? И р. Шломо дважды взошел к ковчегу, совершить благословение потомков Аарона-первосвященника, ибо в Иерусалиме каждый день священники-когены простирают длани, благословляя собрание, а в праздник и в субботу простирают длани и во время утренней, и во время особой праздничной молитвы. А р. Шмуэль Иосеф сын р. Шалом-Мордхая Левита, полил им воды на руки из серебряного кувшинчика, что привез с собой р. Моше, а тот получил от деда своего р. Авигдора. Р. Шмуэль Иосеф любое Божье повеление выполнял с пылом, а тем более —

повеления, что напоминали о Храме. И так волновались руки его от радости, что ударил кувшинчиком по чашке, и раздался звон, подобный звону тимпанов в Храме. Взошли священники к ковчегу, обратили лица к собранию, простерли сжатые персты, с запечатленными на них благословениями, и вознесли длани, и благословили собрание гласом, подобным шуму крыл херувимов в райском саду, и так благословляли, пока не откликнулось собрание благодарственным аминем. А р. Шломо, велика была его радость и велика любовь, когда выпало ему взойти к ковчегу в Иерусалиме — Святом граде и благословить Израиль любовию. Благословения так и рвались из его уст сами собой.

А читать из Пятикнижия позвали первым р. Шломо — священника-когена, а затем р. Шмуэль Иосефа-Левита, а затем р. Песаха — третьим, а затем р. Иосефа Меира — четвертым, а затем р. Алтера-учителя — пятым, а затем р. Алтера-резника — шестым, а затем р. Иегуду Менделя — седьмым, а затем р. Моше прочел из Пророков, а Лейбуша-мясника почтили подъятием Торы, а того, чье имя не упомним, почтили свертыванием свитка. И вознесли они благословения до чтения Торы и после нее, и благословили Избавляющего и Проносящего, как положено мореходам, что вышли из моря на сушу. И ответили им собравшиеся «Аминь», и пожелали им стоять в царевых чертогах, пока не явится Помазанник Божий, Царь-Мессия, вскорости, в наши дни, аминь.

И в тот миг раздался чудный звук, превыше всех звуков, подобный звуку, что слышали мы над морем. Глянули они и видят: стоит Хананья пред ними, и лицо его сияет от радости, и лик его лучезарен, как озаренные луной волны морские. И ростом он выше, чем прежде, и на ногах — обуть. Приветствовал он их, и порадовался великой радостью, и сказал: сыны Бога Живого, блаженны прибывшие сюда. Спросили его: а кто же возвел тебя сюда? Сказал он им: постелил я платочек по волнам и сидел на нем, пока не прибыл в Страну Израиля. Тут сразу все поняли, что тот облик, носимый по морю, был Хананья. И славословили они, и возвеличивали Того, Кто достоин всех величаний, но все величания недостойны Его, Того, кто милостив к уповающим на него, как сказано: «Милостив Господь к уповающим на него», и сказано: «Я Господь, что уповающие на меня не устыдятся». И применили они к Хананье сказанное: «Надеющийся на Господа окружен Его благодатью». После молитвы собралась святая община Иерусалимская на освящение субботы в их честь и устроили целый пир с вином лозы и с вином горючим, что все гнали для своих нужд во время сбора винограда, перед праздником Кущей. И со всего города послали им лимонного варения, и фигового, и варения прочих добрых плодов, коими прославилась Страна Израиля. И явили им ласку во всем, а превыше всех явили ласку Хананье, что принял на себя завет страданий и завет Страны Израиля. Хотели усадить его во главе стола, но он умалил себя и остался сидеть у самых дверей. Сказал Хананья: когда придет праведник наш, Мессия, неудобно ведь будет нам рваться к нему, вот и придется ему попросить меня подвинуться, дать ему пройти, а значит, и я чего-то в его глазах стою. Ну а не придет — кто я такой, чтоб сидеть во главе стола?

Так они сидели, и от всех вин отведали, и благословили Благого и Благотворящего, и учили главу из Мишны о десяти святостях, коими Страна Израиля святее всех прочих стран. И поставили перед ними овощ, что на вкус — как курятина, зажаренная в гусином жиру. Ты только подумай, сколь славна Страна Израиля,— простой овощ, стоит на рынке грош за пару, а зажарить его в масле с пряностями — и будет на вкус как курятина в гусином жиру. Благословили Творящего плод лоз, и Дающего жизнь, и омыли руки к трапезе.

Глава четырнадцатая

ПОД БОКОМ У БОГА

По исходе субботы сняли себе жилье, рядом со Стеной Плача, так что окна выходили прямо на место, где был Храм, и стали себе жить прямо у Бога под боком, под сенью скинии. Женщины обзавелись одеяниями из белой шерсти, и пили, и вкушали от благ Страны Израиля и от плодов ее. И стряпали, и пекли, и с умом дома вели. И ни в чем им недостатка не было, даже в козьем молоке на Пятидесятницу. Жили себе под Богом в Стране живых в Иерусалиме с Торой и молитвой, и добрыми деяниями, и доброхотными даяниями, и любовью, и страхом Божьим, и смирением. А в канун Нового месяца и в прочие важные дни Покаяния ходили к святым местам и молились за себя и за братию в Изгнании.

Однако не ровен час — ведомо всем, что праведнику, восходящему из чужих земель на Землю Израиля, суждено упасть, прежде чем возвыситься, ибо свят воздух Страны Израиля и пустота предшествует Бытию. Однако Господь был им в помощь и дал им сил все принять с кротостию, пока не обрели нового разумения — разумения Страны Израиля. И изо дня в день испытывал их новыми испытаниями — то ударами и бранью, то ущербом денежным и ущербом душевным, ибо не схож с иноземьем Иерусалим, ни разу грешник не провел ночь в Иерусалиме, не расплатившись за грехи свои,— каждый день взимает Господь с жителей иерусалимских пеню за деяния их, чтоб не множилась задолженность Иерусалима. Как судья, что крутит-вертит и так и эдак, чтобы только оправдать людей, так и Господь Бог: как будто очи его — Иерусалиму, а мучит Он жителей города, чтоб чисты были от грехов. Песиль, дочь р. Шломо, погибла от злобы ослицы, и Фейга умерла от злобы измаильтян: принес однажды водонос воды Фейге, а день был дождливый и колодцы переполнились, и вода его не понадобилась,— опрокинул на нее мех с водой, простудилась и умерла.

Но сердечные все принимали любовно, и от мук не отбрыкивались, и к Духу Божьему не придирались, и любой ущерб и вред переносили, и, утешаясь, говаривали: завтра Господь пошлет нам Избавление, и все беды окончатся. А если простой народ спрашивал, почему, мол, не отмстит Господь злодеям иноверским, что издеваются над сынами Его, как над пленниками, отвечали: как вы сравнили, так и мы сравним. К примеру, напали враги на царевича. Решил царь: стоит ли посылать войско отомстить врагам — сейчас я сам выйду со своими воинствами, и их прогоню, и осужу за то, что сына моего опечалили, а сына возвращу домой с почестями великими и с весельем.

Одна беда тяжелей другой, а всего тяжелей — беда с заработком, если доходит человек до сумы и голод тревожит его ежечасно. Кошель их развязался, и деньги рассеялись и разошлись. Не прошло и года, как почувствовали, что заработка не хватает, ибо Страна Израиля от всякой суеты очищена, и денег взять неоткуда, кроме того, что привозят из-за границы. В конце концов, пришлось им возложить заботу о пропитании на святые общины Страны Израиля.

Этим временем расстался Лейбуш-мясник со всей артелью и решил вернуться в Бучач. Сказал Лейбуш: посмотрите сами — ничего нет в этой стране, кроме баранины. С самого прибытия не полюбился ему Иерусалим; то, что искал,— не нашел, а то, что нашел,— не насыщало его тела. Другое дело — р. Иосеф Меир. Хотел р. Иосеф Меир жить в Стране Израиля, но не дали ему: постановили древлие, чтоб не жил человек холостым больше года в Иерусалиме.

Но Господь Бог чем мучит неправедного, тем же и ублажает праведника: на том же корабле, что увез Лейбуша, приплыла бывшая жена р. Иосефа Меира. Как прибыла, послал ей привет, а потом и обручился

и повенчался с нею, и узрел от нее поколение праведных, богобоязненных и боголюбивых. И р. Песаху и Цирль отплатила Страна Израиля и продлила их род, их сыны в свой черед стали в строй Легиона Всевышнего.

Так и жили без смятения, ожидая себе избавления, братья наши со всей святой общиной Святого града, и исполняли завет жития в Стране Израиля, пока не пришел им конец, и тогда простились они с миром, и вернули души Творцу всех душ, а тела вернули в лоно матери-земли и удостоились погребения в освященной земле на Масличной Горе в Иерусалиме, против чертогов Господних, у подножия Всевышнего, вплоть до восстания к жизни вечной в день, о коем сказано: «И в тот день станут стопы Его на Масличной горе».

Однако дни и годы Хананьи продлились, и из года в год лишь прибавлялось ему силы и крепости. К восьмидесяти годам был как двудесяти лет — в исполнении обетов и в добрых деяниях, и старости и усталости заметно на нем не было.

Много о Хананье складывают небылиц, что, мол, к примеру, когда прибыли любезные наши к берегам Яффы, сразу увидели Хананью — сидит и сушит платочек на солнышке. Но только неправда это: не успели друзья его прибыть, а Хананья был уже в Иерусалиме. И о платочке немало баек и небылиц сложено,— мол, нашел его Император Наполеон, сделал из него штандарт и под ним побеждал в битвах. Но только неправда это, ибо как скончался Хананья, покрыли этим платочком ему глаза.

А умер Хананья в новолунье Нисана. Препоясал он чресла платком и собрался на молитву. Вдруг ноги его подкосились. Сказал: просят эти ноги, чтоб я их не беспокоил. Помолюсь дома. А как дошел до стиха «Небеса — небеса Господу, а землю отдал сынам человеческим», вышла душа его чистая. Пришли и закрыли глаза, и покрыли платком, и с трудом вытащили молитвенник из рук его, и омыли тело, и принесли в Дом Вечного покоя. Многие провожали его на вечный покой, и многие славили его. Кто славил силу простоты его, кто славил силу преблагости его, кто славил силу поспешания его, кто славил силу любви к Земле Израиля, кто славил силу упования на Господа, а кто славил все силы души его, ибо всеми отменными и благими силами души, что только даны Израилю во украшение мира Божия, отличался Хананья, мир праху его.

И наставники, и мудрецы иерусалимские чаяли, чтоб записали его подвиги в книге, но от тяжести ига, скудости пропитания и раздоров отлагалось дело сие со дня на день и из года в год, пока не восстал я и не записал все похождения Хананьи в книге и назвал ее «В сердцевине морей», во имя Хананьи, мир праху его, что проник в сердцевину морей и вышел оттуда с миром. Не убавил я ни слова из того, что слыхал, и ни слова не прибавил к тому, что душа мне подсказывала. Одни прочтут сию вивлию, как читают сказку, а другие прочтут и извлекут из нее пользу. К первым я применю сказанное (Притчи, 12): «Доброе слово развеселяет человека; доброе слово веселит душу и избавляет от забот», а последним я скажу (Псалтирь 36,9): «Уповающие на Господа наследуют землю».

Свершилась вивлия «В сердцевине морей» *.

КОММЕНТАРИИ

В сердцевине морей — первая из многих цитат из Книги пророка Ионы (2,4). Книга Ионы считается сама притчей — легендарным пояснением к книге Царей, и здесь она является подводным основным мотивом и рефреном.

взошли на Землю Израиля: превыше всего в мире — Святая Земля, Страна Израиля, а в ней превыше всего Иерусалим, что стоит против Престола Всевышнего. И всякий, кто покидает Страну Израиля, спускается в прочий мир, а всякий, приезжающий туда, восходит на нее. А в отношении Иерусалима это верно и в простом смысле, потому что на горе город. Интересно, что и японцы говорят «взойти в столицу», хоть Киото и на равнине.

Хасиды — последователи БЕШТа и его учеников. Хасидизм был основан БЕШТом, р. Исраэлем Баал Шем Товом, который был так похож на Иисуса, как только, может быть, Саббатай Цеви был похож на него. Как и Иисус из Назарета, Бешт не хотел распространять свое учение среди иноверцев, и прозелитический заряд хасидизма оказался целиком обращенным внутрь (они и по сей день особо активно ведут миссионерскую деятельность среди евреев, и с большим успехом — их иррационализм соответствует иррационализму XX века, и знание Закона Торы не так популярно, как прежде. Привлекает современных людей и твердое духовное лидерство преемников Бешта, указывающих, во что верить), иначе могла бы возникнуть новая мировая религия. Хасиды любят веселье, пьют водку, верят в чудеса и пророчества и в сверхъестественные силы своих учителей. Они считают, что сила молитвы и веры не менее важна, чем знание. Если традиционные евреи были бы, в переводе на христианскую терминологию, кальвинистами сурового толка, хасиды соответствуют католикам с Гаити — с небольшой примесью воду. Удивительно, что они все же остались иудеями — видимо, потому что они все же продолжали соблюдать Закон. В этом их отличие и от христиан, и от саббатианцев, и от франкистов, сходство же видно во всем. «Бешт дружил с пастухами, разбойниками, ворами и лиходеями»,— пишет хасид, напоминая нам о том, кто дружил с «рыбаками, мытарями, падшими женщинами и разбойниками» (в отличие от христиан и хасидов франкисты верили в искупительную силу греха).

Земля Израиля: не следует думать, как иногда представляют современные вульгаризаторы, что еврейская религия однозначно требует от евреев переезда в страну Израиля. Восхождение не значится меж 613-ю заповедями ортодоксального еврея, но, может быть, именно поэтому его приравнивают к сумме всех заповедей. Как религиозный акт восхождение неразрывно связано с приходом Мессии-Избавителя. Только с Его приходом народ Израиля соберется в Земле Обетованной — такова основная религиозная догма,— так как Господь покарал Израиль, рассеяв его между народами, негоже бунтовать против Божьей воли.

...закатился: герои Агнона населяют мир без времени и пространства. Мы так и не узнаем, откуда взялся Хананья. Этому можно дать два объяснения: место его происхождения — неважная подробность. В классическом китайском рассказе великий мастер по отбору лошадей назвал буланого жеребца гнедой кобылой. Его соперник, узнав об этом, заплакал, восхищенный тем, что тот уже не замечает таких подробностей, а смотрит прямо в суть. Так и здесь суть проста: вообще сын Израиля возвращается в страну Израиля, а откуда — не важно. Другое объяснение свяжет Хананью с книгой Ионы — пророк возвращается, исполнив свой долг во всех Ниневиях Эдома.

Мидраш — у евреев кроме синагоги (греческое наименование Соборного дома, Собора Израиля,— места, где только молятся) есть еще и мидраш (или бетмидраш), Дом толкования, учения и молитвы, где жители агноновской страны проводят все свое время в учении Торы. Этот мидраш — слово однокоренное и близкое по смыслу мусульманскому «медресе» — выполняет роль одновременно и клуба, и молельни, и библиотеки, и университета.

...любезные наши — так кличут друг друга хасиды одного Праведника-цадика. Агнон как бы причисляет нас к своей хасидской школе.

...число для молитвы — десять мужчин, миньян. Евреи приписывают особую силу молитве в собрании десяти мужчин, по сказанному (Книга Руфь, 4, 2): Он «взял десять человек из старейшин города», и по сказанному (Псалтирь 67,27): «В собраниях благословите Господа»... Число десять связывают с согласием Бога (Книга Бытия, 18, 32) не истреблять Содом, если в нем найдется хотя бы десять праведников. Господь всегда — с миньяном, по сказанному (Псалтирь, 81,1): «Стал Господь посреди Божия собрания» (интересно, что синодальний перевод дает: «Бог стал в сонме богов»). Хасиды придают особую силу миньяну и рассказывают, что если больного привлечь десятым, то он выздоровеет, даже если праведнику это не по силам. Хананья восполнил число пилигримов до полного миньяна: значит, раньше их должно было быть девять человек. Но, судя по списку, данному ниже, их было десять и без Хананьи: кто же из них не в счет?

Пятидесятница — отмечается через неделю недель после Пасхи и связана с получением Торы у горы Синай.

Кущи — в память сорока лет странствия по Синайской пустыне после исхода из Египта Господь заповедал евреям праздновать праздник Кущей (Суккот). Во время этого праздника, выпадающего на раннюю осень, сидят под навесами из зелени — под кущами, держат в руках четыре вида растений, как говорится в гл. 23 Книги Левит. ст. 40,— веточка вербы, мирт, пальмовая ветвь и разновидность лимона. Этот вид лимона — этрог — снабжен пипкой — черенком, который очень легко отлетает, а без

нее этрог считается непригодным для благословения.

...*отчаяться* — один из видов потери права на вещь по еврейскому гражданскому праву. Так, человек теряет право на потерянную вещь не тогда, когда он ее физически теряет — ибо он еще может найти ее,— но тогда, когда отчаивается и говорит: я никогда не получу ее назад. После этого любой вправе взять потерянную вещь. Поэтому Хананья боится отчаяться — чтобы не потерять права на Землю Израиля.

Разбойники — непременный атрибут хасидских легенд. Разбойники сопровождают и Иисуса и Бешта.

Тфилин: буквально понимая слова Завета «и будут слова эти (Торы) у тебя знаком на руке и между глазами», еврей ежедневно (кроме субботы, так как это своего рода работа, чего, видимо, не знал Достоевский) повязывают себе на руку и венцом на голову ленты с коробочками, а в коробочках — пергамент с текстом из Пятикнижия: Исход, 13,1—16 (о законах Пасхи, о выходе из Египта, о первенцах Господу), Второзаконие (6,4—9) с главным символом веры евреев «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» и Второзаконие 11, 13—21 — о благах за исполнение и напастях за неисполнение заповедей. Иногда утверждают, что тфилин — позднего происхождения и что само слово образовано не от еврейского «тфила» — молитва, а от греческого «теофил» — боголюб. Но обычай прикреплять амулет к голове и руке ведом и другим народам,— в частности, красавцам масаям — и кажется весьма древним. Моисея изображают с рогами в память обруча филактериев, обруч — хоть и без коробочки с молитвами — носят на голове измаильтяне и сегодня. Такой обычай пристал и воинам Иисуса Навина, прошедшим пустыни по пути в Землю Обетованную. Как и положено древней религии, в тфилин реализуется символ не заумным рассуждением, а кожаным ремнем и деревом. Миф прав: так лучше напомнить себе о том, что слова Божьи у нас в сердце и рука выполняет Его указ. Тфилин связывает все и вся — дела и помыслы, чувства и мысли. Сам Израиль — тфилин на руке Бога. Однажды праведник увидел простого хасида, уронившего случайно тфилин в грязь, немедленно поднявшего и поцеловавшего их. Праведник заплакал и сказал: «Господи, даже простой хасид подымает свои филактерии, почему Ты оставляешь свои филактерии лежать в грязи уже тысячи лет?»

...*пещера глубокая* — распространенный мотив в еврейском фольклоре. В другом рассказе Агнона козочка уходит каждый день через глубокую пещеру пастись в Страну Израиля. Сквозь пещеры и норы покойники Израиля должны добраться в Страну Израиля в час воскресения мертвых. Детская песенка говорит о глубокой пещере, по которой пройдет весь народ Израиля в Страну Израиля. Этот мотив показывает, что Страна Израиля в народных поверьях отождествлялась с Тем светом — с Царствием Небесным, Царствием Грядущим, со Страной Мертвых, и ее название: «Страна Живых» — нужно понимать как эвфемизм Страны Мертвых, как «Дом Жизни» — эвфемизм кладбища у евреев.

Бешту разбойники также предложили пройти глубокой пещерой в Страну Израиля. Бешт согласился (в отличие от Хананьи), но на пути увидел пред собой меч-перевертыш и не смог пройти. Отказ Хананьи можно понимать как отказ от магии и потусторонности Страны Израиля — лишь под солнцем и луной, а не во мраке подземелья он готов вернуться туда.

...*на свадьбе:* есть народы, что уподобляют себя цветку или дереву, связанному с родной почвой,— так прочна и нерушима эта связь, что не жить цветку вне ее комьев. Народ Израиля предпочел другой образ: Земля Израиля ему как невеста, как суженая с шести дней творения, как возлюбленная.

...*двух тысяч пядей:* в субботу запрещена всякая работа; в частности прогулка более 2000 пядей и любая езда.

Шаддай — одно из древнейших имен Бога. С этим Именем идентифицировал себя Саббатай Цви, лжемессия и предтеча Бешта.

Иом Кипур — день покаяния, когда евреи соблюдают не только все запреты субботы (а Хананья приехал в карете), но и еще пять запретов: есть, пить, умываться, предаваться плотским радостям и носить кожаную обувь. Этот последний запрет также нарушил Хананья, поэтому он и сорвал башмаки с ног. Но Иом Кипур — еще и день, когда в синагогах читают книгу Ионы.

Бучач — городок в Галиции, где родился Агнон, ныне — райцентр в Тернопольской области. Он же иногда фигурирует в рассказах Агнона под названием «Шебуш».

Семь заветов завещал р. Акива сыну своему Иегошуа: сыне, не учи на высотах (а то засмотришься и от учебы Святого писания отвлечешься), не селись в городе, где правят мудрецы Торы (ибо от мудрости своей не позаботятся о народе), не приходи нежданно к себе домой, тем паче к ближнему, ног без обутия не оставляй (ибо позор мудрецу и ученому мужу ходить босиком), просыпайся и вставай летом от солнца, зимой — от холода, делай субботу буднями (то есть не празднуй особенно, обходись чем есть, но не проси у людей), удружи тому, кому везет, в час его везения, и это — кроме многих других практических заветов вроде: не женись на разводке при жизни ее мужа, не женись на той, что была обручена в малолетстве, а затем отказалась выйти за суженого и т. д. Почему такое внимание обратил р. Акива на обувь? Можно было бы объяснить это его общей тягой к гигиене — он также советовал не целоваться, а только в руку целовать, если нужно, затем, что от слюны зараза, и мылся так тщательно, что, когда он сидел в римской тюрьме и давали ему только чашку воды в день, то половина ее шла на умывание.

Но в книге «Екклесиаст Раба» содержится легенда, которая предлагает другое объяснение: раз шел р. Акива босиком по дороге. Повстречался ему царский евнух и спросил: ты — раввин иудеев? Тот ответил: да. Сказал ему евнух, научу тебя трем вещам: царь едет на коне, мужик — на осле, простак идет пешком в башмаках, а кто идет без башмаков — тому лучше бы в могиле лежать. Ответил ему р. Акива: и я научу тебя трем вещам: возвесели сердце женщины, восставь сынов на службу Господу, укрась лицо бородой, кто не может этого сделать, тому лучше бы и не родиться. То есть, что такое обувь по сравнению с яйцами. Но, видимо, несмотря на такой хороший ответ, внял р. Акива словам евнуха и посоветовал сыну обуваться.

Страна Прелестная (Цеви) — поэтическое название Страны Израиля. Слово «прелесть» омонимично со словами «серна», «олень». В значении «прелесть» оно появляется в поминальной песне Давида по Ионафану: «Прелесть Израиля пала на твоих высотах». По-арабски это слово носит оттенок «желанный», так же как и в средневековом иврите, где оно применяется по отношению к жениху. Но жениха сравнивает с оленем и Суламифь в Песни Песней. Израиль сравнивает Господа с оленем, ибо олень, удаляясь, глядит вспять, так и Господь, хоть и отдаляется от Израиля, все же глядит на него. Так перепутались два омонимичных слова, и можно лишь сказать, что речь идет о Стране Желанной и Прелестной, как серна.

...как кольцо: идет речь о брачном союзе Израиля — невесты и Господа — жениха, союзе, описанном, как считают мудрецы, в Песни Песней.

...другой суженой — стране Израиля, суженой Израиля. Продолжается тот же брачный мотив.

...имени не упомним — вот и второй (после Хананьи) кандидат на главную роль в символической системе книги. Кто он? Тот, чье имя не упоминают, чтобы не привлечь его,— Сатана? Или тот, чье имя рано еще упоминать,— Царь Мессия? (Оба предположения высказывались исследователями.) Или не названный по имени герой рассказа «Правые стези» — тот, кто уподобил себя Ионе, завершил свою долгую миссию среди народов мира и пустился обратно в Святую Землю — Иисус? (Впрочем, этот последний, скорее, Хананья).

...р. Шмуэль Иосеф — а это сам Агнон плывет в Святую землю вместе с сердечными нашими, пририсовал себя, как средневековый художник. Теперь возникает вопрос: кто из двух не в счет миньяна — сам Агнон или Безымянный пилигрим? Первое вероятней.

Тетраграмматон — четырехбуквие, таинственное и скрытое Имя Божие. Его четыре буквы указывают одновременно на прошлое, настоящее и будущее, они же символизируют четыре ипостаси тетрады каббалистов.

Талит — покрывало с кистями. Собственно говоря, есть два вида покрывал с кистями — большой талит (или просто «талит»), которым покрывают плечи при молитве, и малый талит (или «цицит»), который постоянно носят на теле под верхней одеждой так, что только кисти торчат. Появление покрывал с кистями объясняют так: во время исхода из Египта один еврей нарушил субботу. Господь тогда сказал Моисею: в будние дни филактерии — тфилин напоминали ему о Законе, но что напомнит ему о Законе по субботам, когда не возлагают тфилин? Пусть отныне евреи носят всегда одеяния с кистями по краям, и пусть «эти кисти всегда будут пред вашими глазами».

Как легко заметить иерусалимским утром, талит похож на накидку бедуинов-арабов, особенно если накидывают его на голову. У Дамасских ворот бедуины в белых накидках с черным обручем на голове и евреи в талитах с обручем филактериев чередуются, не выделяясь. То, что кажется странным и диким в Европе, становится на свои места в Стране Израиля.

Эстер — урожденная Маркс, жена Агнона.

Обрезание: Господь велел праотцу Аврааму (одному из самых популярных героев Востока, наравне с царем Соломоном и Александром Македонским) совершить обряд обрезания крайней плоти в знак завета (союза) меж Авраамом и Господом. В знак этого же союза Господь дал Аврааму и его потомству Страну Израиля, поэтому обрезание и Страна Израиля считаются заветами Авраама.

Раввин придерживался точки зрения большинства религиозных евреев своего времени, по которой нечего спешить в Страну Израиля до прихода Мессии. Можно сказать, что евреи ждали прихода Мессии, как жених ждет завершения свадебного обряда со своей возлюбленной Страной Израиля (ждать этого можно и в географической Стране Израиля, даже если подлинной она станет только по пришествии Мессии). Он был не прав — герои рассказа похожи не на мальчишек, что скачут поперек жениха-невесты, но на жениха, что приходит к налою за день до венчания.

...и умчали в Бучач: р. Авраам Давид Варман стал язловицким раввином в 1792 году, а в 1814 году, когда скончался его тесть, бучачский раввин, бучачане пришли ночью и умыкнули молодого зятя. Это — самое позднее, поддающееся датировке событие в книге, и поэтому проф. Версес считает, что путешествие «происходило» в 1825—1835 годах.

Амалек — древний заклятый враг Израиля, заградил путь вышедшим из Египта и не дал им пройти без битвы. С тех пор Господь велел сынам Израиля истреблять амалекитян. Война с Амалеком стала символом долгой памяти евреев — и сегодня евреи говорят: «Македонский был очень добрым царем» или: «Убей Амалека», как другие вспоминают последние парламентские выборы или недавнюю войну.

...сокрушил силу их Иисус Навин: среди тридцати царей со единым, что убил Иисус Навин при завоевании Страны Израиля, был и отец армянского царя Шобаха. Армянский царь собрал великую силу воевать Навина, но ничто не помогло ему и «сокрушил силу армян Иисус Навин».

Бешт — Исраэль Баал Шем Тов (1700—1760), основатель хасидизма, «был похож на Иисуса из Назарета, как только, может быть, Саббатай Цви». Удивительно, что его не провозгласили Мессией,— видимо, потому, что трагедия саббатианства была слишком свежей в памяти. Говорят лишь, что его душа была «искоркой души Мессии». Как Иисус, он не оставил ни одного писаного труда и явился народу уже в зрелом возрасте.

Лукавый: ведомо, что Рамбам блаженной памяти отрицал существование бесов, но в Талмуде бесы помянуты. Сказал р. Менахем Мендель из Коцка: раньше водились бесы, но как постановил Рамбам, что нет бесов, Небеса согласились с ним и бесы сгинули.

Агаряне — измаильтяне, потомки Измаила, сына Агари и Авраама — мусульмане, арабы и турки.

...взяла Ревекка покрывало: черт, конечно, толкует на свой лад Священное писание (Книга Бытия, 24, 65): раб Авраама возвращался с Ревеккой, суженой Исаака, и Исаак тем временем вышел в поле поразмыслить, глядь — идут верблюды. Ревекка тоже увидала Исаака издали и спросила раба: кто это? Это господин мой — ответил раб, и Ревекка по скромности прикрылась покрывалом, как покрывают лица на Востоке и в наши дни.

Хушим сын Дана: в легенде говорится, что все сыны Иакова провожали тело своего покойного отца для погребения в Святой Земле. Однако, когда они уже собрались похоронить его в пещере Махпела, Двойной пещере близ Хеврона, наследственном месте захоронения потомков Авраама, возникла проблема. Пещеру купил у местных владык еще праотец Авраам — упокоить прах своей жены Сарры. Затем и он был похоронен в ней. Там же был похоронен и его сын Исаак, и его жена Ревекка. Однако Исаак и Ревекка родили не только Иакова, но и его брата-близнеца Исава. Поэтому Исав со своими сынами стоял и преграждал путь похоронной процессии, несшей тело Иакова. Однако на самом деле, продолжает легенда, Исав продал свою долю пещеры Иакову, и даже договор продажи был составлен и записан на пергаменте, но сам договор сыны Иакова забыли в Египте, где они жили в то время, в земле Гошен. Чтобы доказать свое право, сыны Иакова послали самого быстроногого, Нафтали, в Египет, чтобы он сбегал и принес договор. Пока суд да дело, Хушим сын Дана, сына Иакова, сидел и ничего не понимал, так как был глух. Когда ему объяснили, в чем дело, он возмутился и воскликнул: «Мой отец лежит непогребенный из-за этого типа!» — схватил дубину и так ударил Исава, что у него голова отскочила и упала то ли в ноги Иакова, то ли в ноги Исаака. Исав же считается праотцем многих иноверцев, в частности европейцев. Наши хасиды, таким образом, и приязнь иноверцев объясняют Писанием.

...соломенных вдов: по еврейскому праву, нет презумпции смерти, в отличие, от, скажем, римского права, и даже очень долгое отсутствие мужа не освобождает женщину от брачных уз. Жене пропавшего без вести солдата трудно, если не невозможно, доказать свое вдовство. Развестись в отсутствие мужа она не может, так как развод по еврейскому праву производится односторонним актом мужа. Ни один раввин не дал бы женщине разрешение на второй брак в таких туманных условиях, так как, если бы выяснилось потом, что первый муж не погиб, женщина оказалась бы прелюбодейкой, а ее дети от второго брака — ублюдками. Эти дети не смогли бы вступить в брак с сынами Израиля и до десятого поколения. Самой женщине было бы запрещено жить с первым и со вторым мужем, и во всем этом был бы виноват давший разрешение на второй брак раввин. Боясь подобных гибельных последствий, раввины предпочитали оставить женщину соломенной вдовой. Мужчине такая судьба не грозила — он мог развестись и с отсутствующей женой и в худшем случае оказаться женатым на двух сразу, а это тоже не так-то страшно, и праотец Иаков справился с этим. Для женщины же двоемужество — страшный грех, прелюбодеяние, и поэтому у евреев всегда так много соломенных вдов. Освободить их от «соломенного вдовства» считалось богоугодным делом. Агнона тянула эта тема, и даже его первый рассказ так и назывался «Соломенные вдовы», «Агунот» на иврите, оттуда псевдоним «Агнон».

...малая толика «размером с оливку» — малая мера пищи, что не портит поста (например, при болезни и т. д.), и благословлять над ней не надо, и не менее этой меры мацы — опресноков — надо отведать в Пасху. Народ простой таких тонкостей не понимал, оливок не видел, и поэтому каждый на свой лад толковал, что такое «малая толика».

...бочками запасаются: в Талмуде, в трактате «Праздники», говорится: случай с р. Элиэзером, что проповедовал собравшимся,— а дело было в праздник, и проповедь затянулась. Некоторые поспешили уйти не дослушав. Сказал о них р. Элиэзер: «Блаженны запасшиеся бочками» — то есть они запаслись бочками питья да снеди на праздник и спешат домой, чтоб успеть все съесть, и проповеди слушать им недосуг. О тех, кто пошел следом за ними, сказал: «Блаженны запасшиеся жбанами» и т. д., а о тех, кто остался до конца, он сказал: «Блаженны запасшиеся духом». Так и жители Ясские поспешили с молитвами, чтобы скорее разбежаться по домам к накрытым столам.

...ангел спросил у праотца Иакова (Книга Бытия, 32,27): «Как имя твое?» И тот

ответил: Иаков. Тогда ангел и переменил ему имя на «Израиль».

...сыны Моисея: вообще с потомством Моисея дело неясно, так же как и с его женой (женами?). Писание говорит одно, легенды говорят другое. Моисей был женат на дочери Иофора (Етро), священника Мадиамского — то есть нееврея и идолопоклонника. Его сын не был обрезан вовремя: в Писании есть рассказ о том, что его обрезала его мать, жена Моисея Сепфора (Ципора), когда ангел собирался убить Моисея,— видимо, за это прегрешение. После исхода Моисея упрекали за его «черную жену» — была ли это та же Ципора или другая женщина, неизвестно. Легенды все отрицают — и не черная, и не за это упрекали, и за упреки все равно были наказаны очень сурово,— но, как бы то ни было, физические сыновья Моисея в Пятикнижии особо не упоминаются, хоть и говорится о рождении сыновей (Исход, 4,20). Им не досталось славы отца, хоть сыновья Аарона, брата Моисея, получили в наследство священство — стали священниками в храме, и их потомки и по сей день благословляют евреев в синагогах. Военачальником после смерти Моисея стал Иисус Навин, а не один из сыновей великого отца.

Однако народ восполнил этот пробел, создав легенду о сыновьях Моисея.

...восемь стихов, что сложил Иона — еще одно прямое напоминание книги Ионы.

Сапфировое подножие: в книге Исход (24, 10) говорится, что в подножии Бога Израилева находится (по синодальному переводу) «нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное», в подлиннике говорится, что в подножии находится ЛВНТ СПР, что буквально означает «кирпич из сапфира» или «работа из сапфира». Мидраш объясняет, что кирпич из сапфира лежит в подножии Престола в напоминание о кирпичах, которые делали евреи в Египте, в плену у фараона, при строительстве городов Питом и Рамзес.

Более жуткая легенда говорит о еврейской женщине, родившей во время работ по замесу глины для кирпичей, ребенок упал в глину, и египтяне не дали его поднять, а заставили сделать из него кирпич. Этот-то кирпич и был поднят ангелами на небо, обращен в сапфир и положен в подножие Престола, чтобы Господь не забывал о страданиях Израиля.

Другая легенда говорит, что из этих камней сделал Моисей вторые скрижали собственноручно, после того как разбил первые, сделанные Богом, возмутившись, что евреи поклонились золотому Тельцу. Почему Господь велел ему сделать самому новые скрижали? Сказал Господь: «Если бы ты их сделал сам, то не спешил бы разбивать».

Тит Злодей: так вошел в еврейскую историю — навсегда с титулом «Злодей» — сын Веспасиана, разрушивший Второй Храм.

Даниил — любимый герой легенд и Библейской книги Даниила.

Ионафан сын Узиила — переводчик книг Пророков на арамейский язык.

Язык перевода — арамейский язык, на котором написан и Вавилонский Талмуд, и Перевод Библии Онкелоса, что читается во многих синагогах наравне с Торой. Арамейский был разговорным языком в Стране Израиля во дни Даниила, Ионафана и Иисуса.

Семьдесят языков — как на корабле, на котором бежал Иона.

Птица-летица — птица, которая никогда не опускается на землю и пропитание получает прямо от Господа Бога — так описывает ее Менделе Мойхер Сфорим в своих «Легендах», и, замечает он, пристало ей говорить стих «Помощь мне от Господа».

...отделение теста: «От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение» (Числа, 15, 20). В память об этом жертвоприношении в наши дни берут кусочек теста и сжигают.

Восемнадцать — «жизнь», если азбуку переложить на цифирь.

Илия-пророк или праотец Авраам: казалось бы, естественно, что роль сандака, то есть «крестного отца» при обрезании должен был бы играть тот, кто заключил обрезанием завет с Богом,— праотец Авраам. Но Илия-пророк чаще приходит на помощь евреям в подобных обстоятельствах, так, он был сандаком при обрезании отца Каббалы Исаака Лурии, святого Ари.

Стамбул: описание пародирует «Путешествие Вениамина из Туделы», средневековую книгу путевых заметок.

Прелесть жизни — книга по Каббале, предположительно составленная саббатианцами.

Дом Иосифа — книга — свод законов р. Каро («Накрытый стол»), ей следуют сфарадийские евреи, в то время как европейские (ашкеназийские) евреи исполняют ее требования с оговорками. Порядок возложения филактериев основан на каббалистических основах.

Караимы — секта, не признающая Талмуд, но лишь Библию.

Рамбам — Моисей Маймонид, средневековый философ и законоучитель, оплот рационального иудаизма (XII в.).

Светоч жизни — рабби Хаим бен Атар, каббалистический мудрец, современник Бешта, живший в стране Израиля.

...восстановил семя покойного: речь идет о прекрасном старом обычае, по которому, если муж умирал бездетным, на его жене был обязан жениться брат покойного и дети от этого брака носили имя покойного.

Святой Ари — Лев Цфата, рабби Исаак Лурия Ашкенази (1534—1572), крупнейший средневековый каббалист, развивший теорию «исправлений» и др. Его теории легли в основу саббатианства.

...дай мне встречать субботу в Тверии: Тверия находится на низком месте, в долине Иордана и Тивериадского моря, а суббота наступает с закатом солнца — поэтому в Тверии суббота начинается раньше, чем в любом другом месте в Галилее. Зато она и кончается раньше всего — с закатом следующего дня. Недалеко на горе стоял городок Ципори, куда поздно приходила суббота, но позже наступал и закат следующего дня, и исход субботы. Поэтому один из талмудистов, живших в Галилее, воскликнул: «Дай мне Боже встречать субботу в Тверии, а провожать — в Ципори».

Источник Мириам: речь идет о Мириам-пророчице, сестре Моисея. Этот источник явился сынам Израиля, когда они находились в пустыне, после исхода из Египта. У Меривы, где они роптали на Господа из-за нехватки воды, за заслуги Мириам явился сей источник, бьющий из пористой скалы. Он был сотворен еще во второй день творения мира и одно время находился у праотца Авраама, и из него Ревекка и Рахиль поили овец. После явления у Меривы источник повсюду следовал за сынами Израиля в течение всех 40 лет их странствия по пустыне и исчез при их входе в Землю Обетованную. Он сокрылся в Генисаретском море, и сейчас, если глянуть с горы, то можно — говорит легенда — увидеть пористый камень — это и есть источник Мириам, и его вода исцеляет даже проказу.

Огнь-река (река Динур) — огненная река, текущая с неба. Она создана жарким дыханием Зверей, на которых зиждется престол Господень. Хотя она и огненная, но холоднее солнца, и солнце купается в этой реке, чтобы приостыть, а иначе сожгло бы весь мир. А еще солнце проходит на своем пути рай — поутру и ад — вечером, и утренняя заря — это видение райских роз, а закат — отблеск огней ада.

...налетела огромная птица: намек на сказочное путешествие, описанное в «Дланях Моисея» р. Моисеем Иерусалимским в XVIII веке. Там тоже праведник упустил корабль, остался на берегу, повстречал пахаря (Микулу Селяниновича?), и тот посадил его на плечи и долетел с ним до Святой Земли.

...бросил он свой платок на воду: здесь Хананья напоминает двух своих предтеч — Иисуса и Бешта. Как первый, он пересекает море «как посуху», со вторым связь более детальная; в книге о путешествии Бешта в Константинополь говорится: когда Бешт не нашел корабля, идущего в Святую Землю, хотел он постелить плат по волнам и сесть на плат, но р. Цви отговорил его.

Паломники Порты — потому что приплыли они из Стамбула.

Перед обрезанием: раньше существовал обычай собираться и бдеть всю ночь перед обрезанием младенца. Подобный обычай — сторожить младенца в ночь перед посвящением от злых духов — есть и у других окрестных народов, в частности у бедуинов. Затем, во времена гонений, когда сам обряд обрезания был запрещен, «ночь бодрствования» была перенесена на субботу перед обрезанием.

В сердцевине морей: почему Агнон назвал свою книгу «В сердцевине морей»? Это название намекает на тесную связь с книгой пророка Ионы, связь, редко встречающуюся в современной словесности и выраженную языком мистических аллюзий. О чем говорится в книге Ионы? Бог послал Иону проповедовать Слово Божие иноверцам (1,1—2), пророк не захотел этого и пустился в бегство (1, 3—16). Господь велел рыбе проглотить пророка (2, 1). В чреве рыбы пророк покаялся (2, 3—10) и был выброшен на сушу (2, 11). Он исполнил Божью волю и предупредил иноверцев о близящейся каре Божьей, те покаялись и обратились к добру (3,1—10). Иона повернул домой, и по пути Господь объяснил ему, почему он заботился об иноверцах (4,1—11). Книга Ионы — говорят мудрецы Израиля — лишь притча, и она написана не самим пророком Ионой, жившим в VIII веке до н. э., но — добавляют современные комментаторы — неизвестным мастером в 400—200 годах до н. э. Предполагают, что эта притча рассказана была в те дни, когда шла (не окончившаяся и поныне) борьба между универсальным и национально-племенным характером иудаизма.

С одной стороны, иудаизм провозглашает, что Бог — один, то есть один для всех, с другой стороны, это Бог Израиля, и делиться им не хочется. Два раза этот конфликт становился особо острым: во времена написания книги Ионы в районе Средиземноморья и семь веков спустя к востоку от Израиля, в Хиджазе. Первый раз этот конфликт породил христианство, второй раз — ислам. Обе религии возникли в религиозном вакууме: сложились колонии монотеистов — неевреев, тянувшихся к иудаизму, но не находивших себе места в системе иудаизма. Они хотели полной религии, с храмами, священниками, обрядностью, и все это было у евреев, но не для передачи. Евреи говорили другим народам: если вы верите в Единого Бога, вы уже достаточно праведны, вам больше ничего не нужно. Нееврей-монотеист не обязан исполнять заповедей Торы, довольно с него и семи основных (не убий и т. д.), и тогда он не хуже самого праведного еврея и его доля в Царствии Небесном — та же, что и у еврея. То есть евреи — народ священников — не хотели распространять Слово Божье и вести прочие народы, но вместо этого занимались своими делами — сеяли хлеб или писали Мишну. Во второй раз эта же ситуация повторилась во времена Мухаммада. На этот раз страдали монотеисты Аравии и Востока, также не могшие найти себе места в иудаизме и не желавшие принять христианство. Вторая и третья суры Корана удивительно напоминают своим содержанием жалобы монотеистов Средиземноморья — они полны неудовлетворенных стремлений, раздражения и ощущения неполноценности по отношению к евреям за то, что те не поделились истинной верой. «Разве Авраам был евреем или христианином? Он был х а н е ф — монотеист»,— восклицает Мухаммад во Второй суре. Дейст-

вительно, перед евреями стоял тяжелый выбор, как перед выбирающим сосуд с водой. Если путник берет с собой в пустыню плохо закупоренный сосуд, то вода выльется или испарится, если же он возьмет слишком хорошо закупоренный сосуд, то его не удастся открыть. Евреи где-то оказались похожими на хорошо закупоренный сосуд: они сохранили монотеизм, но не смогли поделиться им. Затем, как сказал средневековый философ, «евреи не захотели распространить учение Божие, поэтому Бог распространил их»,— произошло Рассеяние. Одновременно с этим распространилась по свету и первая мессианская вера, отделившаяся от еврейства — христианство. (Не все современные христиане знают, что Христос — греческий перевод слова Мошиах, Мессия — Помазанник, Царь Израиля. Иисус был не последним в ряду мессий и полумессий Израиля — за ним следовали бар Кохва и другие.) Христианство стало верой неевреев, иудаизм — верой только евреев. С этим конфликтом и связана книга Ионы. Недаром она была особо популярна среди христиан, обвинявших Израиль в отказе от своей вселенской миссии. По символической интерпретации книги Ионы, Иона — это Израиль, он был послан дать Божий Закон миру, но он отказался идти к иноверцам. Тогда Господь послал большую рыбу — Вавилон или Рим,— и Израиль был проглочен. Далее притча читается по-разному. Еврейские экзегеты поздних времен не задерживаются на идее распространения Торы между народами. Для них речь идет о грехе, раскаянии и Божьем прощении. По христианской экзегезе, покаяние Израиля и его готовность распространить слово Божье выразил Иисус. Иисус сам сравнил себя с Ионой (Евангелие от Матфея, 12,40) по ряду причин. Сначала он, как и Иона, отказался иметь дело с неевреями, говоря (Евангелие от Марка, 7, 26—29): «Нехорошо взять хлеб (Торы) у детей (Израиля), и бросить (языческим) псам», но затем согласился. Более того, он был послан нести слово Божие иноверцам. И наконец, он провел три дня (как Иона) в чреве (земли) перед воскрешением.

Если учитывать только традиционную еврейскую экзегезу, то в романе «В сердцевине морей» нет полной аналогии с книгой Ионы, кроме самой простой: Хананья нарушил святость Судного дня и был брошен на берегу, он покаялся и исполнил мицву (заповедь) и спасся. Но с привлечением христианской экзегезы как возможного подтекста аналогия становится полной: Иисус — Иона принес Слово Божие иноверцам, обратил их, а затем пустился в обратный путь из Ниневии Рассеяния в родную Землю Израиля. Иными словами, по этой теории в повести говорится о р е п а т р и а ц и и И и с у с а. В какой степени эта теория безумна? В меньшей, чем можно было бы ожидать с первого взгляда. Мог ли Агнон подумать о таком? Во-первых, мог, и его винили и за христианские мотивы его произведений (в особенности «Правые Стези»). Во-вторых, «сам Ибн Эзра разъясняет трудные места, что пророки пророчествовали, а что говорили — сами не знали» («В сердцевине морей»), то есть автор не обязательно ощущает и сознательно реализует все ассоциации и аллюзии в своем произведении. Идеи могут проявляться из общего религиозно-идеологического континуума и без сознательного усилия автора. Но есть ли такая идея в еврействе вообще? «Еврейская идея — это идея, которой придерживаются евреи, и больше ничего»,— пишет знаток Каббалы Гершом Шолем.

Такая идея появлялась у евреев на двух уровнях. Во-первых, на чисто мистическом: один из последующих мессий — Саббатай Цви — старался спасти душу Иисуса (как Бешт старался спасти его душу), то есть возвратить Иисуса Израилю. На уровне рационалистическом наш современник и хороший знакомый Агнона, профессор Еврейского университета Давид Флюссер (верующий и исполняющий все заповеди еврей) пишет в своей последней книге «Иудейство и истоки христианства»: «Христианство и иудаизм можно воспринимать теоретически, как единую веру. Напряженность в отношениях с евреями была нужна христианской церкви, чтобы стать всемирной религией вчерашних язычников, но сейчас этой надобности нет. Христианство может возродиться с помощью иудаизма. Иисус стал разделяющим фактором между евреями и христианами, явно вопреки своим намерениям. Надежда христианства — это перенос центра тяжести с божественного на нравственное, на содержание проповедей Иисуса. Тогда еврей Иисус не будет больше разделять евреев и христиан, но объединит их».

На более глубоком уровне репатриация Иисуса — это репатриация его идей, репатриация мессианства, гармонизация разрыва между предельной формой иррационального иудаизма и основным рациональным потоком. Эта репатриация производится, по такому толкованию книги, Бештом. Бешт-чудодей, целитель, духовный вождь, являющийся карпатским горцам и молящийся за разбойников,— но остающийся евреем, строго соблюдающий все заповеди и тому же учащий своих последователей — сынов Израиля, и отказывающийся от мессианского венца, хоть он ему и впору,— уже является еврейским Иисусом XVIII века. Но Бешт и его последователи — хасиды,— отказавшись от мессианства, отказались и от возврата в Землю Израиля. Подлинная гармония достигается лишь с возвратом в Землю Израиля: полная репатриация Иисуса завершается с приходом хасидов и Хананьи в Иерусалим. «Пришло время Возврата Пленников!» — восклицают отроки, и среди пленников Израиля возвращается и Иисус, на столь многие века задержавшийся в Ниневии и ставший богом ее жителей.

Итак, «В сердцевине морей» — книга полной гармонии, книга о возврате и слиянии рационального и трансцедентального, мессианства и исполнения заповедей, распространения Торы и сохранения национально-религиозной самостоятельности, Торы и Страны Израиля, Народа Израиля и Святого Духа. При таком вселенском возврате становится понятно, для кого Агнон приберег место среди пилигримов — для того, кого хотел спасти еще Саббатай Цви. Но в

этой книге (в отличие от современной ей поэмы «Двенадцать») Иисус не ведет, он — ведомый. Не Иисус возвращает и ведет народ Израиля, но Народ Израиля, приобщившийся к тайнам мистического хасидизма, ведет и возвращает Иисуса в Страну Израиля. Если принять эту теорию, на место становится вся символика книги Ионы и многочисленные намеки в тексте, например: Безымянный пилигрим спрашивает о заслугах иных народов или оказывается последним. («Здесь последние — там будут первыми».) И ясен становится ответ Бешта, почему необрезанные пастухи заслужили право сказать стих, который святой народ Израиля говорит в Святой день Иом Кипур (день чтения книги Ионы).

В романе есть еще один сатанинско-мессианский герой — разбойник с филактериями (прямо по Саббатаю Цви (!). Он не только одновременно грабит и налагает тфилин, он еще и знает путь в Страну Израиля (= к спасению = на Тот свет) и делает благое дело — избавляет вместе с Хананьей женщину от соломенного вдовства. Соломенная вдова — это символ Израиля (и Шхины) с тех пор, как Господь изгнал его (и она ушла в изгнание). Все мольбы Израиля — как мольбы покинутой женщины, и Господь отвечает Израилю, как муж — провинившейся жене. Избавление от соломенного вдовства в книге производится не возвратившимся мужем, но фактом установления его смерти. Этот мрак искупления напоминает нам рассказ «Прах Земли Израиля». Только разрешив оковы связи с мертвым Хананья — Израиль,— мог отплыть к Земле Израиля, и для разрешения ему понадобился тот же разбойник с филактериями. Если автор выбирает себе псевдоним «Агнон», можно предположить, что это коннотация — «агуна» — соломенная вдова — Израиль, оставленный Господом,— особо близка ему. Причастность разбойника с тфилин к освобождению соломенной вдовы лишь увеличивает его сатанинско-мессианский размах. Поэтому понятно, что по теории другого исследователя Безымянный пилигрим связан с разбойником (то ли сам архистратиг, то ли кто иной). Мессианство и сатанизм сближаются и во многих других современных учениях. Крайне религиозные круги в Израиле любят подчеркивать лжемессианский, сатанинско-мессианский (по их мнению) характер сионизма. Итак, все исследователи сходятся на том, что пилигримы везут с собой обратно в Страну Израиля нечто, связанное с (лже) мессианством. Но Иисус был единственным из мессий Израиля, ушедшим к иным народам, единственным, ставшим Ионой, поэтому он является центром этого религиозного континуума, на который указывают все исследователи.

В отличие от детектива, у комментария нет возможности указать на единственно верный ответ. Можно лишь понять, о чем идет речь — о пути Бешта (но не его последователей, недаром Агнон не стал хасидом того или иного праведника), о пути Иисуса (но не его последователей, ведь Агнон подчеркивает важность исполнения заповедей), о гармонии в мире, об избавлении божественных искр «нецоцот» (на языке Каббалы) из мрака, о грядущем полном слиянии Святого Духа и Собрания Израиля — обо всех этих тайнах мироздания написал Шмуэль Иосеф Агнон последнюю книгу Библии — свиток «В сердцевине морей».

ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС

Любовник леди Чаттерли

РОМАН

Перевод с английского И. БАГРОВА и М. ЛИТВИНОВОЙ

Глава 15

На подносе лежало письмо от Хильды.

«Отец будет в Лондоне на этой неделе,— писала она.— Я за тобой заеду в четверг 17 июня. Будь готова к этому дню. И мы тут же отправимся. Я не хочу задерживаться в Рагби. Это ужасное место. Скорее всего я переночую в Ретфорде у Колменов. В четверг жди меня к обеду. Выедем сразу после чая и переночуем, скорее всего в Грантеме. Нет смысла сидеть весь вечер с Клиффордом. Вряд ли он доволен твоим отъездом, так что мой визит не доставит ему удовольствия».

Ну вот! Опять она пешка на шахматной доске.

Клиффорд был действительно недоволен ее предстоящим отъездом, и только по одной причине: ему будет без нее не так покойно. Конни была для него неким символом: она дома, и он мог с легкой душой заниматься делами. Клиффорд много времени уделял сейчас своим шахтам и решал почти безнадежные проблемы: как экономнее добывать уголь и кому его продавать. Конечно, лучше всего перерабатывать его дома, чтобы избавиться наконец от мучительных поисков покупателя. Можно производить электрическую энергию, для нее, наверное, легче найти рынок сбыта. Но превращать уголь в другой вид топлива оказалось делом сложным и дорогостоящим. Чтобы поддерживать производство, нужно развивать все новые виды производства. Какое-то сумасшествие!

Да, сумасшествие, и только сумасшедшие могут преуспевать в этой индустриальной гонке. Но ведь он тоже был немного сумасшедшим. Во всяком случае так думала Конни. Его одержимость угольными проблемами, его нескончаемые прожекты представлялись ей явным свидетельством безумия; именно безумие она считала источником его изобретательского вдохновения. Он делился с ней обширными планами, а она слушала его в изумлении, не прерывая. Когда поток слов иссякал, он включал радио и превращался в глухонемого, но было очевидно, что все его прожекты сидят в нем, точно туго закрученная пружина, и ждут своего часа.

По вечерам они с миссис Болтон пристрастились играть в двадцать одно по шести пенсов. Эта армейская азартная игра была для него еще одним способом ухода от действительности — интоксикацией безумия или безумием интоксикации, как угодно. Конни не могла это видеть и уходила спать, а Клиффорд и миссис Болтон с необъяснимым азартом резались в карты до двух или даже до трех утра. Миссис Болтон оказалась на редкость азартным игроком: подстегивали ее постоянные проигрыши.

Как-то она сказала Конни:

---

[1] Окончание. Начало см. в № 9, 10.

— Этой ночью я проиграла сэру Клиффорду двадцать три шиллинга.

— И он у вас взял эти деньги? — спросила, не веря своим ушам, Конни.

— Конечно, взял, ваша милость. Долг чести!

Конни дала обоим хорошую выволочку. В результате Клиффорд пожаловал своей неизменной партнерше еще сто фунтов в год, и она теперь могла проигрывать с легкой душой. А Конни пришла к выводу — в Клиффорде человек отмирает не по дням, а по часам.

Наконец она решилась сообщить ему о дне отъезда, который назначила в письме Хильда.

— Семнадцатого! — воскликнул он.— А когда ты будешь обратно?

— Самое позднее — двадцатого июля.

— Значит, двадцатого июля. Хорошо.

Он смотрел на нее странным пустым взглядом, не то с доверчивостью ребенка, не то с бесплодной хитростью старика.

— Ты меня не обманешь? — спросил он.

— Что?

— Ну вот ты сейчас уедешь. А обратно вернешься?

— Конечно. Без всякого сомнения, вернусь.

— Ну и прекрасно. Значит, двадцатого июля! — И опять туманно посмотрел на нее.

Как ни странно, он хотел, чтобы она уехала, завела там короткую интрижку, пусть и забеременела. Но он и опасался этой поездки.

А Конни помышляла лишь об одном — как бы совсем уйти от него. Решительный шаг будет сделан, когда все для того созреет — обстоятельства, Клиффорд, она сама.

Конни сидела в сторожке егеря и говорила с ним о поездке в Венецию.

— Вернусь и скажу Клиффорду,— сказала она,— что ухожу. И мы с тобой уедем. Им совсем не обязательно знать, что я ушла к тебе. Мы можем уехать в другую страну, ведь правда? В Африку или Австралию, да?

Ей очень нравился ее план.

— Ты когда-нибудь жила в колониях? — спросил он.

— Нет, а ты?

— Я жил в Индии, Южной Африке, Египте.

— А почему бы нам не поехать в Южную Африку?

— Можно и туда.

— Ты не хочешь туда?

— Мне безразлично. Безразлично, куда ехать, что делать.

— Но ты там не будешь счастлив? Почему? Мы не будем жить бедно. У меня есть своих шестьсот фунтов в год. Я уже выяснила. Это немного, но нам ведь хватит?

— Для меня это целое состояние.

— Ах, как будет чудесно!

— Но я должен сперва развестись, и ты тоже. Иначе будут осложнения.

Да, им было о чем подумать.

В другой раз Конни расспрашивала его о прошлом. Они были в сторожке, за окном шел дождь, громыхало.

— А когда ты был офицером и джентльменом, ты был счастлив?

— Счастлив? Конечно. Я обожал моего полковника.

— Ты очень его любил?

— Да.

— И он любил тебя?

— Да. По-своему любил.

— Расскажи мне о нем побольше.

— Что о нем рассказывать? Он прошел в армии все ступеньки от рядового до полковника. Он любил армию. Не женился. Был старше

меня на двадцать лет. Таких умных, образованных людей в армии единицы. Нрав у него был горячий, верно. Но офицер он был толковый. Сколько я помню, для меня он всегда был непререкаемым авторитетом. Я подчинялся ему во всем. И никогда не жалел об этом.

— Ты очень тяжело пережил его смерть?

— Я и сам тогда был на грани жизни и смерти. А когда очнулся и узнал, что полковника нет в живых, почувствовал, что какая-то часть моей души умерла. Но в общем-то я всегда знал, что дело кончится смертью. Все кончается смертью, если на то пошло.

Конни слушала в раздумье. Снаружи ударил гром; поистине разверзлись хляби небесные, а у них в утлом ковчеге тепло и уютно.

— Ты столько всего пережил в прошлом,— вздохнула Конни.

— Да. Мне порой кажется, что я уже раз-другой умирал. Ан нет, сижу сейчас здесь в предвкушении новых несчастий.

Конни напряженно вслушивалась и в его слова, и в звуки бушующей за окном грозы.

— А когда твой полковник умер, тебе и дальше нравилось быть офицером и джентльменом?

— Нет! Военные в общем мелкий народишко,— он вдруг рассмеялся и продолжал:— Полковник говорил мне: «Знаешь, парень, англичане среднего класса, прежде чем проглотить кусок, тридцать три раза его разжуют — слишком деликатная у них глотка, в ней и горошина застрянет. Барахло, каких мало. Трясутся от страха, если ботинок у них не так завязан. С душком товар, и всегда они во всем правы. Это меня больше всего убивает. Раболепны, задницы лижут до мозоли на языке. А все равно лучше их нет. Жеманные филистеры, недоделанные мужики».

Конни засмеялась. Дождь за окном еще припустил.

— Он их ненавидел?

— Да нет. Они ему были противны, а это большая разница. И он махнул на них всех рукой. Он говорил: «В наши дни и армия туда же. Военные тоже становятся филистерами с деликатной глоткой». Но таков, видно, путь всего человечества.

— А простой народ, рабочие?

— И эти не исключение. Мужского естества в них нет. Оно уничтожено кинематографом и аэропланами. Каждое новое поколение рождается все более жалким: вместо кишок резиновые трубки; а ноги, руки, лица — жестяные. Люди из жести! Это ведь разновидность большевизма, умертвляющего живую плоть и поклоняющегося механическому прогрессу. Деньги, деньги, деньги! Все нынешние народы с наслаждением убивают в человеке старые добрые чувства, распиная ветхого Адама. Все они одинаковы. Во всем мире одно и то же: убить человеческое, фунт стерлингов за каждую крайнюю плоть, два фунта за детородный орган. А посмотри, что стало с любовью! Бессмысленнсе, механическое телодвижение. И так везде. Платите им — и они выхолостят весь мир. Деньги, деньги — они лишают человека силы, мужества и красоты. Скоро на земле останутся только жалкие дергающиеся марионетки.

Он сидел в сторожке, лицо его кривила ироническая усмешка. Но и он одним ухом прислушивался к шумящей в лесу грозе. И было ему от этого еще более одиноко.

— Чем же все это кончится? — спросила Конни.

— Все разрешится само собой. Когда всех настоящих мужчин перебьют, останутся одни пай-мальчики, белые, черные, желтые. И скоро они все как один сойдут с ума. В здоровом теле — здоровый дух. А здоровья без мужского естества не бывает. Сойдут они, значит, с ума и произведут над собой великое аутодафе — ты ведь знаешь, как это переводится: акт веры. Вот они и совершат вселенский акт веры. Одним словом, прикончат друг дружку.

— Убьют?

— Да, радость моя. Если мы будем развиваться в этом направлении такими же темпами, у нас очень скоро на острове не останется и десяти тысяч людей. Ты бы видела, с каким сладострастием они истребляют себе подобных.

Раскаты грома постепенно становились тише.

— Как хорошо! — сказала она.

— Великолепно! Предвидеть гибель человечества и появление на земле после долгой ночи нового homo sapiens — что может быть великолепнее. Если мы пойдем этим путем, если абсолютно все — интеллектуалы, художники, политики, промышленники, рабочие будут и дальше с тем же пылом убивать в себе здоровые человеческие чувства, истреблять последние крохи интуиции, последние инстинкты, если все это будет нарастать, как сейчас, в геометрической прогрессии, тогда конец, прощай, человечество! Земля тебе пухом! Змей заглотит себя, оставив вселенский хаос, великий, но не безнадежный. Великолепно! Когда в Рагби-холле завоют одичалые псы, а по улицам Тивершолла поскачут одичалые шахтные лошаденки, вот тогда ты и воскликнешь: «Как хорошо!» «Te deum laudamus!»[1]

Конни рассмеялась, на этот раз не очень весело.

— Тогда ты должен радоваться, ведь все они большевики,— сказала она.— Что их жалеть, пусть на всех парах мчатся к своей гибели.

— А я и радуюсь. И не хочу им препятствовать. Ведь если бы и захотел, то не смог бы.

— А почему тогда ты такой злой?

— Я не злой. Если мой петушок кукарекает в последний раз, так тому, значит, и быть.

— Но у тебя может родиться ребенок!

Он опустил голову.

— О-хо-хо! Родить на свет дитя в наши дни — неправильно и жестоко.

— Нет! Не говори так, не смей! — взмолилась она.— Я почти уверена, что у меня будет маленький. Скажи, что ты очень рад, — сказала Конни, положив на его руку свою.

— Меня радует твоя радость,— сказал он.— Но я считаю это предательством по отношению к неродившемуся существу.

— Что ты говоришь! — задохнулась она от возмущения.— Тогда, выходит, ты и не любишь меня по-настоящему. Если так думать, какая тут может быть страсть!

Он опять замолчал, помрачнел. Было слышно только, как за окном хлещет дождь.

— Ты не совсем искренен,— прошептала она.— Не совсем. Тебя мучает что-то еще.

Конни вдруг поняла, что его злит ее близкий отъезд, что она едет в Венецию по своей охоте. И эта мысль немного примирила ее с ним. Она подняла его рубашку и поцеловала в пупок. Потом прижалась щекой к его животу и обняла одной рукой его теплые чресла. Они были одни посреди потопа.

— Ну скажи, что ты хочешь маленького, что ты ждешь его,— тихонько приговаривала она, сильнее прижимаясь к нему.— Ну, скажи, что хочешь!

— Да наверное,— произнес он наконец. По телу его пробежала дрожь, он весь расслабился, и Конни поняла — верх берет его второе сознание.— Знаешь, я иногда думаю,— продолжал он,— а что, если обратиться к шахтерам? Они плохо работают, мало получают. Пойду я к ним и скажу: «Что вы все бредите деньгами? Если подумать — человеку ведь нужно совсем немного. Не гробьте вы себя ради денег».

---

[1] «Тебя, Бога, хвалим!» (*лат.*) — название и начало благодарственной католической молитвы.

Она мягко потерлась щекой о его живот, и ладонь ее скользнула ниже. Мужская плоть его подала признаки своей странной жизни. А дождь за окном не просто лил, а бесновался.

— Я бы им сказал,— продолжал егерь,— давайте перестанем горбить спины ради презренного металла. Вы ведь кормите не только себя, но и целую армию нахлебников. Вас обрекли на этот тяжкий труд. Вы получаете за него гроши, хозяева — тыщи. Давайте прекратим это. Не будем шуметь, изрыгать проклятия. Потихоньку, помаленьку укротим этого зверя — промышленность и вернемся к естественной жизни. Денег ведь нужно совсем мало. Мне, вам, хозяину — всем. И даже королю. Поверьте, совсем, совсем пустяки. Надо только решиться. И сбросить с себя эти путы.— Он подумал немного и продолжал: — И еще бы я им сказал: посмотрите на Джо. Как легко он движется. Смотрите, как легок его шаг, как он весел, общителен, умен! И как он красив! Теперь взгляните на Джона. Он неуклюж, безобразен, потому что он никогда не думал о свободе. А потом оборотите взгляд на самих себя: одно плечо выше, ноги скрючены, ступни как колоды! Что же вы сами с собой творите, что творит с вами эта дьявольская работа! Вы же губите себя. Пустить на ветер свою жизнь? Было бы ради чего. Разденьтесь и посмотрите на себя. Вы должны быть здоровы и прекрасны. А вы наполовину мертвы, уродливы. Вот что я бы сказал им. И я бы одел их в совсем другие одежды: ярко-красные штаны в обтяжку и узкие короткие белые камзолы. Человек, у которого стройные, обтянутые красным ноги, через месяц станет другим. Он снова станет мужчиной, настоящим мужчиной. Женщины пусть одеваются как хотят. Потому что — вообрази себе: все мужчины щеголяют в белых камзолах, алые панталоны обтягивают красивые бедра и стройные ноги. Какая женщина не задумается тут о своей привлекательности, и опять они станут прекрасным полом. А что сейчас? Мужчины-то почти выродились. Хорошо бы года через два все кругом снести и построить для тивершольцев прекрасные светлые здания. Край снова станет привольный и чистый. И детей будет меньше, потому что мир уже и так перенаселен. Я вовсе не стремлюсь в проповедники; я просто раздел бы их донага и сказал: «Да полюбуйтесь же вы на себя! Вот что значит гробить себя ради денег. Вы ведь лезете в забой только ради них. Взгляните на Тивершолл! Как он уродлив. Ничего удивительного: его строили для тех, кому все застят деньги. Поглядите на своих девушек! Они не замечают вас, вы не видите их. А все потому, что вы променяли досуг на каторжный труд. Вы не умеете говорить, не умеете двигаться, есть, не знаете толком, как обходиться с женщинами. Вы просто нежить, вот что вы такое...»

Воцарилось долгое молчание. Конни слушала его вполуха, занятая своим делом. Она втыкала в его волосы на лобке собранные по дороге незабудки. Гроза за окном поутихла, стало прохладнее.

— А знаешь,— прервала Конни молчание,— на тебе растут четыре вида волос. На груди — почти совсем черные, на голове гораздо светлее, усы у тебя жесткие, темно-рыжие, а волосы любви внизу — как маленький кустик золотистой омелы. Они самые красивые.

Он посмотрел вниз — среди ярко-рыжих волос белели звездочки незабудок.

— Да! Вот, оказывается, где место незабудкам! Тебя что, совсем не беспокоит будущее?

Конни взглянула на него.

— Очень беспокоит.

— Видишь ли, когда я думаю, что весь мир обречен на гибель благодаря собственному идиотизму, то колонии не кажутся мне такими уж далекими. И Луна не кажется. С нее, наверное, хорошо видна наша бедная Земля — грязная, запакощенная человеком, самое несчастное из всех небесных тел. У меня от этих мыслей такое чувство, будто я наелся желчи и она разъедает мне внутренности... И ведь никуда не денешь-

ся, всюду лезет в глаза этот кошмар. К своему стыду, должен сказать, что, когда во мне оживает второе сознание, все это куда-то уходит, забывается. Ладно, это так, к слову. Позор, что сделали с людьми в это последнее столетие; их превратили в муравьев, у них отняли мужское достоинство, отняли право на счастливую жизнь. Я бы стер с лица земли все машины и механизмы; раз и навсегда покончил с индустриальной эрой, с этой роковой ошибкой человечества. Но поскольку я не в силах с этим покончить, да и ни в чьих это силах, я хочу отрясти прах со своих ног, удалиться от мира и зажить своей жизнью, если это возможно. В чем я очень сомневаюсь.

Гром больше не гремел, но дождь, утихнувший было, полил с новой силой, сопровождаемый последними далекими вспышками и отдаленным рокотанием... Конни не сиделось на месте. Он говорил так долго и явно себе, а не ей. Он весь отдался отчаянию, а она ненавидела отчаяние. Она была счастлива. Конни понимала — он только сейчас до конца осознал ее отъезд и потому впал в меланхолию. И она немножко гордилась этим.

Конни встала, открыла дверь и посмотрела на тяжелую, как стальную, стену дождя. И в ней вдруг проснулось желание выскочить в дождь прочь из этой лачуги. Она стала быстро стягивать чулки, платье; он глядел на нее раскрыв рот. Ее острые груди, как у звериной самки, шевелились и вздрагивали в такт ее движениям. В зеленоватом свете комнаты тело ее казалось цвета слоновой кости. Надев боты, она выбежала в дождь, по-дикому хохотнув и выбросив вперед руки. Она бежала, белея сквозь потоки дождя, танцуя ритмический танец, которому выучилась много лет назад в Дрездене. Странная мертвенно-бледная фигура падала, поднималась, гнулась, подставляя дождю то полные блестящие бедра, то живот, то крутые ягодицы, снова и снова повторяя дикий, неописуемый реверанс.

Он натянуто засмеялся и тоже сбросил с себя одежду. Нет, это уж, пожалуй, слишком. Вздрогнув нагим телом, он выскочил под секущий косой дождь. Флосси бежала впереди, заливаясь громким лаем. Конни обернулась, намокшие волосы облепили ей голову, лицо пылало, синие глаза возбужденно сияли. И она побежала дальше, делая странные резкие движения; свернула на тропу, подстегиваемая мокрыми ветками; и сквозь кусты замелькала чудесная женская трепещущая нагота. Она почти добежала до верховой тропы, когда он догнал ее и обхватил обнаженной рукой ее мягкое, мокрое тело. Она вскрикнула, остановилась и как впечаталась в его тело. Он крепко прижал ее к себе, и всю ее тотчас охватило огнем. Ливень не унимался, и скоро от них повалил пар. Он взял в пригоршни обе ее тяжелые ягодицы и еще сильнее прижал к себе — дрожащий, неподвижный под струями дождя. Затем вдруг запрокинул ее и повалился вместе с ней наземь. Он овладел ею в шумящей тишине дождя — быстро и бешено, как дикий зверь.

Вскочил на ноги, вытер залитые дождем глаза. Приказал: «Скорее домой!» — и оба побежали обратно в сторожку. Он бежал легко, резво, не любил мокнуть под дождем. А она не спешила, собирала незабудки, смолевки, колокольчики — пробежит немного, остановится и смотрит, как он убегает от нее.

Задыхаясь, с букетом цветов, она вошла в сторожку; в очаге уже весело потрескивал хворост. Ее острые груди поднимались и опадали; пряди волос прилипли ко лбу, шее; лицо стало пунцовым, по телу катились, поблескивая, струйки воды. Запыхавшаяся, с облепленными волосами, неожиданно маленькой головкой, широко раскрытыми глазами, мокрыми наивными ягодицами — она казалась ему смешным незнакомым существом.

Он взял старую простыню, вытер ее всю, а она стояла, подчиняясь ему, как малое дитя. Затем, заперев дверь, вытерся сам. Огонь в очаге разгорался. Она взяла другой конец простыни и стала вытирать голову.

— Мы вытираемся одним полотенцем,— сказал он,— плохая примета, поссоримся.

Она секунду смотрела на него, растрепанные волосы торчали у нее во все стороны.

— Нет,— возразила она.— Не поссоримся. Это не полотенце, а простыня.

И оба продолжали вытирать каждый свои волосы.

Все еще тяжело дыша от хорошей пробежки, завернутые до пояса в солдатские одеяла, они сидели рядышком на полене перед огнем и отдыхали. Конни было неприятно прикосновение к телу грубой шерсти. Но простыня была вся мокрая.

Она сбросила одеяло и опустилась коленями на глиняный пол, держа голову поближе к огню и встряхивая волосами, чтобы скорее просохли. А он смотрел, как красиво закругляются у нее бедра — их вид весь день завораживал его. Как плавно, роскошно переходят они в тяжелые ягодицы. А между ними сокрытые в интимном тепле самые сокровенные ее отверстия.

Он погладил ладонью ее задик, погладил медленно, с толком, ощущая каждый изгиб, каждую округлость.

— Какой добрый у тебя задик,— сказал он на своем ласковом диалекте.— У тебя он самый, самый красивый. Вот баба какой должна быть. Не то что нынешние плоскожопые девки, смотришь и не разберешь — девка это или парень. А у тебя не попка, а печка — ладная, круглая, теплая. Мужик от такой балдеет.

Он говорил это, а сам истово гладил ее круглые ягодицы, пока не побежал от них к его ладоням горячий ток. Один раз, другой коснулся он пальцами двух самых интимных отверстий ее тела, точно полоснул огненной кисточкой.

— Как хорошо, что ты и писаешь и какаешь. Мне не нужна баба, которая ни о чем таком и слыхом не слыхала.

Конни не могла удержаться и прыснула, а он невозмутимо продолжал:

— Да, ты всамделишная, хотя и немножко сучка. Вот чем ты писаешь, вот чем какаешь; я трогаю и то и другое и очень тебя за это люблю. Понимаешь, почему люблю? У тебя настоящая ладная бабская жопа. Ей нечего стыдиться, вот так.

Он крепче прижал ладонь к ее секретным местечкам, точно дружески приветствовал их.

— Мне очень нравится,— сказал он.— Очень. Если бы я прожил всего пять минут и все это время гладил тебя вот так, я бы считал, что прожил целую жизнь! К черту весь этот индустриальный бред. Вот она — моя жизнь.

Она повернулась, забралась к нему на колени, прижалась и шепнула:

— Поцелуй меня!

Она знала: их обоих гложет мысль, что они скоро расстанутся. И загрустила.

Конни сидела у него на коленях, головой прижавшись к его груди, свободно раскинув матово-блестящие ноги; танцующее в очаге пламя высвечивало то ее руку, то его лицо. Опустив голову, он любовался складками ее тела, неровно освещенного огнем, руном ее мягких каштановых волос, темнеющих в низу живота. Он протянул к столу руку, взял принесенный ею букетик, с которого на него посыпались капли дождя.

— Цветам приходится терпеть любую погоду,— сказал.— У них ведь нет дома.

— Даже хижины,— прошептала она.

Уверенными пальцами он воткнул несколько незабудок в треугольник каштановых волос.

— Ну вот,— сказал он.— Незабудки на месте...

Она взглянула на мелкие голубоватые цветочки в низу живота.

— Какая прелесть,— вырвалось у нее.

— Как сама жизнь,— отозвался он и воткнул рядом розовый бутон смолевки.— А это я. Как Моисей в камышах. И ты теперь меня не забудешь.

— Ты ведь не сердишься, что я уезжаю? — грустно проговорила она, глядя ему в лицо.

Оно было непроницаемо, тяжелые брови насуплены. Ничего-то в нем не прочитаешь.

— Охота пуще неволи,— сказал он.

— Я не поеду, если ты не хочешь,— прижалась она к нему.

Оба замолчали, он протянул руку и бросил еще полено в огонь. Вспыхнувшее пламя озарило его хмурое, за семью печатями лицо. Она ждала его ответа, но он так и не раскрыл рта.

— Знаешь, я думаю, что это начало разрыва с Клиффордом. Я правда хочу ребенка. И это даст мне возможность, понимаешь...— Она запнулась.

— Навязать им некий обман,— закончил он.

— Да, помимо всего прочего. А ты хочешь, чтобы они знали правду?

— Мне все равно, что они будут думать.

— А мне не все равно! Я не хочу, чтобы они меня мучили своей холодной иронией. Это так ужасно. Во всяком случае, пока я буду еще жить в Рагби-холле. Когда я совсем уеду, пусть думают что хотят.

Он опять замолчал.

— Сэр Клиффорд ожидает, что ты вернешься к нему из Венеции?

— Да, поэтому я должна вернуться,— сказала она.

Опять воцарилось молчание.

— А рожать ты будешь тоже в Рагби?

Конни обняла его за шею.

— Придется, если ты не увезешь меня,— сказала она.

— Куда увезу?

— Куда-нибудь. Куда хочешь. Только подальше от Рагби.

— Когда?

— Когда я вернусь.

— Какой тогда смысл возвращаться? Зачем делать дважды одно и то же? — сказал он.

— Я должна вернуться. Я обещала. Дала слово. Да к тому же, я ведь вернусь сюда, к тебе.

— К егерю твоего мужа?

— Это для меня не имеет значения.

— Не имеет? — Он немного подумал.— А когда же ты все-таки решишь совсем уйти? Когда точно?

— Пока не знаю. Вот вернусь из Венеции. И вместе решим.

— Что решим?

— Я все скажу Клиффорду. Я должна ему сказать.

— Скажешь?

И опять он как набрал в рот воды. Конни крепко обняла его.

— Не осложняй мне все дело,— попросила она.

— Что не осложнять?

— Мою поездку в Венецию и все дальнейшее.

Легкая, чуть насмешливая улыбка скользнула по его лицу.

— Я ничего не осложняю,— сказал он.— Я просто хочу понять, что действительно тобой движет. По-видимому, ты сама не понимаешь себя. Ты хотела бы потянуть время, уехать и все еще раз обдумать на стороне. Я не виню тебя. Думаю, что ты поступаешь мудро. Возможно, ты предпочтешь остаться хозяйкой Рагби. Нет, я не виню тебя. Мне нечего тебе предложить. У меня нет Рагби. Ты знаешь, что я могу тебе дать. Нет, нет, я думаю, ты права! И я вовсе не горю желанием навязать тебе

свою жизнь. Не хочу быть у тебя на содержании. Есть ведь еще и эта сторона.

«Он мучает меня,— подумала Конни,— чтобы поквитаться».

— Но ты ведь любишь меня? — спросила она.

— А ты?

— Ты же знаешь, что люблю. Это очевидно.

— Что верно, то верно. Так когда ты хочешь соединиться со мной?

— Я же сказала — вернусь, и мы все, все устроим. Ну что ты меня терзаешь! Вот теперь мне надо успокоиться и привести в порядок мысли.

— Прекрасно! Успокаивайся и приводи что там у тебя в порядок.

Конни немножко обиделась.

— Но ты веришь мне? — спросила она.

— Безусловно!

Ей послышалась в его голосе явная насмешка.

— Тогда ответь мне, только честно,— твердо сказала она.— Ты считаешь, что мне лучше не ездить в Венецию?

— Я считаю, что тебе надо ехать в Венецию,— ответил он своим холодным, чуть насмешливым тоном.

— Ты знаешь, что я еду в тот четверг?

— Знаю.

Конни опять задумалась. Потом сказала:

— Когда я вернусь, нам будут яснее наши отношения, верно?

— Разумеется.

И опять непонятное молчание.

— Я советовался с юристом о разводе,— на этот раз начал он, явно через силу.

— Правда? И что он сказал? — встрепенулась Конни.

— Он сказал, что надо было гораздо раньше возбудить дело. А теперь могут возникнуть трудности. Но поскольку я служил в армии, он думает, что я получу развод. Если только, конечно, узнав о предпринятых шагах, она опять не свалится мне на голову.

— А она должна об этом знать?

— А как же. Ей пошлют официальное уведомление.

— Какая тоска — все эти формальности! Меня то же ждет с Клиффордом.

Опять молчание.

— И конечно,— сказал он,— мне придется месяцев шесть—восемь вести высоконравственную жизнь. Пока ты в Венеции, соблазн будет недели две-три отсутствовать.

— А я для тебя соблазн? — сказала она, гладя его лицо.— Я так рада, что я для тебя соблазн. Давай больше не будем думать о неприятном. Когда ты начинаешь думать, мне становится страшно: ты просто кладешь меня на обе лопатки. Давай не будем ни о чем думать. В разлуке у нас будет много времени для думания. В этом смысл моей поездки. Между прочим, мне знаешь что пришло в голову — до отъезда провести с тобой еще одну ночь. У тебя в доме. Можно я приду к тебе в четверг вечером?

— В тот день, когда за тобой приедет сестра?

— Да. Она сказала, мы должны выехать часов в пять. Ну мы и выедем. Она переночует ту ночь в какой-нибудь гостинице, а я с тобой.

— Тогда придется все ей сказать.

— Конечно. Да я уже почти призналась ей. Мне надо все хорошенько обсудить с Хильдой. Она мне всегда во всем помогала. Она очень умная.

— Значит, вы выедете из Рагби в Лондон часов в пять. Каким путем вы поедете?

— Через Ноттингем и Грантем.

— Сестра где-нибудь высадит тебя, и ты пойдешь обратно? Или подъедешь на чем-нибудь? Мне кажется, это большой риск.

— Почему? Хильда и подвезет меня обратно. Мы остановимся в

Мансфилде, и вечером она привезет меня сюда. А утром заберет. Все очень просто.

— А если кто из людей тебя увидит?

— Я надену темные очки и вуалетку.

Он опять немного подумал.

— Ну что ж,— сказал он,— хочешь, как всегда, себя побаловать.

— Но разве тебе от этого будет плохо?

— Не будет, конечно,— сказал он нахмурившись.— Куй железо, пока горячо, как говорится.

— А знаешь, что я еще придумала? — вдруг выпалила она.— Меня осенило сию минуту. Ты возведен в рыцарское достоинство. И теперь ты «Рыцарь пламенеющего пестика»! [1]

— Ха! Ну а ты — леди пламенной ступки.

— Вот здорово! — воскликнула она.

— Выходит, Джон Томас — теперь сэр Джон. Под стать своей леди Джейн.

— Ура! Джон Томас посвящен в рыцари. Я вся в цветах, и сэра Джона тоже надо осыпать цветами!

И Конни воткнула две розовые смолевки в облако золотистых волос в низу его живота.

— Вот! — сказала она.— Очаровательно. Просто очаровательно, сэр Джон. Будешь помнить свою леди Джейн.

Затем украсила незабудками темные волосы над сосками и поцеловала его соски.

— Ишь, сделала из меня алтарь,— рассмеялся он, и цветы с его груди так и посыпались на нее.

— Подожди,— сказал он и пошел открыть дверь. Флосси, лежавшая на пороге, поднялась и посмотрела на него.— Лежи, лежи, это я! — сказал он.

Дождь перестал. Всюду был разлит влажный, тяжелый, полный весенних ароматов покой. Заметно вечерело.

Он вышел и двинулся в сторону, противоположную верховой тропе. Конни провожала взглядом его тонкую белую фигуру, и он показался ей призраком, привидением, уходящим от нее, готовым раствориться в воздухе.

Вот его фигуру поглотил лес, и сердце у нее екнуло. Она стояла в двери сторожки, завернувшись в одеяло, вглядываясь во влажную, неподвижную тишину.

А он уже возвращался легкой, пружинистой походкой. Она немного побаивалась его, он представлялся ей неким мифическим существом. Подойдя ближе, он взглянул ей прямо в глаза, но она еще не умела читать его взгляд.

Чего только он не набрал в лесу: водосбор, смолевки, пучок свежескошенной травы, жимолость, еще не распустившуюся, дубовую ветку в нежных листочках. Веткой он убрал ей грудь, в волосы воткнул несколько колокольчиков, в пупок розовую смолевку, а темный треугольник под животом украсил незабудками и ясменником.

— Царица во всей славе своей! — рассмеялся он.— Леди Джейн празднует свадьбу с Джоном Томасом.

И принялся украшать себя. Обвил вьюнком свою мышцу, сунул в пупок колокольчик гиацинта. Конни, затаив дыхание, следила за его странной игрой. Но потом и сама включилась в нее, воткнула ему в усы смолевку, и она смешно закачалась под носом.

— Джон Томас женится на леди Джейн,— сказал он.— А Оливер с Констанцией пусть делают что хотят. Может, все-таки...

Он сделал торжественный жест и вдруг чихнул, стряхнув цветы из-под носа и из пупка. И снова чихнул.

---

[1] Название пьесы Джона Флетчера, драматурга и поэта первой половины XVII в., младшего современника Шекспира.

— Может — что? — спросила Конни.

— Что? — Он удивленно взглянул на нее.

— Может — что? Ну, говори же, что? Что ты хотел сказать?

— А что я хотел сказать?

Он начисто забыл конец оборванной фразы. И это осталось для Конни одним из самых больших разочарований в жизни.

Над деревьями вспыхнул последний солнечный луч.

— Солнце! — сказал он.— Помнишь, когда ты пришла? Время, ваша милость, время! Что без крыльев, а летит — не догонишь? Неуловимое время!

Он потянулся за своей рубашкой.

— Скажи «до свидания» Джону Томасу. Он в крепких путах вьюнков. Сейчас его вряд ли назовешь «Рыцарь пламенеющего пестика».

И он стал натягивать через голову фланелевую рубашку.

— Самый опасный миг для мужчины,— сказал он, высунув из ворота голову,— когда он натягивает рубашку. Это все равно что лезть головой в мешок. Вот почему я люблю американские рубашки. Их надеваешь как пиджак.

Конни все стояла и смотрела на него. Затем он натянул короткие кальсоны и застегнул на животе.

— Поглядите на Джейн! — воскликнул он.— Осыпана цветами! А кто будет осыпать ее цветами через год? Я или кто другой? «Прощай, мой колокольчик, и помни обо мне!» Терпеть не могу эту песню. Напоминает мне начало войны.

Он сел и стал натягивать носки. Конни все еще не двинулась с места. Он положил ладонь ей на бедро.

— Милая маленькая леди Джейн! — сказал он.— Может, в Венеции ты встретишь мужчину, который украсит тебя жасмином и гранатовым цветом! Бедная маленькая леди Джейн.

— Не говори глупости,— сказала Конни.— Ты говоришь это, чтобы сделать мне больно.

Он опустил голову. Потом сказал на своем диалекте:

— Может, и так... Ну да ладно. Сказано — и забыто. А ты давай одевайся и ступай в свои хоромы, богатые да просторные. Вышел срок сэру Джону и маленькой Джейн. Надевайте свой пеньюар, леди Чаттерли! А то ведь, поди, без пеньюара-то в одних цветочках не сразу и признают. Вот я сейчас возьму и раздену тебя, бесхвостая трясогузка.

Он вынул колокольчики из влажных еще волос, поцеловал их, убрал ветки с грудей и поцеловал груди. Незабудок, однако, не тронул.

— Пусть они тут и останутся. Вот ты и опять голая, ласонька моя, леди Джейн. А теперь одевайся, тебе пора поспешать отсюда. Не то леди Чаттерли опоздает к ужину. И будет ей, моей голубушке, хорошая взбучка.

Конни всегда терялась, когда он переходил на свой диалект. Она молча оделась и заспешила домой, чувствуя, что провинилась.

Он пошел проводить ее до верховой тропы. По дороге заглянул к фазанятам; вид у них был довольный, точно никакой грозы не было. Свернули на тропу и нос к носу столкнулись с побледневшей, испуганной миссис Болтон.

— О, ваша милость,— запричитала она,— мы думали, с вами что приключилось.

— Что могло со мной приключиться?

Миссис Болтон посмотрела в лицо мужчины и не узнала его, такой любовью оно светилось. Глаза чуть насмешливо смеялись, впрочем, он всегда смеялся в неловкую минуту, но была в них и явная приветливость.

— Добрый вечер, миссис Болтон! Я больше не нужен вашей милости? Позвольте мне откланяться. До свидания, ваша милость! До свидания, миссис Болтон!

Егерь козырнул и пошел обратно.

Глава 16

Дома Конни ожидала пытка перекрестного допроса.

Клиффорд выехал из дому часов в пять, вернулся перед самой грозой. Ее милости дома не было. И никто не знал, куда она делась. Миссис Болтон предположила, что она вышла прогуляться в лес. В лес? В такую грозу? Клиффорд взвинтил себя почти до нервического припадка. Вздрагивал при каждой вспышке молнии и белел как полотно от каждого раската грома. Он глядел в окно на потоки проливного дождя с таким ужасом, будто пришел конец света. Нервы у него расходились все сильнее.

Миссис Болтон пыталась успокоить его:

— Ее милость укрылись в сторожке. Не беспокойтесь, с ней ничего не случилось.

— Я не хочу, чтобы она гуляла по лесу в такую грозу. Я вообще не хочу, чтобы она одна уходила в лес! Ее нет уже больше двух часов. Когда она вышла из дому?

— За несколько минут до вашего возвращения.

— Но я не встретил ее в парке. Один Бог знает, где она теперь и что с ней случилось.

— Да ничего с ней не случилось. Вот увидите, гроза пройдет, и она явится. Не может же она идти домой по такому дождю.

Но гроза унялась, а ее милость не появилась. Время шло, вспыхнули последние лучи, а ее все не было. Наконец солнце село, сгустились тени, ударил первый гонг, зовущий к обеду.

— Это невыносимо, — бушевал Клиффорд.— Надо послать Филда с Беттсом на поиски.

— Не делайте этого! — воскликнула миссис Болтон.— Они еще подумают — самоубийство или еще что. Пойдут всякие разговоры... Я лучше сама пойду посмотрю, не в сторожке ли она. Я уверена, что найду ее.

После недолгих уговоров Клиффорд отпустил ее.

Так вот Конни и встретилась с миссис Болтон, бледной, спотыкающейся, одиноко бредущей по лесу.

— Не сердитесь, что я пошла искать вас, ваша милость. Сэр Клиффорд на грани истерики. Он уверил себя, что вас либо поразила молния, либо убило рухнувшим деревом. И решил послать Филда с Беттсом на поиски вашего тела. Я и подумала: лучше уж мне пойти. А то какой бы поднялся переполох,— говорила, волнуясь, миссис Болтон. Она видела и в лице Конни тот же свет, ту же отрешенность, которые рождает только любовь. И чувствовала, что Конни недовольна ею, даже раздражена.

— Хорошо,— сказала Конни, не прибавив больше ни слова.

Две женщины молча шли по умытому грозой лесу, слушая, как падают тяжелые капли, взрываясь хлопушками. Когда вошли в парк, Конни ускорила шаг, и миссис Болтон, пыхтя, поплелась сзади — она стала заметно тучнеть.

— Как глупо со стороны Клиффорда поднимать такой шум,— наконец сказала она в сердцах скорее самой себе, чем миссис Болтон.

— Вы же знаете, ваша милость, что такое мужчины. Они любят взвинтить себя. Но как только он увидит вас в целости-сохранности, он тут же и успокоится.

Конни очень досадовала, что миссис Болтон разгадала ее тайну. В этом не было никакого сомнения.

— Нет, это возмутительно! — неожиданно остановилась она.— Послать за мной шпионить! — Конни глядела на миссис Болтон пылающими глазами.

— О, ваша милость! Не говорите так. Он действительно послал бы Филда с Беттсом, и они сразу пошли бы в сторожку. А я даже и не знаю толком, где она находится.

Лицо Конни стало пунцовым — она поняла намек миссис Болтон. Но в таком состоянии не могла лгать. Не могла притворяться, что между ней и егерем ничего нет. Она поглядела на стоящую перед ней женщину — голова опущена, лукавства в глазах не видно. Но, конечно, оно там есть. Ладно, в таких делах женщина женщине чаще всего союзник.

— Так тому и быть,— сказала она.— В концов концов меня это мало волнует.

— Полноте, ваша милость! Ничего страшного не случилось. Вы спрятались от грозы в сторожке. Вот и все.

Вошли в дом. Конни сразу устремилась в комнату Клиффорда, клокоча яростью; ее бесило все — Клиффорд, его выпученные глаза, бледное, дергающееся лицо.

— Я должна сказать, у тебя нет причин посылать слуг на поиски,— выговорила она ему резко.

— Боже правый! — возопил он.— Где ты была, женщина! Тебя не было дома несколько часов, несколько! Гулять в такую грозу! Какого дьявола тебя понесло в этот чертов лес? Что это тебе взбрело в голову? Гроза уже давно прошла, давно. Ты знаешь, сколько сейчас времени? Да от этого можно сойти с ума. Где ты была? Что ты, черт возьми, все это время делала?

— И не подумаю ничего объяснять,— сказала она и, сняв шляпку, тряхнула волосами.

Он глядел на нее выкатившимися глазами, белки глаз налились желтизной. Ему были вредны приступы такого гнева, миссис Болтон потом мучилась с ним несколько дней. И Конни вдруг устыдилась.

— Ну что это ты, в самом деле,— сказала она мягче,— можно подумать, я была Бог весть где. Я просто сидела в сторожке, разожгла в очаге огонь; лил дождь, а я была счастлива.

Она лгала легко. Зачем еще больше гневить его, какой смысл? Он поглядел на нее с подозрением.

— Посмотри на свои волосы! — все еще кипятился он.— Посмотри на себя!

— Да, — сказала она.— Я бегала нагая под дождем.

Клиффорд лишился дара речи от изумления.

— Ты сошла с ума,— наконец вымолвил он.

— А что такого! Разве плохо принять в лесу дождевой душ?

— Чем же ты вытиралась?

— Старым полотенцем. Нашла в сторожке. Волосы посушила над огнем.

Он все продолжал ошалело глядеть на нее.

— А если бы кто вошел?

— Кто мог бы войти?

— Да кто угодно. Хотя бы и Меллорс. Он, случайно, не заглянул туда? По вечерам он бывает в сторожке.

— Заглянул. Только позже, когда гроза кончилась. Дал фазянятам корму.

Она говорила с поразительной непринужденностью. Миссис Болтон слушала ее в соседней комнате и восхищалась. Подумать только, как естественно может держать себя женщина в такой ситуации.

— А если бы он увидел, как ты носишься голая под дождем, точно сбежала из сумасшедшего дома? Что бы тогда было?

— Он до смерти перепугался бы и дал деру.

Клиффорд все не мог опамятоваться. Что делалось у него в подсознании, он так никогда и не разобрался. Сейчас же на ум не шла ни одна здравая мысль. Он просто принял объяснения Конни, принял, как рыба заглатывает крючок. Он восхищался ею, не мог не восхищаться. Она была такая красивая, румяная, свежая и вся светилась любовью.

— Будет большая удача,— сказал он смягчаясь,— если ты не слягжешь с сильной простудой.

— А я ведь не простужаюсь,— сказала Конни, вспомнив слова другого мужчины: «Не попка, а печка — ладная, круглая, теплая». Ей так захотелось сказать Клиффорду — вот что она услышала во время этой божественной грозы. Но все-таки лучше попридержать язык. И вести себя как подобает обиженной королеве. И Конни отправилась наверх переодеваться.

Клиффорд решил вечером быть с Конни ласковее. Он читал сейчас одно из новейших научно-религиозных сочинений. В нем была псевдорелигиозная жилка: он, как и все эгоцентрики, тревожился о будущем своего «эго». Клиффорд уже давно взял за правило беседовать с Конни о читаемых книгах. Беседы в их жизни были насущным делом, чуть ли не биологической потребностью. И Клиффорд готовился к ним, как к сложным биохимическим опытам.

— Что бы ты сказала на это? — спросил Клиффорд, потянувшись за книгой.— Будь позади нас еще несколько эонов эволюции, тебе бы не пришлось остужать под дождем свое пышущее здоровьем тело. Вот слушай: «Вселенная предстает перед нами двояко — физически она истощается, духовно же воспаряет».

Конни молчала, ожидая продолжения. А Клиффорд ожидал отклика на первый же постулат. Помолчав немного, Конни вопросительно взглянула на мужа.

— Значит, духовно Вселенная воспаряет,— наконец сказала она.— А что же остается внизу? Там, где у нее мягкое место?

— Господи! Не ищи ты в сказанном больше того, что там есть,— проговорил он с легкой досадой.— «Воспаряет» здесь, по-видимому, антоним «истощается».

— То есть духовно Вселенная разбухает?

— Я спрашиваю тебя серьезно: как по-твоему, есть что-нибудь в этой фразе?

— А физически, значит, она истощается? — сказала Конни, опять взглянув на него.— Но, по-моему, ты явно полнеешь. И я далека от истощения. А разве солнце уменьшилось в размерах за последнее тысячелетие? И, наверное, Ева предложила Адаму яблоко, которое было не больше наших красных пепинов? Ты не согласен?

— Нет, ты послушай, что он говорит дальше: «Таким образом, Вселенная очень медленно, неуловимо для глаза в нашем временном измерении, стремится к новым творческим энергетическим состояниям, так что наш физический мир, такой, каким мы его знаем сегодня, в конце концов станет некоей пульсацией, почти не отличимой от небытия».

Конни слушала, едва сдерживая смех. В ответ напрашивалось столько всяких непристойностей. Но она только сказала:

— Что это за чепуха! Как будто крошечным самовлюбленным сознанием автора можно постигнуть сверхдлительные космические процессы. Это может значить только одно. Автор — какой-нибудь физический урод, потому и хочет, чтобы материальный мир постигла катастрофа. Какое беспардонное нахальство!

— Да ты послушай дальше. Негоже прерывать великого человека на полуслове. «Нынешний тип миропорядка возник в невообразимо далеком прошлом и погибнет в невообразимо далеком будущем. Останется неистощимое множество абстрактных форм плюс творческий импульс, вечно меняющийся и вечно готовый к творению, побуждаемый собственными порождениями и Богом, от чьей мудрости зависят все упорядоченные формы». Каково закручено!

Конни слушала и не могла справиться с раздражением.

— Господи, какая чушь! — не выдержала она.— Вот уж кто духовно разбух! Невообразимости, нынешний тип миропорядка, неистощимое множество абстрактных форм, вечно меняющийся творческий

импульс и Бог вперемежку с упорядоченными формами. Но ведь это просто идиотизм.

— Должен признать, несколько туманный подбор сущностей. Смесь, так сказать, различных газов,— проговорил Клиффорд.— И все-таки, мне кажется, что-то в этой идее есть — «Вселенная духовно воспаряет, а физически истощается».

— Да? Ну и пусть воспаряет. Лишь бы здесь внизу физически со мной ничего не случилось.

— Тебе так нравится твое физическое тело? — спросил он.

— Я люблю его.— И опять в ее памяти прозвучали слова: «Не попка, а печка — ладная, круглая, теплая».

— Странное заявление, ведь общепризнано, что тело — это оковы для духа. Хотя женщинам заказаны высшие радости ума.

— Высшие радости? — переспросила она, взглянув прямо ему в глаза.— И эта тарабарщина по-твоему, может доставить уму высшую радость? Нет уж, уволь меня от таких радостей. Оставь мне мое тело. Я уверена, жизнь тела, если оно действительно пробудилось к жизни, куда реальнее, чем жизнь ума. Но вокруг нас ходит столько мертвецов, у которых жив один мозг.

Клиффорд слушал ее и не верил своим ушам.

— Но жизнь ради тела — животная жизнь.

— Она в тысячу раз лучше, чем жизнь профессиональных мертвецов. К сожалению, человеческое тело только начинает пробуждаться. Древние греки были прекрасной вспышкой. Но Платон и Аристотель нанесли ему смертельный удар. А Иисус довершил дело. Но теперь человеческое тело опять воспрянуло к жизни. Оно действительно выходит на свет из могильного склепа. Любовь скоро восторжествует на земле. И настанет царство живых людей.

— И ты выступаешь как провозвестница новой жизни. Согласен, тебя ждет отдых, море, Венеция, но, пожалуйста, не надо так откровенно ликовать. Это неприлично. Поверь мне, Бог, кто бы он ни был, медленно, очень медленно, но упраздняет в человеке внутренности, пищеварительную систему, выпестывая в нем более возвышенное, более духовное существо.

— Почему я должна верить тебе, Клиффорд, когда я чувствую, что Бог, кто бы он ни был, проснулся, наконец, в моем теле и радостно трепещет, как первый луч зари.

— Вот-вот! И что произвело в тебе эту разительную перемену? Твоя обнаженная пляска под дождем, игра в вакханку? Это что, жажда чувственных радостей, предвкушение Венеции?

— И то и другое! По-твоему, это ужасно, что я загодя предаюсь восторгу?

— Я бы сказал: ужасно так откровенно его обнаруживать.

— Ну что ж, тогда я буду скрывать свои чувства.

— Пожалуйста, не утруждайся! Ты почти заразила меня своим настроением. Мне вдруг показалось, что это я еду.

— Так давай поедем вместе.

— Это мы уже с тобой обсудили. К тому же, если уж совсем честно, твой восторг в значительной мере объясняется еще и другим: завтра ты скажешь «прости», правда на время, всему, что видишь здесь изо дня в день многие годы. В этом заключается особая сладость: «Прощай, все и вся!» Но расставание в одном месте сулит встречи в другом. А новая встреча — всегда новое бремя.

— Вот уж не собираюсь взваливать на себя никакого бремени.

— Не заносись, когда боги слушают...

— А я и не заношусь,— резко оборвала Конни.

Но поездка все-таки манила ее; какое счастье обрести давно утраченную свободу, хотя бы и ненадолго. Она ничего не могла с собой поделать. В ту ночь Клиффорд так и не смог заснуть; до самого утра иг-

рали они с миссис Болтон в карты, пока та чуть не свалилась со стула.

И вот наконец наступил день приезда Хильды. Конни условилась с Меллорсом, что, если судьба напоследок улыбнется им, она повесит на окне зеленую шаль. Если дело сорвется — красную.

Миссис Болтон помогала Конни укладываться.

— Вашей милости будет полезна перемена обстановки.

— Наверное. Вам не будет обременительно одной ухаживать за сэром Клиффордом?

— Конечно, нет! Я с ним прекрасно управляюсь. Ведь я могу оказать ему помощь буквально во всем. Вам не кажется, что его самочувствие заметно улучшилось?

— Действительно, улучшилось. Вы сделали чудо.

— Нет, правда? Мужчины ведь все одинаковы. Как малые дети, их надо хвалить, ублажать, им надо поддакивать. Они всегда должны чувствовать, что за ними последнее слово. Вы согласны со мной, ваша милость?

— Боюсь, что у меня в этом слишком маленький опыт.

Оторвавшись от сборов, Конни взглянула на миссис Болтон и вдруг спросила:

— А ваш муж? Вы и его умели ублажить?

Миссис Болтон тоже отвлеклась на секунду.

— Да, конечно,— сказала она.— Умела. И хотя он видел все мои хитрости, я всегда делала, что хотела.

— И он никогда не командовал вами?

— Почти никогда. Изредка, правда, мелькнет у него в глазах что-то такое, а уж я знаю — прекословить нельзя. Но обычно он покорялся. И никогда не командовал. Но и я не командовала. Знала, когда надо уступить, и уступала. Хотя иногда мне это было и нелегко.

— Ну, а если вы бы не уступили? Что тогда?

— Не знаю, мы никогда не ссорились. Даже если он бывал и неправ, но начинал артачиться, я всегда покорялась. Я очень им дорожила. Есть женщины, которые всегда хотят настоять на своем, я таким не завидую. Если любишь мужчину, уступи, когда он уперся; прав ли он, нет ли — уступи. Это в супружеской жизни первое правило. И мой Тед, случалось, уступал мне, когда я уж точно была неправа. Видно, тоже дорожил мной. Так что, в общем, то на то и получалось.

— И вы так же обращаетесь со своими пациентами? — спросила Конни.

— Пациенты — другое дело. Тут ведь любви-то нет. Но я знаю, что́ им на пользу, и соответственно веду себя. А когда любишь, совсем другое дело. Правда, любовь к одному мужчине научает, как обходиться со всеми другими. Но это, конечно, совсем не то. И вообще я не верю, что можно любить второй раз.

Эти слова напугали Конни.

— Вы думаете, любят только один раз?

— Или вообще ни разу. Сколько женщин ни разу не любили, даже не знают, что это такое. А сколько мужчин не знает! Но когда я встречаю настоящую любовь, я всегда за нее горой.

— А как вы думаете, мужчины легко обижаются?

— Да, если вы задели их гордость. Но ведь и с женщинами то же самое. Правда, гордость гордости — рознь.

Конни призадумалась, опять стало точить сомнение, правильно ли она делает, что едет. В сущности, она бросает мужчину, пусть ненадолго. Но он понимает это. Вот почему и ведет себя так неловко и так обидно.

Но что поделаешь! Человек в плену у постоянно меняющихся обстоятельств. И не ей с ними бороться.

Хильда приехала утром в четверг в юрком двухместном автомобильчике с привязанным сзади багажом. Она выглядела, как всегда, по-девически скромно, и, как всегда, в ней чувствовалась неукротимая воля. Эта женщина была наделена адской силой воли, в чем пришлось неод-

нократно убедиться ее супругу. Сейчас они находились на одной из стадий развода. Она даже согласилась на кое-какие шаги, чтобы облегчить судебную процедуру, хотя любовника, как такового, у нее не было. Она решила на время выбыть из этой игры полов. Хильда радовалась обретенной независимости; у нее было двое детей, и она задалась целью воспитать их «надлежащим образом» — что бы это ни значило.

Конни было позволено взять с собой небольшой чемодан. Большой с вещами она отправила отцу, ехавшему поездом. В Венецию, по его мнению, нет смысла ехать летом в автомобиле. В июле на дорогах Италии пыльно и жарко. И он решил добираться до Венеции самым покойным и удобным образом —в спальном вагоне. Сэр Малькольм был уже в Лондоне и ожидал дочерей. Всю материальную часть путешествия Хильда взяла на себя. Сестры сидели наверху и разговаривали.

— Видишь ли, Хильда,— с легкой нервозностью говорила Конни,— я хочу эту ночь провести недалеко отсюда. Не здесь, а поблизости.

Хильда сверлила сестру серыми стальными глазами. Вид у нее был безмятежный, но как часто она при этом внутренне кипела от злости!

— Где это поблизости? — тихо спросила Хильда.

— Ты же знаешь, я люблю одного человека.

— Догадываюсь.

— Ну вот, он живет рядом. Я хотела бы эту последнюю ночь провести с ним. Я должна, понимаешь! Я обещала.

Конни явно проявляла настойчивость.

Не ответив ни слова, Хильда опустила свою голову Минервы. И опять вскинула.

— Ты скажешь мне, кто он? — спросила она.

— Это наш егерь,— запинаясь, проговорила Конни и, как пристыженная школьница, залилась краской.

— Конни! — Хильда в негодовании слегка вздернула носик — движение, унаследованное от матери.

— Да, понимаю. Но он очень красивый. И он умеет быть нежным,— сказала Конни, как бы оправдывая его.

Хильда — яркая, рыжеволосая Афина — склонила голову и задумалась. Она была, мягко говоря, в ярости. Но не решалась этого показать, Конни могла мгновенно впасть в буйство — неуправляема, вся в отца.

Верно, Хильда не любила Клиффорда, его холодную самоуверенность — мнит себя Бог знает кем. Она считала, что он эксплуатирует Конни бесстыдно и безжалостно, и втайне надеялась, что сестра рано или поздно уйдет от него. Но, принадлежа к шотландскому среднему классу, приверженному устоям, она не могла допустить такого позора для себя и для семьи. Наконец, она подняла глаза на Конни.

— Ты очень пожалеешь об этом.

— Никогда,— крикнула Конни, краснея.— Он — исключение. Я очень люблю его. Он необыкновенный любовник.

Хильда опять задумалась.

— Ты очень скоро разочаруешься в нем,— сказала она.— И тебе будет стыдно.

— Не будет! Я надеюсь родить от него ребенка.

— Конни! — сказала, как кулаком грохнула, Хильда, побелев от ярости.

— Да, рожу, если забеременею. И буду счастлива и горда иметь от него ребенка.

Сейчас с ней говорить бесполезно, решила Хильда.

— А Клиффорд что-нибудь подозревает?

— Нет, с чего бы ему подозревать?

— Не сомневаюсь, что ты дала ему не один повод для подозрения.

— Ничего подобного.

— Твоя затея мне кажется бессмысленной глупостью. Где этот егерь живет?

— В доме, за лесом.

— Он холост?
— Нет. Но жена ушла от него.
— Сколько ему лет?
— Не знаю. Он старше меня.

С каждым ответом Хильда ярилась все больше — точь-в-точь их мать. Она была на грани взрыва, но привычно это скрывала.

— Я бы на твоем месте отказалась от этого безумного плана,— сказала она внешне невозмутимо.

— Не могу. Я должна провести с ним эту ночь, или я вообще не поеду в Венецию.

Хильда опять различила интонации отца и сдалась исключительно из дипломатических соображений. Даже согласилась поехать в Мансфилд, там пообедать, а потом, как стемнеет, отвезти Конни обратно к ее егерю. И приехать за ней рано утром. Сама она переночует в Мансфилде, это всего полчаса езды. Но внутри она вся кипела от ярости. Она еще припомнит сестре это упрямство — так нарушить ее планы!

И Конни вывесила за окно зеленую шаль.

Гневаясь на сестру, Хильда потеплела к Клиффорду. У этого человека хоть есть мозги. А то, что отсутствует мужская способность, так это прекрасно — меньше оснований для ссор. Сама Хильда решила больше не иметь дел с мужчинами; как партнеры по сексу они мелкие, омерзительные эгоисты. Конни повезло, она избавлена от многого такого, что приходится терпеть бедным женщинам. Она не ценит своего счастья.

И Клиффорд пришел вдруг к выводу, что Хильда в общем очень неглупая женщина и могла бы составить счастье мужчины, стремящегося отличиться ну хотя бы на политическом поприще. В ней нет всех этих глупостей, которых хоть отбавляй в сестре. Конни почти ребенок. Приходится многое ей прощать, она еще, в сущности, несмышленыш.

Чай пили в гостиной раньше, чем обычно. В распахнутые двери лился солнечный свет. Все были взволнованны.

— До свидания, Конни, моя девочка! Скорее возвращайся домой.

— До свидания, Клиффорд! Я долго там не пробуду.— Конни испытывала к мужу почти нежность.

— До свидания, Хильда. Присматривай за Конни. За ней нужен глаз да глаз.

— Буду смотреть в оба глаза. Одну никуда не пущу.

— Ну теперь я спокоен.

— До свидания, миссис Болтон! Я уверена, вы будете преданно ухаживать за сэром Клиффордом.

— Приложу все силы.

— И пишите мне, если будет что новое. Пишите о сэре Клиффорде, о его самочувствии.

— Конечно, конечно, ваша милость, напишу. Развлекайтесь, веселитесь и возвращайтесь скорее, чтобы и нас здесь радовать.

Все замахали, автомобиль покатил. Конни обернулась: Клиффорд сидел на веранде в своем кресле. Все-таки он ей муж. Рагби-холл — ее дом, так распорядилась судьба.

Миссис Чемберс открыла ворота и пожелала ей счастливого отдыха. Автомобиль выехал из темной рощи, сменившей парк, и покатил по шоссе, по которому в этот час домой тянулись шахтеры. Скоро свернули на Кроссхильский большак, ведущий в Мансфилд. Конни надела защитные очки. Слева, значительно ниже бежала железная дорога. Опять свернули и проехали над ней по мосту.

— А вот проселок к его дому,— махнула рукой Конни.

Хильда взглянула на него без особого восторга.

— Очень жаль, что мы должны задержаться,— сказала она.— Мы бы к девяти были уже на Пэлл-Мэлле.

— Прости, пожалуйста,— отозвалась из-под огромных очков Конни.

В Мансфилд въехали очень скоро. Когда-то это был старинный романтический городок, теперь на него было больно смотреть. Хильда ос-

тановилась в гостинице, указанной в автомобильном справочнике, и сняла номер. Все кругом было так серо, уныло, что Хильда удрученно молчала. Зато Конни трещала без умолку — надо же рассказать сестре о возлюбленном.

— Он! У него что, нет имени? Я от тебя только и слышу — «он» да «он»,— сказала Хильда.

— Я никогда не называю его по имени, и он меня, что, конечно, странно, если подумать. Мы, правда, называем друг дружку леди Джейн и Джон Томас. Но вообще-то его зовут Оливер Меллорс.

— И тебе будет очень приятно называться миссис Оливер Меллорс вместо леди Чаттерли?

— Я буду счастлива.

Нет, Конни неисправима. Но если Меллорс служил в Индии лейтенантом лет пять-шесть, то, по крайней мере, его можно будет вывозить в общество. По-видимому, у него есть характер. И Хильда стала понемногу смягчаться.

— В конце концов он тебе надоест,— сказала она.— И тебе будет стыдно за эту связь. Нельзя опускаться до простолюдина.

— Ты ведь такая социалистка, Хильда. Ты всегда была на стороне рабочего класса.

— Да, была, во время кризиса. Но именно потому я и знаю, что нельзя связывать свою жизнь с их жизнью. Вовсе не из снобизма, просто ритмы жизни у нас разные.

Хильда жила среди политических интеллектуалов, и потому твердолобость ее была непробиваема.

Скучный до одурения вечер в гостинице все не кончался. Наконец пригласили к обеду, отменно скверному. После обеда Конни запихала в сумочку кое-какие вещи и еще раз причесалась.

— А знаешь, Хильда,— сказала она,— любовь — это так чудесно. Ты чувствуешь, что живешь, что причастна к акту творения.

Это было почти бахвальство с ее стороны.

— Уверена, что и комар рассуждает так же,— заметила Хильда.

— Ты думаешь, он так рассуждает? Значит, он тоже бывает счастлив!

Вечер был на удивление ясный и все никак не кончался в этом постылом городишке. Казалось, светло будет всю ночь. С застывшим, как маска, лицом негодующая Хильда снова завела автомобиль, и сестры двинулись обратно, выбрав на этот раз другой путь, через Болсовер.

В больших очках, в скрывающей пол-лица шляпе Конни молча сидела рядом с сестрой и, мысленно пикируясь с ней, расточала похвалы возлюбленному. Она всегда будет рядом с ним, и в горе и в радости.

Миновав Кросс-Хилл, включили фары; внизу прочертил светящуюся полосу поезд, создав иллюзию ночи. Хильда съехала на проселок перед самым мостом — резко убавив скорость, свернула с шоссе на заросшую травой колею, осветив ее фарами. Конни выглянула в окно, разглядела недалеко впереди неясную фигуру и открыла дверцу.

— Вот мы и приехали,— сказала она негромко.

Но Хильда, выключив фары, дала задний ход, решив сразу же развернуться.

— На мосту никого? — спросила она.

— Никого, можете ехать,— откликнулся мужской голос.

Хильда доехала до моста, развернулась, проехала немного вперед по шоссе, задним ходом выехала на проселок. Сминая траву и папоротник, остановилась под большим вязом и включила сразу все фары. Конни вышла из машины. Мужчина стоял под деревом.

— Ты долго здесь стоишь? — спросила Конни.

— Не очень.

Стали ждать, когда выйдет Хильда. Но Хильда захлопнула дверцу и не двигалась.

— Это моя сестра, Хильда. Да иди же сюда, скажешь ей несколько слов. Хильда! Познакомься, это мистер Меллорс.

Егерь приподнял шляпу, но с места не тронулся.

— Хильда, пойдем с нами, ненадолго,— пригласила сестру Конни.— Это недалеко.

— А как быть с машиной?

— Можешь оставить ее на проселке. Здесь так делают. Ключи ведь у тебя есть.

Хильда в нерешительности молчала. Потом посмотрела назад, в темень проселка.

— Можно стать за тем кустом?

— Конечно.

Она медленно вырулила за куст, чтобы машину не было видно с дороги, заперла дверцу и подошла к Конни. Ночь была тихая. Живая изгородь, дикая, запущенная, чернела слева и справа неезженного проселка. Воздух насыщен свежими ночными запахами, темень — хоть глаз выколи. Егерь шел впереди, за ним — Конни, цепочку замыкала Хильда, все молчали. Там, где были корни, он включал фонарик, освещая неровности белым пучком света; над верхушками дубов ухала сова, неслышно кружила под ногами Флосси. Никто не произнес ни слова. Говорить было не о чем.

Наконец, засветился желтый огонек в окне его дома, и сердце у Конни заколотилось. Ей было немного страшно. К дому так и подошли цепочкой.

Он отпер дверь и провел их в теплую, но маленькую и почти пустую комнату. В очаге на решетке пунцовые угли продолжали гореть невысоким пламенем. На столе, накрытом белой скатертью — приятная неожиданность,— стояли две тарелки и два стакана. Хильда тряхнула головой и оглядела пустую, невеселую комнату. Потом, собравшись с духом, перевела взгляд на мужчину.

Он был довольно высок, худ и показался ей красивым. Держался спокойно и отчужденно. И, по-видимому, не желал без нужды вступать в разговор.

— Садись, пожалуйста, Хильда,— пригласила сестру Конни.

— Садитесь,— сказал он.— Хотите чаю, а может, пива? Пиво холодное.

— Пива! — скомандовала Конни.

— Я бы тоже, пожалуй, выпила немного пива,— с деланной застенчивостью проговорила Хильда.

Меллорс глянул на нее и прищурился. Взял синий кувшин и пошел в моечную. Когда вернулся с пивом, лицо его опять сменило выражение.

Конни села у двери, а Хильда на его стул, стоявший у стены как раз против окна.

— Это его стул,— шепнула Конни. И Хильда вскочила со стула как ужаленная.

— Сидите, чего встали-то! Коли приглянулось — сидите. Мы здесь тоже не лыком шиты, приличие понимаем,— сказал он, сохраняя полнейшее самообладание.

Он взял стакан и налил Хильде первой.

— А уж сигарет, извиняйте, нету,— продолжал он.— Не держим, да, чай, у вас и свои есть. Я-то сам не смолю. Что-нибудь покушать? — обратился он к Конни.— А то я мигом. Ты ведь до еды охотница.— Он говорил на языке простонародья с невозмутимостью хозяина харчевни.

— А что у тебя есть? — спросила Конни.

— Вареный окорок, сыр, маринованные каштаны — что глянется.

— Ладно, поем немного,— согласилась Конни.— А ты, Хильда?

Хильда пристально поглядела на него.

— Почему вы говорите на этом солдатском жаргоне? — мягко спросила она.

— Это не солдатский, это здешний, сельский.

И он усмехнулся ей своей слабой, отрешенной усмешкой.

— Все равно, пусть сельский. Зачем это вам? Вы ведь сначала говорили на чистом литературном языке.

— А почему бы и нет, раз мне такая блажь пришла. А уж вы не препятствуйте, если можете.

— Звучит неестественно,— заметила Хильда.

— Кому как. Здесь, в Тивершолле, звучит неестественно ваш говор.

И он опять взглянул на нее со странной, нарочитой отчужденностью, как будто хотел сказать: «А вам, собственно, какое до меня дело?»

И с этим потопал на кухню за едой.

Сестры сидели, не проронив ни слова. Он вернулся еще с одной тарелкой, ножом и вилкой.

— Если вас не покоробит, я, пожалуй, сниму куртку. Привычка, знаете ли.

Он снял куртку, повесил на крючок и сел за стол в одной рубашке из тонкой цвета сливок фланели.

— Начинайте! Особого приглашения не будет,— сказал он, нарезал хлеб и замер без движения.

Хильда почувствовала в нем, как когда-то Конни, покойную, отрешенную силу. Она видела его узкие, чувственные, легкие руки, расслабленно лежащие на столе, и сказала себе: нет, он не простолюдин, отнюдь, он ломает комедию.

— И все же,— сказала она, беря кусок сыра,— с нами вы могли бы говорить на правильном языке, а не на своем диалекте. Это уж точно было бы более естественно.

Он посмотрел на нее и вдруг ощутил — в Хильде сокрыта недюжинная воля.

— Вы так думаете? — перешел он на правильный язык.— Значит, вы полагаете, что наш с вами разговор может быть естественным? Ведь говорить-то мы будем одно, а думать другое. У вас на уме вроде того, что хорошо бы он провалился ко всем чертям к возвращению сестры. И у меня что-нибудь столь же для вас лестное. И это будет естественный разговор?

— Конечно,— ответила Хильда.— Хорошие манеры всегда естественны.

— Так сказать, вторая натура,— рассмеялся он.— Нет, с меня довольно хороших манер. Я чуть от них не спятил.

Хильда была сбита с толку и возмущена. В конце концов, должен же он понимать, что ему оказана честь. А он не только не понимает, но этим кривлянием, высокомерием дает понять, что это им оказана честь. Какая наглость. Бедная Конни! Какая слепота! Ее заманили в капкан!

Ели все трое молча. Хильда нет-нет и бросит на него взгляд: умеет ли он вести себя за столом. И ей пришлось признать: врожденные манеры у егеря, куда более изящны, чем ее собственные. К тому же он обладал чисто английской чопорностью и аккуратностью. Да, с ним трудно будет тягаться. Но над ней ему верха не одержать.

— Вы считаете, что игра стоит свеч? — спросила она.

— Какая игра?

— А вот эта, с моей сестрой.

На лице его опять мелькнула ироническая усмешка.

— А вы лучше ее спросите,— и посмотрел на Конни.— Ты ведь, девонька, сюда ходишь по доброй воле? Я ведь, чай, не нужу тебя?

Конни поглядела на сестру.

— Прошу тебя, Хильда, не цепляйся к нему.

— А я и не цепляюсь. Но ведь кто-то должен думать о будущем. Жизнь должна идти разумно. Нельзя превращать ее в хаос.

Опять воцарилось молчание.

— Разумно! — нарушил он тишину.— А что это значит? У вас, что ли, она идет разумно? Вы, я слыхал, разводитесь. Это, по-вашему, разумно? Не разум это, а строптивость. Столько-то я понимаю. Ну и чего вы

добьетесь? Начнете стареть, строптивость-то и выйдет боком. Только дай волю строптивой женщине, горя не оберешься. Слава те Господи, не я ваш муж.

— Кто вам дал право так со мной разговаривать? — возмутилась Хильда.

— А вам кто дал право указывать людям, как жить? Всяк живет по своему разумению.

— Дорогой мой, неужели вы думаете, что я забочусь о вас? — сбавила тон Хильда.

— А то о ком же? Зря лукавите. Я ведь вам без пяти минут родственник.

— До этого еще далеко, смею вас уверить.

— Не за горами, и я вас смею уверить. У меня иное понятие о разумном течении жизни, противоположное вашему. И оно куда как лучше. Ваша сестра приходит ко мне за своей долей ласки, и она ее получает. Она была у меня в постели, а вы с вашим разумением,— нет. Господь миловал.— Помолчав немного, он продолжал: — Если жизнь нежданно-негаданно подносит мне золотое яблочко на серебряном блюдечке, я с благодарностью принимаю его. Эта бабонька может дать мужчине огромное счастье. Не то что вы. А жаль, вы ведь тоже могли бы быть золотым яблочком, а не позлащенным скорпионом. Да не в те руки попали.

Он глядел на нее оценивающе, улыбаясь странной играющей улыбкой.

— Мужчин вроде вас следует изолировать от общества по причине их эгоизма, грубости и похотливости.

— Ах, мадам! Да это счастье, что в мире еще остались такие мужчины, как я. Между прочим, ваше озлобление не случайно. Вы расплачиваетесь за строптивость одиночеством, а оно озлобляет душу.

Хильда встала и пошла к двери. Он тоже встал и снял с крючка куртку.

— Я могу прекрасно найти дорогу и без вас,— сказала она.

— Не сомневаюсь.

И вот они идут обратно, опять смешной, молчащей цепочкой. Опять ухает сова, и егерь думает, что надо бы ее убить...

Автомобиль стоял за кустом в целости и сохранности. Хильда села в него и включила газ. Двое снаружи стояли молча.

— Я хотела одно сказать,— донеслось из машины,— боюсь, очень скоро вы оба разочаруетесь друг в друге.

— Что одному яд, другому — сладость,— отозвался из темноты егерь.— Для меня это не только сладость, для меня это жизнь.

Вспыхнули фары.

— Не опаздывай утром, Конни.

— Не опоздаю, спокойной ночи!

Автомобиль медленно въехал на шоссе, покатил в ночь, и скоро все опять стало тихо.

Конни застенчиво взяла его за руку, и они пошли по проселку обратно. Он молчал. Пройдя немного, Конни остановила его.

— Поцелуй меня,— прошептала она.

— Подожди, дай приду в себя,— сказал он.

Это ее рассмешило. Она все еще держала его за руку, и они быстро шли вперед. Оба молчали. Конни была счастлива: Хильда ведь могла настоять на своем и увезти ее. От этой мысли она даже вздрогнула. Он непроницаемо молчал.

Когда вошли в дом, Конни чуть не запрыгала от радости, что Хильды нет.

— Но ты ужасно разговаривал с Хильдой.

— Ее надо было шлепать в детстве.

— Зачем? Она такая славная.

Ничего не ответив, он стал убирать со стола, двигаясь без лишней суеты, по привычке. Внутренне он злился, но не на нее. Конни это чувствовала. Злость очень шла ему: он был в такие минуты особенно красив, независим и даже блестящ. Конни смотрела на него, и коленки у нее становились ватные.

А он все еще не обращал на нее внимания. Пока не сел и не стал расшнуровывать ботинки. Тут он взглянул на нее исподлобья, все еще не по-доброму, и сказал, кивнув головой в сторону горевшей на столе свечи:

— Возьми свечу и ступай наверх.

Она повиновалась и пошла наверх в спальню, а он не мог оторвать глаз от крутого изгиба ее бедер.

Это была запредельная ночь; поначалу ей было немного страшно и неприятно; но скоро она снова погрузилась в слепящую пучину чувственного наслаждения, более острого, чем обычные ласки, но минутами и более желанного. Чуть испуганно она позволила ему делать с собой все; безрассудная, бесстыдная чувственность как пожаром охватила все ее существо, сорвала все покровы, сделала ее другой женщиной. Это была не любовь, это был пир сладострастия, страсть, испепеляющая душу дотла. Выжигающая стыд, самый древний, самый глубокий, таящийся в самых сокровенных глубинах души и тела. Ей стоило труда подчиниться ему, отказаться от самой себя, своей воли. Стать пассивной, податливой, как рабыня — рабыня страсти. Страсть лизала ее языками пламени, пожирала ее, и, когда огонь забушевал у нее в груди и во чреве, она почувствовала, что умирает от чистого и острого, как булат, блаженства.

В юности она не раз задавалась вопросом, что значат слова Абеляра об их с Элоизой любви. Он писал, что за один год они прошли все ступени, все изгибы страсти. Одно и то же всегда — тысячу лет назад, десять тысяч лет назад, на греческих вазах — всюду! Эксцессы страсти, выжигающие ложный стыд, выплавляющие из самой грязной руды чистейший металл. Всегда было, есть и пребудет вовеки.

В ту короткую летнюю ночь Конни столько узнала. Испытав такое, женщине полагалось бы умереть со стыда. На самом деле умер стыд, органический стыд — оборотная сторона физического страха. Этот стыд-страх гнездится в тайных закоулках тела, и выжечь его может только страсть. Конни познала себя до самых темных глубин души. Добралась до скальной породы своего существа, преступила все запреты, и стыд исчез. Она ликовала. Из груди у нее рвалась хвалебная песнь. Вот, значит, как оно должно быть. Вот что такое жизнь.

Этот мужчина был сущий дьявол! Какой сильной надо быть, чтобы противостоять ему. Не так-то просто было взять последний бастион естественного стыда, запрятанного в джунглях тела. Только фаллос мог это свершить. И как мощно он вторгся в нее!

Как она страшилась его и потому ненавидела. И как на самом-то деле желала. Теперь она все поняла. В глубине сознания она давно ждала этого фаллического праздника, тайно мечтала о нем, боялась — ей это не суждено. И вот свершилось: мужчина делит с ней ее последнюю наготу. И стыд в ней умер.

Как лгут поэты, и не только они! Читая их, можно подумать, что человеку нужны одни сантименты. А ведь главная-то потребность — пронзительный, внушающий ужас эрос. Встретить мужчину, который отважился на такое и потом не мучился раскаянием, страхом расплаты, угрызениями совести,— это ли не счастье! Ведь если бы потом он не мог поднять глаз от стыда, заражая стыдом и ее, надо было бы умереть. Какая жалость, что большинство мужчин в любви претенциозны и чуть стыдливы. Таков был Клиффорд. Таков Микаэлис. Высшие радости ума... Что от них женщине? Да и мужчине тоже, если подумать. От одних этих радостей ум становится вялым, претенциозным. Нужен чистый эрос, тогда и ум оттачивается и яснеет. Огненный эрос, а не нагоняющая сон тягомотина.

Господи, как редко встречаются настоящие мужчины! Все они — псиной породы, бегают, нюхаются и совокупляются. Боже мой, встретить мужчину, который бы не боялся и не стыдился! Конни взглянула на него — спит как дикий зверь на приволье, отъединившись от всех. Она свернулась клубочком и прильнула к нему, чтобы подольше не расставаться.

Он проснулся первый, и сон сразу слетел и с нее. Он сидел в постели и любовался ею. Она видела в его глазах отражение своей наготы. И это полное знание ее тела, прочитанное в глазах мужчины, опять возбудило ее. О, как славно, как сладко ощущать в себе, еще не очнувшейся ото сна, тяжелую разлитую страсть.

— Пора вставать? — спросила она.

— Половина седьмого.

Ей надо быть у моста в конце проселка в восемь. Всегда, всегда эти преследующие тебя внешние обстоятельства!

— Я пойду приготовлю завтрак и принесу сюда, хорошо?

— Да, конечно.

Флосси тихонько поскуливала внизу. Он встал, сбросил пижаму и вытерся полотенцем. Когда человек отважен и полон жизни, нет существа прекраснее его, думала Конни, молча глядя на егеря.

— Отдерни, пожалуйста, занавески,— попросила она.

Солнечные лучи уже играли на свежей утренней зелени, неподалеку синел весенний лес.

Она села в постели, глядя сонными глазами в окно, обнаженными руками сжав груди. Он одевался. Она сквозь полудрему мечтала о своей жизни с ним; просто о жизни.

Он уходил от нее, бежал от ее опасной и вместе пугливой наготы.

— А моя сорочка совсем куда-то исчезла? — спросила она.

Он сунул руку в недра постели и вытянул кусок тонкого шелка.

— То-то я чувствовал, мою лодыжку что-то обвило.

Сорочка была разорвана почти пополам.

— Ничего. Она часть этой постели. Я ее оставлю здесь,— сказала Конни.

— Оставь. Я буду класть ее ночью между ног, для компании. На ней, надеюсь, нет имени или метки.

Она накинула на себя порванную сорочку и сидела, сонно глядя в окно. Окно было распахнуто, в комнату вливался свежий утренний воздух, наполненный щебетанием. Птицы носились за окном туда и сюда. Из дома вышла погулять Флосси. Занималось утро.

Внизу егерь разводил огонь, качал воду, хлопал задней дверью. Вот снизу донесся запах жареного бекона, и наконец он вошел с огромным черным подносом в руках, едва прошедшим в дверь. Он опустил поднос на постель и стал разливать чай. Конни, кое-как прикрытая порванной сорочкой, с жадностью набросилась на еду. Он сидел на единственном стуле, держа тарелку на коленях.

— Ах, как замечательно! — сказала Конни.— Как замечательно завтракать вдвоем.

Он ел молча, мысленно отсчитывая последние минуты, летевшие так быстро. Конни это чувствовала.

— Как бы мне хотелось остаться здесь у тебя насовсем и чтобы Рагби-холл унесся за миллион миль отсюда. На самом-то деле я уезжаю от всего, что он олицетворяет. Ты ведь понимаешь это? Да?

— Да.

— Ты обещаешь, что мы будем жить вместе, одной жизнью, ты и я? Обещаешь?

— Да, когда сможем.

— А мы сможем, правда? — Она потянулась, пролила чай и схватила его за руку.

— Правда,— сказал он, вытирая пролитый чай.

— Теперь нам уже нельзя жить врозь, да? — умоляюще проговорила она.

Он поглядел на нее, улыбнувшись своей мимолетной улыбкой.

— Нельзя,— ответил он.— Только тебе выходить уже через двадцать пять минут.

— Через двадцать пять минут? — воскликнула она, как вдруг он предупреждающе поднял палец и встал.

Флосси коротко зарычала, затем послышался громкий предупреждающий лай.

Ни слова не говоря, он поставил тарелку на поднос и пошел вниз. Констанция слышала, как он отворил дверь и зашагал по садовой дорожке. Оттуда донесся велосипедный звонок.

— Доброе утро, мистер Меллорс! Вам заказное письмо!

— Заказное?. Карандаш есть?

— Есть.

Голоса смолкли.

— Из Канады,— опять сказал незнакомый голос.

— Вон откуда. От приятеля. Он живет в Британской Колумбии[1].

— Наверное, шлет вам капитал.

— Скорее всего, просит чего-нибудь.

Опять молчание.

— Какой прекрасный будет день!

— Да.

— Ну, пока.

— Пока.

Немного спустя егерь опять поднялся в спальню.

— Почтальон,— с досадой проговорил он.

— Так рано,— заметила она.

— Деревенский обычай. Он всегда бывает здесь в семь, если есть почта.

— Твой приятель правда шлет тебе капитал?

— Да нет, несколько фотографий и газетные вырезки о Британской Колумбии.

— Ты хочешь туда уехать?

— А чем Канада хуже какого-нибудь другого места?

— Ничем. Я уверена, там будет очень хорошо.

Но он был явно раздосадован появлением почтальона.

— Эти чертовы велосипедисты. Застанут врасплох — глазом не успеешь моргнуть. Надеюсь, он ничего подозрительного не заметил.

— А что тут можно заметить?

— Скорее вставай и одевайся. А я пойду схожу на разведку.

Конни посмотрела, как он идет по проселку с ружьем и собакой. Потом спустилась вниз, умылась; когда он вернулся, она была совсем готова, даже успела сложить в шелковую сумочку кое-какую мелочь.

Он запер дверь, и они пошли, но не проселком, а через лес. Из осторожности.

— Ты не думаешь, что человек годы живет ради одной такой ночи? — сказала ему Конни.

— Но об этих-то годах приходится думать,— резко возразил он.

Они шагали по заросшей травой стежке, он — впереди, она — сзади, храня молчание.

— Но мы ведь будем жить вместе, одной жизнью, правда? — не унималась Конни.

— Будем,— ответил он, не оборачиваясь.— Когда придет срок. А пока ты едешь одна в Венецию или еще куда-то там!

Она шла за ним молча, сердце у нее ныло. Еще несколько минут, и она правда уедет.

Наконец, он остановился.

---

[1] Провинция на юго-западе Канады.

— Я сверну сюда,— сказал он, махнув рукой вправо,— а ты подожди здесь.

Конни бросилась к нему, обняла за шею и прижалась всем телом.

— Ты не разлюбишь меня? — прошептала она.— Мне было так хорошо этой ночью. Пожалуйста, побереги для меня свою нежность.

Он поцеловал ее, прижал на миг. Вздохнул, снова поцеловал.

— Пойду посмотрю, подъехал ли автомобиль.

Он пошел прямо через заросли папоротника и ежевики, оставляя за собой в траве след. Минуты через две-три он вернулся.

— Машины еще нет,— сказал он.— А на дороге я заметил телегу булочника.

Вид у него был озабоченный и даже чуть встревоженный.

— Тихо!

Они ясно услышали гудок автомобиля, едущего по мосту.

Она двинулась через папоротники по его следу, чувствуя в душе похоронную тоску, и скоро подошла к высокой зеленой изгороди из тесно растущих падубов. Егерь немного отстал.

— Иди сюда! Здесь можно пройти,— сказал он, показывая на узкий проем в кустарнике.

Конни посмотрела на него глазами, полными слез. Он поцеловал ее и подтолкнул вперед. Она продралась через кустарник, ничего не видя перед собой, потом перескочила через забор, оступилась, попав ногой в небольшую канавку, и вышла на проселок. Хильда как раз в эту минуту раздраженно выходила из машины.

— Ах, ты уже здесь,— сказала она.— А где он?

— Остался там.

Садясь в машину со своей маленькой сумочкой, Конни обливалась слезами. Хильда протянула ей автомобильный шлем с очками.

— Надевай,— сказала она.

Конни надела шлем, натянула длинное дорожное пальто и села — очкастое, марсианское, неузнаваемое существо. Хильда с суровым, деловым видом включила газ, и машина покатила. Подпрыгивая на неровностях, выехали на дорогу — и прощай, Рагби. Констанция обернулась, но дорога была пуста. Вперед! Вперед! Слезы катились по ее щекам не переставая. Расставание произошло так внезапно, так наспех. Страшнее, чем смерть.

— Слава Богу, ты на какое-то время оторвешься от него,— сказала Хильда, сворачивая в объезд Кросс-Хилла.

Глава 17

— Понимаешь, Хильда,— начала Конни разговор после обеда, когда они подъезжали к Лондону,— ты никогда не знала ни настоящей нежности, ни настоящей страсти; а если бы ты когда-нибудь испытала это, ты бы сейчас рассуждала иначе.

— Ради всего святого, перестань хвастаться своим эротическим опытом,— ответила Хильда.— Я еще ни разу не встречала мужчину, который был бы способен на близкую дружбу с женщиной, был бы способен безраздельно отдать ей всего себя. Меня не прельщает их эгоистическая нежность и похоть. Я никогда не соглашусь быть для них игрушкой в постели, их chair à plaisir [1]. Я хотела полной близости и не получила ее.

Конни задумалась над словами сестры. Полная близость. По-видимому, это значит — полная откровенность с твоей стороны и полная откровенность со стороны мужчины. Но ведь это такая скука. И все эти убийственные копания друг в друге. Какая-то болезнь.

---

[1] Забава (*франц.*).

— Мне кажется, ты слишком рассудочна в отношениях с мужчинами,— сказала она сестре.

— Возможно, зато натура у меня не рабская,— возразила Хильда.

— А может, в каком-то смысле и рабская. Ты — раба собственного представления о себе.

После этой неслыханной дерзости Хильда какое-то время вела машину молча. Что стала себе позволять эта паршивка Конни!

— По крайней мере я раба своего представления о себе, а не мужниной прислуги,— мстительно сказала она. Ее раздражение вылилось в откровенную грубость.

— Ты несправедлива,— тихо ответила Конни.

Прежде она всегда и во всем подчинялась старшей сестре. И вот теперь, хотя душа у нее исходила слезами, в ней росло радостное чувство освобождения. Да, для нее начиналась новая жизнь, в которой не будет места этому проклятию — женскому тиранству. Как все-таки злы и несносны бывают женщины!

Констанция рада была пожить с отцом. Она всегда была его любимицей. Они с Хильдой остановились в маленькой гостинице недалеко от Пэлл-Мэлла. Сэр Малькольм — в своем клубе. Но вечером он вывез их в оперу, и они прекрасно провели время.

Он все еще был красив и крепок, но немножко побаивался нового поколения, подрастающего рядом с ним. Его вторая жена осталась в Шотландии, она была значительно моложе и богаче его. И он старался как можно чаще устраивать себе холостяцкие каникулы вдали от дома, как бывало и с первой женой.

Конни сидела в опере рядом с отцом. Он был умеренно грузноват, его плотные ляжки были все такие же сильные и ладные, ляжки здорового человека, который не отказывал себе в чувственных удовольствиях. Его добродушный эгоизм, неодолимая потребность независимости, не ведающее раскаяния сластолюбие —все это, по мнению Конни, символически выражалось в его плотных ляжках. Такой вот мужчина ее отец, начинающий, к сожалению, стареть. Стареть, потому что в его ладных, крепких мужских ногах начисто отсутствовала легкая, чуткая быстрота — главный признак молодости.

Конни вдруг обратила внимание на ноги других людей. Они показались ей важнее, чем лица, которые были по большей части маски. Как мало на свете чутких, проворных ног. Она пробежала взглядом по сидящим в партере мужчинам. Огромные тяжелые ляжки, затянутые в черную мягкую ткань, тощие, костистые жерди в черном похоронном облачении, или вот еще — стройные молодые ноги, в которых отсутствует всякий смысл — ни нежности, ни чувственности, ни проворства — ни то ни се, приспособления для ходьбы. Нет в них и женолюбивой крепости отцовских ног. До чего все замордованы, ни проблеска жизни.

А вот женщины не замордованы. Не ноги у большинства, а колонны. Чудовищны до того, что убей их обладательницу и тебя оправдают. Вперемежку с ними то жалкие худые спицы, то изящные штучки в шелковых чулках, но неживые. Кошмар — миллионы бессмысленных ног бессмысленно снуют вокруг во всех направлениях.

Лондон не радовал Конни. Люди в нем казались пустыми, как призраки. Лица не светились счастьем, как бы красивы и оживленны ни были. Все мертво, неинтересно. А Конни с присущей женщинам слепой жаждой счастья всюду искала перышки этой синей птицы.

В Париже хоть немного повеяло чувственностью. Но какой измученной, усталой, поблекшей. Поблекшей от недостатка нежности. О, Париж был полон грусти. Один из самых грустных городов, измученный современной механической чувственностью, усталый от вечной погони за деньгами. Деньги, деньги! Усталый даже от собственного тщеславия и брюзжания, усталый до смерти, но не научившийся еще по при-

меру американцев или лондонцев скрывать усталость под маской новомодных побрякушек. Ах, все эти фланирующие франты, манящие взгляды записных красоток, все эти едоки дорогих обедов. Какие они все усталые от недостатка нежности — даримой и получаемой. Самоуверенные, иногда и красивые парижанки кое-чем владеют из арсенала страсти; в этом они, пожалуй, превзошли механизированных английских сестер. Но нежность им и во сне не снилась. Сухие, вечно взнузданные собственной волевой рукой, они тоже устали, тоже пресытились. Человеческий обезьянник дряхлеет. Возможно, накапливает в себе разрушительные яды. Какая-то всеобщая анархия! Вспомнился Клиффорд с его консервативной анархией. Возможно, он скоро утратит свой консерватизм. И запишется в радикальные анархисты.

Конни поеживалась от страха перед окружающим миром. Изредка радостное мироощущение возвращалось к ней — на Бульварах, в Булонском лесу или в Люксембургских садах. Но Париж был переполнен американцами и англичанами; странными американцами в удивительных военных формах и обычными скучнейшими англичанами, которые за границей просто безнадежны.

Она с радостью простилась с Парижем. Вдруг стало очень жарко, и Хильда поехала через Швейцарию, перевал Бреннер, через Доломитовые Альпы, а там до Венеции рукой подать. Хильда обожала водить машину, распоряжаться и вообще править балом. Конни это вполне устраивало.

Путешествие действительно удалось. Только Конни не переставала себя спрашивать: почему ее по-настоящему ничто не радует, не вызывает восторга? Как ужасно, что меняющийся ландшафт совсем не интересен. Не интересен, и все. Это довольно-таки огорчительно. Она, как Святой Бернар, плыла по озеру в Люцерне и не видела вокруг себя ни гор, ни зеленой воды. Ее перестали трогать красивые виды. Зачем нужно таращить на них глаза? Зачем? Она, во всяком случае, не собирается.

Она ни от чего не пришла в восторг ни во Франции, ни в Швейцарии, ни в Тироле, ни в Италии. Просто проехала мимо. Все эти пейзажи, картины — как мираж, еще менее реальны, чем Рагби. Менее реальны, чем это ужасное поместье Чаттерли. Так что она не очень-то огорчится, если никогда больше не увидит ни Франции, ни Швейцарии, ни Италии. Пусть себе прозябают. Рагби был для нее большей реальностью.

Что до людей, они везде более или менее одинаковы. Они все хотят выманить у тебя как можно больше денег. Туристы же, разумеется, жаждут развлечений, зрелищ. Вроде выжимания крови из камня. Бедные горы, бедный пейзаж! Из них снова и снова выжимают кровь, чтобы потешить туристов. Интересно, какой из подавленных инстинктов стоит за этим вечным поиском развлечений?

Нет! — сказала себе Конни. Лучше уж оставаться в Рагби, там хоть можно гулять, наслаждаться покоем, не пялиться на красоты, не играть без устали какую-то роль. Ведь роль жаждущего развлечений туриста унизительна до отчаяния. Полная профанация всего.

Ей хотелось вернуться в Рагби, даже к Клиффорду, к бедному увечному Клиффорду. Он хотя бы не идиот, как эти толпы восторженных китайских болванчиков.

Но подспудно в ее душе жил образ другого мужчины. Нет, она не должна допустить, чтобы их связь прервалась, не должна; иначе она погибнет окончательно и бесповоротно в обществе богатых подонков, этих резвящихся, развлекающихся бычков. Еще одна сверхмодная болезнь.

Машину они оставили в гараже в Местре и поплыли в Венецию на обычном пароходике. Был чудесный летний день, поверхность мелководной лагуны морщило слабой зыбью. Залитая солнцем Венеция, ее тыльная сторона, витала в далеком мареве.

На причале они пересели в гондолу и дали гондольеру адрес. Это был обычный гондольер в белой с голубым блузе, не очень красивый, заурядный.

— Вилла Эсмеральда? Да, конечно, знаю. Меня нанимал один джентльмен с этой виллы. Но это очень далеко.

Гондольер был порывист в движениях и смахивал на мальчишку. Он греб с азартом, ведя гондолу по темным боковым каналам, стиснутым осклизлыми зеленоватыми стенами, через самые бедные кварталы, где высоко над головой сушилось на веревках белье и пахло то слабее, то резче нечистотами.

Но вот, наконец, гондола вплыла в один из главных каналов, прямых и светлых, идущих к Большому каналу под прямым углом. Слева и справа тротуары, по которым гуляет праздная толпа, над водой перекинуты мостики. Сестры сидели под небольшим навесом, за ними возвышалась гибкая фигура гондольера.

— Синьорины долго пробудут на вилле Эсмеральда? — спросил он, отирая белым с голубым платком пот.

— Дней двадцать. Мы обе замужем,— ответила Хильда странным вкрадчивым голосом, отчего ее итальянский прозвучал еще сильнее на иностранный лад.

— Двадцать дней! — воскликнул гондольер. И после недолгого молчания продолжал: — Синьоры не хотят нанять гондолу на то время, пока они здесь? Поденно или на неделю.

Конни с Хильдой стали думать. В Венеции предпочтительно иметь свою гондолу, как в других местах автомобиль.

— А на вилле есть что-нибудь? Лодки хотя бы?

— Есть моторный катер и одна гондола. Но...

Это «но» означало — но они будут не ваши.

— А сколько это стоит?

— Тридцать шиллингов в день или десять фунтов в неделю.

— Это обычная цена? — спросила Хильда.

— Гораздо ниже. Обычная цена...

Сестры немного подумали.

— Хорошо,— сказала Хильда.— Приезжайте завтра утром, обо всем договоримся. Как вас звать?

— Джованни, — ответил он и затем спросил, в какое время приехать и кого ждать. У Хильды не было с собой визитных карточек. И Конни дала свою. Он быстро пробежал ее синими горячими глазами южанина, потом еще раз взглянул.— Ах! — просиял он.— Миледи, да?

— Миледи Констанца,— сказала Конни.

— Миледи Констанца,— повторил он, кивнул и спрятал карточку куда-то себе в блузу.

Вилла Эсмеральда была и правда далеко, на самом берегу лагуны, смотрела в сторону Кьоджи [1]. Дом был не очень старый, уютный, веранды выходили прямо на море, внизу большой сад с тенистыми деревьями, отгороженный от вод лагуны.

Хозяин виллы был грузный, грубоватого вида шотландец, который нажил в Италии перед войной большое состояние, а в во время войны за ультрапатриотизм ему был пожалован титул. Жена его была тощая, бледная, язвительная особа, не имеющая собственных денег и при этом имеющая несчастье то и дело улаживать весьма низкопробные интрижки мужа. Грубый нрав сэра Александра особенно проявлялся в обращении с прислугой, но зимой с ним случился легкий удар, и он стал более покладист.

Компания подобралась разношерстная и довольно скучная. Кроме сэра Малькольма и его двух дочерей было еще семеро гостей: шотландская пара также с двумя дочерями, молодая итальянская графиня-вдова, молодой грузинский князь и английский священник средних лет,

[1] Город в Италии на побережье Венецианского залива.

перенесший воспаление легких и для поправления здоровья находившийся при сэре Александре в качестве духовного лица. У грузинского князя, писаного красавца, не было за душой ни гроша, зато он прекрасно водил автомобиль — чего же более. Графиня, маленькая мягкая кошечка, была явно себе на уме. Простоватый с виду священник имел приход в Баксе, его семья — жена и двое детей — осталась дома. Семейство Гатри — мать, отец и две дочери — принадлежало к солидным эдинбургским буржуа, и развлекалось оно на старый добрый солидный лад, замахиваясь на все и не рискуя ничем.

Конни с Хильдой сразу же исключили из списка грузинского князя. Гатри были одного с ними круга, но очень скучны, к тому же дочерям пора замуж. Священник человек неплохой, только уж слишком подобострастен. Сэр Александр после недавнего удара стал тяжеловат на подъем, но присутствие стольких красивых женщин все еще волновало его. Леди Купер, спокойная, с кошачьей повадкой, ко всем женщинам без исключения относилась с ледяной подозрительностью — это вошло ей в плоть и кровь. Она была не прочь сказать мелкую гадость, что выдавало ее истинное отношение к человечеству. Она тоже была высокомерна с прислугой, но никогда не повышала тона, отметила Конни. Надо отдать должное леди Купер, она была умной женой. В этом замкнутом мирке сэр Александр со своим плотным, якобы добродушным брюшком, убийственно плоскими шутками — «юморошеством», как говорила Хильда,— чувствовал себя некоронованным правителем.

Сэра Малькольма в Венеции потянуло к мольберту. Ухватив то здесь, то там венецианский вид, не похожий на шотландские красоты, он спешил запечатлеть его на холсте. По утрам он обычно уплывал с огромным холстом на свою «площадку». Немного позже отплывала в сердце Венеции со своими альбомами и красками леди Купер. Она была заядлой акварелисткой, стены ее дома пестрели розовыми дворцами, темными каналами, качающимися мостиками, средневековыми фасадами и прочей венецианской экзотикой. Еще позже семейство Гатри, грузинский князь, графиня, сэр Александр, иногда и священник мистер Линд отправлялись в Лидо, купались, загорали и возвращались к ленчу в половине второго.

Домашние сборища были поразительно скучны. Но сестры от этого не страдали. Их день-деньской не было дома. Отец возил их на выставки, и они смотрели бесконечные мили наводящих уныние полотен. Он брал их к своим дружкам на виллу Люччезе, сидел с ними теплыми вечерами на площади за столиком у Флориана, он водил их в театр на пьесы Гольдони. Были иллюминированные праздники на воде, танцы. Венеция была курортом курортов. Пляжи Лидо с тысячами тел, голых, ошпаренных солнцем или прикрытых пижамами, вызывали в воображении берег с тюленями, выползшими из воды для спаривания. Слишком много людей на площади, конечностей и торсов на пляжах Лидо, слишком много гондол, моторных лодок, пароходов; слишком много голубей, мороженого, коктейлей, лакеев, считающих чаевые, слишком разноязычная толпа; обилие солнца, особых венецианских запахов, корзин клубники, шелковых шалей, огромных ломтей арбузов цвета сырой говядины на лотках — слишком много развлечений, слишком, невпроворот много!

Конни с Хильдой гуляли в легких открытых платьях, они знали здесь многих, многие знали их. Неожиданно возник из небытия Микаэлис.

— Привет! Где остановились? Идем есть мороженое! Едем куда-нибудь в моей гондоле!

Даже Микаэлис сумел здесь загореть. Но и то сказать — вся эта масса человеческой плоти не загорала, а пеклась на венецианском солнце.

Была все-таки в этом своя приятность. Почти развлечение. Но если говорить честно, эти коктейли, мороженое, бултыхание в теплой воде, горячий песок, горячее солнце, джаз, под который трешься живот о жи-

вот с мужчиной жаркими вечерами — все это был настоящий дурман, сродни наркотикам. В этом как раз все и нуждались: ласковая вода — наркотик; солнце — наркотик; джаз — наркотик; сигареты, коктейли, мороженое, вермут — все это были наркотики. Забыться! Наслаждений! Наслаждений!

Хильда не гналась за наслаждениями. Она любила наблюдать женщин, философствовать о них. Главный интерес женщины — другая женщина. Как она выглядит? Какого мужчину заарканила? Как он ее развлекает? Мужчины же были как большие псы в белой фланели, ждали, когда их погладят, поваляют, почешут, когда можно будет потереться живот о живот с какой-нибудь представительницей прекрасного пола.

Хильда любила джаз, любила телом прильнуть к мужчине, позволить ему диктовать движения; она долго скользила с ним по всему пространству танцевальной площадки, а потом вдруг бросала «это животное» и больше не замечала: ведь его взяли всего-навсего напрокат. А бедняжка Конни была несчастна. Она не танцевала под звуки джаза — противно прижиматься к чужому мужчине. А это месиво полуголых тел в Лидо — глупее зрелища не придумаешь. Как еще хватает на всех воды в лагуне! Ей не нравились хозяева — леди Купер и сэр Александр. И она злилась, если кто-нибудь, в том числе и Микаэлис, пытался заявить на нее права.

Лучшим развлечением оказалась их с Хильдой поездка на пустынный, усеянный галькой риф. Они долго купались там в одиночестве, оставив гондолу во внутренней лагуне рифа.

Джованни взял себе в помощь еще одного гондольера, потому что плыть было далеко, а он и на близком-то расстоянии весь обливался потом. Джованни был хороший гондольер, преданный, честный и начисто лишенный страстей. Итальянцы не знают, что такое страсть, слишком они поверхностны. Итальянец легко вспыхивает, горячится, но сильная, глубокая страсть не в его характере.

Джованни привязался к своим двум «леди», не больше и не меньше, чем к веренице предыдущих клиенток. Он был готов с ними спать, если они пожелают, и втайне надеялся на это. Они ведь могут щедро одарить его, что было бы кстати ввиду близившейся свадьбы. Он рассказал им о своей любви, и они благосклонно внимали ему.

Он думал, что эта дальняя поездка на уединенный пляж означает «бизнес»; под бизнесом он разумел l'amore [1]. Вот и пригласил напарника; путь-то дальний. Да и госпожи две. Две госпожи — два гребца. Безошибочная арифметика. К тому же обе госпожи красавицы. Он справедливо гордился ими. Платила ему синьора, она же всем и распоряжалась, но он надеялся, что его выберет для l'amore молодая леди. Помимо прочего, она всегда больше платит.

Его приятеля звали Даниеле. Он не был профессиональным гондольером, и в нем отсутствовали черты попрошайки и альфонса. Он был хозяином сандолы, большой лодки, в которой возят фрукты и всякую снедь с островов.

Даниеле был красив, высок, хорошо сложен; небольшую круглую голову облепляли мелкие тугие кудряшки, отчего он слегка напоминал льва. В отличие от Джованни, экспансивного, речистого и вечно навеселе, Даниеле все время молчал и греб легко и сильно, точно работал один, без напарника. Госпожи были для него только клиентки, отделенные невидимым, непроницаемым барьером. Он ни разу не взглянул на них. Его синие зоркие глаза глядели только вперед.

Это был настоящий мужчина. Он даже немного сердился на Джованни, когда тот, хватив изрядно вина, переставал грести споро и в лад. Это был мужчина того же склада, что и Меллорс, собой не торговал. Конни жалела будущую жену Джованни, легковесного и не знающего меры. А жена Даниеле, представлялось ей,— одна из милых венециан-

[1] Любовь (*итал.*).

ских женщин, скромная, похожая на цветок, какие все еще встречаются на окраинах этого города-лабиринта.

Какая тоска: мужчина сначала сделал проституткой женщину, а потом и сам стал торговать собой. Вон и Джованни — весь извелся, так хочется ему отдаться женщине. И, конечно, за деньги!

Конни глядела на далекую Венецию — розовый мираж над водой. Воздвигнутый по воле денег, процветающий по воле денег и мертвый. Деньги, деньги, деньги! Проституция и омертвление души и тела.

Но вот Даниеле же настоящий мужчина, способный хранить верность. На нем не обычная блуза гондольера, а голубой вязаный свитер. Даниеле грубоват, диковат и горд. Его нанял Джованни, в общем-то дрянь-человек, а того, в свою очередь, наняли женщины. Так оно и идет. Когда Иисус отказался от денег дьявола, тот, как еврей-банкир, все равно остался хозяином положения.

Конни вернулась домой, ослепленная голубым зноем лагуны. Дома ее ждало письмо. Клиффорд писал регулярно. Он писал умные литературные письма, хоть сейчас на страницы книги. Поэтому Конни и читала их без особого интереса.

Она была переполнена слепящим светом лагуны, соленым плеском волн, простором, пустотой, отсутствием всего. Только здоровье, здоровье, ослепляющее здоровье. И целительное для души; убаюканная здоровой легкостью тела, душа ее вознеслась над всеми горестями. А главное — беременность. Теперь она была в этом уверена. Так что ослепленье солнцем и солью лагуны, купание в море, охота за раковинами, горячая галька и скольжение гондолы — все это дополнилось ощущением зачинавшейся в ней новой жизни, ощущением благостным и ослепляющим.

Она уже пробыла в Венеции две недели и думала еще пробыть столько же, может, немного меньше. Потоки солнца выжгли представление о времени, все недавние события затопило счастье физического здоровья. Она словно парила в ослепительных потоках этого счастья.

Письмо Клиффорда спустило ее с небес на землю. «Между прочим, у нас был небольшой переполох,— писал он.— Пребывавшая в бегах жена нашего егеря Меллорса вдруг явилась к нему домой, но оказалось, что там ее никто не ждал. Он выставил ее вон и запер дверь. Молва утверждает, что этим дело не кончилось. Вернувшись вечером, он обнаружил эту давно уже не прекрасную леди в своей собственной постели puris naturalibus, то есть в чем мать родила. Она взломала окно и таким образом проникла в дом. Будучи не в силах выдворить весьма потасканную Венеру, он отступил и, как говорят, укрылся в доме своей матушки в Тивершолле. А в его доме обосновалась Венера из Отвальной, заявляя всем и каждому, что настоящая хозяйка в нем — она. Что до нашего Аполлона, он, по-видимому, переселился в Тивершолл. Я пересказываю все это со слов других, поскольку Меллорс пока еще у меня не был. Узнал я эти местные сплетни от нашей сороки, миссис Болтон. Я бы не стал тебе все это писать. Но миссис Болтон воскликнула: «Ее милость никогда больше не пойдет в лес, если узнает, что может наткнуться на эту гадкую женщину».

Мне понравилась нарисованная тобой картина — сэр Малькольм вышагивает в воде, его белые волосы раздувает ветром, розовое тело сияет. Я завидую вам, вы наслаждаетесь солнцем, а у нас тут дожди. Но не завидую сэру Малькольму, его неистребимой чувственной ненасытимости. Возраст, как видно, ему не помеха. Возможно, с годами человек становится все более ненасытным, все более ощущает свою тленность. Только юность способна верить в бессмертие».

Эта новость, разбившая вдребезги ее отрешенное состояние блаженства, повергла Конни на грань истерики. Теперь ее будет терзать эта мерзавка! Начинаются ее мучения! А от Меллорса ни строчки. Правда, они уговорились не писать, но хотелось бы все узнать от него самого. В конце концов, он отец ее будущего ребенка. Мог бы и написать!

Но как это ужасно! Как все запуталось! Подлые простолюдины! Как прекрасно жить под венецианским солнцем, среди этой праздности, и как гнусно там, в черной, дождливой Англии. Безоблачное небо, наверное, самая важная на свете вещь.

Конни никому не стала говорить о беременности, даже Хильде. Прочитав послание Клиффорда, она села и написала письмо миссис Болтон с просьбой подробно сообщить ей обо всем происшедшем.

На виллу Эсмеральда заехал проездом в Рим давний приятель семьи, художник Дункан Форбс. Он стал третьим в их гондоле, купался с ними на той стороне лагуны, всюду сопровождал их — спокойный, скупой на слова молодой человек, преуспевший в живописи.

Вскоре Конни получила ответ от миссис Болтон. Та писала: «Вы очень обрадуетесь, ваша милость, увидев сэра Клиффорда. У него цветущий вид, хотя он много и усердно работает. Он полон надежд и планов. И, конечно, очень хочет поскорее увидеть вас. Дом без вас опустел, и мы все будем счастливы, когда вы вернетесь. Вы спрашиваете про мистера Меллорса. Не знаю, что именно сэр Клиффорд вам написал. Я могу только сообщить следующее. К нему неожиданно вернулась жена. Он пришел в обед из леса, а она сидит у него на крыльце. Сказала, что вернулась и хочет опять с ним жить, что она его законная жена и не собирается разводиться. (Говорят, что мистер Меллорс начал дело о разводе.) Он отказался с ней разговаривать, в дом ее не пустил, не вошел сам, а повернулся и удалился опять в лес. Когда он вечером вернулся, дом был взломан. Он поднялся наверх взглянуть, не натворила ли она чего. А она лежит голая на его кровати. Он предложил ей денег, но она стала орать, что она его жена и пусть он берет ее обратно. Не знаю, о чем они договорились. Мне это рассказала его мать, она, естественно, очень расстроена. Меллорс сказал, что жить с ней не будет, забрал вещи и отправился к матери, которая живет в верхней части Тивершолла. Там он переночевал, а наутро пошел в лес, держась от своего дома подальше. В тот день они, кажется, не виделись. На другой день она пошла к своему брату Дану, который живет в Беггерли, ругалась и кричала, что она законная жена, а он водит к себе женщин: она нашла флакончик духов у него в комоде и в пепельнице окурки сигарет с золотыми кончиками, и не знаю что еще. А почтальон Фред Кирк сказал, что слышал, как рано утром кто-то разговаривал в спальне Меллорса, и видел автомобиль, оставленный на проселке. Мистер Меллорс теперь живет у матери и ходит в лес через парк, а она, кажется, поселилась у него в доме. Пошли всякие пересуды. Тогда мистер Меллорс с Томом Филипсом вынесли из дома всю мебель, кровать и открутили у насоса ручку; без воды ведь не проживешь. Но в Отвальную Берта не вернулась, а поселилась в Беггерли у миссис Суэйн, потому что жена Дана не пустила ее к себе. Теперь она каждый день ходит к дому миссис Меллорс и караулит его там. Она всем клянется, что он переспал с ней у себя в доме, и ходила уже к адвокату — пусть его заставят платить ей алименты. Она огрубела, расплылась и сильна, как бык. Ходит всюду и болтает о нем всякое, что он водит к себе женщин; а когда с ней спал, проделывал Бог знает какие гнусности. Ужасно, когда обозленная женщина выворачивает наизнанку свою супружескую жизнь. Она может причинить большую беду. Какой бы мерзавкой она сама ни была, найдутся люди, которые поверят ей, и какая-нибудь грязь все равно пристанет. Просто ужасно, что она рассказывает про мистера Меллорса, какое он чудовище с женщинами. Люди ведь очень охотно верят россказням, особенно таким. Она заявила, что, пока жива, в покое его не оставит. Не могу понять, раз он такой плохой, почему она так хочет вернуться к нему. Правда, ей уже много лет, она ведь старше его, приближается критический возраст. Необразованные, истеричные женщины буквально сходят с ума в этот период».

Это был страшный удар для Конни. Жизнь припасла и для нее порцию грязи. Она негодовала на Меллорса за то, что он вовремя не

развязался с Бертой Куттс; нет, вернее, за то, что он вообще женился на ней. Может, у него пристрастие к половым извращениям? Она вспомнила последнюю с ним ночь и содрогнулась. Значит, для него все это было в порядке вещей, значит, он был так же близок и с Бертой. Какая мерзость! Нет, с ним надо расстаться, освободиться от него. Нет сомнения, он просто раб низменных страстей.

Ей была отвратительна вся эта история, она почти завидовала девицам Гатри, их глупенькой угловатой невинности. Вот когда пришла боязнь, что люди могут узнать о ее связи с лесничим. Как это унизительно! Она совсем измучилась, она жаждала вернуться в лоно респектабельности, даже вульгарной, мертвящей респектабельности семейства Гатри. А если Клиффорд узнает о ее связи? Боже, какое унижение! Она боялась, смертельно боялась беспощадного суда общества. Ей даже почти захотелось освободиться от ребенка, очиститься от скверны. Короче говоря, ее обуял панический страх.

А флакончик духов — ведь это ее собственная глупость. Она не могла удержаться и надушила два-три платка и рубашки у него в комоде, просто из ребячества. А потом взяла и сунула флакончик Коти «Лесная фиалка» среди его вещей, пусть вспоминает ее. Сигаретные окурки оставила в пепельнице Хильда.

Она не утерпела и поделилась, правда частично, своими горестями с Дунканом Форбсом. Она не сказала ему, что была любовницей егеря, сказала только, что он был ей симпатичен.

— Поверьте,— сказал Форбс,— они не успокоятся, пока не доконают парня. Он ведь поднялся на ступеньку выше своего класса, но лицемерие нашего класса оттолкнуло его. И он предпочел одиночество. Таким не прощают. Особенно не прощают прямоту и свободу в сексе. Можно быть по уши в грязи, никто слова не скажет. Грязь даже по-своему привлекательна. Но если при этом ты не чувствуешь за собой вины и отстаиваешь право любить как хочется, берегись: эти ханжи не успокоятся, пока не сживут тебя со свету. Последнее бессмысленное табу — секс, как естественная жизненная потребность. Они сами не пробовали его и не позволят никому этого баловства. А в чем, в сущности, он виноват? Любил свою жену без оглядки? Так это его право. И она должна была бы этим гордиться. Но даже эта распутная тварь честит его как может, да еще натравила на него злобствующую толпу. Вот если бы он распустил нюни, покаялся в грехе и стал потихоньку дальше грешить — тогда другое дело. А он что себе позволил? Да, погубят они этого бедолагу.

После этого разговора Конни метнуло в другую сторону. В самом деле, что он такое совершил? Что плохого причинил он ей, Конни? Он доставил ей ни с чем не сравнимое наслаждение, он раскрепостил ее, пробудил жизненные силы. Дал выход ее горячей природной чувственности. И за все это они готовы растерзать его.

Нет, этого нельзя допустить. Она видела его как наяву: нагой, белотелый, загорели только лицо и руки, смотрит вниз, обращаясь к своей плоти как к отдельному существу, а на лице играет странная мерцающая улыбка. И опять в ее ушах зазвучали слова «не попка, а ладная, круглая, теплая печка». Она вновь ощутила его горячую ладонь на своих бедрах, в самых своих сокровенных местечках, как прощальное благословение. И опять зажегся огонь в ее чреве, опять подогнулись колени, и она сказала себе: «Ну нет, я не пойду против него, не пойду! Мой долг — быть рядом с ним, защитить его. И выстоять вопреки всему. Это он дал мне яркую, полнокровную жизнь. Что я была до него? И я не имею права предавать ни его, ни себя».

Сгоряча она допустила одну оплошность. Послала письмо Айви Болтон, вложив в него записку для егеря. В записке она писала: «Я очень огорчилась, узнав, что вытворяет твоя жена. Не принимай близко к сердцу. Не стоит того. Она просто истеричная женщина. Вся эта история так же внезапно кончится, как началась. Но я очень, очень переживаю

за тебя и только надеюсь, что сам ты не очень расстраиваешься. Истеричная женщина хочет причинить тебе боль, Бог с ней. Я буду дома через десять дней, надеюсь, к моему приезду все наладится».

Спустя недолго пришло еще одно письмо от Клиффорда. Он был явно чем-то расстроен.

«Я счастлив был узнать, что ты собираешься покинуть Венецию шестнадцатого. Но если тебе там хорошо, не торопись домой. Мы очень скучаем о тебе. Все в Рагби скучают. Но очень важно, чтобы ты в полной мере насытилась «солнцем, солнцем и пижамами», как говорится в проспекте, рекламирующем Лидо. Так что, пожалуйста, живи там подольше, если Венеция тебя радует, готовься к нашей все-таки весьма ужасной зиме. Даже сегодня идет дождь. Миссис Болтон смотрит за мной со всем усердием и прилежанием. Это удивительный человеческий экземпляр. Чем больше я живу, тем больше поражаюсь, какие странные существа люди. У некоторых, можно подумать, сто ног, как у стоножки, или по крайней мере шесть, как у омара. Человеческое достоинство, которое ожидаешь видеть в ближних своих, напрочь в них отсутствует. И не только в них, но и в какой-то мере во мне самом. Скандальная история с егерем продолжается и даже растет как снежный ком. В курсе дел меня держит миссис Болтон. Она напоминает мне рыбу. Пусть рыба нема, сплетню она выдыхает сквозь жабры. Ничто в них не задерживается, и ничто ее не удивляет. У меня такое впечатление, что события жизни других людей — кислород, которым поддерживается горение ее собственной жизни. Она с головой ушла в эту историю с Меллорсом. И когда я неосмотрительно что-нибудь спрошу, она тут же затягивает меня в этот омут. Больше всего ее возмущает — посмотрела бы ты, как талантливо она разыгрывает это возмущение,— жена Меллорса, которую она упорно называет Берта Куттс. Я знаю глубину падения подобных Берт; когда в мои уши перестают литься потоки сплетен и я медленно выплываю из омута и вижу белый свет за окном, я спрашиваю себя: полноте, да есть ли вообще белый свет?

Я полагаю абсолютной истиной ту мысль, что наш мир, который представляется нам верхним слоем, на самом деле — дно глубокого океана; наши деревья — подводная флора, а мы сами странные покрытые чешуей подводные чудища, питающиеся морской мелочью вроде креветок. Только изредка воспарит душа, пробившись сквозь толщу воды в царство эфира, чтобы глотнуть живительного воздуха. Я уверен, то, чем мы дышим — морская вода, а мужчины и женщины — разновидности глубоководных рыб.

Иногда душа, как чайка, выпархивает в экстазе на свет Божий после длительного разбоя в подводных глубинах. Такова уж, видно, наша планида — заглотив добычу, всплыть наверх и лететь в чистейшие эфирные сферы, позабыв на миг воды древнего Океана.

Когда я говорю с миссис Болтон, я чувствую, как меня тянет все глубже, глубже, на самое дно, где плавают, извиваясь, люди-рыбы. Плотоядные аппетиты понужают терзать добычу и снова вверх, вверх из тягучей влаги в разреженный эфир, из жидкости в сухость. Тебе я могу описать весь этот процесс. Но с миссис Болтон я только погружаюсь все глубже и под конец, как ни ужасно, сам путаюсь среди водорослей и бледных придонных чудовищ.

Боюсь, что мы потеряем нашего лесничего. Эта скандальная история с его беглой женой не затихла, а только еще разгорелась. В каких только неописуемых вещах его не обвиняют! И что любопытно, этой женщине, этому омерзительному слизняку, удалось склонить на свою сторону большинство шахтерских жен. И деревня сейчас кипит от злобы.

Я слыхал, что Берта Куттс повела осаду дома, где живет сейчас Меллорс, предварительно перевернув все вверх дном в нашем коттедже и лесной сторожке. А на днях она попыталась было отобрать свою

дочь; эта маленькая Ева возвращалась из школы домой, мать подошла к ней и взяла за руку. Но вместо того чтобы поцеловать любящую длань, девчонка сильно укусила и получила такую затрещину, что скатилась в канаву, откуда была извлечена негодующей бабушкой.

Эта женщина сумела-таки отравить ядовитой слюной все вокруг. Она взахлеб расписывает постельные подробности, которые обычно погребены в недрах семейных спален и свято охраняются супругами. Эксгумировав их после десятилетнего плена, она устроила своеобразный вернисаж — зрелище поистине чудовищное. Мне рассказали эти подробности Линли и доктор, последнего они немало позабавили. Конечно, ничего особенного в них нет. Человечество всегда испытывало повышенную тягу к необычным эротическим позам; и если мужу по вкусу тешиться с женой, выражаясь словами Бенвенуто Челлини, «на итальянский манер», что ж, как говорится, дело вкуса. Но я думаю, вряд ли наш лесничий до такой степени искушен. Не сомневаюсь, что Берта Куттс сама и научила его всему. Как бы то ни было, это их личные проблемы, и никому не должно быть до них никакого дела.

Тем не менее все только об этом и говорят, в том числе я. Лет десять назад общинное чувство пристойности в зародыше пресекло бы этот скандал. Но этого чувства больше не существует; жены шахтеров поднялись на врага, и языки их неукротимы. Можно подумать, что в последние пятьдесят лет все тивершольские младенцы были зачаты непорочно, а все наши матроны сияют добродетелью почище самой Жанны д'Арк. Тот факт, что наш достопочтенный егерь, возможно, любит развлекаться в духе Рабле, делает его в глазах тивершольцев чудищем пострашнее Крипена. Но ведь и тивершольцы хороши, если верить всему, что о них говорит местная хроника.

Но хуже другое — эта подлая Берта не ограничилась тем, что предала огласке собственный опыт и собственные беды. На каждом перекрестке она кричала до хрипоты, что ее муженек держал у себя в доме гарем, и наугад назвала несколько имен, очернив репутацию вполне достойных женщин. Дело, как видишь, зашло слишком далеко и пришлось обратиться к блюстителям порядка.

Я пригласил к себе Меллорса, так как эта женщина буквально поселилась в нашем лесу. Он пришел со своим обычным заносчивым видом: «Не троньте меня, и я вас не трону». Тем не менее я очень подозреваю, что парень чувствует себя как та собака с привязанной к хвосту жестянкой, хотя, надо сказать, держался он так, как будто никакой жестянки нет. Но я слыхал, что, когда он идет по деревне, матери прячут от него детей, будто это сам маркиз де Сад... Вид у него высокомерный, но боюсь, жестянка крепко-накрепко привязана к его хвосту и он мысленно не раз повторил вслед за доном Родриго из испанской баллады: «Ужален я в то место, чем грешил!»

Я спросил его, сможет ли он дальше охранять лес как положено Он ответил, что, по его мнению, он своими обязанностями не пренебрегает. Я сказал ему: эта женщина нарушает право владения, что не очень приятно. Он ответил, что у него нет полномочий арестовать ее. Тогда я намекнул на эту скандальную историю. «А-а,— сказал он,— баловались бы побольше со своими бабами, не стали бы перетряхивать чужую постель». Он сказал это с ноткой горечи; без сомнения, в его словах есть доля правды. Но вместе с тем они прозвучали непочтительно и неделикатно. Я ему и это намекнул. В ответ отчетливо брякнула жестянка. «Не в вашем положении, сэр Клиффорд,— сказал он,— корить меня за то, что между ног у меня кое-что есть».

И подобные вещи он говорит всем и каждому, без разбора, что отнюдь не располагает к нему людей. И пастор, и Линли, и Барроуз — все в один голос говорят: с ним надо расстаться.

Я спросил его, верно ли, что он принимал в коттедже замужних женщин, на что он ответил: «А вам какое дело до этого, сэр Клиф-

форд?» «Я не хотел бы,— ответил я,— чтобы и моего поместья коснулась порча нравов». «На чужой роток не набросишь платок, а тем более на роток тивершольских красоток»,— сказал он. Я потребовал все-таки, чтобы он сказал мне, честно ли он вел себя, живя на моей земле, и в ответ получил: «А почему бы вам не состряпать сплетню обо мне и моей суке Флосси? И это неплохо на худой конец». Словом, по части наглости с нашим лесничим тягаться трудно.

Тогда я спросил его, легко ли ему будет найти другую работу. На что он ответил: «Если вы хотите этим сказать, что отказываете мне от места, то не страдайте, мне это проще пареной репы». Так что, видишь, все разрешилось прекрасно, и в конце той недели он отсюда уедет. А пока начал посвящать в тайны своей нехитрой профессии младшего егеря Джо Чемберса. Я сказал, что уплачу ему при расчете еще одно месячное жалованье. Он мне ответил, что ему мои деньги не нужны: он не хочет облегчать мне угрызения совести. Я спросил его, что это значит. «Вы не должны мне ни одного пенни сверх заработанного,— сказал он.— А чужих денег я, разумеется, не беру. Если вы видите, что у меня сзади торчит рубаха, скажите мне прямо, а не ходите вокруг да около».

На этом пока все кончилось. Женщина куда-то исчезла; мы не знаем куда; если она сунет свой нос в Тивершолл, ее арестуют. А она, я слыхал, до смерти боится полиции, потому что знает ее слишком хорошо. Меллорс уезжает от нас в ту субботу, и все снова вернется на круги своя...

А пока, дорогая Конни, если тебе нравится в Венеции или в Швейцарии, побудь там до начала августа, я буду спокоен, что ты далека от всей этой грязи. К концу месяца, я надеюсь, все это уже быльем порастет.

Так что видишь, мы тут глубоководные чудища, а когда омар шлепает по илу, он может забрызгать любого. Приходится принимать это философски».

Раздражение Клиффорда, так явственно прозвучавшее в письме, отсутствие сочувствия кому-либо были очень неприятны Конни, но его послание она поняла гораздо лучше, чем полученное вскоре письмо от Меллорса. Вот что он писал:

«Тайное стало явным, кошка выскочила из мешка, а с ней и котята. Ты уже знаешь, что моя жена Берта вернулась в мои любящие объятия и поселилась у меня в доме, где, выражаясь вульгарно, учуяла крысу в виде пузырька Коти. Другую улику она нашла не сразу, а через несколько дней, когда подняла вой по сожженной фотографии. Она нашла в пустой спальне стекло от нее и планку. К несчастью, на планке кто-то нацарапал какую-то виньетку и инициалы К. С. Р. Тогда эти буквы ничего ей не сказали, но вскоре она вломилась в сторожку, нашла там твою книгу — автобиографию актрисы Джудит и на первой странице увидела твое имя — Констанция Стюарт Рид. После этого она несколько дней на каждом перекрестке кричала, что моя любовница не кто-нибудь, а сама леди Чаттерли. Слухи скоро дошли до пастора, мистера Барроуза и самого сэра Клиффорда. Они возбудили дело против моей верной женушки, которая в тот же день испарилась, поскольку всегда смертельно боялась полиции.

Сэр Клиффорд вызвал меня к себе, я и пошел. Он говорил обиняками, но чувствовалось, что он сильно раздражен. Он спросил, между прочим, известно ли мне, что затронута честь ее милости. Я ответил ему, что никогда не слушаю сплетен и что мне странно слышать эту сплетню из его уст. Он сказал, что это величайшее оскорбление, а я сказал ему, что у меня в моечной на календаре висит королева Мария, стало быть, и она соучастница моих грехов. Но он не оценил моего юмора. Он был так любезен, что назвал меня подонком, разгуливающим по его лесу с расстегнутой ширинкой на бриджах, я не остался в долгу и так же любезно заметил, что ему-то расстегивать не для чего.

В результате он меня уволил, я уезжаю в субботу на той неделе, «...и место его не будет уже знать его» [1].

Я поеду в Лондон и либо остановлюсь у моей старой хозяйки миссис Инджер, Кобург-сквер, 17, либо она подыщет мне комнату.

Как же это я мог забыть: грехи твои отыщут тебя, если ты женат и имя твоей жены Берта».

И ни слова о ней. Конни возмутилась. Он мог бы сказать хоть несколько утешительных, ободряющих слов. Но тут же объяснила себе — он дает ей полную свободу, она вольна вернуться обратно в Рагби к Клиффорду. Самая мысль об этом была ей ненавистна. Что за глупое письмо он написал, зачем такая бравада. Он должен был сказать Клиффорду: «Да, она моя любовница, моя госпожа, и я горжусь этим». Смелости не хватило.

Так, значит, ее имя склоняют вместе с его в Тивершолле! Мало приятного. Ну ничего, все это скоро, очень скоро забудется.

Она злилась сложной и запутанной злостью, которая отбивала у нее всякую охоту действовать. Она не знала, что делать, что говорить, и она ничего не делала и ничего не говорила. Продолжала жить в Венеции как жила, уплывала в гондоле с Дунканом Форбсом, купалась, лишь бы летело время. Дункан, который был отчаянно влюблен в нее десять лет назад, теперь опять влюбился. Но она сказала ему, что хочет от мужчин одного — пусть оставят ее в покое.

И Дункан оставил ее в покое и был очень доволен, что сумел совладать с собой. И все же он предложил ей свою любовь, нежную и странную. Он просто хотел постоянно быть рядом с ней.

— Ты когда-нибудь задумывалась,— сказал он однажды,— как мало на свете людей, которых между собой что-то связывает. Погляди на Даниеле! Он красив, как сын солнца. А каким одиноким выглядит при всей своей красоте. И ведь, держу пари, у него есть жена, дети, и он не собирается уходить от них.

— А ты спроси у него,— сказала Конни.

Дункан спросил. Оказалось, Даниеле действительно женат, у него двое детей, оба мальчики, семи и девяти лет. Но, отвечая, он не проявил никаких чувств.

— Может, именно тот, кто по виду один как перст, и способен на настоящую преданность,— заметила Конни.— А все остальные как липучки. Легко приклеиваются к кому попало. Такой Джованни.— И, подумав, сказала себе: «Такой и ты, Дункан».

Глава 18

В конце концов Конни надо было решиться на что-нибудь. Пожалуй, она покинет Венецию в ближайшую субботу, в тот день, когда он уедет из Рагби, то есть через шесть дней. Значит, в Лондоне она будет в тот понедельник, и они увидятся. Она написала ему на его лондонский адрес, просила ответить ей в гостиницу «Хартленд» и зайти туда в понедельник в семь часов вечера.

Она испытывала какую-то непонятную, запутанную злость — все остальные чувства пребывали в оцепенении. Она ни с кем ничем не делилась, даже с Хильдой, и Хильда, обиженная ее непроницаемым молчанием, близко сошлась с одной голландкой. Конни ненавидела болтливую женскую дружбу, а Хильда еще к тому же любила все разложить по полочкам.

Сэр Малькольм решил ехать с Конни, а Дункан остался с Хильдой, чтобы ей не пришлось ехать обратно одной. Стареющий художник любил путешествовать с комфортом: он заказал купе в Восточном экспрессе, не слушая Конни, которая терпеть не могла эти шикарные поезда,

[1] Книга Иова, 7, 10.

превратившиеся чуть не в бордели. Зато в Париж такой поезд домчит за несколько часов.

Сэр Малькольм всегда возвращался домой с унынием в сердце — так повелось еще со времени первой жены. Но дома ожидался большой прием по случаю охоты на куропаток, и он хотел вернуться загодя. Конни, загорелая и красивая, сидела молча, не замечая пробегающих за окном красот.

— Немножко грустно возвращаться в Рагби,— сказал отец, заметив ее тоскливое выражение.

— Еще не знаю, вернусь ли я в Рагби,— сказала она с пугающей резкостью, глядя в его глаза своими синими расширившимися глазами. В его синих выпуклых глазах мелькнул испуг, как у человека, чья совесть не совсем спокойна.

— Что это вдруг? — спросил он.

— У меня будет ребенок.

Она до сих пор не говорила об этом ни одной живой душе. А сказав, как бы преступила какой-то рубеж.

— А как ты знаешь?

— Вот так и знаю,— улыбнулась Конни.

— Конечно, не от Клиффорда?

— Нет, конечно. Совсем от другого мужчины.

Ей было приятно немного помучить отца.

— Я с ним знаком?

— Нет. Ты его никогда не видел.

Оба помолчали.

— Какие у тебя планы?

— В том-то и дело, пока никаких.

— А что Клиффорд? С ним это можно как-то уладить?

— Думаю, можно. После вашего последнего разговора он мне сказал, что не возражает против ребенка. Если, конечно, я не буду разглашать тайну рождения.

— Самое разумное, что можно придумать в его положении. Тогда, значит, все в порядке.

— В каком смысле? — Конни заглянула ему прямо в глаза. Они были большие, синие, как у нее, только смотрели чуть сконфуженно, как смотрит провинившийся мальчишка или скучающий себялюбец, добродушный и вместе ироничный.

— Значит, ты можешь подарить семейству Чаттерли и Рагби-холлу наследника и нового баронета?

Чувственное лицо сэра Малькольма расплылось довольной улыбкой.

— Я этого не хочу.

— Почему? Считаешь, что у тебя есть обязательства перед другим мужчиной? Хочешь знать мое мнение, дитя мое? Общество держится крепко. Рагби-холл стоит и будет стоять. Наш круг — более или менее надежная штука. И надо, по крайней мере внешне, соблюдать его правила. В частной жизни мы вольны потакать своим чувствам. Но чувства ведь непостоянны. Сегодня тебе нравится этот мужчина, через год — другой. А Рагби-холл незыблем. Не бросайся Рагби-холлом, раз уж он твой. А развлекаться — развлекайся на здоровье. Разумеется, ты можешь уйти от Клиффорда. У тебя есть независимый доход — единственная надежная опора. Но он не очень велик. Роди маленького баронета для Рагби-холла. И ты поступишь очень благоразумно.

Сэр Малькольм откинулся в кресле и опять улыбнулся. Конни молчала.

— Надеюсь, ты наконец-то встретила настоящего мужчину,— продолжал сэр Малькольм, чувствуя в крови молодой огонь.

— Да, и в этом все дело. Не так-то много сейчас настоящих мужчин.

— Не много, к сожалению,— согласился отец.— Но надо сказать, что и ему повезло. У тебя с ним нет никаких осложнений?

— Никаких! Он предоставил все решать мне.

— Вот и славно! Благородный молодой человек.

Сэр Малькольм сиял. Конни была его любимица, ему импонировала в ней женщина. Она не то, что Хильда, ничего не взяла от матери или почти ничего. Он всегда недолюбливал Клиффорда. И теперь был счастлив и как-то особенно нежен с дочерью, как будто неродившийся младенец был зачат им самим.

Он отвез ее в гостиницу «Хартленд», проводил в номер и отправился к себе в клуб. Конни отказалась провести с ним этот вечер.

В гостинице ее ждало письмо от Меллорса: «Я не могу прийти к тебе в гостиницу. Буду ждать тебя в семь у „Золотого петуха" на Адам-стрит».

И вот он стоит на лондонской улице — высокий, стройный, в темном из тонкой ткани костюме, совсем не похожий на егеря из Рагби-холла. Его отличало природное достоинство, но в нем не было того вида «от дорогого портного», присущего ее классу. Она, однако, с первого взгляда поняла, что может появиться с ним где угодно. В нем была порода, что ценится выше классовых признаков.

— Вот и ты! Ты прекрасно выглядишь!

— Я — да. Чего нельзя сказать о тебе.

Конни обеспокоенно вгляделась в его лицо. Похудел, обозначились скулы. Но глаза ласково улыбались, и у нее отлегло от сердца: с ним не надо соблюдать манеры. От него к ней шли волны тепла, и на душе у нее стало покойно, легко и радостно. Чисто женское обостренное сейчас чутье сказало ей: «С ним я счастлива». Никакая Венеция не могла дать ей этой полноты счастья и умиротворения.

— Тебе было очень плохо? — спросила она, сидя за столом напротив него. Он очень похудел, сейчас это было особенно заметно. Его рука, такая знакомая, лежала на столе покойно, как спящее животное. Ей так хотелось взять и поцеловать ее, но она не смела.

— Люди чудовищны,— сказал он.

— Тебя это очень мучило?

— Очень. И всегда будет мучить. Я знал, глупо мучиться, но ничего не мог поделать.

— Ты чувствовал себя как собака с привязанной к хвосту жестянкой? Это мне Клиффорд написал.

Он поднял на нее глаза. Жестоко передавать ему слова Клиффорда: гордость его была уязвлена.

— Да, наверное.

Конни еще не знала, в какое бешенство приводят его нанесенные ему оскорбления.

Оба замолчали надолго.

— Ты скучал обо мне? — первой заговорила Конни.

— Я был рад, что ты далеко от всего этого кошмара.

Опять молчание.

— А кто-нибудь поверил про нас с тобой?

— Никто. Даже на миг не могли себе представить.

— А Клиффорд?

— Думаю, тоже не поверил. Просто отмахнулся, не задумываясь. Но, разумеется, видеть ему меня после этого было не очень приятно.

— У нас будет ребенок.

С его лица как губкой стерло все чувства и мысли. Глаза потемнели; на нее точно смотрел дух черного пламени.

— Скажи, что ты рад! — Конни безотчетно потянулась к его руке. Она видела — в его лице на миг отразилось торжество. Но тут же исчезло, подавленное чем-то ей непонятным.

— Это — будущее,— проговорил он.

— Но разве ты не рад? — настаивала она.

— Я не верю в будущее.

— Ты только не волнуйся, это не накладывает на тебя никаких обязательств. Клиффорд будет растить его как своего родного ребенка, он даже обрадуется.

Конни заметила, как он побледнел, весь как-то съежился. И молчал.

— Мне лучше вернуться к Клиффорду и подарить Рагби-холлу маленького баронета?

Он глядел на нее, бледный, отчужденный. По лицу пробежала нехорошая усмешка.

— Ты не скажешь, конечно, кто отец ребенка?

— А Клиффорд все равно примет его. Если я захочу.

Он немного подумал и сказал, явно обращаясь к себе:

— В самом деле, а почему бы и нет?

И опять оба как воды в рот набрали — пропасть между ними ширилась.

— Скажи, ты хочешь, чтобы я вернулась к Клиффорду? — спросила Конни.

— А что ты сама хочешь?

— Я хочу жить с тобой,— сказала она просто.

Наперекор ему языки пламени побежали сверху вниз по телу, и он уронил голову. Затем вскинул на нее глаза — в них было то же далекое, отчужденное выражение.

— Подойдет ли тебе эта жизнь? У меня ведь ничего нет,— сказал он.

— У тебя есть то, чего нет у большинства мужчин. И ты это знаешь.

— Да, знаю, в каком-то смысле.— Подумав немного, он продолжал: — Обо мне говорили, что характер у меня женский. Это не так. И не этим объясняется то, что я не хочу убивать птиц, не гонюсь за деньгами и не забочусь о преуспеянии. Я мог бы далеко пойти в армии, но я не люблю армию. Хотя я прекрасно ладил с солдатами. Солдаты любили меня, а когда я сердился, они испытывали что-то подобное священному ужасу. Наша армия мертва, потому что ею командуют тупоголовые идиоты. Я люблю солдат, и они меня любили. Но я не выношу наглое, идиотское высокомерие сильных мира сего. Вот почему я и не преуспеваю. Я ненавижу беззастенчивую власть денег, ненавижу бесстыдное высокомерие правящих классов. Вот видишь, что я могу предложить женщине в этом мире.

— При чем здесь «могу предложить»? Это не деловое соглашение. Это любовь. Мы любим друг друга.

— Ты не права. Это не просто любовь. Жизнь — это движение, продвижение вперед. А моя жизнь катится не по той колее, по какой надо. Я знаешь кто — неиспользованный билет. И я не имею права втравливать женщину в мою жизнь. Во всяком случае, до тех пор, пока моя жизнь как-то не образуется, не обретет цели, какого-то импульса, чтобы нам двоим удержаться на плаву. Мужчина должен быть всерьез занят каким-то делом, если думает связать свою жизнь с женщиной и если это настоящая женщина. Я не могу быть просто твоим наложником.

— Почему?

— Потому что не могу. И ты такого мужа очень скоро возненавидишь.

— Ты все еще не веришь мне?

Он опять усмехнулся.

— У тебя деньги, положение. Решения принимаешь ты. Я не могу делать в жизни только одно — спать с женой.

— А что еще ты можешь?

— Ты вправе задать этот вопрос. Мое занятие как бы невидимка, но сам-то я все-таки вижу себя еще кем-то. Для меня моя дорога ясна, но другие не видят ее. Так что я могу их понять.

— А если ты будешь жить со мной, твоя дорога перестанет быть ясной?

Он долго думал, пока ответил:

— Возможно.

— А какая она, эта дорога? — тоже подумав, спросила Конни.

— Говорят тебе, она невидима, я не верю в этот мир, в деньги, в преуспеяние, не верю в будущее цивилизации. Если у человечества и есть будущее, то наше нынешнее общество должно быть коренным образом изменено.

— А каким должно быть это будущее?

— Одному Богу известно. Мне что-то мерещится, но ясно видеть мешает злость. Нет, сейчас я не знаю, каково будущее человечества.

— Хочешь, я тебе скажу? — Конни не сводила глаз с его лица.— Хочешь, я тебе скажу, что есть у тебя, чего нет у других мужчин? И что в конечном итоге определит будущее. Хочешь скажу?

— Ну, скажи.

— Смелость в чувствах. Вот что отличает тебя ото всех. Ты гладишь мою попу и говоришь, что она прекрасна.

Усмешка опять пробежала по его лицу.

— Вот, оказывается, что!

И снова молчание.

— Пожалуй, ты права,— наконец заговорил он.— Это действительно очень важно. Я это замечал и в отношениях с солдатами. Во время войны я чувствовал каждого солдата почти физически и никогда не подавлял в себе это чувство. Мне приходилось посылать их в ад, но боль их тела была и моя боль, и я хоть скупо, но сострадал им. Это дар сопричастности, как говорит Будда. Но даже он чуждается телесного сопричастия, простой физической близости. Такая близость должна быть и между мужчинами — суровое мужское тепло, а не идиотское рассусоливание. Это я и называю нежностью. А самая большая телесная близость — между мужчиной и женщиной. И вот этой-то близости мы боимся. Мы живем наполовину, чувствуем наполовину. Пора проснуться, черпать жизнь полной мерой. Это особенно важно для англичан, которые физически так далеки друг от друга. Мы должны быть нежнее, теплее. Это наша первостепенная нужда.

— Тогда почему же ты боишься меня?

Он долго смотрел на нее.

— Тут все дело в твоих деньгах и в твоем положении,— наконец выговорил он.

— Но разве во мне нет нежности? — спросила она с приглушенной страстью.

Взгляд у него потемнел, устремился в пространство.

— То есть, то нет, как и во мне.

— А ты мог бы поверить просто в нас с тобой? — спросила она с тревогой.

— Наверное, мог бы.

— Мне так хочется, чтобы ты взял меня сейчас на руки и сказал, что ты хочешь маленького,— сказала она после небольшой паузы.

Конни была такая теплая, красивая, зовущая, и он опять потянулся к ней.

— Может, пойдем ко мне,— предложил он.— Хотя это очень рискованно.

Они шли в сторону Кобург-сквер, выбирая боковые улочки. Он снимал мансарду в одном из домов на этой площади. Это была маленькая комната с газовой плитой, на которой он сам себе готовил, но опрятная и чистая.

Конни все сняла с себя и велела и ему раздеться. Чуть обозначившаяся беременность делала ее особенно привлекательной.

— Я не должен трогать тебя сейчас,— сказал он.

— Должен. Ты должен меня любить. И должен сказать, что никуда меня не отпустишь. Что мы будем всегда вместе. Что ты никому меня не отдашь.

Она легла рядом и крепко прижалась к его голому худому сильному телу — единственному своему прибежищу.

— Никуда тебя не пущу, раз ты так хочешь,— сказал он и обнял ее сильно, в обхват.

— И скажи, что ты рад ребенку,— повторила она.— Поцелуй мой живот и скажи — ты рад, что там маленький.

Это было для него гораздо труднее.

— Рожать на свет детей — мне самая эта мысль невыносима. Я не вижу для них будущего.

— Но ты ведь зародил его. Будь ласков с ним — это и есть его будущее. Поцелуй его.

По телу его пробежал трепет — она была права. «Будь ласков с ним, это и есть его будущее». Но он чувствовал только любовь к этой женщине. Он поцеловал ее живот, чрево, в котором зрел посеянный им плод.

— Люби, люби меня! — слепо приговаривала она, вскрикивая, как вскрикивала в последнюю секунду любовной близости. И он тихо овладел ею, чувствуя, как от него к ней идет поток нежности и участия.

И он понял: вот что он должен делать — касаться ее нежным прикосновением; и не будут этим унижены ни его гордость, ни его честь, ни мужское достоинство. Лишать ее своей любви, нежности только потому, что она богата, а он гол как сокол — ну нет, его честь и гордость не позволят этого. «Я стою на том, что людям не надо чуждаться телесной близости, что они должны любить друг друга,— думал он.— Мы ведем войну против денег, машин, вселенского лицемерия. И она мой союзник в этой борьбе. Слава Богу, я нашел женщину, нежную, отзывчивую, которая всегда за меня. Слава Богу, она не идиотка и не бой-баба... Нежная и добрая». И как только семя его излилось в нее, душа его соединилась с ее душой в едином творческом акте, более важном, чем зачатие.

Конни окончательно решила, что они никогда не расстанутся. Осталось только найти средства и способы, как устроить их жизнь.

— Ты ненавидишь Берту Куттс? — спросила она.

— Пожалуйста, не говори мне о ней.

— Буду говорить. Потому что когда-то ты любил ее. И был с ней близок так же, как со мной. Поэтому ты должен мне все рассказать. Ведь это ужасно — быть в такой близости, а потом возненавидеть. Как это может быть?

— Не знаю. Она все время вела со мной войну, всегда хотела подчинить своей воле, гнусной женской воле; отстаивала свою женскую свободу, которая приводит в конце концов к чудовищной разнузданности. Она дразнила меня своей свободой, как дразнят быка красной тряпкой.

— Но она по сей день привязана к тебе. Может, она все еще тебя любит.

— Что ты! Она помешалась от ненависти ко мне. Не хочет разводиться, чтобы превратить мою жизнь в ад.

— Но ведь когда-то она любила тебя?

— Никогда! Может, в какие-то минуты ее тянуло ко мне. Но я думаю, что даже это свое чувство она ненавидела. Какой-то миг любила и тут же затаптывала любовь. Вот тогда и начинался кошмар. Ей доставляло особое наслаждение измываться надо мной. И ничто не могло изменить ее. Почти с самого начала ее чувства ко мне были с отрицательным знаком.

— Может, она чувствовала, что ты ее не любишь по-настоящему, и хотела заставить тебя любить?

— Но способ она выбрала для этого чудовищный.

— Но ты ведь действительно ее не любил. И этим причинял ей боль.

— Как я мог ее любить? Я пытался. Но она всегда посылала меня в нокдаун. Давай не будем говорить об этом. Это рок. И она обреченная женщина. Если бы можно было, я бы пристрелил ее в тот раз, как фазана: это бешеная собака в образе женщины! Если бы можно было пристрелить ее и покончить разом с этой мукой! Подобные действия должны разрешаться законом. Когда женщина не знает удержу своим прихотям, она способна на все. Она становится опасна. И тогда выбора нет: кто-то должен пристрелить ее.

— А если мужчина не знает удержу своим прихотям, его тоже надо пристрелить?

— Да, конечно! Но я должен избавиться от нее. Иначе она снова объявится и доконает меня. Что я хотел сказать — мне надо получить развод, если это возможно. Так что мы должны быть предельно осторожны. Нигде не показываться вместе. Если она нас выследит, я за себя не ручаюсь.

Конни задумалась.

— Значит, нам пока нельзя быть вместе? — спросила она.

— По крайней мере, полгода, а может, и больше. Я думаю, что развод закончится в сентябре. Значит, до марта придется соблюдать предельную осторожность.

— А маленький родится в феврале.

— Провалились бы они в тартарары, все эти клиффорды и берты.

— Ты не очень-то к ним милостив.

— Милостив? К ним? Да предание смерти таких, как они,— акт величайшего гуманизма. Ведь их жизнь на самом деле — профанация жизни. Душа в такой оболочке испытывает адовы мучения. Смерть для нее — избавительница. Я просто должен получить разрешение пристрелить обоих.

— Но ты бы не смог их пристрелить.

— Смог бы. И пристрелил бы с меньшим угрызением совести, чем хорька. Хорек красивый, и не так много их осталось. А этим имя — легион. На них у меня рука не дрогнет.

— Слава Богу, что ты не можешь решиться на беззаконие.

— Да, не могу, к сожалению.

Конни было о чем подумать. Ясно, что Меллорс хочет бесповоротно избавиться от Берты. И он, конечно, прав: поведение Берты чудовищно. Значит, ей придется жить одной всю зиму до весны. Может, удастся за это время развестись с Клиффордом. Но как? На суде обязательно всплывет имя Меллорса. И это поставит крест на его разводе. Какая тоска! Неужели нельзя убежать куда-нибудь на край земли, чтобы освободиться от ненавистных уз.

Нельзя. В наши дни любой край земли в пяти минутах от Чаринг-кросс. Радио уничтожило расстояния. Царьки Дагомеи и ламы Тибета слушают передачи из Лондона и Нью-Йорка.

Терпение! Терпение! Мир — огромный, сложный и злокозненный механизм, и, чтобы избежать его сетей, надо вести себя хитро.

Конни решила открыться отцу.

— Понимаешь,— начала она,— он был лесничим у Клиффорда. Но до этого служил в армии офицером в Индии. А потом, как полковник Флоренс, решил воевать в одиночку.

Сэр Малькольм, однако, не разделял ее симпатий к беспокойному мистицизму знаменитого полковника. Он предвидел унизительную для себя шумиху; его рыцарскому достоинству более всего претила гордыня самоуничижения.

— Кто он по рождению, этот твой лесничий? — раздраженно спросил он.

— Он родился в Тивершолле, сын шахтера. Но он вполне пристоен.

Титулованный художник начал сердиться.

— Сдается мне, он не лесничий, а золотоискатель. А ты для него — золотая жила.

— Нет, папа, это не так. Когда ты его увидишь, ты сразу поймешь. Он — мужчина. Клиффорд давно невзлюбил его за непокорный нрав.

— По-видимому, в нем в кои-то веки заговорил здоровый инстинкт.

Скандальная связь дочери с лесничим — нет, он не может с этим смириться. Пусть бы связь, он не ханжа. Но не скандальная.

— Меня этот парень меньше всего волнует. Видно, что он сумел вскружить тебе голову. Но ты подумай, какие пойдут разговоры. Подумай о моей жене, как она это воспримет!

— Я знаю, досужие языки — это ужасно! Особенно если принадлежишь к хорошему обществу. К тому же он жаждет получить развод. И я подумала, может, мы вообще не будем упоминать имени Меллорса. Скажем, что этот ребенок от какого-то другого мужчины.

— От другого мужчины! От кого же?

— Ну, может, от Дункана Форбса. Мы с ним дружим всю жизнь. Он довольно известный художник. И я ему всегда нравилась.

— У-уф, черт побери! Бедняга Дункан! А ему-то от этого какая корысть?

— Не знаю. Но может, ему это даже понравится.

— Ты думаешь, понравится? Странный же он человек, если так. У тебя с ним что-нибудь было?

— Нет конечно. Да ему это и не надо. Для него счастье не в обладании, а чтобы я была рядом.

— Господи, что за поколение!

— Больше всего на свете он хочет, чтобы я позировала ему. Но я этого не хочу.

— Бог ему в помощь. Он и без того выглядит довольно-таки жалко.

— Но ты не возражаешь, если о нем будут говорить как об отце?

— Но, Конни, это же обман.

— Знаю. Это ужасно, но что я могу поделать.

— Обманывать, хитрить... Нет, я, видно, зажился на этом свете.

— Ты, конечно, можешь так говорить, если сам никогда не хитрил и не юлил в своей жизни.

— Но у меня это было совсем по-другому, уверяю тебя.

— У всех это по-другому.

Приехала Хильда и тоже взбесилась, услыхав новость. Она тоже не могла спокойно думать о таком позоре. Сестра беременна — и от кого? От егеря! Какое унижение!

— Но почему бы нам просто не исчезнуть — уехать тихонько от всех, хотя бы в Британскую Колумбию? Тогда никакого скандала не будет.

Нет, это их не спасет. Шила в мешке не утаишь. И если уж Конни собралась куда-то ехать со своим егерем, ей надо выйти за него замуж — так считала Хильда. Сэр Малькольм был иного мнения. Он надеялся, что эта интрижка рано или поздно кончится.

— Хочешь с ним познакомиться? — спросила Конни отца.

Сэр Малькольм не горел таким желанием. Еще меньше жаждал встречи бедняга Меллорс. И все-таки встреча состоялась — в приватном кабинете клуба за обеденным столом. Мужчины были одни; познакомившись, они оглядели друг друга с ног до головы.

Сэр Малькольм выпил изрядное количество виски. Меллорс тоже пил, но умеренно. Говорили об Индии — лесничий много о ней знал.

И только когда официант принес кофе и удалился, сэр Малькольм зажег сигару и выразительно произнес:

— Так что вы скажете о моей дочери, молодой человек?

По лицу Меллорса пробежала усмешка.

— А что такое, сэр, с вашей дочерью?

— Вы ей сделали ребенка, не так ли?

— Имел такую честь! — усмехнулся Меллорс.

— Господи помилуй, имел честь! — Сэр Малькольм жирно хохотнул и начал мужской, по-шотландски откровенный, разговор: — Так, значит, имел честь? Ну и как, ничего? Наверное, недурно, а?

— Недурно.

— Держу пари — то, что надо. Моя ведь дочь. Яблоко от яблони недалеко катится. Я всегда был хороший кобель. А вот ее мать... Господи, прости нас, грешных! — Он возвел глаза к небу.— Ты зажег ее, да-да, зажег. Я вижу. Ха-ха! У нее в жилах моя кровь. Поднес спичку к стогу сена. Ха-ха-ха! Должен признаться, я был очень рад. Ей этого не хватало. Она славная девочка, очень славная. И я всегда знал, она будет замечательной бабой, если найдется молодец, который сумеет запалить этот стог сена! Ха-ха-ха! Так ты, говоришь, егерь? А я бы сказал — удачливый браконьер. Ха-ха! Ладно, шутки в сторону, что же мы будем делать?

Разговор продвигался вперед черепашьим шагом. Меллорс был более трезв и старался держаться в рамках приличия, то есть почти все время молчал.

— Ты, значит, егерь, охотник? И то верно. Охотник за красной дичью. А ты знаешь, как баб проверяют? Я тебя научу. Щипни ей зад и сразу поймешь, на что она годна. Ха-ха! Завидую я тебе, мой мальчик. Тебе сколько лет-то?

— Тридцать девять.

Титулованный джентльмен поднял брови.

— Вон уже сколько! Ну что ж, тебе еще развлекаться добрых лет двадцать. Если судить по виду. Егерь егерем, но кобель ты хороший. В чем, в чем, а в этом я разбираюсь. Не то что эта медуза Клиффорд! Робкая барышня, нет в нем мужской жилы. А ты мне нравишься, мой мальчик. Бойцовый петух. Да, ты боец. Охотник! Ха-ха! Черт возьми, я бы тебе не доверил свои охотничьи угодья! Ну а если без шуток — что же мы будем делать? Эти чертовы старухи ведь съедят нас.

Если без шуток — договорились они до полного мужского взаимопонимания.

— Послушай, мой мальчик: если тебе нужна моя помощь, ты можешь положиться на меня. Егерь! Клянусь небом, это прекрасно. Мне это по душе. У девочки отважное сердце. Что? В конце концов, у нее есть небольшой капиталец. Небольшой, но голодать не придется. И я ей оставлю все, что у меня есть. Девочка этого заслуживает. Бросить вызов этому миру старых баб! Я всю жизнь старался выпутаться из женских юбок, да так и не выпутался. Ты сделан из другого теста, я это вижу. Ты — мужчина.

— Рад слышать. Меня до сих пор называли за глаза — жеребцом.

— А ты чего ожидал? Ты и есть жеребец для этих трухлявых старух.

Расстались они сердечно, и весь остаток дня Меллорс внутренне посмеивался.

На другой день все трое — Конни, Хильда и он — обедали в маленьком безымянном ресторанчике.

— Ужасное, ужасное положение,— начала разговор Хильда.

— Мне оно доставило много приятных минут,— улыбнулся Меллорс.

— Вам бы следовало повременить с детьми. Сначала, мне кажется, вы оба должны были развестись, а уж потом брать на себя такую ответственность.

— Господь поторопился раздуть искру,— усмехнулся Меллорс.

— Господь здесь ни при чем. У Конни есть свои деньги, на двоих хватит, но ситуация, согласитесь, невозможная.

— Да ведь вас эта ситуация только самым краешком задевает.

— Что бы вам принадлежать к ее кругу!

— Что бы мне сидеть в вольере зверинца!

Помолчали.

— По-моему, самое лучшее,— опять начала Хильда,— если Конни назовет виновником другого мужчину. Чтобы вы вообще не фигурировали.

— Мне кажется, я фигурирую довольно прочно.

— Я говорю о судебном процессе.

Меллорс вопросительно поглядел на Хильду: Конни так и не решилась посвятить его в этот план с Дунканом.

— Не понимаю.

— У нас есть знакомый, который, возможно, согласится выступить в суде как третье лицо, чтобы ваше имя вообще не упоминалось.

— Другой мужчина?

— Разумеется.

— Но разве у нее есть другой мужчина?

Он удивленно посмотрел на Конни.

— Конечно нет,— Конни поспешила его разуверить.— Это просто старый знакомый. У меня с ним ничего нет и никогда не было.

— Тогда чего ради он будет брать вину на себя? Какой ему от этого прок?

— Среди мужчин еще остались рыцари. Они готовы бескорыстно прийти на помощь женщине,— сказала Хильда.

— Камешек в мой огород? А кто этот рыцарь?

— Один наш знакомый шотландец. Мы дружим с детства. Он художник.

— Дункан Форбс,— догадался Меллорс: Конни рассказывала ему о нем.— И как же вы думаете организовать доказательства?

— Можно остановиться в одном отеле. Или даже Конни могла бы пожить у него.

— Было бы из-за чего огород городить.

— А что вы предлагаете? — спросила Хильда.— Если ваше имя выплывет, развода вам не видать. А от вашей жены, я слыхала, лучше держаться подальше.

— Все так!

Опять замолчали.

— Мы с Конни могли бы куда-нибудь уехать,— наконец проговорил он.

— Только не с Конни. Клиффорд слишком хорошо известен.

И опять гнетущее молчание.

— Так устроен мир. Если хотите жить вместе, не опасаясь судебного преследования, надо жениться. А чтобы жениться, вы оба должны быть свободны. Так что же вы думаете делать?

После долгого молчания он обратился к Хильде:

— А что вы скажете на этот счет?

— Во-первых, надо узнать, согласится ли Дункан играть роль третьего лица. Затем Конни должна уговорить Клиффорда дать ей развод. А вы должны тем временем благополучно завершить свой бракоразводный процесс. Сейчас же вам надо держаться друг от друга как можно дальше. Не то все погибнет.

— Безумный мир!

— А вы сами не безумцы? Да вы еще хуже.

— Что может быть хуже?

— Вы — преступники.

— Надеюсь, я еще смогу пару раз поупражнять свой кинжал,— усмехнулся он и, нахмурившись, опять замолчал.— Ладно,— прервал он молчание.— Я согласен на все. Мир — скопище безмозглых идиотов, а уничтожить его невозможно. С каким наслаждением я бы взорвал его ко всем чертям! Но вы правы, в нашем положении надо спасаться любой ценой.

Он посмотрел на Конни, и она прочла в его глазах усталость, униженность, страдание и гнев.

— Девонька моя! Мир готов забросать тебя камнями.

— Это ему не удастся,— сказала Конни. Она более снисходительно относилась к миру.

Выслушав сестер, Дункан настоял на встрече с потрясателем устоев; устроили еще один обед, на этот раз на квартире Дункана. Собрались все четверо. Дункан был коренаст, широкоплеч — этакий молчаливый Гамлет, смуглый, с прямыми черными волосами и фантастическим, чисто кельтским самолюбием. На его полотнах ультрамодерн были только трубки, колбы, спирали, расписанные невообразимыми красками; но в них чувствовалась сила и даже чистота линий и цвета; Меллорсу, однако, они показались жестокими и отталкивающими. Он не решался высказать вслух свое мнение — Дункан был до безрассудства предан своему искусству, он поклонялся творениям своей кисти с пылом религиозного фанатика.

Они стояли перед картинами Дункана в его студии. Дункан не спускал небольших карих глаз с лица гостя. Он ждал, что скажет егерь,— мнение сестер ему было известно.

— Эти холсты — чистейшее смертоубийство,— наконец сказал Меллорс.

Художник меньше всего ожидал от егеря такой оценки.

— Кто же здесь убит? — спросила Хильда.

— Я. Эти картины наповал убивают добрые чувства.

Дункан задохнулся от накатившей ненависти. Он уловил в голосе егеря нотки неприятия и даже презрения. Сам он терпеть не мог разговоры о добрых чувствах. Давно пора выбросить на свалку разъедающие душу сантименты.

Меллорс, высокий, худой, осунувшийся, смотрел на картины, и в глазах его плясало ночным мотыльком обидное безразличие.

— Возможно, они убивают глупость, сентиментальную глупость,— Дункан насмешливо взглянул на егеря.

— Вы так думаете? А мне сдается, все эти трубки, спирали, рифлености — глупы и сентиментальны. Они говорят, по-моему, о жалости художника к самому себе и о его болезненном самолюбии.

Лицо Дункана посерело. Не пристало художнику метать бисер перед невеждой. И он повернул картины к стене.

— Пора, пожалуй, идти в столовую,— сказал он.

И гости молча, удрученно последовали за ним.

После обеда Дункан сказал:

— Я согласен выступить в роли отца ребенка. Но при одном условии: я хочу, чтобы Конни мне позировала. Я несколько лет просил ее об этом. И она всегда отказывалась.

Он произнес эти слова с мрачной непреклонностью инквизитора, объявившего auto da fé.

— Значит, вы даете согласие только на определенных условиях?

— Только на одном условии.

Художник постарался вложить в эти слова все свое презрение. Перестарался и получил ответ:

— Возьмите и меня в натурщики для этих сеансов. Для картины «Вулкан и Венера в сетях искусства». Я когда-то был ковачом, до того как стать егерем.

— Благодарю за любезное предложение. Но, знаете ли, фигура Вулкана меня не вдохновляет.

— Даже рифленая?

Ответа не последовало: Дункан не снизошел.

Обед прошел уныло, художник не замечал присутствия другого мужчины и за все время произнес лишь несколько слов, и то как будто их клещами вытягивали из глубины его заносчивой, мрачной души.

— Тебе он не понравился, но на самом деле он гораздо лучше. Он очень добрый,— говорила Конни, когда они возвращались с обеда.

— Злой, самовлюбленный щенок, помешанный на своих спиралях.

— Сегодня он действительно выказал себя не лучшим образом.

— И ты будешь ему позировать?

— А меня теперь это не волнует. Прикоснуться он ко мне не посмеет. А так я согласна на все, лишь бы у нас с тобой все устроилось.

— Но ведь он вместо тебя изобразит на холсте какое-нибудь непотребство.

— А мне все равно. Ведь он таким образом выражает свои чувства. Это его дело. Мне-то что! А пялить на меня свои совиные глаза — пусть пялит сколько угодно, на то он и художник. Ну, нарисует он меня в виде трубок — что со мной случится? Он возненавидел тебя за то, что ты назвал его искусство самовлюбленным и сентиментальным. Но ты, конечно, прав.

Глава 19

«Дорогой Клиффорд. То, что ты предвидел, боюсь, случилось. Я полюбила другого и надеюсь, что ты дашь мне развод. Сейчас я живу с Дунканом, у него дома. Я тебе писала, что он был с нами в Венеции. Мне очень, очень тебя жаль, но постарайся отнестись ко всему спокойно. Если подумать серьезно, я тебе больше не нужна, а мне невыносима даже мысль вернуться обратно в Рагби. Я очень виновата перед тобой. Прости, если можешь, дай мне развод и найди жену, которая будет лучше меня. Я всегда была плохой женой; у меня мало терпения, и я большая эгоистка. Я не могу вернуться в Рагби-холл, не могу больше жить с тобой. Если ты не будешь нарочно себя растравлять, ты скоро поймешь, что на самом деле мой уход не так для тебя и страшен. Ведь я лично не много для тебя значу. Так, что, пожалуйста, прости меня и постарайся обо мне забыть».

Внутренне Клиффорд не очень удивился этому письму. Подсознательно он уже давно понял, что Конни от него уходит. Но внешне никогда этого не признавал. Именно поэтому удар был так силен. На уровне сознания он безмятежно верил в ее верность.

Таковы мы все. Усилием воли держим под спудом интуитивное знание, не пуская его в сферу сознательного; когда же удар нанесен, он кажется стократ сильнее и страдания наши безмерны.

Клиффорд сидел в постели мертвенно-бледный с невидящим, бессмысленным взглядом, как ребенок в истерическом припадке. Миссис Болтон, увидев его, чуть сама не упала в обморок.

— Сэр Клиффорд, что с вами?

Никакого ответа. Вдруг с ним случился удар, испугалась она. Потрогала его лицо, пощупала пульс.

— У вас что-то болит? Скажите где. Ну скажите же!

Опять молчание.

— Ах ты, Господи! Надо скорее звонить в Шеффилд доктору Каррингтону. Да и нашему доктору Лики — он живет ближе.

Она уже подходила к двери, как вдруг Клиффорд заговорил:

— Не звоните!

Она остановилась и, обернувшись, вперила в него испуганный взгляд. Лицо у него было изжелта-бледное, пустое, как лицо идиота.

— Вы хотите сказать, что не надо звать доктора?

— Врач мне не нужен,— проговорил замогильный голос.

— Но, сэр Клиффорд, вы больны, я не могу брать на себя такую ответственность. Я обязана послать за доктором. Если что случится, я себе никогда не прощу.

Молчание, затем тот же голос произнес:

— Я не болен. Моя жена не вернется домой.— Эти слова Клиффорд произнес на одной ноте, точно глиняный истукан.

— Не вернется? Вы говорите о ее милости? — миссис Болтон несколько приблизилась к кровати.— Этого не может быть! Не сомневайтесь в ее милости. Она, конечно, вернется.

Истукан в постели не шевельнулся, только протянул поверх одеяла руку с письмом.

— Читайте! — опять произнес он замогильным голосом.

— Это письмо от ее милости? Я знаю, ее милости не понравится, что я читаю ее письма. Вы просто скажите мне, что она пишет, если вам так угодно.

Лицо с мертво выпученными голубыми глазами не дрогнуло.

— Читайте! — повторил голос.

— Если вы находите нужным, сэр Клиффорд, мне ничего не остается, как повиноваться,— сказала миссис Болтон и взяла письмо.— Я удивляюсь ее милости,— изрекла она, прочитав послание Конни.— Ее милость со всей твердостью заявляла, что вернется.

Застывшая маска стала еще мертвеннее. Миссис Болтон встревожилась не на шутку. Она знала — ей предстоит сразиться с мужской истерикой. Ведь она когда-то ухаживала за ранеными и была знакома с этой неприятной болезнью.

Сэр Клиффорд немного раздражал ее. Любой мужчина в здравом уме давно бы понял, что у жены кто-то есть и что она собирается уйти. И даже он сам — она не сомневалась — в глубине души был в этом уверен, но не смел себе признаться. Если бы он посмотрел правде в глаза, он либо сумел бы подготовиться к ее уходу, либо вступил в открытую борьбу и не допустил бы разрыва — вот поведение, достойное мужчины. А он, догадываясь, прятал голову под крыло, как страус. Видел проделки черта, а убеждал себя — забавы ангелов. Этот самообман и привел в конце концов к катастрофе, лжи, расстройству, истерике, что, в сущности, есть проявление безумия. «Это случилось,— думала она, немного презирая его,— потому что он думает только о себе. Он так запутал себя своим бессмертным „эго", что теперь ему, как мумии, не сбросить этих пут. Один его вид чего стоит!»

Но истерический приступ опасен, а она — опытная сиделка, ее обязанность — вывести его из этого состояния. Если она обратится к его мужскому достоинству, гордости, будет только хуже, ибо его мужское достоинство если не умерло, то крепко спит. Он будет еще больше мучиться, как червяк поверх земли, и состояние его только усугубится.

Самое для него лучшее — изойти жалостью к самому себе. Как той женщине у Теннисона, ему надо разрыдаться, чтобы не умереть.

И миссис Болтон начала первая. Она прижала ладонь к глазам и горько зарыдала. «Я никогда, никогда этого не ожидала от ее милости»,— причитала она, думая о своих давних бедах, оплакивая свою собственную горькую судьбу. Она рыдала искренне — ей было над чем проливать слезы.

Клиффорд вдруг с особой ясностью осознал, как подло его предала эта женщина Конни; горе миссис Болтон было так заразительно, что глаза его увлажнились и по щекам покатились слезы. Он плакал над своими горестями. Увидев слезы на безжизненном лице Клиффорда, миссис Болтон поспешно отерла щеки маленьким платочком и наклонилась к нему.

— Не убивайтесь так, сэр Клиффорд,— сказала переполненная чувствами миссис Болтон,— пожалуйста, не убивайтесь, вам это вредно!

Тело его содрогнулось от беззвучного рыдания, и слезы быстрее заструились по щекам. Она опустила ладонь на его руку, и у нее самой слезы хлынули с новой силой. По его телу опять прошла судорога, и она обняла его одной рукой за плечи.

— Ну не надо, не надо! Не терзайте себя так! Не надо,— приговаривала она сквозь слезы.

Притянула его к себе, обняла широкие плечи; он зарылся лицом к ней в грудь, сотрясаясь, рыдая, тяжело сутуля жирные плечи, а она гладила его темно-русые волосы и приговаривала: «Ну, будет, будет, не надо. Не принимайте близко к сердцу».

Он тоже обнял ее, прижался, как малое дитя, от его слез у нее насквозь промокли фартук и ситцевая бледно-голубая блузка. Он выплакивал свое горе.

Она целовала его, баюкала на груди, а в душе говорила себе: «О, сэр Клиффорд, великий и могучий Чаттерли! До чего вы опустились!»

Клиффорд плакал, пока не уснул, всхлипывая, как ребенок. А миссис Болтон, выжатая, как лимон, удалилась к себе в комнату; она смеялась и плакала, с ней тоже приключилось что-то вроде истерики. Это так смешно! Так ужасно! Такое падение! Такой позор! И, в общем, такое расстройство всего!

С того дня Клиффорд стал вести себя с миссис Болтон совсем как ребенок. Он держал ее за руку, покоил голову у нее на груди; как-то раз она поцеловала его ласково, и он стал просить: «Да, да, целуйте меня, целуйте!» В ее обязанности входило мыть губкой его белое рыхлое тело; он просил целовать его; и она целовала его везде, как бы в шутку.

Он лежал на кровати покорно, как ребенок, со странным, тусклым лицом, на котором чуть проглядывало детское изумление. Он смотрел на нее широко открытыми детскими глазами, как верующий на мадонну. С ней его нервы полностью расслаблялись, мужское достоинство исчезало, он возвращался в детство; все это, конечно, было патологией, ненормальностью. Он запускал ей руку за пазуху, трогал груди, целовал их с восторгом младенца — болезненным, экзальтированным восторгом. И это был мужчина!

Миссис Болтон и волновали эти ласки, и вызывали краску стыда. Это было сложное чувство, любовь-ненависть. Она ни разу не остановила его, ни разу не возмутилась. Мало-помалу они перешли к более интимной близости, близости аномальной: он вел себя как ребенок, впавший в состояние сродни религиозной экзальтации, озаренный искренней и чудесной верой — буквальная, но патологическая иллюстрация библейского изречения «будьте как дети». Она же выступала в роли Magna Mater [1], исполненной животворящей силы, на попечении которой оказался белокурый исполин, мужчина-мальчик.

И что удивительно, этот мужчина-мальчик — Клиффорд был им теперь в полном смысле слова, он шел к этому многие годы — в делах оказался гораздо умнее и проницательнее, чем в бытность свою просто мужчиной. Это патологическое существо стало настоящим деловым человеком; Клиффорд вел теперь свои дела как подобает сильной личности. В мире бизнеса это был настоящий мужчина, острый, как стальная игла, неуступчивый, как кремень; он ясно видел свои цели и выгодно продавал уголь своих шахт; обладал почти сверхъестественной проницательностью, твердостью и прямым метким ударом. Как будто отречение от своего достоинства, служение Magna Mater были вознаграждены блестящими деловыми способностями, некой сверхчеловеческой силой. Купание в своих эмоциях, полное подавление мужского «я» родили в нем вторую натуру — холодную, почти мистическую натуру умного дельца. Человеческие чувства на деловом поприще для него не существовали.

Миссис Болтон торжествовала. «Сэр Клиффорд идет в гору,— говорила она себе с гордостью,— и это моя заслуга. С леди Чаттерли ему никогда не сопутствовал такой успех. Она не из тех женщин, кто помогает мужьям. Слишком занята собой». И вместе с тем в каком-то закоулке своей загадочной женской души она презирала его и даже порой ненавидела! Он был для нее поверженным львом, судорожно извивающимся драконом. Да, она помогала ему и всячески вдохновляла, но, бессознательно повинуясь древнему женскому инстинкту, презирала его бесконечным презрением дикаря. Самый последний бродяга в ее глазах был и то более достоин уважения.

---

[1] Великая Мать (*лат.*).

Его отношение к Конни было необъяснимым. Он настаивал на встрече. Более того, он требовал, чтобы она приехала в Рагби. Настаивал бесповоротно. Конни дала слово вернуться и должна его сдержать.

— Какой в этом смысл? — спросила миссис Болтон.— Разве нельзя отпустить ее раз и навсегда?

— Ни в коем случае. Она обещала вернуться и пусть возвращается.

Миссис Болтон не стала спорить. Она знала, с каким характером имеет дело.

«Не буду говорить тебе, какое действие оказало на меня твое письмо,— писал он Конни,— но если бы ты захотела, то легко могла бы вообразить — какое. Впрочем, вряд ли ты станешь утруждать воображение ради меня. Скажу тебе одно: я смогу принять решение только после того, как увижу тебя здесь, в Рагби. Ты дала слово, что вернешься, и должна вернуться. Пока я не увижу тебя в нормальной обстановке, я ничему не поверю и ничего не пойму. Нет нужды объяснять тебе, что в Рагби-холле никто ничего не знает, так что твое возвращение будет принято как само собой разумеющееся. И если после нашего разговора ты не изменишь своего решения, тогда, можешь не сомневаться, мы придем к разумному соглашению».

Конни показала письмо Меллорсу.

— Сэр Клиффорд начинает мстить,— заметил он, возвращая письмо.

Конни молчала. Ей было странно признаться себе, что она побаивается Клиффорда. Побаивается, как если бы он был носителем какого-то злого и опасного начала.

— Что же мне делать? — сказала она.

— Ничего. Если не хочется, ничего не делай.

Она ответила Клиффорду, стараясь как-то отговориться. И получила такой ответ: «Если ты не вернешься в Рагби сейчас, ничего не изменится, рано или поздно тебе все равно придется приехать, чтобы вместе все обсудить. Остаюсь при своем решении и буду ждать тебя хоть сто лет».

Конни стало страшно. Это был коварный шантаж. Она не сомневалась — на попятный он не пойдет. Развода ей не даст, родившийся ребенок будет считаться его ребенком, если она не найдет способа доказать незаконность его рождения.

После нескольких дней мучительных терзаний она решилась ехать в Рагби, взяв с собой Хильду. И отправила Клиффорду соответствующее письмо. Он ответил: «У меня нет желания видеть твою сестру, но, разумеется, двери я перед ней не захлопну. Ты преступила свой долг, нарушила обязательства, и она, конечно, этому потворствовала. Поэтому не ожидай, что я проявлю восторг, увидев ее».

И сестры отправились в Рагби-холл. В час их приезда Клиффорда не было дома. Встретила их миссис Болтон.

— О, ваша милость! — воскликнула сиделка.— Не о таком вашем возвращении мы мечтали!

— Не о таком,— согласилась Конни.

Значит, миссис Болтон все знает. А остальные слуги — знают ли они, подозревают ли о чем-то?

Она вошла в дом, который ненавидела теперь лютой ненавистью. Огромное, беспорядочное строение казалось ей олицетворением зла, грозно нависшего над ней. Она больше не была в нем госпожой, она была его жертвой.

— Долго я здесь не выдержу,— шепнула она Хильде чуть ли не в панике.

С тоской в сердце отворила она дверь в спальню и вступила в нее, как будто ничего не случилось. Каждый миг в стенах Рагби-холла был ей хуже пытки.

Они увидели Клиффорда только за обедом. Он был в смокинге, вел себя сдержанно — джентльмен до корней волос. За обедом он был бе-

зукоризненно учтив, поддерживал вежливый, ничего не значащий разговор; и одновременно на всем, что он делал и говорил, лежал отпечаток безумия.

— Что известно слугам? — спросила Конни, когда миссис Болтон вышла из комнаты.

— О твоем намерении? Ровным счетом ничего.

— Миссис Болтон знает.

Клиффорд изменился в лице.

— Я не причисляю миссис Болтон к прислуге,— сказал он.

— Да я ведь не возражаю.

Напряжение не ослабело и во время кофепития. После кофе Хильда сказала, что поднимется к себе.

После ее ухода Клиффорд и Конни какое-то время сидели молча. Ни один не решался заговорить. Конни была рада, что он не распустил перед ней нюни. Уж лучше пусть держит себя с высокомерной заносчивостью. Она сидела молча, разглядывая свои руки.

— Я полагаю,— наконец начал он,— ты без всякого угрызения совести нарушила данное слово.

— Я в этом меньше всего виновата.

— Кто же виноват?

— Никто, наверное.

Он окинул ее холодным, полным ярости взглядом. Он так привык к ней. Он даже включил ее в завещание. Как смела она предать его, разрушить канву их каждодневного существования? Как смела устроить в его душе такой погром?

— И ради чего же ты изволила так все взять и бросить?

— Ради любви.

Пожалуй, самое лучшее — пойти с этой карты.

— Ради любви к Дункану Форбсу? Но вспомни, когда мы познакомились, чаша весов перетянула в мою сторону. И ты хочешь меня убедить теперь, что любишь его больше всего на свете?

— Люди меняются.

— Возможно! Возможно, это твоя прихоть. Но тебе еще придется доказать мне необходимость столь крутых перемен. Я просто не верю в твою любовь к Дункану Форбсу.

— При чем здесь «верю — не верю». От тебя требуется одно — дать мне развод. Какое отношение имеет к этому искренность моих чувств?

— А почему, в сущности, я должен дать тебе развод?

— Потому что я не хочу больше здесь жить. Да и ты не хочешь, чтобы мы были вместе.

— Ну уж извини меня. Мои чувства неизменны. К тому же, ты — моя жена. И я хочу, чтобы ты жила под моей крышей достойно и покойно. Если отбросить чувства, а мне это, уверяю тебя, нелегко, то перспектива потухшего семейного очага представляется мне страшнее смерти. И ради чего? Ради твоего каприза?

Подумав немного, Конни ответила:

— Ничего не поделаешь. Мы должны расстаться. У меня, наверное, будет ребенок.

Он тоже задумался.

— И ты хочешь уйти отсюда из-за ребенка? — наконец сказал он.

Она кивнула.

— Почему? Неужели Дункан Форбс так уж озабочен судьбой своего отпрыска?

— Гораздо больше, чем был бы ты.

— Ты так полагаешь? Но я не хочу расставаться с женой. И я не вижу причин, почему я должен отпустить ее. Она может растить ребенка под моей крышей, если, конечно, все будет в рамках приличия. Ты хочешь меня убедить, что Дункан Форбс мил тебе больше, чем я? Никогда этому не поверю!

Опять воцарилось молчание.

— Ну неужели ты не можешь понять,— прервала молчание Конни,— я хочу уйти от тебя, чтобы жить с человеком, которого люблю.

— Не понимаю. Я за твою любовь не дам и ломаного гроша. Да и за его любовь. Это все ложь и ханжество.

— У меня на этот счет иное мнение.

— Иное? Моя дорогая жена! Уверяю тебя, ты сама не веришь в любовь к Дункану Форбсу. Ты для такой любви слишком умна. Поверь мне, даже сейчас ты питаешь ко мне бóльшую симпатию. И ты ожидаешь, что я клюну на эту глупость?

Конни понимала, что он прав. И больше не могла ломать комедию.

— Дело в том, что люблю я не Дункана,— Конни твердо посмотрела ему в глаза.— Мы назвали Дункана, чтобы пощадить твои чувства.

— Пощадить мои чувства?

— Да. Потому что на самом деле я люблю другого человека. Узнав, кто он, ты возненавидишь меня. Это мистер Меллорс, он был здесь егерем.

Если бы он мог вскочить со своего стула, он бы вскочил. Его лицо пошло желтыми пятнами, глаза выпучились, в них она прочитала полный крах всему.

Он откинулся на спинку стула и, тяжело дыша, воззрился на потолок. В конце концов сел прямо.

— Ты хочешь сказать, что на этот раз не обманываешь меня? — сказал он, ненавидяще глядя на нее.

— Ты и сам знаешь, что это правда.

— И когда у вас с ним началось?

— Весной.

— Все-таки это ты была у него в спальне?

Значит, в глубине души он все знал.

— Да, я!

Он сидел подавшись вперед и смотрел на нее затравленно, как попавший в капкан зверь.

— Боже правый! Тебя мало стереть с лица земли!

— За что? — едва слышно прошептала она.

Но он, казалось, не слышал ее.

— Этот мерзавец! Это ничтожество! Этот возомнивший о себе мужик! И ты! Жила здесь и все это время путалась с ним, с одним из моих слуг. Боже мой! Боже мой! Есть ли предел женской низости!

Он был вне себя от гнева, возмущения, ярости. Она ничего другого и не ожидала.

— И ты говоришь, что хочешь ребенка от этой мрази?

— Да, хочу. И он у меня будет.

— Будет? Значит, ты уверена? Когда ты это поняла?

— В июле.

Он замолчал, и на его лице опять появилось странное, бессмысленное выражение, как у младенца.

— Диву даешься,— наконец выговорил он,— как подобных людей земля носит.

— Каких людей?

Он дико посмотрел на нее, не удостаивая ответом. Было очевидно, он просто не в состоянии даже помыслить о малейшей связи между существованием Меллорса и собственной жизнью. Это была чистая, огромная и бессильная ненависть.

— И ты говоришь, что хочешь выйти за него замуж? Носить это подлое имя?

— Хочу.

И опять его точно громом ударило.

— Да,— наконец обрел он дар речи.— Это только доказывает, что я никогда не заблуждался на твой счет: ты ненормальна, не в своем

уме. Ты одна из тех полоумных с патологическим отклонением женщин, которых притягивает порок, nostalgie de la boue [1].

Неожиданно в нем проснулся обличитель, бичующий современную порчу нравов. Он сам — воплощение всех добродетелей. Она, Меллорс и иже с ними — олицетворение зла, грязи. Вещая, он как бы стал утрачивать плотность, а вокруг головы почти засветился нимб.

— Теперь ты видишь, самое лучшее развестись со мной и на этом поставить точку,— резюмировала Конни.

— Ну уж нет! Ты можешь убираться куда угодно, но развода я тебе не дам,— с идиотской непоследовательностью заявил он.

— Почему?

Он молчал, одержимый тупым упрямством.

— Ты предпочитаешь, чтобы ребенок считался твоим законным сыном и наследником?

— До ребенка мне дела нет.

— Но если родится мальчик, он будет, согласно закону, твоим сыном и унаследует твой титул и поместье.

— Мне все равно.

— Но ты должен подумать об этом. Я, конечно, сделаю все, чтобы ребенок юридически не считался твоим. Пусть он будет незаконнорожденным, если не может носить имя родного отца.

— Поступай, как сочтешь нужным.

Он был неумолим.

— Так ты не дашь мне развода? Причиной может служить Дункан. Он не возражает. А настоящее имя может вообще не фигурировать.

— Я никогда с тобой не разведусь,— сказал он, как бы вогнав последний гвоздь.

— Почему? Потому что я этого хочу?

— Потому что я всегда действовал по собственному разумению. И сейчас мне представляется самым разумным не разводиться.

Спорить с ним было бесполезно. Конни пошла наверх, рассказала Хильде.

— Завтра едем обратно,— решила та.— Надо дать ему время опамятоваться.

Полночи Конни упаковывала личные, ей принадлежавшие вещи. Утром отправила чемоданы на станцию, не сказав Клиффорду. Они увидятся перед самым завтраком, только чтобы проститься. А вот с миссис Болтон надо перед расставанием поговорить.

— Я пришла попрощаться с вами,— сказала она сиделке.— Вам все известно, но я рассчитываю на вашу скромность.

— О, ваша милость, на меня можете положиться. Но это для всех нас такой удар. Надеюсь, вы будете счастливы с этим джентльменом.

— Этот джентльмен! Ведь это Меллорс, и я люблю его. Сэр Клиффорд знает. Об одном прошу вас — ничего никому не рассказывайте. Если вдруг увидите, что сэр Клиффорд согласен на развод, дайте мне знать. Я хочу юридически оформить отношения с человеком, которого люблю.

— Я так понимаю вас, ваша милость! Можете рассчитывать на мое содействие. Я не предам ни сэра Клиффорда, ни вас. Потому что вижу — вы оба по-своему правы.

— Благодарю вас. И позвольте подарить вам вот это...

И Конни вторично покинула Рагби-холл. Они с Хильдой отправились в Шотландию. Конни осталось только ждать, когда в Клиффорде вновь заговорит здравый смысл. Меллорс уехал куда-то в глушь, будет полгода работать на ферме, пока тянется дело о разводе. Они с Конни купят впоследствии ферму, куда он сможет вкладывать свою силу и энергию. У него должно быть свое занятие, пусть даже тяжелый физический труд. Деньги Конни только первоначальный вклад.

---

[1] Ностальгия по навозной жиже (*франц.*).

А пока надо ждать — ждать новой весны, рождения ребенка, будущего лета.

Ферма Грейндж,
Олд Хинор, 29 сентября.

«Я оказался на этой ферме по воле случая: инженер компании Ричардс — мой старый знакомый по армии. Ферма принадлежит угольной компании «Батлер и Смиттэм». Мы сеем овес и заготавливаем сено для шахтных пони. На ферме есть коровы, свиньи и другая живность. Я нанялся подсобным рабочим и получаю тридцать шиллингов в неделю. Роули, фермер, взвалил на меня все, что мог — за эти полгода к следующей пасхе я должен выучиться фермерскому труду. От Берты ни слуху ни духу. Понятия не имею, где она, почему не явилась в суд на первое слушание и вообще что у нее на уме. Но надеюсь, что если я буду вести себя тихо, то уже в марте стану свободным человеком. Пожалуйста, не волнуйся из-за сэра Клиффорда. Не сомневаюсь, он очень скоро сам захочет от тебя избавиться. Уже и то хорошо, что он не докучает тебе.

Я снимаю комнату в старом, но вполне приличном доме в Энджинроу. Хозяин работает машинистом в Хай-парке. Он высокий, с бородой и до мозга костей нонконформист. Хозяйка, маленькая, похожая на птичку, очень любит все высокородное и все свои разговоры начинает с „позвольте мне...". Они потеряли на войне сына, и это наложило на них неизгладимый отпечаток. У них есть дочь, длинное, как жердь, застенчивое существо. Она учится на школьного преподавателя, я ей иногда помогаю, так что у нас получилось что-то вроде семейного круга. Но в общем они приятные, вполне порядочные люди. И пожалуй, уж слишком добры со мной. Думаю, что жизнь сейчас более милостива ко мне, чем к тебе.

Работа на ферме мне по душе. Утонченных радостей она не дает, да я их и не ищу. Я умею обращаться с лошадьми, а коровы, хотя в них слишком много женской покорности, явно оказывают на меня успокаивающее действие. Когда я дою, уткнувшись головой в теплый бок, то чувствую прямо-таки утешение. На ферме шесть довольно хороших херефордширок. Только что кончили жать овес, если бы не дождь и мозоли на ладонях, занятие вполне пристойное. С здешними людьми я общаюсь немного, но отношения со всеми хорошие. На многое надо просто закрывать глаза.

Шахты работают плохо; район этот шахтерский, мало чем отличается от Тивершолла, только более живописный. Иногда захаживаю в местный кабачок „Веллингтон", болтаю с шахтерами. Они высказываются очень резко, но менять ничего не хотят. Знаешь, как говорят про наших шахтеров — «что-что, а сердце у них на месте». Сердце, может, и на месте, а вот вся остальная анатомия — хоть плачь. Лишние они в этом мире. В целом они мне нравятся, но не вдохновляют, нет в них бойцовского азарта. Они много говорят о национализации вообще, о национализации шахт, всей угольной промышленности. Но ведь нельзя национализировать только уголь, оставив все остальное как есть. Говорят о каком-то новом применении угля, что-то вроде затей сэра Клиффорда. Кое-где, может, это и сработает, но строить на этом будущее, мне кажется, нельзя. В какой бы вид топлива ни превратить уголь, его все равно надо продать. Рабочие настроены пессимистично. Они считают, что угольная промышленность обречена, и я думаю, они правы. А с промышленностью обречены и они. Многие поговаривают о Советах, но убежденности в их голосах не слышно. Они убеждены в одном: все — мрак и беспросветность. Ведь и при Советах уголь надо кому-то продавать.

В стране существует огромная армия индустриальных рабочих, которые хотят есть; так что эта дьявольская машина должна, пусть через пень колоду, крутиться. Как ни странно, женщины куда более решитель-

ны, чем мужчины; кричат, во всяком случае, громче. Мужчины совсем пали духом, на лицах у них безысходность. Но, в общем, никто толком не знает, что делать, несмотря на разговоры. Молодые бесятся, потому что у них нет денег, а кругом столько соблазнов. Они видят смысл жизни в приобретательстве, а приобретать не на что. Такова наша цивилизация, таково наше просвещение: в людях воспитывается только одна потребность — тратить деньги. А гарантии их заработать нет. Шахты действуют два, два с половиной дня в неделю, и никакого улучшения не предвидится даже в преддверии зимы. Это значит, кормилец приносит в семью двадцать пять — тридцать шиллингов в неделю. Больше всех возмущены женщины, но ведь они больше всех и тратят.

Кто бы им внушил, что жить и тратить деньги не одно и то же. Но им ничего не внушишь. Если бы их учили в школе жить, а не зарабатывать и тратить, они могли бы прекрасно обходиться двадцатью пятью шиллингами. Если бы мужчины, как я тебе говорил, щеголяли в алых штанах, они не думали бы так много о деньгах, если бы они пели, плясали и веселились, они бы умели довольствоваться малым. Они любили бы женщин, и женщины любили бы их. И никто не стеснялся бы наготы; их надо учить петь и плясать, водить на лужайках старинные хороводы, делать резную мебель, вышивать узоры. Тогда бы им хватало и нескольких шиллингов. Единственный способ покончить с индустриальным обществом — научить людей жить разумно и красиво, без мотовства. Но это невозможно. У всех сегодня одно на уме — приобретать, приобретать. А бедняки к тому же просто ни о чем другом и не умеют думать. Им бы жить и веселиться, поклоняясь великому, доброму Пану. Вот единственный Бог для простых смертных во все времена. Конечно, одиночки могут по желанию причислять себя к более высоким религиям. Но народ должен поклоняться языческим богам.

А наши шахтеры — не язычники, отнюдь нет. Это печальное племя, мертвяки. Их не могут разгорячить ни женщины, ни сама жизнь. Молодые парни носятся на мотоциклах с девчонками и танцуют под джаз, если повезет. Но и они мертвяки, еще какие! И на все нужны деньги. Деньги, если они есть,— отрава; если нет — голодная смерть.

Я уверен, что и тебе все это отвратительно. О себе распространяться не буду, в данную минуту ничего плохого со мной не происходит. Я стараюсь не думать о тебе слишком много, а то вдруг до чего-нибудь додумаюсь. Но, конечно, живу я сейчас только ради нашего будущего. И мне страшно, по-настоящему страшно. Я чую носом близость дьявола; он пытается помешать нам. Ладно, не дьявол, так мамона. Этот идол, в сущности,— совокупная злая воля людей, алчущих денег и ненавидящих жизнь. Мне мерещатся в воздухе длинные костлявые руки, готовые вцепиться в горло всякому, кто дерзнет жить за пределами власти денег, и сжимать, пока из него дух вон. Близятся тяжелые времена. Если ничего не изменится, будущее сулит индустриальным рабочим погибель и смерть. Я порой чувствую, как все внутри у меня холодеет. И на́ тебе, ты ждешь от меня ребенка. Ну, не сердись на эти глупости. Все тяжелые времена, сколько их ни было в истории, не смогли уничтожить ни весенних цветов, ни любви женщины. Не смогут они и в этот раз убить мое влечение к тебе, загасить ту искру, которая зажглась между нами. Еще полгода — и мы будем вместе. И хотя мне страшно, как я сказал, я верю, что нет силы, которая нас разлучит. Долг мужчины — строить, созидать будущее, но ему надо и верить во что-то помимо себя. Будущее обеспечено, если человек видит в себе что-то хорошее, доброе. А я еще верю в то легкое пламя, которое вспыхнуло в нас. Для меня оно — единственная ценность в мире. У меня нет друзей, старых привязанностей. Только одна ты. И это пламя — единственное, чем я дорожу. Конечно, еще младенец, но это боковая ветвь. Для меня Троица — двуязыкое пламя. Древняя Троица, на мой взгляд, может быть и оспорена. Мы с Богом любим иногда задрать нос. Это двуязыкое пламя между тобой и мной — альфа и омега всего! Я ему верен и останусь верным

до конца. И пусть все эти клиффорды и берты, угольные компании, правительства и служащий мамоне народ пропадут пропадом.

Вот по всему этому я и не хочу думать о тебе, даже начинать. Для меня это пытка, и тебе от этого не легче. Но я так не хочу, чтобы ты жила вдали от меня. Стоп, если я разберёжу сердце, если начнет грызть досада, что-то хорошее будет утрачено. Терпение, терпение! Идет моя сороковая зима. Что делать, все предыдущие зимы никуда не денешь. Но в эту зиму я молюсь двуязыкому пламени моей Троицы и на душе у меня покойно. Я бы не хотел, чтобы люди задули его своим дыханием. Я верую в некую высшую тайну, которая даже подснежнику не даст погибнуть. И хотя ты в Шотландии, а я в Средней Англии и я не могу потрогать тебя, обнять, у меня все-таки есть что-то твое. Моя душа мягко колышется в легком троицыном пламени, вторя любовному акту, в котором оно и родилось. Как и цветы родятся от соития земли и солнца. Но это легкое пламя пока еще зыбко; чтобы оно разгорелось ярким огнем, нужно время, терпение и время.

Так что теперь я за воздержание, потому что оно непреложно следует за любовной горячкой, как время покоя за войной. И я даже полюбил воздержание, полюбил любовью подснежника к снегу. Да, я люблю воздержание, как мирную передышку в любовных войнах. Наше белое двуязыкое пламя для меня — точно подснежник ранней весны. Когда весна войдет в свою силу, пламя это разгорится ярче солнца. А пока пора воздержания, добрая и здоровая, словно купание в горной реке. Мне нравится моя чистая жизнь, она течет от тебя ко мне, как горный поток. Она точно вешние воды земли и неба. Бедные Дон Жуаны! Что за маета эта вечная погоня за наслаждением. Где уж им вздуть легкое двуязыкое пламя — в душе-то не могут навести порядок. Неведом им и чистый горный поток воздержания.

Прости, что я так многословен, это оттого, что не могу дотронуться до тебя. Если бы спать ночью, чувствуя рядом твое тепло, пузырек с чернилами остался бы полный. Воздержание, близость — это все наше с тобой. Да, какое-то время нам придется жить врозь. Но, быть может, это сейчас самое мудрое. Только бы до конца быть уверенным...

Ладно, не обращай внимания... Глупо себя накручивать. Будем верить в наше легкое пламя и в безымянного Бога, который хранит его от сквозняков. На самом деле у меня здесь столько тебя, даже жаль, что не вся целиком.

Выбрось из головы сэра Клиффорда. Если он и не объявится, тоже не очень горюй. Навредить по-настоящему он не может. Наберись терпения, рано или поздно он захочет избавиться от тебя, вычеркнуть из своей жизни. А не захочет, и это не беда. Сумеем с ним справиться. Но он захочет, ты для него теперь отрезанный ломоть.

Видишь, я просто не могу остановиться. Залог будущего — то, что мы вместе, хоть и разлучены. И держим курс на скорую встречу.

Джон Томас шлет привет своей леди Джейн, немножко понурившись, но не утратив надежды».

■

Литературное наследие

БУСОН

Вступление, перевод с японского и комментарии
Т. СОКОЛОВОЙ-ДЕЛЮСИНОЙ

Вряд ли в японской литературе найдется жанр, который полнее и ярче, чем поэзия хайку, выразил бы то, что называют сегодня японским национальным духом. Вместе с тем, при всей национальной специфичности этого жанра, именно он был воспринят и оказался наиболее популярным в других странах. В начале нашего века, когда японские поэты устремились в Европу в поисках новых форм, европейцы обратили свои взоры на Восток и обнаружили там немало для себя привлекательного. На Запад проникло и покорило умы философов и писателей буддийское учение, в том числе учение дзэн (по-китайски чань), среди художников началось увлечение искусством Китая и Японии, а любители поэзии открыли для себя новые поэтические формы, поразившие их необычностью выразительных средств. Маленькие шедевры японских поэтов переводились на западные языки, ими восхищались, им подражали. Новый подъем интереса к поэзии хайку наблюдается в наши дни. В этом жанре пробуют свои силы некоторые современные поэты, в том числе и русские.

Японское хайку — это 17-сложное стихотворение с внутренним делением на три неравные по числу слогов (5—7—5) ритмические группы. Одни называют его трехстишием, другие — моностихом, разделенным на отдельные части внутренними цезурами. Возникновение хайку связано с развитием в XVI веке в Японии шуточной поэзии хайкай и с распадением классического японского пятистишия танка на две части, из которых первая, так называемая начальная строфа (хокку), постепенно обособившись, обрела самостоятельное существование. Вновь возникшая поэтическая форма так и стала называться хокку, и только в конце XIX века в обиход вошло еще одно название — хайку (шуточная строфа), отразившее связь этой формы с жанром хайкай. В настоящее время используются оба названия.

Первые хайку, возникшие в недрах шуточной поэзии, ценились главным образом за техническую изощренность, неожиданность образов, умелую игру слов. Только во второй половине XVII века произошло превращение хайку из чисто бытовой шуточной поэзии в лирическую поэзию самого высокого свойства. Это превращение и первый расцвет хайку связаны с именем великого Басё (1644—1694) — «Старца из Банановой хижины», творчество которого известно русским читателям по переводам В. Марковой. Собственно, именно благодаря усилиям Басё и возник тот своеобразный поэтический жанр, который нам известен сегодня. Причем уже на начальных этапах его становления стало ясно, что хайку не просто поэтическая форма, а нечто большее — определенный способ мышления, определенный способ видения мира. Создание хайку сродни озарению дзэнского монаха, проникающего истину не рациональным, а интуитивным путем, видящего мир в его исконной нерасчлененности. Недаром творчество ведущих мастеров хайку развивалось в русле философии дзэн.

Воспроизведен портрет Бусона работы художника Гэккэя (1752—1811).

Хайку соединяет мирское и духовное, малое и великое, природное и человеческое, сиюминутное и вечное. Весна — Лето — Осень — Зима — это традиционное деление поэтических японских антологий, сохраненное поэтами хайку, имеет куда более широкий смысл, чем простое распределение стихотворений по сезонным темам: в этом едином временно́м пространстве движется и изменяется не только природа, но и сам человек, в жизни которого есть свои весна — лето — осень — зима. Мир природы соединяется с миром человека в вечности.

Хайку характеризует предельный лаконизм выразительных средств и насыщенность ассоциативными подтекстами. Стихотворение, состоящее всего из нескольких слов, строится, как правило, на одной вещественно ощутимой живой детали, но в нем всегда заключена возможность более полного развития темы. Простота хайку — это та гениальная, совершенная простота, за которой — постоянная работа души, обостренная чуткость в восприятии мира.

Один западный литературовед сравнивал японскую поэзию с драгоценным камнем, который нельзя увеличить, но который можно сделать еще прекраснее, шлифуя, доводя до совершенства его грани. Это сравнение применимо не столько к процессу создания хайку — стихотворение возникает спонтанно, в результате единого творческого порыва и редко подвергается дальнейшей обработке,— сколько к процессу его восприятия, ибо ни одна другая поэтическая форма не требует от читателя столь активного сотворчества. Дело читателя — шлифовать грани, намеченные автором. И чем богаче его внутренний мир, чем тоньше он умеет чувствовать, тем полнозвучнее его душа откликнется на прозвучавший в хайку зов души поэта, тем ярче засверкает этот маленький драгоценный камешек.

Поэзия хайку, вобрав в себя достижения поэтической, философской, эстетической мысли предыдущих столетий, во многом определила облик культурной жизни Японии конца XVIII века. Под ее влиянием появился особый прозаический жанр х а й б у н, воспринявший основные черты поэтики хайку — лаконизм, языковую простоту, свободу и непосредственность изображения, обилие литературных ассоциаций. Это путевые заметки, эссе, в которых проза, как правило, перемежается стихами. В живописи под влиянием поэзии хайку возник новый жанр — х а й г а, соединивший в единое целое поэзию, каллиграфию и живопись. Лаконичный обобщенный рисунок, сделанный чаще всего монохромной тушью, иногда чуть тонированный, дополнялся каллиграфически выполненной надписью — стихотворением хайку или прозаическим отрывком хайбун. Особое значение приобрело в хайга белое (пустое) пространство листа, напряженность которого сопоставима со сжатостью и одновременно насыщенностью поэтического пространства хайку. Хайга — это не механическое соединение живописи, каллиграфии, поэзии в рамках одного произведения, это единое и неделимое художественное целое, выражение разными способами одного движения души художника.

Пышный расцвет поэзии хайку, равно как и всех возникших на ее основе жанров, которым отмечены последние десятилетия XVIII века, тесно связан с творческими исканиями школы «Живопись интеллектуалов» («Бундзинга»). Художники, принадлежавшие к этой школе, были одновременно учеными, философами, литераторами. Иногда их называют дилетантами, они и в самом деле творили словно «забавы ради», однако за внешней простотой и свободой самовыражения, за кажущейся сиюминутностью их творчества всегда стоял доведенный до совершенства профессионализм. Собираясь вместе, «художники-интеллектуалы» пили вино, любовались прекрасными пейзажами, читали и сочиняли стихи, «развлекались тушью». Пристально и чутко вглядываясь в обыкновеннейшие, ничтожнейшие проявления повседневной жизни, они сумели увидеть их непреходящую красоту и вечный смысл, и не только увидеть, но и донести до потомков живое дыхание окружавшего их мира, трепет собственной души.

Одной из самых ярких фигур в «школе интеллектуалов» был Ёса Бусон (1716—1783) — художник, каллиграф и поэт, занимающий в истории японской поэзии место если не равное Басё, то во всяком случае следующее за ним. О жизни Бусона известно немного. Предполагается, что родился он неподалеку от Осаки в семье зажиточного крестьянина по фамилии Танигути. Ёса — скорее всего прозвище, а Бусон — один из псевдонимов. Бусон жил в Эдо и в Киото, в молодости много путешествовал, был женат и имел дочь. Зарабатывал на жизнь живописью, на закате лет стал главой поэтической школы «Полночная беседка». Потомкам Бусон долгое время был известен скорее как художник, нежели как поэт. Поэтическая слава вернулась к нему только в конце XIX века, когда в японских поэтических кругах возник интерес к национальному наследию, и в частности к хайку.

Русскому читателю творчество Бусона известно лишь отчасти — его стихи можно найти в вышедшем в 1973 году сборнике «Японские трехстишия» (перевод В. Марковой) и некоторых других изданиях. Надеемся, что знакомство с избранными образцами поэзии, прозы и живописи Бусона поможет читателям расширить свое представление об этом замечательном мастере и соприкоснуться с одним из интереснейших явлений в истории японской культуры. Предлагаемый комментарий призван помочь более полному восприятию переведенных текстов.

Весна

*

Долгие дни.
Бродит по улочкам дальним
Гулкое эхо.

*

Задремав,
Вдруг проснулся от холода:
Весенний вечер.

*

Весенний вечер.
Из корыт выплескивают воду
На городских окраинах...

*

Конец весны.
Словно бы и не движется
С хворостом лодка.

*

По околицам
Крашеный ситец плещется
На весеннем ветру.

*

Заброшенный пруд.
Стучит по кувшинкам-зонтикам
Весенний дождь.

*

Рыбачьи мостки
Торчат из воды уныло.
Весенний дождь.

*

Под весенним дождем
Мокнет забытый на крыше
Тряпичный мячик.

*

В храм Авасима
Спешат босые паломницы
Под весенним дождем.

Синтоистский храм Авасима находится в городе Вакаяма, в северо-западной части острова Хонсю. Бог Авасима-мёдзин, культ которого отправляется в этом храме, по поверью, исцеляет от женских болезней.

*

Оттепель.
Моя милая сушит над очагом
Белый носочек.

*

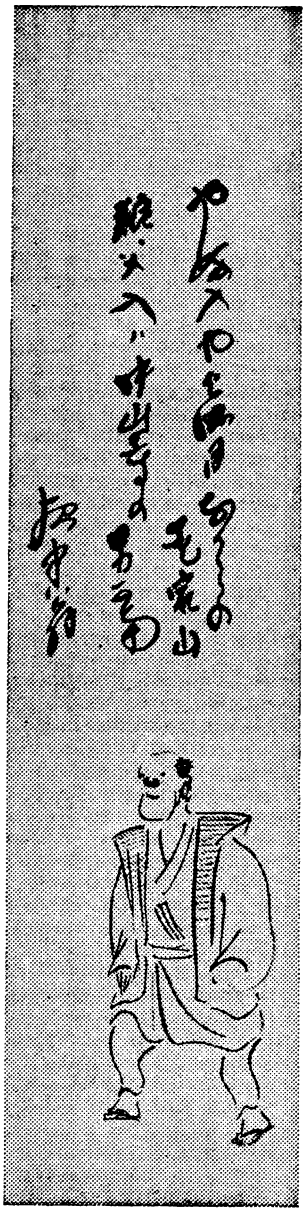
Замутился
Под слабыми женскими
ножками
Весенний ручей.

*

В праздничный день
Совсем по-другому видится
Гора Атаго.

*

В праздничный день
Спешит в родное селенье
Слуга из горного храма.



В праздничный день...

Когда цветы в столице...

*

Когда цветы в столице начинают опадать — словно с картин Косина осыпаются краски...

С Матабэем
Встреча нас ждет в Омуро
В пору цветенья.

Косин (1434—1525) — художник, один из крупнейших мастеров школы Тоса, отличавшейся изысканной декоративностью. Известен пейзажами Киото и его окрестностей.
Иваса Матабэй (1578—1650) — один из художников школы Тоса, известный своими жанровыми композициями.
Омуро — место неподалеку от Киото, славившееся красотой весеннего цветения.

*

В день, когда мы покидали Ёсино,
дул ветер и лил сильный дождь. По склонам разметались цветы, предвещая конец весне...

Пьют облака,
Лепестками плюются
Горы Ёсино.

*

В старом саду
Весь день — и на миг
не смолкая —
Пел соловей.

*

Соловья не услышит
День-деньской пропадающий
в поле
Землепашец.

*

На узорных листках
Полей выводят свои рулады
Лягушки.

В «Предисловии» к поэтической антологии начала X века «Кокинсю» («Собрание старых и новых песен Ямато») говорится: «И вот, когда слышится голос соловья, поющего среди цветов свои песни, когда слышится голос лягушки, живущей в воде, кажется: что же из всего живого, из всего живущего не поет своей собственной песни?..» (перевод А. Е. Глускиной).

*

Воин в засаде.
На шлеме его тяжелом
Трепещет бабочка.

*

Летучая мышь
Мимо скользнула тревожно.
В кроне сливы — луна.

*

Под грушей цветущей
Читает письмо женщина
При свете луны.

*

Вместе с друзьями занимался сочинением хайку в обители Ринсёин в местечке Мисаки, в Вада. Подыскивали темы, и в конце концов мне выпало: «весенние травы». Я не сумел побороть охватившего меня волнения. Где блуждает теперь «любезный друг» Ван Вэя? Для кого появляются, для кого исчезают краски родной земли? О любезный друг, не до́лжно, тебе уподобляясь, пускаться в дальние странствия. Не до́лжно учиться у тебя жестокосердию.

Сколько же их,
Тропинок, к дому ведущих,
В весенних травах...

Ван Вэй (699—759) — китайский художник и поэт, особенно чтимый Бусоном. В его стихотворении «Провожаю друга» есть такие строки: «Весною трава в лугах // Зазеленеет опять, // А вы, мой любезный друг, // Вернетесь ли вы весной?» (перевод А. Гитовича).

Лето

*

Как коротки ночи!
На шубке гусеницы — росинок
Драгоценные камни.

*

Как коротки ночи!
У кромки волн на песке —
Брошенный фа́кел.

*

От больного
Назойливых мух отгоняю.
Какая жара!

*

Летний ливень.
Не сразу найдешь среди луж
Узкую тропку.

*

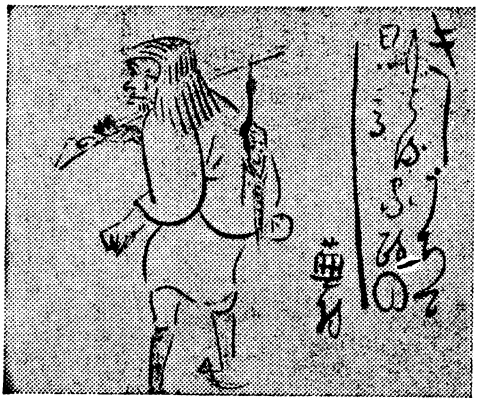
Далекие горы
Такими кажутся маленькими
С зелёных полей.

*

Какая жара!
Шляпы нет, веером хоть
Прикрою макушку.

*

С добычей-фазаном
Бреду по дороге домой.
Солнце в зените.



С добычей-фазаном...

*

Слух уж не тот
У отца моего, монаха,—
Крика кукушки и то...

*

Служанка
Громко чихает. А за окном —
Голос кукушки.

*

Лодка на Ёдо.
Взмах шеста — рассыпаются брызги
Светлячками.

*

Крылья цикад
Выворачивает наизнанку
Ветер с горы Хиэ.

*

Молодая листва.
Потоки кипенно-белые.
Золото злаков.

*

Скорее бы жатва!
Далекие горы снова
Увижу в окне.

*

Ночь позади.
Отблеск зари на парусе.
Молодая листва.

*

Бамбук молодой...
Как там женщины из Хасимото,
Живы иль нет?

По дороге из Осаки в Киото, у переправы через реку Ёдо, находился маленький городок Хасимото, известный своими веселыми кварталами. А в более давние времена, подъехав к другой переправе, поэт Аривара Нарихира увидел неизвестных ему птиц, узнав же, что их называют «столичные» — «миякодори», произнес: «Велика ваша слава, // Так ответьте же мне поскорей, // Столичные птицы: // Жива еще или нет // Та, о ком думы мои?»

Бамбук молодой...

*

Какой же он четкий —
Силуэт муравья горного
На белом пионе.

*

За сотню ри
Обходят почтительно тучи
Пионы в цвету.

*

Муравьи
Длинный ход под землей
прорыли
К цветущим пионам.

*

На листья ириса
Откуда-то сверху шлепнулся
Ястребиный помет.

*

Поднимусь на Восточный берег...

Шиповник в цвету.
Как будто бреду по тропинкам
Родной стороны.

В поэме китайского поэта Тао Юаньмина (365—427) «Домой» есть такие строки: «Поднимусь на Восточный берег, там привольней насвистывать мне, к светлым струям воды подойду, буду слагать стихи».

*

Сгорел в грозу
Ветхий домишко, а вверх
по ограде
Тыква ползет.

*

Впервые встретившись с монахом Сэйханом, разговорились, как старые приятели...

В бочке с водой
Согласно кивают друг другу
Дыня и баклажан.

Осень

*

Кузнечик
На печном крюке примостился.
Холодная ночь.

*

В дверь моей хижины
Стучится барсук. Вместе с ним
Об осени погрущу.

Осень пришла.
Догадаться об этом нетрудно:
То один чихнет, то другой...

Пародирование образов классической поэзии — весьма распространенный прием в хайку. У древних поэтов принято было догадываться о наступлении осени по шуму ветра. Вот, к примеру, стихотворение поэта IX века Фудзивара Тосиюки: «Взор бессилен еще // Уловить те приметы, что скажут: // Осень пришла. // Но однажды, услышав шум ветра, // Вздрогнешь вдруг: «Неужели?..» А вот как говорил о том же Басё: «Осень пришла!» — // Шепнул мне на ухо ветер, // Подкравшись к подушке моей» (перевод В. Марковой).

*

В ночь Полнолунья никто не пришел ко мне в гости, да и самому мне некуда было идти...

Все один да один...
Зато луна в эту ночь
Стала мне другом.

*

Полнолунье.
Все вокруг от росы промокло,
Кроме самой росы.

*

Полнолунье.
В чайном домике на вершине
Нет ни души.

*

Бочку без дна
Катит куда-то ветер,
Пронизывающий луга.

*

Молния.
С бамбуковых листьев
со стуком
Упала роса.

*

Приливной волной
Подхваченные, взлетают
Светлые рыбки.

Мольбы о любви
И нити — такие разные:
И белые, и...

Седьмая ночь седьмого месяца по лунному календарю в Японии — праздник Встречи звезд. В эту ночь, согласно древней китайской легенде, на мосту, наведенном стаей сорок через Небесную реку (Млечный путь), встречаются вынужденные все остальное время жить в разлуке звезды-супруги — Волопас (Альтаир) и Ткачиха (Вега). Во время праздника девочки просят у богов удачи в любви и помощи в овладении ремеслами. Привязав к концам особых шестов пучки разноцветных нитей, они подносят их Небесной ткачихе.

*

Монах Унри, собравшись на Цукуси, предложил мне сопутствовать ему, я же, не имея возможности оставить дом,—

Осенний ветер,
Налетев, сдвинет ли с места
Старое пугало?

*

Зябко оленям.
Сухие ветки рогов —
Вот и все облаченье.

*

Выпала тема «гуси»...

Вереница гусей —
Строка. В конце же — печать —
Луна над вершиной Хаяма.

*

Пойман судак.
Жаль! Никто не играет больше
В волнах под луной.

*

Солнце заходит.
В караульне на кончике пики
Замерла стрекоза.

Все стихи «Красной стены»...

Все стихи «Красной стены» — и первая ода, и вторая — отмечены изяществом, но особенно прекрасны строки: «Высокие горы и маленький месяц... Спадала вода, и камни под ней выступали...»
Они напоминают одинокого аиста среди куриной стаи. Однажды, путешествуя по Митиноку, я остановился под «ивой паломников» — «югёянаги» и, вспомнив вдруг эти строки —

Листья ивы опали.
Высохли светлые струи.
Камни, голые камни...

«Красная стена» — поэма китайского поэта Су Ши (1036—1101) (строки оттуда даны в переводе В. Алексеева). «Ива паломников» воспета еще поэтом Сайгё (1118—1190): «У дороги ручей // Струится светлый и чистый. // «Под ивой в тени // Присяду на миг» — // Подумал, // Но долго не мог уйти».

*

Горные сумерки
Похитили алые краски
Осенней листвы.

В одном из древнейших памятников китайской словесности «Луньюй» («Конфуций. Суждения и беседы», около 450 г. до н. э.) в главе «Ян Хо» говорится: «Учитель сказал: «Краснобайство и вкрадчивые манеры редко сочетаются с добродетелью». Учитель сказал: «Дурно, когда лиловое похищает блеск у алого; дурно, когда песни царства Чжэн разрушают ритуальную музыку; дурно, когда кто-то жадным ртом пожирает царства и семьи».

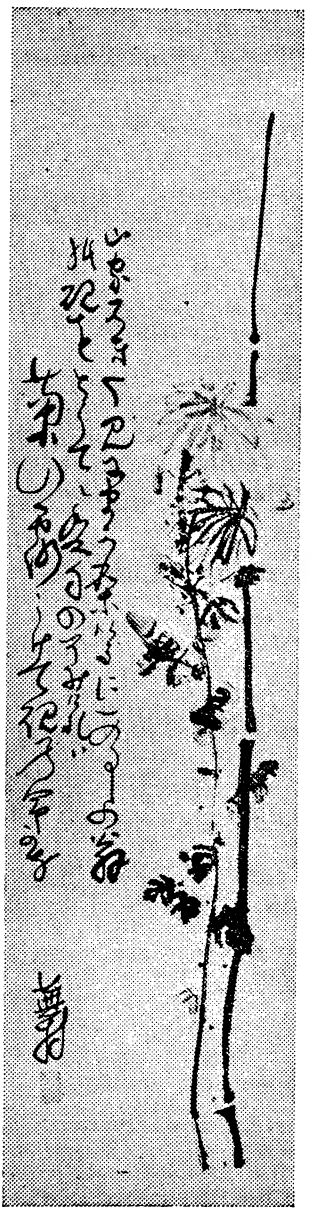
*

Не лисенок ли
Со мною играет в прятки?
Хризантема в траве.

*

Наведался к другу, живущему в горах, чтобы полюбоваться его хризантемами. Хозяин протянул мне листок бумаги и тушечницу и попросил написать стихотворение...

Росу с хризантем
Впивая, в ней черпает силы
Тушечница.



Наведался к другу...

Старое китайское изречение, которое часто высекалось на тушечницах — специальных камнях для растирания туши,— гласит: «Жизнь кисти определяется днями, жизнь палочки туши — годами, а жизнь тушечницы — веками».

В древности и в Китае, и в Японии существовало поверье, что роса с хризантем приносит долголетие. По преданию, в Китае в горах жил человек, который пил росу с хризантем и прожил несколько сотен лет. Во время Праздника хризантем (на девятый день девятого месяца по лунному календарю) принято было протирать лицо кусочками ваты, смоченной росой с хризантем. Друзья, собравшись вместе, любовались цветами, сочиняли стихи и пили вино «Хризантемовая роса».

*

Осень в сердце.
Утром с тоской вспоминаю
Вчерашний вечер.

Это стихотворение уместно сопоставить со стихотворением Фудзивара Киёсукэ (1104—1177): «И эти дни, // Быть может, стану когда-нибудь // С тоской вспоминать. // Ведь горести прежних лет // Ныне дороги сердцу».

Зима

*

Начало зимы.
Мягко струится солнечный свет
По столичным окраинам.

*

Холодно.
В храме пустом мышь грызет
Ветку бадьяна.

Бадьян (иначе — звездный анис) почитался буддистами священным деревом. Его сажали возле храмов, ветками бадьяна украшали алтари.

*

Холодный ветер.
По пустынным полям
разбросана
Мелкая галька.

*

Надевая дорожную шляпу
и сандалии...

Не стало Басё,
И лучше бы год никогда
Теперь не кончался.

У Басё есть такое стихотворение: «Вот и старый кончается год, // А на мне дорожная шляпа // И сандалии на ногах» (перевод В. Марковой). Среди поэтов хайку Басё считался лучшим певцом «сумерек года».

*

Словно назло,
Громыхает сосед кастрюлями
Холодной ночью.

*

Снежный край.
Вдоволь пищи запасено
В бедных домишках.

*

Слышно издалека,
Как от снега ломаются ветки.
Поздняя ночь.

*

Снежное утро.
Над материнским кровом —
дымок.
Легко на сердце.

*

В старом пруду
Торчит из воды рваный башмак
Под мокрым снегом.

*

На камне
Стихи написал, проходя
По полю сухому.

У китайского поэта Бо Цзюйи (772—846) есть такие строки: «Под деревьями подогреваю вино, // Сжигая алые листья. // На камне пишу стихи, // Стирая зеленый мох».

*

Не смерклось еще,
Но звезды уже сияют
Над высохшим полем.

*

Рядом с кастрюлей
Томик монаха Сайгё —
Зимнее уединение.

Сайгё (1118—1190) — японский поэт, оказавший большое влияние на поэзию хайку.

*

Угли золой
Прикрыты, а домик —
В снегу утонул.

*

Торговца углем
Дразнят, зеркальце
подставляя,
Молодые служанки.

*

До самых бровей
Нахлобучены капюшоны.
Трогательные детишки!

*

Зимняя иволга.
Не она ли пела когда-то
У дома Ван Вэя?

*

Скрипит
Корявая ветка замерзшей
сливы.
Рука старика.

*

В мечтах витая...

Зимняя роща.
Луна. Стою, о том позабыв,
Что должен печалиться.

*

На могиле Басё у храма
Компукудзи

Я тоже умру.
Зашелестят над могилой сухие
Метелки мисканта.

Каретные фонари

Однажды по прошествии двадцатого дня двенадцатой луны в доме одного человека вместе с Тайги занимались сочинением хайку, в четвертую же ночную стражу отправились по домам. Лил сильный дождь, и царила кромешная тьма, поэтому, заткнув подолы платьев за пояс, припустились бегом к югу по улице Муромати. Тут налетел ветер и задул наши ручные фонарики. Не было видно ни зги, дождь лил не переставая. Испуганные и растерянные, мы стали стенать и плакать, не зная, что делать.

— В такое время куда уместнее были бы каретные фонари. Дóлжно было позаботиться о них заранее,— сказал Бусон, а Тайги: — Что за вздор! — ответил.— В этом мире разве поймешь, что хорошо — тот ли фонарь, другой ли?

Точно так же и в хайку — достоинство Тайги в том, что его искусство не нуждается в толковании. Все это напоминает случай с монахом, когда-то сказавшим: «Сироурури».

Тан Тайги (1709—1771) — поэт, друг Бусона.
Монах, сказавший «Сироурури»,— персонаж из «Записок от скуки» Кэнко-хоси (1331). Монах этот, известный своей мудростью и чудаковатостью, увидел как-то раз другого монаха и прозвал его Сироурури (смысл этого слова неясен, скорее всего это простой набор звуков). «Да что это за штука?» — спросили его, и он ответил: «А я и сам не знаю, что это такое, но только если бы оно существовало, то, наверное, смахивало бы на физиономию этого бонзы» (перевод В. Н. Горегляда).

Ухэй лунной ночью

Однажды, когда я шел из провинции Дэва в провинцию Митиноку, вечер застиг меня в горах. С трудом добравшись наконец до селения под названием Ясиябукуро, я попросил там ночлега. Всю ночь напролет что-то стучало рядом, и, охваченный любопытством, я вышел посмотреть. Оказалось — на просторном дворе старого храма какой-то старик толчет в ступе зерно. Праздный, прошелся я по двору: в лунном свете чернела тень одинокой вершины, холодный ветер шумел в зарослях бамбука, ночь была светла и прекрасна, так что и словами не опишешь. Этот человек, очевидно, боялся дневной жары, потому и работал ночью. Подойдя к нему, я спросил, как его имя, и он ответил: «Ухэй».

Ночная прохлада.
Толчет зерно под луною
Заяц — «Ухэй».

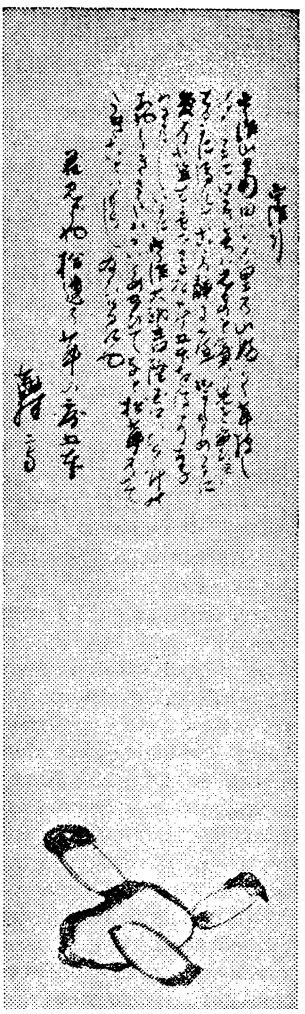
Согласно древней китайской легенде, на луне растет сказочное дерево — лунная кассия, а под ним сидит заяц и в ступе толчет снадобье бессмертия. Имя Ухэй пишется тем же знаком, что и слово «заяц» — «усаги».

Путешествие в Удзи

Однажды мы собирали грибы на южных склонах горы Удзи, неподалеку от селения Тавара. Молодые спутники мои устремились вперед, рассчитывая на лучшую добычу, я же шел спокойно и неторопливо, внимательно глядя по сторонам, и в конце концов нашел целых пять грибов «мацутакэ» величиной каждый с небольшую дорожную шляпу. Поразительно! Хотелось бы мне знать, почему Дайнагон из Удзи, записав столь удивительную историю о грибах «хиратакэ», ни словом не обмолвился об этих замечательных «мацутакэ»?

Взгляни же —
Подобрать забыли грибы,
Сверкающие росой.

«Дайнагон из Узди» — так называли Минамото Такакуни (1004—1077), автора сборника новелл «Подобранные сокровища Удзи» («Удзисюи-моногатари»). О грибах «хиратакэ» рассказывается во второй новелле этого сборника. Вот ее краткое содержание. В окрестностях деревни Сино росло множество грибов «хиратакэ». Однажды нескольким жителям деревни одновременно приснился один и тот же сон: видят они толпу монахов, и один из них, поклонившись, говорит: «Судьба, связавшая нас с этой местностью, исчерпана, мы отправляемся дальше. Прощайте!» Жители деревни недоумевали, не зная, как истолковать этот сон. А осенью в окрестных лесах не было найдено ни одного гриба. Никто не мог понять причины столь странного явления, пока один мудрый монах не догадался, в чем дело. «Монахи, нечистые проповеди произносящие,— сказал он,— в следующем перерождении принимают обличье грибов и остаются в нем до нового перерождения».



Е. КАЦЕВА

ПЕТЕР ВАЙС В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

У этой темы два аспекта: жизнь произведений Петера Вайса (1916—1982) на русском языке и пребывание их автора в Советском Союзе.

Творческая судьба немецкоязычного драматурга и прозаика, осевшего в 1939 году после нескольких лет эмигрантских скитаний в Швеции и там же умершего, в нашей стране не была счастливой. При жизни его у нас были напечатаны три пьесы: «Преследование и убийство Жана Поля Марата, представленное артистической труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне, под руководством господина де Сада» (1964), оратория в одиннадцати песнях «Дознание» (1965), написанная по материалам судебного процесса над палачами концлагеря Освенцим, и пьеса «О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился» (1968). Последние две были поставлены в Театре на Таганке.

На этом знакомство советского читателя с творчеством Петера Вайса практически прекратилось, за исключением эссе об Освенциме «Место, для которого я был предназначен», опубликованного уже после смерти писателя [1].

Беда была в том, что коммунист Петер Вайс хотел внести свой вклад в празднование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина: он решил стереть одно из «белых пятен» в истории Великой Октябрьской социалистической революции, написав пьесу «Троцкий в изгнании» (1970). И тут уж автора спасти ничто не могло: ни то, что пьеса никоим образом не троцкистская, никакая не «песнь во славу», ни то, что, увидев, какую бурю негодования она породила в социалистическом лагере, писатель «отозвал» ее, запретил печатать и ставить. Само обращение к фигуре Троцкого было достаточным, чтобы, при всем искреннем намерении Петера Вайса, сотворить нечто доброе на благо социализма, его имя на годы было предано анафеме. Свою роль тут сыграла злополучная статья в «Литературной газете» [2] — «Самовыражение» и саморазоблачение Петера Вайса», автором которой был... Лев Гинзбург, тот самый Лев Гинзбург, превосходный переводчик пьес Вайса. Этот факт писатель переживал особенно болезненно и так и не смог примириться с ним. В «Записных книжках», опубликованных еще при жизни, он писал: «Встреча с Львом Гинзбургом. К чему теперь это дружелюбие, исходящее от человека, который тогда, после пьесы о Троцком, так непотребно меня разругал. Что это — социалистическая шизофрения? Тотальное обесценение слова? Поставлено оно на службу только сиюминутным тактическим целям, а может быть, самозащите: ведь он перевел «Марата»? Ничего уже нельзя принимать всерьез? Или, наоборот, все слишком серьезно, чтобы в это вообще следовало вникать?» Помня об особенностях времени, вполне можно предполагать, что Вайс нечаянно угадал истинную причину — самозащиту человека, который так много сделал для ознакомления нашего читателя с его творчеством и именно потому, вероятно, не смог уклониться от иезуитски адресованного ему «социального заказа». «Социалистическая шизофрения» была достаточно распространенной болезнью.

Как бы то ни было, Л. Гинзбург и после этого приложил много усилий, чтобы блистательно переведенный им «Марат» дошел если не до зрителя (Ю. Любимову так и не удалось его поставить), то до читателя. Он нашел хитроумный путь: «под занавес» своего прекрасного тома переводов «Десять веков немецкой лирики» включил единственную пьесу — на том основании, что она написана стихами!

К слову, много лет спустя, когда уже не было в живых ни Вайса, ни Гинзбурга, «Марат» все же был поставлен: в городе Лиепае, в Театре дважды Краснознаменного Балтийского флота,— спектакль (режиссер Ольга Глубокова) был приурочен к 71-й годовщине Октябрьской революции.

[1] См. «ИЛ», 1984, № 10.

[2] См. «ЛГ» от 1.IV.1970.

Да и «Троцкий в изгнании» у нас теперь опубликован: в апрельском (Ленинском!) номере журнала «Театр» за 1990 год, в переводе... Юрия Львовича Гинзбурга.

Да и роман «Эстетика сопротивления» — главная книга Вайса (глубокая статья о нем Т. Мотылевой была опубликована в «Вопросах литературы» [3]) — движется к нашему читателю (готовит издательство «Художественная литература»). В известной мере прорывом была публикация в «Литературной газете» (по случайному совпадению в том же октябре 1988 года, что и премьера «Марата» в театре ДКБФ) моего перевода главы о московских процессах 1937—1938 годов, главы, делавшей невозможным появление романа и в ГДР, и у нас. Но об этом ниже.

В Советский Союз Петер Вайс приезжал единственный раз — в сентябре 1974 года. Он был приглашен Союзом писателей СССР на празднование сорокалетия его основания. Жил главным образом в Москве, два или три дня провел в Волгограде. Эти десять дней пребывания в СССР он подробно описал в упомянутых «Записных книжках 1971—1980».

Торжественный пленум происходил в Колонном зале Дома Союзов, Дома, где в 1938-м разыгрывался процесс над Бухариным — Бухариным, на Первом съезде советских писателей в 1934-м произнесшим в этом же зале пламенную речь о революционном искусстве. Пребывание здесь было огромным переживанием для Вайса, работавшего в то время над «Эстетикой сопротивления». Глаза писателя и художника — а Вайс ведь был и известным художником, его персональные выставки состоялись в ряде городов Европы, в том числе и в Париже,— вбирали в себя детали зала, описанного в первом томе романа, вышедшем в ноябре 1975 года. Эти детали он вкрапил в рассказ норвежского писателя Нурдаля Грига, ловящего по радиоприемнику известия, чтобы знакомить с ними своих друзей-соратников, участников боев за Испанскую республику.

Приведу отрывок из этой главы, явно обогащенный личными впечатлениями Вайса:

«То, что мы узнавали, были отрывочные сигналы, знаки Морзе, намеки, требующие объяснения. Поблизости от Кремля, в Доме Союзов — бывшем дворянском клубе,— в торжественном зале с мраморными колоннами и лазорево-голубыми стенами, под огромными подвесками люстр, на сцене сидел Бухарин, вместе с Рыковым, Крестинским, Раковским и другими обвиняемыми, и называл себя руководителем контрреволюции, замышлявшим реставрацию капитализма в Советском Союзе. Григ видел его три с половиной года тому назад, на Первом всесоюзном съезде писателей, когда Бухарин держал большую речь — наверху, с кафедры,— речь о свободе революционного искусства, о безусловной широте формы; его слова звучали твердо, отточенно, четко, в них было нечто провидческое, он не предавался размышлениям, это была пламенная атака, бой, контратака, это было провидение как следствие яростных дебатов, нападение на узколобость и догматизм, на ремесленников от героического идеализма, отказ от всяческих директив, призыв к раскрытию индивидуальностей. Тогда, в те последние дни августа тридцать четвертого года, казалось, что заложен фундамент новой культуры, которая после Октября искала своего выражения, каждая фраза оратора была направляющей, пронизанной высокой ответственностью, за ним стояло Политбюро, партия. Грига захватили ликование, шквал оваций, хрустальные грани люстр тысячекратно отражали объятия собравшихся,— зеркальная гладь, некогда светившаяся блеском драгоценностей и орденов кружившей в танце аристократии, теперь отражала жалкую кучку проклятых. Хотя Григ знал, что годом позже Бухарин утратил какое бы то ни было влияние, а еще год спустя — всякую поддержку, появление его после года тюрьмы показалось ему все же неправдоподобным. Не надеялся ли я, спрашивал себя Григ, что он сможет отмести обвинения, обрушившиеся на него во время процессов против Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека, Тухачевского, что он в состоянии прекратить вызванную фашизмом общую панику и восстановить социалистическую законность. Что заставило его, спрашивал себя Григ, ближайшего друга Ленина, выставить себя перед мировой общественностью организатором блока врагов Советского Союза и отречься от всего, за что всю жизнь боролся? Крестинский, маленький, тщедушный, сломленный, со вдавленной в переносицу стальной оправой очков, в день открытия суда совершил поступок, который, казалось Григу, мог бы развеять ужас. Он единственный из заключенных отказался признать вину, никогда он не принадлежал к блоку правых и троцкистов, даже не подозревал о его существовании, не поддерживал никаких вменяемых ему в вину связей с немецкими и японскими службами шпионажа. Победно звучали со-

[3] См. «Вопросы литературы», 1985, № 12.

общения фалангистов, наступавших на Фуэндетодос, родину Гойи, на запад от Бельчите, а обвинитель наступал на упрямца, теряющего сознание. Слушайте, кричал прокурор, вы не сможете ссылаться на то, что ничего не слышали, а Крестинский, прежде посол Советского Союза в Берлине, почти шепотом отвечал, что ему плохо. Радио на разных языках сообщало о случившемся. Григ много раз пересказывал, как Крестинский принимал лекарство, чтобы быть в состоянии следить за ходом процесса. Риск, на который Крестинский отважился, поправ все правила, по которым велся процесс, должно быть, отнял у него все душевные силы, говорил Григ, подсудимый пошел на это, видимо, в надежде, что другие последуют его примеру. Такая возможность еще оставалась в это второе марта, поворот еще мог бы произойти: международная пресса была в сборе, совместное заявление в этот краткий миг замешательства, оцепенения могло бы привести к признанию их невиновности. Но этого не произошло, остальные пребывали в состоянии подавленности, ожидая своей гибели, машина допроса покатила дальше, переступив через происшедшее, раздавив его, превратив в ничто, обвиняемые по-прежнему сотрудничали с судом и толкали Крестинского на то, чтобы он отказался от своего заявления. До вечернего заседания третьего марта Григ еще надеялся, что там, в зале с колоннами, где когда-то давались балы, Бухарин поднимется, что большевистское прошлое, диалектический и исторический материализм, сама ситуация придадут ему силы. Но потом эфир принес нам признание Крестинского, мы записали его слово в слово, чтобы на следующее утро привести в черной рамке в стенной газете».

...На пленуме, посвященном сорокалетию Союза писателей СССР, я и познакомилась с Вайсом. И, смею сказать, мы с ним подружились (что́ он сам «документирует» в опубликованных «Записных книжках»). Вечерами, после наполненного встречами, беседами, официальными мероприятиями дня, он обычно приходил ко мне, чтобы рассказать и обсудить увиденное и услышанное. Ему нужны были дополнения, объяснения, поправки, опровержения, комментарии, чтобы лучше узнать и понять страну, людей, условия жизни. Важно, по-видимому, для него было и то обстоятельство, что первые четыре послевоенных года я проработала в качестве так называемого культурофицера в Берлине. Некоторых из действующих лиц его романа (а почти все они реальные лица — писатели, художники, политики, деятели международного революционного движения) мне доводилось встречать, например, Андре Симона, написавшего в свое время вместе с Вилли Мюнценбергом знаменитую «Коричневую книгу» (1933) — она впервые рассказала миру о гитлеровском терроре. Вернувшись после войны в Чехословакию, Андре Симон часто бывал в Берлине, выступал в Клубе журналистов Бюро информации при Советской военной администрации в Германии, где я работала, а после моего отъезда на родину мы переписывались. В 1952 году Андре Симон, «проходивший» по процессу Рудольфа Сланского, был казнен.

Вайса очень интересовали подробности жизни в послевоенной Германии, события того времени, начало «холодной войны», очень скоро породившее знаменитый «воздушный мост» между Западными зонами оккупации Германии и Западными секторами Берлина.

Разумеется, были не только серьезные разговоры и «просветительская работа». Однажды у меня собрались по случаю приезда Вайса друзья. Вернувшись с работы, я боялась, что не успею все приготовить к приходу гостей. Вайс сразу же взялся за работу: «Картошку почищу я — я квалифицированный мастер этого дела». Бокалы на стол не поставишь прямо из кухонного шкафа — и Вайс принялся полировать их, пока не смог удовлетворенно сказать: «Сверкают не хуже, чем в Кремле».

После отъезда Вайса из Москвы мы перезванивались, иногда он звонил из Берлина, где бывал как член-корреспондент Академии искусств ГДР. И переписывались. Приведу несколько отрывков из писем Вайса, отражающих не только его жизнь в Стокгольме, но и работу над тремя томами «Эстетики сопротивления» — широкой панорамы политической, философской, культурной жизни Европы 1937—1945 годов,— работу, часто не споривщуюся и потому мучительную.

«Временами я остаюсь один с моей маленькой дочерью, которой в ноябре исполнится четыре года и которая требует много времени. Забота о ребенке и Гунилле (жена писателя, театральный художник.— *Е. К.*) постоянно занимает мое сознание, так что мне не хватает продолжительного покоя, постоянной сконцентрированности, в чем я так нуждаюсь для работы над задуманной большой книгой. Но все-таки я не хочу жаловаться, ведь сейчас в первую очередь надо постараться, наконец, вылечить мою жену. Ты поймешь, при этих обстоятель-

ствах я не в состоянии ответить на твои вопросы. (Речь идет об анкете журнала «Вопросы литературы», где я тогда работала.— *Е. К.*) Просто из инстинкта самосохранения я должен имеющиеся в моем распоряжении часы использовать таким образом, чтобы не прерывать работу над романом.

Ты пишешь, что в Берлине смогла прочитать мое письмо компетентным товарищам. С тех пор ничего не изменилось. Вот уже год, как книга вышла в свет, а в ГДР по-прежнему нельзя ни услышать, ни прочитать ни единого слова. Только Хермлин написал мне очень хорошее и смелое письмо, которое я высоко ценю. Разумеется, не говоря уже о *твоем* письме!

Мои отношения с этой страной, за которую я, как ты знаешь, заступался всеми силами, в настоящее время крайне неплодотворны.

Все это очень угнетает меня, я в плохой форме, нуждаюсь в уверенности и силах для работы.

И снова и снова я очень, очень тяжело переживаю, что оба социалистических государства, которые я политически поддерживаю, проявляют к моей работе такую холодность. Я все надеюсь — но жизнь так коротка...» (4.IX.1976).

Небольшой комментарий к фразе о письме, прочитанном в Берлине «компетентным товарищам». Петер Вайс прислал мне копию своего направленного в Академию искусств ГДР письма, полного недоумения, горечи и боли, вызванных пассивностью, граничащей с равнодушием, своих коллег по отношению к нему и его работе. Во время поездки в Берлин я показала эту копию некоторым ответственным товарищам в Академии искусств, Союзе писателей и министерстве культуры, так как опасалась, что само письмо где-то затерялось и потому Вайс не получил ответа. Оно, конечно, не потерялось, нет, но все упиралось главным образом в раздел о московских процессах 37—38 годов. Вопрос — печатать, не печатать — горячо дебатировался. Я думаю, исход решил остроумный аргумент Германа Канта, сводившийся к тому, что те, кто будет читать книгу (то есть не многие, поскольку она трудна для чтения), и так всё знают, а те, кто не знает, не станут ее читать. Правда, этот прогноз не оправдался: изданная небольшим (три тысячи экз.) тиражом, книга мгновенно была раскуплена, и пришлось выпускать новое издание бóльшим тиражом.

Из другого письма:

«Больше всего времени у меня отнимает работа над последним, третьим томом «Эстетики». Ты поймешь, что теперь, после более чем восьмилетней работы над трилогией, мне нужно мобилизовать все последние силы — и еще некоторые другие, сверхчеловеческие в придачу! Последний том должен, естественно, быть и самым сильным, текст здесь не вправе нигде ослабевать, и требование это постоянно висит надо мной. Временами мне казалось, что силы покидают меня. Я не мог продвинуться вперед, каждую фразу переписывал десятки раз, впадал в отчаяние, и физически я тоже был не в форме — сердце, кровообращение не совсем в порядке, к тому же повысился сахар, и теперь приходится соблюдать диету и принимать лекарства. Но это все обычные, повседневные заботы, которые есть у каждого.

Главное же, что теперь дело с книгой продвигается. Для того чтобы она появилась весной 81-го года, мне надо сдать ее первого октября,— я очень хочу это сделать, чтобы не валандаться с ней еще год. Значит, работу теперь действительно нельзя прерывать.

Заключительная часть — самая трудная и в другом отношении: она рассказывает о последних годах войны, вплоть до «победы», о чудовищных человеческих жертвах, уничтожении антифашистских сил в немецком подполье и вместе с тем о неслыханных достижениях Сопротивления в совершенно нечеловеческих условиях. Все это, заново переживаемое, предельно изнуряет. Но это время ты и сама хорошо знаешь по собственному опыту.

...Хотел бы снова увидеться и надеюсь только, что здоровье позволит нам встретиться весной 81-го — может быть, в Берлине, я давно там не был, даже в Ростоке... Рад был узнать, что ты все-таки побывала в Ростоке и встретилась с Пертеном и Мокинпоттом [4].

Я сижу здесь, в теплом летнем Стокгольме, и барабаню на пишущей машинке, пока Гунилла и Надя в деревне. Надя фантастически развивается. В ноябре ей исполнится восемь, в августе она пойдет во второй класс. Как быстро ребенок превращается в сознательного, почти взрослого человека, со своим опытом, соображением, сомнениями, неуверенностью, мечтами! А как поживает твоя дочь?

Что слышно о Германе Канте? Ты его видела? Оправился ли он от своих невзгод?

---

[4] С ростокским Народным театром и его главным режиссером Хансом-Ансельмом Пертеном, поставившим все пьесы Вайса (который очень ценил эти спектакли, а постановку «Марата» считал вообще лучшей из всех им виденных), у писателя были многолетние творческие и дружеские отношения.

Я очень ценю его. Жаль, что так редко видишься с друзьями, и еще жаль, что так быстро уходит время» (24 июля 1980).

О Наде, своей поздней дочери, Вайс писал в каждом письме, она занимала в его жизни особое место. В документальном фильме о Петере Вайсе его жена говорит, что главной страстью его жизни были не женщины, а дочь. В Москве он много рассказывал о ней, его очень угнетала мысль, что когда-нибудь ей придется пережить боль утраты отца. Когда он умер, я написала Гунилле, с которой не была знакома, письмо с соболезнованием и беспокойством о том, как перенесет Надя потерю. Гунилла мудро ответила: «В детстве она получила столько тепла от своего отца, что ей должно хватить его на всю жизнь».

И еще из одного письма, последнего, написанного в марте 1982-го, с планами на май, которым уже не суждено было осуществиться:

«Я так обрадовался твоему письму, что сразу же отвечаю, хотя сверх головы завален работой. Почему я не давал о себе знать? С мая 81-го работаю над постановкой своей последней (она оказалась действительно последней. — *Е. К.*) пьесы — «Новый процесс». 12 марта состоится премьера. Впервые в жизни я сам и режиссирую; Гунилла сделала декорации плюс костюмы. Гигантская работа, большая пьеса, тридцать три сцены (по ассоциации с Дантовым «Адом»), а название, равно как и имена действующих лиц, hommage à Kafka[5] — в остальном же совершенно самостоятельная вещь, никак не созвучная моей старой обработке «Процесса».

Это стоило огромного напряжения, причем сразу же после годов работы над романом, но театр снова поманил меня с такой силой, что я не мог устоять.

Да, Женя, я тоже хотел бы снова стать подвижнее, ездить, но чувствую себя в последние годы очень усталым. То, что написал Симонов[6], меня очень порадовало, и я, разумеется, согласен на публикацию (см. прилагаемый листок).

Насколько я в состоянии думать сейчас о чем-либо вне театра, я полагаю, что в апреле — возможно, мае — я мог бы побывать в Берлине, тем более что мне нужно в издательство Хеншель,— ты, наверное, знаешь, что весной в этом издательстве выйдет «Эстетика», *все три тома*».

Но радости подержать книги в руках ему уже не дано было испытать.

...Из Волгограда Петер Вайс вернулся глубоко взволнованным. Он увидел город, некогда разрушенный в самой страшной битве второй мировой войны,— восстановленным, побывал в образцовом колхозе, в чудесном детском саду («такие пригодились бы и нам в Швеции»). Но год 1937-й не давал ему покоя, постоянно прокручивался в голове. Он занес в «Записные книжки»: «Каким образцом могла бы служить эта страна, если бы она разделалась со своим прошлым».

Ну, что касается второй части записи, то мы ныне (а Вайс занялся этим намного раньше нас) очень усердно «разделываемся» со своим прошлым (и занимающий столь весомое место в романе Геракл нам вполне может пригодиться — для расчистки авгиевых конюшен). И «Эстетика сопротивления» вносит в это свой вклад: эта энциклопедия трагических ошибок и преступлений в истории коммунизма показывает, что́ наделали процессы 30-х годов в Советском Союзе, какие драматические последствия они имели для всего международного антифашистского движения.

А что сказать о первой части этой записи — о стране-образце с ее колхозами и детскими садами? Дорогой друг, разве ты не знал, что одно из величайших российских изобретений — потемкинские деревни?..

---

[5] Дань уважения Кафке (*франц.*).

[6] Речь идет об исполненном дружелюбия письме Константина Симонова Вайсу в связи с предстоявшей в 1977 году в Софии Международной встречей писателей. Симонов писал, что будет рад снова повидаться (Вайс в Москве был в гостях у К. М.) и предпринять некоторые совместные действия в осуществлении планов борьбы за мир. Однако Вайс, узнав, что болгарская сторона отказала в визе чешскому драматургу Павлу Когоуту, опубликовал протестующее письмо и в Софию не поехал. Отсутствие Вайса во многом обесценило для Симонова участие во встрече, и он под благовидным предлогом от него отказался.

Слова Вайса о согласии на публикацию относятся к переданной мною просьбе комиссии по наследию Симонова разрешить опубликовать письмо К. М. в томе его писем, что Вайс и сделал, прислав письменное разрешение.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

Материалы Вайнгартенского симпозиума

Вайнгартен — старинный городок в земле Баден-Вюртемберг (ФРГ), где в мае нынешнего года в течение трех дней проходила международная встреча на тему «Индивидуальное и массовое сознание», организованная Католической академией епископата Роттенбург-Штутгарт и журналом «Иностранная литература». Симпозиум, в котором приняли участие видные деятели культуры — писатели, богословы, литературоведы — из ФРГ, Советского Союза, ГДР, Австрии и Швейцарии, был задуман как продолжение диалога о взаимоотношениях религии, культуры и идеологии, о власти силы и власти духа — диалога, который вот уже некоторое время ведется на наших страницах. «ИЛ» опубликовала материалы дискуссии «Коммунизм и христианство» (№ 5, 1989), западноберлинского круглого стола «Ответственность перед Христом и перед совестью...» (№ 2, 1990), встречи членов Международного редсовета «ИЛ» на тему «Художник и власть» (№ 5, 1990). Для Католической академии, учреждения, занимающегося культурными связями церкви — проведением внутринемецких и международных конференций, семинаров, выставок, дискуссий,— симпозиум стал одним из главных мероприятий года. Пользуясь случаем, выражаем искреннюю признательность руководителям Академии, сделавшим все для успеха встречи: д-ру Фюрсту, д-ру Эльшлегеру и д-ру Хойзеру.

Круг тем, поднятых в выступлениях участников, был весьма обширен, отражая сложность и многообразие волнующих сегодняшний мир проблем: обновление религии, экология, объединение Германии, процессы, происходящие в Советском Союзе и Восточной Европе, литература, история... Для публикации в «ИЛ» — из-за большого объема материала — мы отобрали лишь то, что имело непосредственное отношение к главной теме симпозиума, ибо именно в анализе отношений личности и толпы, индивидуального и массового сознания — в контексте духовном, культурном, политическом,— вероятно, и содержится ключ к постижению судеб цивилизации в наш переломный век, особенно для стран, несущих бремя такого тяжелого исторического и нравственного опыта, как у Германии и Советского Союза.

Одним из центральных событий дискуссии стал доклад профессора Кюнга «Религия на переломе эпох». По содержанию он, пожалуй, стоял несколько в стороне от основной темы обсуждения, но вызвал столь глубокий интерес всех участников и так повлиял на последующий ход встречи, что мы решили напечатать текст этого фундаментального выступления, во многом расходящегося с позициями ортодоксального католицизма, полностью — в качестве своеобразного приложения к материалам симпозиума.

Параллельно с симпозиумом проходил немецко-советский литературный семинар под председательством профессора Казака. С советской стороны в нем принимали участие известные германисты: С. Апт, А. Карельский, Б. Хлебников.

Итак, представляем выступающих:

Гебхард Фюрст (ФРГ) — директор Католической академии. Священник. Доктор теологии.

Чингиз Айтматов (СССР) — писатель, главный редактор «ИЛ». Народный депутат СССР.

Фридрих Хитцер (ФРГ) — драматург, прозаик, публицист, переводчик-славист. Неоднократно печатался в «ИЛ».

Николай Анастасьев (СССР) — критик, первый зам. главного редактора «ИЛ», доктор филологических наук.

Абдижамил Нурпеисов (СССР) — писатель.

Мартин Вальзер (ФРГ) — писатель. В«ИЛ» напечатаны его роман «По ту сторону любви», повесть «На полном скаку», пьеса «Дуб и кролик».

Алесь Адамович (СССР) — писатель, публицист. Народный депутат СССР.

Адольф Хампель (ФРГ) — богослов, специалист по восточноевропейским церквам. Доктор теологии.

Бригитт Швайгер (Австрия) — писательница.

Ион Друцэ (СССР) — писатель, публицист. Народный депутат СССР.

Евгений Сидоров (СССР) — критик. Ректор Литературного института им. Горького.

Карл-Йозеф Кушель (ФРГ) — литературовед, богослов. Доктор теологии.

Александр Мень (СССР) — священник. Богослов, публицист.

Даниил Гранин (СССР) — писатель, публицист. Народный депутат СССР.

Дитер Латман (ФРГ) — писатель, эссеист. В 1969—1974 гг. председатель Союза писателей ФРГ.

Альгимантас Бучис (Литва) — писатель, поэт, публицист.

Петер Ренц (ФРГ) — писатель.

Олег Чухонцев (СССР) — поэт.

Кристина Баше (ГДР) — славистка. Доктор филологии.

Вольфганг Казак (ФРГ) — славист. Доктор филологии. Автор «Энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года».

Ханс Кюнг (ФРГ) — богослов, писатель. Доктор теологии.

Г. ФЮРСТ. Глубокоуважаемые дамы и господа, открывая Вайнгартенский симпозиум, я сердечно приветствую вас, уважаемые гости, от имени Академии. Тема «Индивидуальное и массовое сознание» позволяет нам обменяться информацией, мнениями и оценками. Речь идет о том, чтобы услышать друг друга, друг у друга поучиться и найти взаимопонимание. Без сомнения, этот симпозиум станет вкладом в построение возникающего сейчас европейского дома, в то, чтобы сделать его обитаемым. Дом, где вместе живут многие, только тогда становится живым сообществом, когда его обитатели знают друг о друге, знают, что происходит в заселенных комнатах. И к тому же узнают об этом вовремя, то есть постоянно информируют друг друга.

То, что мы начинаем этот симпозиум сегодня, 8 мая, по-своему символично. 8 мая 1945 года знаменует конец второй мировой войны. Должно было пройти 45 лет, чтобы такой симпозиум, как сегодняшний, смог состояться. Меня впечатляет и волнует то. что люди, которые еще несколько десятилетий назад были врагами, сегодня вместе работают ради будущего своих народов, сообщая им духовный и культурный импульс.

Я хотел бы непременно видеть, что в строительство этого европейского дома включились все народы Советского Союза, и пожелать им, чтобы в этом новом устройстве они нашли себе достойное место, разделяя общую ответственность за сохранение мира.

Мы знаем о той исключительной роли, которую играют поэты и писатели в процессе перестройки советского общества. Мы знаем, как высок их моральный авторитет и значение выдвигаемых ими ориентиров. Мы с восхищением видим, что у вас, в Советском Союзе, кажется, удалось действительно осуществить взаимное оплодотворение духа и силы политического преобразования совсем иначе, чем это было бы возможно в нашем обществе. То, что многие поэты и писатели — в то же время народные депутаты, обнаруживает эту столь же значительную, сколь и сложную связь...

Мы относимся с интересом к тому, что вами вновь были открыты те представления и убеждения, ценности и ориентиры, которые восходят к христианской традиции. Каждое общество должно быть построено на справедливости. Но сама по себе справедливость холодна и формальна. Сердце общества — милосердие. Мы в западном мире — с нашим нередко беспощадным обществом, с его соревнованием и стрессами конкуренции и успеха — должны освоить это заново. Ваше творчество и нам снова открывает глаза...

С сочувствием мы восприняли и то, какое значение вы придаете религиозному измерению в совместной работе и совместной жизни. Несмотря на все извращения, которые были в истории и в которых повинна и церковь, христианская религия, если она верна себе,— вовсе не «опиум для народа». Христианская религия утверждает такие убеждения, которые имеют значение для процесса перестройки. Христианские взгляды — это не «цветы на цепях рабства» (Карл Маркс). Христианская религия — это скорее «религия исхода и царства» (Эрнст Блох). Другими словами, христианская религия — это религия освобождения от гнета и строительства царства справедливости, милосердия, мира и гуманности. Христианская религия — это осуществимая утопия более справедливого, более милосердного, спасенного мира. Используя еще одно выражение Маркса, можно сказать, что христианская религия — это «душа бездушного мира».

Дамы и господа, я прошу понять меня правильно! Я никого не хочу обращать в истинную веру, я хотел бы только сообщить вам о моих убеждениях, согласно которым я строю мою жизнь и которые являются движущим мотивом моей общественной деятельности...

В заключение мне хотелось бы высказать пожелание успехов в вашей работе в Советском Союзе — в чем бы ни заключалась эта работа,— чтобы она шла на пользу тем великолепным переменам, которые происходят теперь в вашей стране. Для того чтобы достичь свободы, самоопределения и культурного развития, необходимо взаимодействие всех, самых различных сил доброй воли. Позвольте заверить вас, что мы с величайшей симпатией следим за этими преобразованиями в вашем обществе и от всего сердца поддерживаем их. Мы желаем вам выдержки, терпения, целеустремленности — и исполнения того, чего сами вы ожидаете от перемен в обществе вашей страны.

Ч. АЙТМАТОВ. В современном мире, особенно в Европе и особенно — подчеркиваю — в нашей стране, происходят беспрецедентные события, предвещающие грандиозные изменения. Дух тревожится, в какую сторону пойдут эти изменения — к признанию общечеловеческих ценностей, навстречу новому устройству человеческого бытия или по пути, который, как известно из истории, приводит к торжеству зла. Ведь и религия — ваша и наша — говорит, что зло не дремлет, действует постоянно, а добро приходит с промедлением. Если исходить из этого постулата, то массовое и индивидуальное сознание — тема, выбранная Академией и редакцией журнала «Иностранная литература»,— два крыла человеческого духа, и от того, как эти крылья взаимодействуют, зависит его

полет: или он взмывает ввысь, или кружит беспорядочно в воздухе, или падает камнем и разбивается о твердь. Это судьба человека и человеческого общества, его суть...

Я хочу сказать, что притча — я пока это так назову — о массовом и индивидуальном сознании воспринимается сейчас советскими людьми исключительно болезненно. Не буду вдаваться в детали, скажу лишь, что объективно мы до последнего времени являлись несокрушимым бастионом массового сознания, грозного по своей монолитности, строгости, убежденности в абсолютной своей правоте. Подобные бастионы возникли и вокруг нас. Сейчас и мы и они претерпеваем внутренние преобразования; к этому мы пришли сами в поисках нового пути, никто на нас не давил извне. Но мы должны учитывать, что один из таких бастионов находится на границе нашего государства, моей республики,— я имею в виду Китай. Тоталитарное сознание современного Китая, может быть, превосходит то, что представляли из себя мы, если учесть, что в стенах этого бастиона находится более миллиарда людей — огромная сила. На нее можно повлиять только убеждением, диалогом, постепенно открывая новые горизонты общения. История наших стран, Европы, позднейшая история, участниками которой мы сами являемся, свидетельствует, что насильно искоренять то, что тебе чуждо,— значит ввергать всех в общую беду.

Есть еще один аспект индивидуально-массового сознания, как я его себе представляю. Все мы согласны с тем, что каждый человек должен быть личностью, наделенной индивидуальным обликом, духом, сознанием. Но также верным мне представляется, что индивидуальное сознание не есть дар Божий и не возникает само по себе, а все равно вытекает из того массового сознания, которое господствует в данный момент и состоит, в свою очередь, из множества индивидуальных. Диалектическое взаимодействие этих двух начал, видимо, должно всерьез занимать современных художников, мыслителей, публицистов. Надеюсь, наша встреча внесет свою лепту в познание такого сложного явления...

Несколько слов я хотел бы сказать по поводу нашего понимания вероучения, религии в современном мире. Я поддерживаю точку зрения господина Фюрста, что христианские традиции вечны. И мы, и поколения после нас будут еще очень долго стремиться к их постижению, сам этот процесс и составляет, видимо, совершенствование человечества. Не только христианство, но и другие мировые религии — буддизм, ислам — ищут путь к Творцу, это сердцевина всех религиозных побуждений.

Но, как ни печально, каждая великая идеология порождает спутников, которые являются в конечном счете антидействующими силами. Сейчас, когда мы трезво взглянули на идеологию коммунизма, я не думаю, что она возникла из какого-то злого умысла. Это тоже была отчаянная попытка найти новый путь, а что из этого вышло, к чему привело — вы знаете. Я хотел бы сказать, что современная религия помогает нам восстановить в себе такое видение мира, состояние духа, которое естественно располагает человека к цельности, к терпимости. Из новой немецкоязычной литературы такого рода я хотел бы отметить книги профессора Кюнга, они переведены на русский язык...

Поскольку у нас откровенный разговор, я хочу высказаться по одному крупному вопросу. Что являет собой сейчас советское общество в результате перестройки? Что явилось последствием всего этого и в Европе, и в мире? Да, мы переживаем очень нелегкое, смутное, внутренне опасное, самому нашему умонастроению, состоянию угрожающее время, и многие в нашем обществе сейчас сокрушаются, и досадуют, и возмущаются, и плачут о том, что якобы мы были великой державой и что теперь мы утратили этот ореол, превратились в отсталую страну. Вот этот мотив меня все больше тревожит. Многие люди в нашей стране таким образом обращаются к периоду массового сознания, ищут персонально ответственного за то, что произошло, жаждут, чтобы кто-то ответил за это.

Не сегодня — так завтра, не я — так мои молодые последователи попытаются обрисовать это состояние духа, это противоречие, это ожесточение. Я тоже об этом думаю. Я задаю себе вопрос: если мы действительно были ведущей силой в мире — еще надо ответить, были ли мы ею на самом деле,— то какой ценой нам это давалось? Об этом никто не думает и не хочет себе отвечать. И если мы говорим, что весь мир взирал на нас, то в чем была наша притягательная сила, каким образом мы привлекли к себе такое всеобщее внимание? Нам говорят, что Запад восхищался нами. Я хочу спросить: кто восхищался? В чем была наша «восхитительность?». Может быть, это те самые коммунисты, которые, живя в западных странах, упрекают нас в том, что мы порушили принципы социализма, и призывают нас во что бы то ни стало держаться этих принципов? Мне всякий раз хотелось им сказать: если вы такие приверженцы этих принципов, приезжайте к нам, на родину этих принципов, живите здесь и поддерживайте их. Но я думаю, что ни один из них не решится на это. Хорошо со стороны, живя в экономическом благополучии, быть сторонником тех утопий, в осуществлении которых мы оказались экспериментаторами. И когда мы сокрушаемся о своем былом величии, мы должны сказать себе: а как жил наш человек, отдельно взятый человек, какую судьбу мы ему преподнесли? Я пытаюсь ответить, в чем же все-таки была сила того, что мы все так жили, что массовое сознание было несокрушимым? И если мы действительно привлекали к себе взоры, то мне кажется, что мы больше внушали страх и угрозу: находясь на такой огромной территории, обладая такими ресурсами, отказывая себе почти во всем, что положено человеку, однажды пришедшему жить на этом белом свете, концентрируя все это в военную силу, взлетая в космос, когда дети в больницах не имеют медикаментов для лечения, мы демонстрировали себя. Мне думается, что есть одна закономерность всеобщая, всемирная, которая еще раз подтверждена на нашем горьком

опыте — это порочность идеи мирового господства, какого бы происхождения она ни была. Фашистская идея мирового господства, которую пережили вы, такой же природы, и она привела в результате тоже к краху. Порочность идеи мирового господства, если в одном случае она идет под девизом «С нами Бог!», в другом — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,— все равно ведет к одному результату, поскольку эта идея не может жить вне тоталитарной стихии, поскольку ее действующая сила — это фанатизм, мессианство, расизм и разные другие формы, подавляющие личность... Из всего того, что сейчас происходит в мире, и прежде всего в нашей стране, поскольку мы оказались центром, неким средоточием самого болезненного развития современности, мне кажется, мы сообща должны в первую очередь думать о том, что нам предстоит впереди, что ждет человека. Хватит нам избегать друг друга, видеть друг в друге врагов. У каждой религии есть свои духовные обретения, свои духовные открытия, своя культура и свои трагедии. Поэтому мы должны вырабатывать некое общее видение. Это не значит, что мы должны сразу превратиться в партию — у нас это сейчас очень модно. Говорят, что партий у нас уже около трехсот. Надо, чтобы было ищущее мироощущение, понимание того, что впереди не может быть сплошного счастья, никто — ни религия, никакие идеологии — не должны обещать человеку впереди беспредельного счастья. Я уезжал сюда и думал: кто скажет, грядет ли новая мировая религия, а если нет, то как сделать, чтобы все ныне действующие религии были на благо человеку. Сейчас, когда социализм виден таким, какой он есть, без лицемерия, а капитализм при всем своем экономическом благосостоянии чреват опасностями, я задаю себе вопрос: грядет ли впереди нечто новое для наших потомков? То, чему я еще не нахожу названия? Или не надо об этом думать, не надо эти мысли закладывать в суть наших писаний? Думаю, что в том и состоит красота мира и сложность жития на свете: иметь одну путеводную звезду, которой не достичь никогда — она всегда будет впереди. Это дух, интеллект человеческий, который требует для своего развития все большего опыта, исторических переживаний.

Ф. ХИТЦЕР. ...Мы ничего не можем поделать с тем фактом, что преступления прошлого парализуют нас и по сей день, делают незрячими в отношении новых опасностей. Мы слишком долго трактовали историю с точки зрения политических и экономических интересов, все время попадая в старые тупики политики власти.

Мировая история нашего века, подходящего к концу, наполнена надгробными крестами Германии и России, где после первой огромной катастрофы — первой мировой войны — возможность исхода виделась только в насилии. Как бы то ни было, обе книги, беззастенчиво манипулирующие массами, возникли приблизительно в одно и то же время. И какими бы разными ни были их мотивы, одно остается неизменным: уверенность в абсолютной управляемости людей и природы. Речь идет об изданных в середине 20-х годов книгах Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, «Майн кампф» и «Вопросы ленинизма».

Меня не интересует сейчас вопрос, можно ли считать эти книги литературными произведениями (в анкете о прописке в в Мюнхене одного из авторов — Гитлера — значилось в графе «профессия»: писатель). Гораздо важнее указать на то, что слова, необходимые людям, чтобы быть понятыми другими, могут стать причиной разнообразнейших умонастроений. И еще более важным кажется мне тот факт, что при нашей встрече сейчас и здесь постепенно исчезают призраки, еще вчера парализовавшие нас и заставлявшие относиться друг к другу крайне недоверчиво. Именно потому, что попытки уничтожить творение посредством мировой и «холодной войны» происходили как раз в тех странах, в которых мы родились и живем.

Бунт и полное изнеможение природы заставляют нас задуматься. То, что еще недавно казалось мне старомодным, вдруг оказалось чрезвычайно актуальным. Это «Одумайся!» означает: пересмотри свою точку зрения, что больно даже для меня, считавшего себя достаточно просвещенным и даже скептичным и не замечавшего, что я следую принципу власти, провозгласившему исчезновение всех проблем, как только будет решен так называемый вопрос собственности, общественной и частной.

В Восточной Европе происходит сейчас колоссальный пересмотр взглядов, скромно названный «новым мышлением». Происходит в споре людей искусства со словом. Обновление еще не совершилось, оно происходит болезненнее, чем казалось два или три года тому назад. Регенерация сопровождается реакцией, страхом и ненавистью, расизмом и вечными поисками виновного. Но избавление невозможно до тех пор, пока продолжаются поиски новых врагов и козлов отпущения. На рубеже нашего века тоже казалось, что есть все основания надеяться, хотя разница в том, что тогда разум ожидал наступления золотого века, в то время как сейчас мы удовольствовались бы созданием сносных условий и приемлемого уровня жизни...

Н. АНАСТАСЬЕВ. Тема нашей встречи сформулирована таким образом, что с равной легкостью можно воспарить в горние выси теоретических рефлексий и соскользнуть в сторону обсуждения чисто практических задач. Для нас — я имею в виду москвичей, ленинградцев, алмаатинцев и т. д.— этот последний соблазн особенно велик. Ведь надо сильно зажмурить глаза, чтобы не увидеть слишком явных примет окраинного национализма или, что во сто крат хуже, великодержавного шовинизма. Надо очень сильно зажать уши, чтобы не услышать призывов, иногда воинственных, вернуться, как кто-то сказал, в светлое прошлое. Надо забраться в совершенно уж немыслимую глухомань, чтобы не донеслись отзвуки многочисленных демонстраций, митингов, забастовок.

Отмахнуться от этого невозможно, и к тому же вполне ясной представляется связь конкретного общественного пейзажа конца

80-х — начала 90-х с предметом нашей встречи. Ведь в основе национального мессианизма явно лежит принцип эгоистически группового мышления, такого мышления и сознания, которое отвергает общечеловеческие ценности. А тоска по прошлому — это ностальгия по тем временам, когда личность была полностью растворена в государственных структурах, превращена в объект самых бессовестных, а иногда, как мы слишком хорошо знаем, преступных манипуляций.

И в то же время не хотелось бы замыкаться обсуждением чисто актуальных проблем. Скажу больше: такая замкнутость означала бы как раз невольную, может быть, уступку тоталитарному, то есть массовому мышлению, которое насаждается не только режимами вроде сталинизма или гитлеризма, но может быть свойственно и демократиям — развитым, молодым и даже только еще становящимся. Ибо в ряду признаков такого мышления весьма существенными, на мой взгляд, являются:

а) полная сосредоточенность на решении близлежащих задач,

б) самодовольное по своей сути ощущение абсолютной новизны, беспрецедентности происходящего. Иначе говоря, массовое мышление лишено как исторической глубины, так и чувства исторической перспективы. Об этом писал в свое время, характеризуя новейшие европейские умонастроения, Ортега, чье эссе «Воспитание масс» стало, по словам одного из первых рецензентов, для XX века тем же, чем был для XVIII «Общественный договор», а для XIX — «Капитал».

Чем чревато презрение к историческому опыту, известно слишком хорошо. Поэтому мне и кажется, что, не отрываясь от почвы, не отворачиваясь от реально складывающихся обстоятельств, важно все-таки поставить вопрос принципиально — о критериях, способах бытования и конфликтном столкновении индивидуального и массового мышления.

Необходимо говорить о культуре — в широком, то есть в том смысле, который на Западе вкладывают в понятие liberal arts — не только искусство, но и философия, история, социальная психология и прочее. Весьма обидным образом именно культура в эпоху безбрежной гласности и освобождения от духовного рабства отодвинулась куда-то на далекую периферию общественной жизни. Гуманитарии активнейшим образом включились в политическую борьбу, в парламентские дебаты, экологическое движение, в споры по поводу партийной монополии, суверенитета республик, соответствующих статей Конституции и вновь принимаемых законов. Даже выходя на трибуны в профессиональных аудиториях, они говорят о чем угодно, но только не о проблемах духа, тем более не о проблемах творчества. И не занимаются творческой деятельностью в буквальном, непосредственном смысле, то есть не пишут романов, музыки, картин. Это касается и людей, всегда стоявших в стороне от политики и чрезвычайно дороживших независимостью от разного рода общественных движений.

Вообще говоря, это естественно: такой уж момент советской истории мы теперь переживаем. К тому же есть давняя и сильная традиция: писатели, художники в России всегда брали на свои плечи бремя решения общественных проблем. И было бы чудовищной неблагодарностью недооценивать деятельность нынешнего поколения интеллигентов. Более того, гражданская позиция, занятая и активно отстаиваемая лучшими из них, позволяет не в последнюю очередь надеяться на то, что у нас будет когда-нибудь построено цивилизованное общество.

Однако же, да извинят меня присутствующие здесь видные писатели, такая позиция страдает и серьезным пороком, ибо в основе ее лежит некое недоверие к культуре как таковой. А культура — это опровержение массового, партийного, кланового мышления. Это — торжество мышления свободного, то есть не связывающего себя открыто с целями общественного развития, с решением практических задач. К слову, кризис нашей культуры в большей степени и связан с тем, что в основу ее был положен государственный принцип долженствования. Как бы нам не возродить сейчас эту традицию, пусть и с самыми благородными намерениями. Ситуация не вполне обычная, однако же имеющая аналоги в прошлом, в том числе и недавнем. Вспомните Европу конца 60-х годов. В принципе положение сходное. Культура открыто подчинила себя политике, даже ценою аннигиляции самой культуры. «Нам нужна не герменевтика искусства, а эротика искусства»,— призывала Сьюзен Зонтаг, и в ее интерпретации «эротика» равнялась политике. Не случайно, по-видимому, «новое» движение освятил своим именем и авторитетом такой крупный мыслитель, как Сартр, автор теории ангажированности культуры. Это была распространеннейшая позиция, выявилась она и здесь, в Германии. Достаточно вспомнить Х. М. Энценсбергера и его журнал «Курсбух». На мой взгляд, осуществлялась чистейшей воды агрессия массового мышления, хоть и восстала «новая левая» против буржуазной массовой культуры.

Наверное, уроки этой недавней истории должны сегодня учитываться. Контркультура, надо отдать должное, способствовала пробуждению гражданской активности, но созидательной энергии была лишена.

Когда-то Маркс в тезисах о Фейербахе сказал: раньше философы объясняли мир, а задача состоит в том, чтобы его переделать. Что мир нуждается в переделке, спору нет. Но в непосредственную задачу философов и писателей это не входит. Они могут подготовить для этого соответствующую духовную и интеллектуальную атмосферу. Иными словами — способствовать укреплению самосознания *личности*, укреплению *свободного* мышления. Для этого им следует, однако, ощутить и осознать собственную свободу.

Означает ли, однако, свободное мышление — мышление анархическое, своевольное?

Я опять сошлюсь на Ортегу. Он противопоставил человека массы человеку элиты, но последний вовсе не был в его представлении надмирной фигурой. Вот как он пи-

сал: «Человек массы никогда не признает над собой чужого авторитета, пока обстоятельства его не принудят. Наоборот, человек элиты, то есть человек выдающийся, всегда чувствует потребность обращаться вверх, к авторитету или принципу, которому он свободно и добровольно служит. Вот различие между человеком элиты и человеком массы: первый предъявляет к себе строгие требования, второй всегда доволен собой, более того — восхищен. Вопреки обычному представлению, именно человек элиты, а вовсе не человек массы проводит жизнь в служении. Жизнь не имеет для него интереса, если он не может посвятить ее чему-то высшему».

Мне кажется, эта мысль имеет близкое отношение и к нынешнему моменту.

Речь идет о служении. Но не интересам вождя, или партии, или даже сегодняшним интересам общества. Речь идет о служении именно высшему. Не надо о нем забывать, сколь бы ни сгущалась атмосфера борьбы и сколь бы многое ни зависело от исхода.

А. НУРПЕИСОВ. Было время, когда мое поколение всерьез проникалось идеями атеизма, лихо отрицало Бога на небе, чтобы взамен ему сотворить себе бога на земле. И в том находили блаженство. Сказанное выше вовсе не означает, что сейчас я вдруг стал верующим. Но на собственном примере убеждаюсь теперь, что с годами, видимо, каждого из нас настигает сильнейшая потребность ощутить в мире присутствие и чего-то высшего над людьми, над их пугающими страстями. Она, эта потребность, особенно усиливается в тот страшный для общества период, когда изо дня в день сталкиваешься с расползающейся по миру мерзостью, низостью и неразрешимыми страданиями вокруг нас. И тогда разочарование, опустошение уже готовы вцепиться в тебя и затоптать вместе с твоей бессмертной душой. В этот сложный момент, когда человек уже доведен до крайней черты и захлебывается под неистовым шквалом драматических событий мирной, казалось бы, жизни, скажите, как в таких обстоятельствах не возникнуть совершенно безудержному искушению подняться над больной, мятущейся действительностью и хоть на миг взглянуть на нее тем взором, который несравненно глубже и ясней нашего, и вновь увидеть как бы омытую сиянием высшего разума прекрасную цель человеческого бытия?

Ибо как бы офанатизированное общество в период казарменного социализма ни пыталось с пеленок вырывать с корнями ростки нашей неповторимой индивидуальности и своим стальным прессом ни плющило безжалостно сотни миллионов живых душ, находящихся в его непререкаемой воле, как бы ни стремилось упрощать и укрощать беззащитную личность, в которой справедливо усматривало своего главного врага, мир духовных ценностей всему вопреки сохраняет для этой полузадушенной личности свою неизбывную привлекательность. Согласитесь, сейчас особенно трудно приходится ему, нашему современнику, очнувшемуся от беспечной самоуверенности и оказавшемуся наедине с взбунтовавшимся против него детищем его беспокойного ума — техникой, скрежещущей и грохочущей, когда воздух отравлен, земля загажена, иссушены реки, озера и моря, и само небо над головой уподобилось продырявившейся кошме бедной юрты кочевника. Это ведь лишь экологические беды. Всех других и не перечесть! И в этой ситуации как никогда смятенно и остро стал осознавать человек, какая колоссальная ответственность за настоящее и будущее всей земли легла на него, и тут вполне естественно, что множество встревоженных, пытливых взоров обращается сейчас мысленно в ту сторону в чаянии обрести надежную защиту в образе Творца. С такой же горячей мольбой и надеждой путник, заблудившийся в безлюдной степи, видимо, вглядывается в ночную тьму, не замерцает ли где-то вдали огонек. И воистину блажен тот, кому вдруг засияет огонек желанный. Счастлив тот, кто греет озябшую душу светом веры в этом неуютном и враждебном мире.

Ислам учил и учит нас, мусульман, что одиночество красит лишь Аллаха, а людям надлежит жить в обществе других людей. Думаю, эта заповедь близка и понятна в одинаковой мере как вам, европейцам, так и нам, кочевникам, хорошо знающим радость, какую дарит человеку в глухой степи появление другого человека. И эта ценность из числа общечеловеческих и основополагающих.

Я глубоко верю в просветляющее душу слово кротких и смиренных Авдиев Каллистратовых, ибо за ними стоят мудрость и истинная твердость духа. Оно, это слово, не претендуя ни на славу, ни на власть в сем мире, обладает несокрушимой моральной властью Высшего Суда над любыми злодеяниями и их исполнителями. Оно способно решить нашу с вами неразрешимую задачу: в век, когда не остается ничего цельного, прочного и святого, вернуть личности личность. И сейчас, когда так актуализировалась задача совершенствования межличностных, межнациональных, межгосударственных отношений, значимость личности для нас неизмеримо должна возрастать.

Уметь жить и уживаться на одной планете — вот проблема, стоящая перед верующими и неверующими, перед христианами, мусульманами, иудеями и буддистами. Такая ситуация, сложившаяся сейчас в мире, вносит коррективы в цели, назначения любых встреч любого уровня и ранга, сынов разных народов, верований и традиций. Наши предки не переставали поучать и призывать своих сыновей к сдержанности, предпочитая, чтобы прежде заговорил язык, дабы нож мог покоиться в ножнах.

М. ВАЛЬЗЕР. Я все записывал — для меня это единственный способ пережить подобный симпозиум. Я очень рад, что услышал представителя иной конфессии. Все, что говорилось до этого, было впечатлениями интеллектуалов, мнениями, обусловленными актуальными событиями и здесь, и в Советском Союзе,— мнениями, безусловно, глубоко оправданными. Однако позвольте мне обратиться сейчас к коллегам за этим столом. Исходя из своего опы-

та, я смею утверждать, что «мнение» для писателя мало что значит. Прозаик не должен знать, куда его приведет повествование, и едва ли ему дано знать, почему он именно об этом рассказывает. Если бы он это знал, не стоило бы и за дело браться. Разумеется, можно устроить и такой симпозиум и обо всем этом рассуждать, и это может быть очень впечатляющим. Поэтому я все-таки рад, что присутствую здесь, тем более что услышал много такого, о чем я ничего не знал. Однако как писатель я хотел бы спросить: «Какой роман у нас из этого получится?»

Мнение о том, что сверхситуация может повлечь за собой возникновение сверхлитературы, остается для меня совершенно абстрактным, неспособным создать во мне рабочее настроение или послужить толчком для начала работы. Поэтому мне было ближе то, о чем нам говорил коллега из Алма-Аты. Мне кажется, он уже поднялся над всякими мнениями, и из того, что он нам рассказывал, можно заключить, что он встал на определенную позицию, у него появилось чувство, мироощущение. Интеллектуалы могут, конечно, рассуждать о том, способны ли Библия, или марксизм, или экология, или что-либо другое зажечь в человеке искру. Однако мне думается, что все эти проблемы, безусловно существующие в мире и наполняющие и газеты, и книги, и средства массовой информации, не имеют для писателя решающего значения.

А. АДАМОВИЧ. Литература, писатель, идя от индивидуального, иногда угадывают общее, да так, что потом целые народы и эпохи характеризуются по одному, двум героям: Германия XVIII века — Вертер, Фауст; Россия того же времени — Бедная Лиза, Митрофанушка. Иногда индивидуальность самого писателя становится знаком времени, страны: Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Гарсиа Лорка, Александр Твардовский, Александр Солженицын...

Оглядываясь на свою советскую историю через все созданное литературой нашей, снова и снова зацепливаешь взглядом странных персонажей Андрея Платонова. Как в Нагасакском музее (я недавно побывал) снова и снова возвращаешься к тени человеческой на цементной стене — все, что осталось от испарившегося человека! Сталинизм воистину выжигал человека. И все человеческое в человеке. И если все-таки сохранилось что-то, неожиданно многое сохранилось — что демонстрирует перестроечный выброс ярких личностей на поверхность общественной жизни,— это свидетельство поразительной цепкости и неиссякаемости человеческой природы.

Да, яркие личности. Ну, а человек в массе? Каков он и чего ждать от него и чего ему ждать от самого себя? Пройдя через все мыслимые и немыслимые испытания, беды, каким он вышел из тьмы на свет?

Здесь я буду говорить не о литературном результате, не о уже созданных литературных образах, типах (они есть, появляются), разговор пока об открытиях для себя — в процессе самой литературной работы. Есть такой жанр: «Рой, где стоишь! Копай под ногами!» — в современной немецкой литературе он тоже присутствует. Мы у себя его именуем: «устные рассказы», «голоса» или просто «документальная литература». Это особенно подходящий инструмент для вскрытия целых пластов жизни народа и психологических «залежей» массового сознания. Так сказать, работа экскаватором, ковшом, открытым способом, а не глубинным бурением...

Мы вот с Даниилом Граниным, здесь присутствующим, помним, как люди, вначале рассказавшие нам правду о ленинградской блокаде — это когда мы делали «Блокадную книгу»,— потом звонили и просили нас не печатать то, а другое тоже вычеркнуть: им вдруг становилось страшно от того, что они знали и рассказали о себе, о человеке.

Они — блокадники или же люди, горевшие в белорусских хатынях, или афганские ветераны,— они такое о человеке знают! Впору сравнивать то, что в памяти их сохраняется, с самыми пронзительными страницами Достоевского. ...Ну, вот это — разве не «из Достоевского»? Везут на телеге высохшие от голода трупы ленинградцев, старушка просит подвезти ее, возница сердится: «Не видишь, кого везу?» — «Да вижу, родной. Я потому и хочу, чтобы взял и меня. Пока будешь ехать, помру, и моим не придется тащить меня на кладбище или платить хлебом, чтобы кто-то отвез...» Народ с такой памятью — это особенный народ. Я бы сказал: особенно несчастный народ. Много знания — много печали, скорби. Как это верно! Такое, на такую глубину знание человека никого не делает счастливым. Даже художника, того же Достоевского, или Кафку, или нашего Гаршина,— хотя у художника все же присутствует и радость в этом знании: открытие, творческое удовлетворение.

Ну, а человеку, просто человеку зачем помнить (и знать о себе) то, что забыть хотелось бы навсегда, а забыть он не может?.. Как тот профессор с отсутствующим взглядом, который, снова вернувшись к нормальной жизни, не мог, конечно, не помнить, не знать, притом каждый миг, что он — это тот, кто у собственных детей выхватывал из рук блокадный хлеб, а жена его била. Наверное, верит и не верит сегодня, что делал это, что это он делал...

А сколько куда более грубой, рвотной, грязной, унижающей человека правды о пережитом, испытанном в душах, памяти миллионов наших людей — знающих о себе и о людях такое, что не под силу было, ломало и Достоевского. Как же должно это тяготить, мучить простых людей, совсем не гениев?

Этакая странная, несчастливая уже тем, что живут на ней почти сплошь Достоевские, страна. Достоевские не по талантам — по знанию, горькому, печальному. Как им ужиться друг с другом или даже самим с собой? Не оттого ли наши люди столь взрывоопасны друг для друга?

Это перешло и в национальную, а точнее, межнациональную сферу. Говорим: накопились проблемы в обществе, а в годину перестройки выплеснулись. Но и в душах человеческих накопилось, в самом подсознании, а с этим совладать особенно трудно,

это как невидимый пожар на сухом торфяном болоте.

Знаком я был с женщиной, пережившей Освенцим. На руке у нее синюшный номер узника лагеря смерти. Спросил как-то: «Вы часто встречаетесь, уцелевшие? Хочется вам видеться, побыть вместе?» — «Нет, совсем наоборот. Мы избегаем видеть друг друга».

Ну, а представим, что им после войны пришлось бы жить всегда рядом, всем им, помнящим общее состояние животного лагерного голода, животного страха, униженности, раздавленности? Да и мало ли каким себя человек в тех условиях помнит, как проявился.

Ну так что удивляться, что и нации, пережившие совместно весь наш сталинизм во всех его проявлениях, вплоть до послесталинских, хотели бы уединиться: не очень уж радостные общие воспоминания, общая память, каким был ты, каким был сосед, какими все были...

Мы воспрянем окончательно: неожиданная для всего мира наша перестройка, вдруг откуда-то объявившиеся люди и совершенно никем не ожидавшаяся активность народная показали, что жива душа в нас, что нам бы хоть немного если не спокойной, то хотя бы налаживающейся жизни. К ней, однако, идти приходится снова через годы и годы испытаний — уже свободой, политической, экономической свободой. Но на этот раз мы идем проверенными другими странами путями, маршрутами и потому надеемся, что не зайдем в тупик, как зашли теперь. Когда жили не по жизни, а по книжечкам «корифеев».

Мы вот заходили в ваши церкви. Молодежи в наших сегодня больше. И это понятно: после такой дороги, иссушившей нас, будешь толпиться у придорожных родников и колодцев, отрытых теми, кто прошел по жизни раньше нас...

Много сейчас говорят о крахе социальных утопий, с огорчением говорят, с облегчением — кто как. Что касается нас — пощадите, с нас хватит! Если народ (некоторая часть его) и жалеет об этом крахе, печалится, огорчен, то, думаю, лишь по одной причине: оказывается, не так просто и легко выйти из прежнего состояния и войти в новое. Снова потребуются жертвы, например, при переходе к рыночной экономике. А народ и так устал от бесконечных, взимаемых с него историей податей-жертв. Разговор прежде о цене и печаль о ней, но это уже другая тема.

А. ХАМПЕЛЬ. Слушая рассказ А. Адамовича, я невольно вспомнил о тех параллелях, которые проводились вчера,— о параллелях между судьбами советского и немецкого народов... Все-таки есть существенное различие в судьбах наших народов. Пять лет уже длится период перестройки и гласности в Советском Союзе. Запад проявляет даже некоторое нетерпение в связи с тем, что радикальная демократизация общества в СССР задерживается, медленно идет процесс национального самоопределения народов. И вот теперь, когда я сравниваю исторические судьбы немецкого народа и народов Советского Союза, то понимаю, что тотальное поражение было благом. Невольно задаешься вопросом: допустим, была бы победа — удалось бы нам в этом случае осуществить такой процесс самоочищения, какой начался в Советском Союзе? Мы на своем опыте убедились, насколько труден процесс освобождения от элементов тоталитарного мышления даже после такого полного поражения. Тем сложнее для партии, именем которой совершались многие преступления, освобождаться от собственного прошлого. Поэтому, с моей точки зрения, советско-германские параллели можно прослеживать только до известной степени.

Б. ШВАЙГЕР. Меня смутила одна фраза в реплике профессора Хампеля, когда он сказал, что народы Советского Союза начали процесс самоочищения. Это прозвучало так, будто мы чисты и дело только в том, чтобы советские люди начали самоочищаться. Я спрашиваю себя: «А от чего, собственно, самоочищаться?». Здесь сидят люди, приехавшие из России, среди них, к сожалению, нет женщин, мужчин намного больше. Это люди, много пережившие и перестрадавшие во время диктатуры. Это народы, против которых была развязана война, народы, подвергшиеся мучениям и истреблению со стороны страшного тирана-сатаны. Эти люди поверили в идею социализма, пришедшую из Германии. И Германия же начала против них агрессивную войну. Сталин вел эту войну, не считаясь ни с какими человеческими потерями, он шел к победе, фактически истребляя собственный народ. Этим людям не нужно от чего-либо самоочищаться. Они просто счастливы оттого, что теперь могут жить свободной жизнью. И вот я вижу людей, приехавших сюда из Советского Союза и, как мне кажется, опытных в самокритике. Я не слышу от них упреков в наш адрес. И даже экологические проблемы они относят на свой счет. Мы не говорили об атомной бомбе из Америки, о чувстве отчаяния, охватившем молодых людей моего поколения. Наши родители вступили в свое время на землю России. Нас освободил и даровал нам материальное благополучие народ, сбросивший атомные бомбы на Японию. Мы были христианскими поработителями Европы. Мы вели войны, в том числе и религиозные. Сталин же вел оборонительную войну. Народам Советского Союза нет нужды от чего бы то ни было самоочищаться. Мы же, немецкоязычные писатели, должны, в конце концов, задаться вопросом, должны разобраться с тем, что происходило в эти 50 послевоенных лет. Удалось ли нам как христианам добиться демократии, в которой можно свободно писать и мыслить? Что сделали мы для преодоления противоречия между войной и христианством? Ведь и Гитлер, и Эйхман были родом из католических семей, а Геббельс изначально хотел стать монахом, пока не примкнул к движению. Гиммлер вел дневник набожно-религиозного характера. Настала пора обратиться с этими вопросами к самим себе. Я не считаю, что целые народы должны заниматься самоочищением, и уж во всяком случае не советский, веривший в социалистическую идею и понесший ради нее большие жертвы

Поэтому я выражаю свое несогласие с выступлением профессора Хампеля.

И. ДРУЦЭ. Меня несколько удивила позиция госпожи Швайгер и особенно ее протест против выступления профессора Хампеля. Конечно, щадить самолюбие определенного народа нужно, но наша страна находится сейчас в таком состоянии, когда вопрос о радикализации есть для нас вопрос жизни и смерти. Процесс демонополизации и очищения одна нация не может произвести сама. Естественно, что все страны — и наша страна, и другие — рассчитывают на помощь других стран. Мне кажется, сознание того, что мы единая семья, должно доминировать над всеми иными соображениями.

Е. СИДОРОВ. Хотелось бы несколько разрядить словами надежды апокалипсические мотивы, которые нередко здесь звучали. Хватит бичевать себя (это я обращаюсь к советским коллегам), самокритика не может быть беспредельной. Возрастает нужда в духовных усилиях, направленных на созидание, а не на разрушение. Хочу также поддержать Мартина Вальзера: в конечном итоге каждый писатель должен хорошо представлять себе разницу между художественным и политизированным миром. И тут для нас, русских, замечательным примером в двадцатом веке является Борис Пастернак. Он, Пастернак, одержал великую победу над временем и революцией, потому что твердо верил в художественное, свободное слово, в человеческие ценности, которые были до нас и пребудут вечно.

Вообще — неотразимая закономерность не только в Германии, но и в России — лучшие писатели, это, как правило, верующие или близкие христианской культурной традиции люди: Пастернак, Ахматова, Булгаков, Шаламов, Солженицын. Возьмем мое поколение — Владимов, Битов, Чухонцев. Не в теме дело, все они не религиозные писатели, дело в освещении, в свете, который излучают их тексты. Даже когда это апокалипсис — «ГУЛАГ» Солженицына или «Колымские рассказы» Шаламова.

Конечно, были и богоборцы, Маяковский, например. Не просто атеисты, а воинствующие богоборцы. Они стремились вырваться из традиции, но ее отпечаток, особенно в раннем Маяковском, ощущался несомненно. То же Есенин, который попытался в своих библейских поэмах сотворить новую мифологию.

В завораживающем схематизме профессора Кюнга [1], в его системе, очень важна для меня теплая христианская нота надежды, человечности.

Касаясь сегодня проблем личности, индивидуального и массового сознания, мы возвращаемся к проблеме веры.

Положение верующих в нашей стране продолжает оставаться двойственным и неопределенным. Немало верующих среди студентов и преподавателей вузов искусств — театральных, художественных, музыкальных. Я хочу рассказать, как мы у себя, в Литературном институте в Москве, пытаемся решить эту проблему

У нас до сих пор не принят в парламенте закон о свободе совести. Поэтому приходится действовать как подсказывает собственная совесть и как подсказывает сама духовная и общественная ситуация в СССР. Интерес и тяга к религии, особенно в среде интеллигенции и молодежи, прежде всего связаны с необходимостью восстановления этической и культурной почвы. Десятилетиями культура у нас разрушалась. Что же касается этики, морали, нравственности, то они постоянно являлись в идеологических одеждах. Можно было поступить так, а можно было и иначе, в зависимости от того, кто перед тобой — друг или классовый враг. Взамен христианской этики насаждалась этика классовая. А классовая этика всегда факультативна, собственно человеческий, абсолютный элемент из нее изымается.

Сейчас делается попытка вернуться к основам, придать понятиям добра и зла абсолютный, а не факультативный характер. Отсюда и новый интерес литературы к религиозной проблематике. Можно вспомнить в этой связи пьесу Иона Друцэ «Стена», роман Айтматова «Плаха». Когда Гранин писал биографию генетика Тимофеева-Ресовского («Зубр»), то отношение героя к Богу заняло не последнее место в художественном анализе этого крупного человека и ученого.

Я называю вещи только присутствующих здесь литераторов, причем те, о которых сам писал на страницах нашей литературной периодики. Христианские мотивы все чаще появляются и в стихах, и повестях молодых писателей, только вступающих в литературу. У нас в Литературном институте, как и во всех других вузах страны, раньше преподавался такой предмет — научный атеизм. Вот это был по-настоящему р е л и г и о з н ы й предмет. Перечень догматов. Закон антибожий. Сейчас «научный атеизм» посторонился, такого предмета нет. Зато мы ввели другой — «Историю мировых религий». В наши аудитории пришли не только ученые-историки и религиеведы, но и святые отцы, писатели церкви — не с миссионерской целью — у нас светское обучение,— а с целью приобщить молодежь к огромному культурному наследию и к нравственным заветам Спасителя. Без религии нет культуры в высшем смысле этого слова, и светский характер образования вовсе не отрицает глубокого изучения религиозной жизни, ее проявлений в художественном творчестве.

Обращение к религиозным моральным основам может помочь и в борьбе с шовинизмом и национализмом, которыми охвачены сегодня большие группы людей в Советском Союзе. Например, еще никогда в России, даже в литературных, вроде бы интеллигентных кругах, не существовало столь откровенно теоретического, да и практического антисемитизма, как сейчас. Я глубоко огорчен этим обстоятельством, позорным для культуры. Уверен, что это очень выгодно людям, которые хотят гибели нашей новорожденной демократии. Они пытаются перевести дискуссию с идейной и социальной почвы на почву сугубо национальную. Мотивы, очень знакомые по истории XX века.

Я убежден, что без возвращения к основам христианской этики русское общество не поднять, не возродить. Сейчас такой процесс начался. Поэтому при всех апокалип-

[1] См. стр. 230. *(Прим. ред.)*

сических ощущениях я с надеждой смотрю в будущее моей страны и моего народа.

К.-Й. КУШЕЛЬ. На меня произвел сильное впечатление короткий доклад Сидорова, особенно в той его части, которая касается роли христианства, и выраженной в связи с этим надеждой на обновление русского общества в христианском духе. Я буду говорить о роли религии в немецкой литературе XX века. С западной точки зрения эти проблемы выглядят несколько иначе.

Мы начнем с момента смены парадигм от модерна к постмодерну, то есть с канула первой мировой войны, поскольку духовную ситуацию в Германии невозможно понять, не понимая философии Ницше и кризиса буржуазной культуры в начале XX века. Для всех значительных немецких писателей первой половины века — Томаса Манна, Германа Гессе и других — Ницше являлся духовным отцом. Как мне кажется, существуют три духовных архетипа, три писателя первой половины века, которые и сегодня оказывают влияние на писателей современности. Первым я назову духовный опыт Кафки: это ощущение «затмения Бога» после катастрофы. Выражение «затмение Бога» принадлежит Мартину Буберу, который, как и Кафка, был евреем, но оно соответствует ощущению многих христиан. Открытие Кафки было в том, что жизнь может быть описана лишь как парадокс, загадка. Трансценденция существует, но она омрачена, Бог недоступен человеку.

Вторым архетипом я бы назвал опыт Брехта. Брехт воплощает собой то поколение, для которого дух естествознания и технического прогресса открывал новые пути. Первая мировая война означала для него крушение веры его протестантской юности. Для Брехта через десять лет после первой мировой войны решением стало обращение к марксизму. Он воплощает в немецкой литературе тот тип интеллигента, который верит, что метафизические вопросы могут быть решены путем изменения общества.

И наконец, я назвал бы третьим архетипом духовный опыт Готфрида Бенна, и прежде всего его позицию. Как врач, специалист по кожным и венерическим заболеваниям, он многим обязан идеям Дарвина, Фрейда и Ницше. Но, в отличие от Брехта, он остался до конца своей жизни верен традициям нигилизма. У Бенна была другая вера: он верил не в социализм, он верил в искусство. Он был убежден, что единственное спасение человека от духовной банальности в спасении искусства как формы.

Три духовных архетипа, Кафка, Брехт и Бенн, несмотря ни на что совпадают в одном убеждении: природу и веру соединить нельзя. Готфрид Бенн выразил это в одной фразе, которая по-прежнему остается актуальной для многих писателей. Однажды он сказал: «Бог — это дурной стилистический принцип»; то есть тот, кто религиозен как писатель, не может всерьез восприниматься как художник. Вера и большая художественная форма антитетичны.

Однако существует и другое течение в немецкой литературе первой половины XX века. Это традиция христианской литературы, которая откликается на раскол литературы и веры.

В немецкой литературе XX века христианскую традицию воплощают такие писатели, как Гертруд фон Ле Форт и Элизабет Ланггессер, а также Райнхольд Шнайдер. После второй мировой войны в немецкой литературе вновь обострилось радикальное ощущение кризиса. Символом поколения, которое должно было идти на войну, стало имя Вольфганга Борхерта, для которого сталинградский опыт стал жизненной травмой. Его знаменитая драма «Перед закрытой дверью» не что иное, как обвинение Богу. Кульминацией этого обвинения становится вопрос, заданный Богу: «Был ли Ты милосерден в Сталинграде, Боже милосердный?». Для Брехта крахом буржуазного мира стала первая мировая война, то же пережило поколение, вернувшееся в Германию со второй.

Новое поколение, которое вышло из конфессиональной традиции, не придавало большого значения термину «христианская литература». Христианская литература была лишь поверхностным оправданием для тех, кто боролся за свое выживание. К этому поколению принадлежат Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс и Фридрих Дюрренматт, писатели, которые вышли из христианской традиции, но порвали с ней или, точнее говоря, воспитанные на церковной традиции, они не могли оставаться христианами в церковном смысле этого слова.

Тем не менее христианская литература не прекратила свое существование. И сегодня развивается критически настроенная христианская литература, наиболее значительным представителем которой является, по моему мнению, швейцарец Курт Мартин, поэт и священник, который оценивает христианскую традицию одновременно в критическом и утопическом духе.

Первая мировая война, вторая мировая война. Эти глубокие кризисы объясняют, почему отношение литературы к религии могло быть только критическим, только проблематичным.

Что касается отношения к Богу, о котором я хотел бы сказать сейчас особо, то здесь для немецкой литературы после 1945 года значительны два момента. Бог предстает теперь не как «надежный оплот» в жизни и не как утешитель, но как угрожающая бездна. Это осознал для себя Дюрренматт. Этот опыт очевиден у такого писателя, как Альфред Андерш, а также во всех романах Хартмута Ланге. Если речь и заходила о Боге, то лишь от тоски по его отсутствию. Именно эта тоска по отсутствующему Богу была сильным стимулом для литературы, и здесь возникает вторая проблема, которую я назвал проблемой критики языка.

Слово «Бог» сегодня не сможет произнести ни один писатель, и, я надеюсь, ни один верующий без того, чтобы не осознать, насколько оно истаскано. Генрих Бёлль примыкает к этой же традиции критики языка Например, в беседе со мной он сказал «Я полагаю, что слово «Бог» следует на некоторое время вывести из употребления. Но не самого Бога, не то, что подразумевается под этим словом. Бог часто превращается в свалку проблем, которые можем решить мы, люди. А **когда уже политики**

употребляют слово «Бог», это единственная форма кощунства, которая мне известна. Поскольку настоящее богохульство все еще является формой признания Бога». Итак, в немецкой послевоенной литературе жива традиция протеста против злоупотребления именем Божьим. Именно поэзия показывает, что о Боге можно говорить лишь тогда, когда умеешь молчать о Боге. Я называю это традицией негативной теологии в немецкой послевоенной литературе.

Какую же роль играют писатели в немецком обществе, когда они обращаются к религии? Я считаю, что их функция несколько иная, чем в современном русском обществе. Разве они не могли бы играть такую же стабилизирующую роль, какая характерна сейчас для их коллег в условиях кризиса русского общества? Они должны перед лицом христианского общества, каким было и остается немецкое общество, выступать в духе критики, протеста и радикального отказа. Поэтому мы можем ожидать от писателей именно как от христиан не одобрения, а вызова. Для меня как богослова и христианина важно не то, в чем со мной согласны, а то, что меня принуждает обретать новый опыт. В этом для меня как богослова значение литературы.

А. МЕНЬ. Само по себе рождение в традиции мало что значит. Поэтому Гумилев говорил, что мертвые слова дурно пахнут. Традиция окостеневает, склеротизируется ткань духа. Бёлль был совершенно прав, что слово «Бог» уже невозможно употреблять. Однако его употребляют уже тысячу лет, и ничего не случается. Очевидно, оно стало стираться, когда дух стал переживать кризис. И никакие культурные манипуляции не могут воскресить дух. Я думаю, что жизнь там, где есть подлинно живой дух. Вспомните, как небрежно писал Достоевский, потому что ключом бил в нем дух. Для него не важно было, как написать, в этом он антипод Флобера, которому нечего было сказать, зато он знал, *как* сказать. Это касается многих писателей. Я думаю, что это касается и церковной жизни. Наша общая беда, восточно-западная, заключается в том, что мы разделены. И разделенные части единого целого похожи на ампутированные ноги или руки, погруженные в биологическую жидкость, так что они еще могут жить. Вот здесь следует перспектива, которую дает нам господин Кюнг, вероятно, единственная альтернатива нашей постепенной деградации. В изоляции части современного мира никогда не оживут заново, и, наоборот, во взаимообмене, контакте, во взаимном питании они будут строить новую парадигму.

Д. ГРАНИН. Недавнее посещение Праги и Западного Берлина произвело на меня впечатление падающей Вавилонской башни. Сейчас на наших глазах в социалистических странах происходят совершенно грандиозные катаклизмы в сознании людей. Для меня это особенно значительно, потому что там все происходит иначе, чем у нас. То, что мы воспринимаем как разрушение, там большей частью воспринимается как восстановление. Почему такая разница? Я на этом остановлюсь позднее, а пока хочу сказать, что мы, очевидно, не можем видеть масштабность этого явления: каким образом человечество теряет свою тысячелетнюю мечту. Мечта о социальной справедливости, о коммунизме — все то, что было утопией,— осуществлялась в течение семидесяти лет в нашей стране. Эта идея, как нам сегодня кажется, потерпела неудачу. Я думаю, что эта неудача трагически сказывается прежде всего на наших, советских народах. Появилось чувство опустошенности. На его место приходят сейчас злость, разочарование, желание мести и т. д. Если западные страны сегодня по сравнению с нами живут, опираясь на простые человеческие ценности, то нам всегда была необходима идея мессианская или какая-то другая, возвышенная, но обязательно идея, устремленная в будущее. В ней была наша сила и наша слабость. Во имя этой идеи можно было терпеть любые лишения. Но едва идея пошатнулась, как наступила растерянность. Это связано, конечно, и с массовым сознанием, которое было не только массовое — это было единое сознание. Единое, я бы сказал, «железобетонное» сознание 250 миллионов. Хочу попутно заметить, что на фоне этого единого сознания особенно значительным мне представляется личностное сознание отдельных людей, которые как бы являются в этом смысле нравственным примером. Я имею в виду, допустим, таких людей, как Ахматова, Пастернак, Булгаков, Солженицын, Сахаров, которые могли сохранить свою личную духовную независимость в условиях пресса массового единого сознания. Феномен «единого сознания» сегодня — отсутствие покаяния, отсутствие раскаяния у людей, которые осуществляли репрессии, преследования, весь полицейский режим нашего государства. Это поразительное явление. В течение последних пяти лет происходила большая работа по разоблачению всего аппарата насилия: следователей, судей, надсмотрщиков — сотен тысяч людей. И мы почти не имеем случая их раскаяния, их покаяния. Произошло какое-то удивительное святотатство. Никто не чувствует своей личной вины, никто не испытывает отчаяния, не сознает своего греха перед погубленными людьми, ответственности за несчастья, которые им причинили. Государственная идеология всех устраивает. Все чувствуют себя вполне комфортно и в новых условиях. Это, конечно, трагедия личного сознания: ведь если говорить о том, что человек должен предстать перед Царством Божиим, то там, перед этими вратами, будет рассматриваться его персональное дело, там он должен будет предстать как личность, которой он не был в этой жизни. Я думаю, есть еще один феномен нашего сегодняшнего состояния. Он связан с дефицитом нравственного примера. За эти 70 лет было очень мало людей, которые служили бы образцом, примеру которых хотелось следовать. В сущности, кроме Сахарова, я не могу назвать ни одного человека, который мог бы претендовать на звание святого. Это очень тяжело, когда в огромном народе нет людей, которых хотелось бы любить и которым хотелось бы поклоняться. Но есть ли в нашей опустошенности сегодня какие-то надежды и возможности для оптимизма? Я думаю, все-

таки есть. Это, во-первых, восстановление справедливости, которое происходило в течение пяти лет перестройки. Допустим, в той же литературе: на место дважды Героя Социалистического Труда Георгия Маркова, Анатолия Иванова, Егора Исаева и прочих классиков нашей советской литературы пришли настоящие таланты, пришли почти из небытия, из подполья, где они жили и работали. Пришел Платонов, Булгаков, пришел Гроссман, вернулся Солженицын и другие. То есть восстановление справедливости происходило у всех на глазах и — особенно это дорого — на глазах у молодого поколения. Подобное происходило во всех жанрах нашего искусства. Это чрезвычайно целебный процесс и для искусства, и для народа, потребляющего искусство, потому что это процесс восстановления веры людей, веры в конечное торжество справедливости, и прежде всего истинной ценности таланта. Я думаю, второе важное обстоятельство перестройки то, что нам удалось отодвинуться от края атомно-ядерной бездны. Следующее обстоятельство: откуда ни возьмись из людей, с казалось бы давно умерщвленным сознанием, вдруг появилось множество личностей, которые стали политическими лидерами, лидерами всех наших прогрессивных движений. Тот еле заметный росток, который поддерживался диссидентским движением, вдруг расцвел множеством ярких личностей. Значит, душа народа в общем не погибла. И еще одно обстоятельство, может быть наиболее важное: все больше людей начинают понимать, что нет иного пути нашего развития, как только на общечеловеческой основе. Конечно, нам очень трудно отказаться от идеи всей жизни. Я должен вам сказать, что национализм, антисемитизм, «Память», реакционные движения, о которых вчера упоминали,— последствия идеологического кризиса. Партия и все структуры власти поддерживают эти движения, поскольку они сегодня не могут предложить ничего нового, поскольку хотят отвлечь от себя внимание. Какая парадигма родится из нашего кризиса — сегодня трудно сказать. Во всяком случае это дело не только нашей внутренней жизни. Так же как угроза гражданской войны — угроза не только нашему существованию: в стране, начиненной ракетами, это угроза всемирная. Кризис коммунистической идеологии не может не сказаться на том принципе сосуществования, к которому привык весь мир. Мы, конечно, не можем гарантировать торжество прогрессивных, либеральных, гуманистических сил, их победу в нашем обществе. Такой гарантии, к сожалению, нет. Я хочу подчеркнуть, что победа этих сил — это задача, наверное, всеобщая. Дело сейчас даже не в экономической помощи европейских, американских и других стран; надо всем понять, какова трагичность нынешней ситуации для нашего народа. Как из великой державы мы превратились в бедную, почти нищую страну? Как из страны, которая считала, что указывает путь всему миру, всему человечеству, мы превратились вдруг в страну отсталой идеологии? Это огромное потрясение. В таких условиях не потерять воли к жизни, упорства, своего достоинства чрезвычайно трудно. Я думаю, что задача других народов, христианская задача — поддержать всем братством, всем гуманистическим устремлением нашу страну, наши народы. Это сегодня, может быть, наиболее трудная и важная задача, душевный долг всех людей.

Д. ЛАТМАН. Еще никто с полной ответственностью и публично не размышлял о том, как большинство и меньшинство противостоят друг другу и одновременно как они друг с другом связаны.

Потребность разрешать присущие времени конфликты не относится к тем человеческим качествам, которыми обладает большинство. Видимо, это закономерность — несмотря на страшный исторический опыт, люди вновь готовы доверять восстановленному порядку. И большинство снова довольствуется тем, что досягаемо и понятно.

Как водяная гладь смыкается над брошенным в воду оружием, так и общественное сознание торопится поглотить в свои пучины груз памяти и страх перед будущим.

В своих собственных делах большинство пассивно и простодушно. По его поведению трудно понять, где кончается простая терпимость к фактам и начинается собственно желание. Социологический опрос позволяет выяснить основное направление общественного мнения, но не выявляет глубинных причин и истоков развития психологии масс. Политики большинства, действующие не только в парламенте и в партиях, но и в средствах массовой информации, церкви, экономике, в армии, юриспруденции, науке и педагогике, занимаются отбором событий, которые общественность должна признать необыкновенно важными. Они же определяют содержание и господствующий тон публикуемого в печати мнения. Последствия такого отбора определяются ими как весьма демократические: каждый, дескать, обладает правом свободного выбора. А кто не любит слушать бесконечные заверения в его свободе!

В действительности нет ничего более спорного, чем то, как каждый человек использует свою свободу.

Во всех общественных системах своеволие критического меньшинства, как только назревали конфликты, не только публично осуждалось правящей администрацией, но и подвергалось репрессиям. По степени вмешательства властей и их служб можно определить, насколько данное государство приблизилось к своему собственному идеалу. Большинство очень часто с нескрываемой радостью приветствует жестокие меры против своих оппонентов.

Тем не менее и именно поэтому меньшинство имеет фундаментальное значение для общественного сознания. Большинство и меньшинство влияют друг на друга, и этот повторяющийся и обновляющийся процесс определяется теми противоречиями, которые между ними возникают. Проще говоря: быть может, однажды, когда настанет для этого время, воззрения меньшинства превратятся в мнение большинства. Подобное происходило в истории не раз, что, правда, не является гарантией для будущего.

Мы еще помним, что после 1945 года все, пережившие войну, вели себя приблизи-

тельно одинаково. Новое государство западных немцев, его институты и западногерманская общественность ссылались после войны на моральную и этическую силу того меньшинства, которое боролось против диктатуры.

Немецкие христиане (то есть большинство протестантской церкви), которые восхваляли национал-социализм и даже восторженно приветствовали развязанную Гитлером войну, ссылались теперь на мужественное меньшинство в церкви, на Карла Барта и Дитриха Бонхёффера. Католическая церковь, заключившая конкордат с гитлеровским режимом, призывала в свидетели после его падения тех священников, которые отдали свои жизни в борьбе с ним,— патера Дельпа, капеллана Верле, а также епископа графа Галена, выжившего в этой войне.

Высшие офицеры до последней минуты выполняли военные приказы фюрера. Но после 20 июля 1944 года, когда маленькая их группа совершила покушение на Гитлера, они почувствовали себя оправданными и даже сопричастными великому делу Освобождения. Политики, у которых не хватало гражданского мужества, чтобы противостоять фашизму, теперь воспевали Карла-Фридриха Керделера и Юлиуса Лебера. Огромное большинство простых граждан, ничего не имевших против гитлеровского режима, теперь ссылались на жертвы семьи Толль и их друзей из «Белой розы». Только о коммунистическом Сопротивлении «Красная капелла» большинство не любит вспоминать. Но инакомыслящие и действующие иначе были всегда. Их были тысячи — то есть меньшинство, но и после своей смерти они спасали большинство. Они стали живым доказательством того, что тезис о «коллективной войне» не выдерживает никакой критики. Они завещали большинству, говоря словами Теодора Хойса, «коллективный стыд»...

Одна из важнейших установок меньшинства состоит в том, что оно не идеализирует себя и не позволяет делать это другим. Меньшинство не претендует на исключительное право выражать всеобщее мнение, и уж ни в коем случае на знание абсолютной истины. Этим людям необходима большая выдержка, если они хотят что-то сделать, достигнуть своей цели — изменить существенную часть целого. Им нужны фантазия, точность в каждом отдельном вопросе и нечто весьма трудное, что называется социальным терпением.

Демократия — это великое слово. Слишком часто парламент, то есть собрание народных представителей, становится тем местом, где происходит консервация всего нового. Слишком часто большинство неподвижно, как свинец. Никогда в Германии не было так много критически настроенных граждан, как сегодня. Их группы действуют как меньшинство, оказывая влияние на большинство. Государство создается не только большинством, здесь не обойтись без меньшинства.

Проблема демократии — это проблема большинства. Большинство забывчиво, его легко обмануть и слишком легко подчинить сильной правящей администрации. Тем временем подрастают «попутчики», вполне довольные существующим порядком. Циники, стоящие у власти, указывают большинству, где внешний враг, а где враг внутренний, то есть те, кто не желает приспосабливаться к существующему порядку. Страх — это их излюбленное дисциплинарное средство: он до неузнаваемости изменяет демократическую систему. Вот почему большинство и меньшинство должны не просто терпимо относиться друг к другу, но и взаимодействовать, делясь друг с другом своими мыслями, идеями. Меньшинство не обладает властью, но оно и не бессильно. Сегодняшний день характеризуется взаимовлиянием большинства и меньшинства...

Наше время — это время сознательного ограничения любой силы. Но наше сознание поспевает за этими изменениями с трудом. Жить не по законам времени — это может означать конец. И все мы в ответе за это.

А. БУЧИС. Мне кажется, очень важно в разговоре об индивидуальном и массовом сознании понять, что это вещи не только теоретические; в жизни они обретают вполне конкретные, физические формы.

Массовое сознание — не только абстрактное, теоретическое понятие, но и мощная материальная сила. Обычно это господствующее сознание, господствующая сила; индивидуальное сознание тоже соотносится с ним не только теоретически — они фактически сталкиваются в жизни повседневно и во все времена. Результаты этих столкновений я хотел бы обозначить четырьмя судьбами писателей, четырьмя архетипами.

Первый из них ярче всего отражает судьбу Мандельштама, когда массовое сознание, воплощенное в административной силе, уничтожает индивидуальное, неординарное физически. В Литве судьбу Мандельштама разделили сотни тысяч людей, среди них около тридцати писателей, которые были в 1940—1954 годах сосланы в Сибирь, многие из них не вернулись. Второй прообраз я связал бы с судьбой Марины Цветаевой. Конечно, самоубийство имеет всегда множество личных оттенков, но все-таки это тоже результат жесточайшего столкновения индивидуального сознания с массовым. Во время застоя, лет 8—10 тому назад, мы в Литве никак не могли понять, почему Литва вышла на первое место в Советском Союзе по числу самоубийств. Притом так кончали жизнь и интеллигенты, и простые крестьяне, и молодые, и пожилые. Это долго оставалось загадкой для писателей, для нас всех, и лишь в свете сегодняшних перемен проясняются тогдашние трагедии. Третий образ я связал бы со случаем, произошедшим уже после речи Жданова, где он разгромил ленинградские журналы, писателей М. Зощенко и А. Ахматову. Года через два после этого в Ленинград приехала группа американских студентов, и им устроили встречу с А. Ахматовой и М. Зощенко. Когда студенты спросили обоих писателей, действительно ли они считают свое творчество ошибочным, А. Ахматова сказала «да». Это фактически галилеевский ответ, и многие литовские писатели, например, во время хрущевского похода на интеллигенцию в 1963 году тоже принимали

такое галилеевское решение. Среди них один из, может быть, лучших наших поэтов — Юстинас Марцинкявичюс. На той же встрече — это уже четвертый архетип, о котором я хотел сказать,— на тот же вопрос американским студентам М. Зощенко сказал: «Нет, я не признаю свое творчество ошибочным». Это фактически позиция и М. Булгакова, и Б. Пастернака, которого профессор Е. Сидоров вчера назвал «победителем». К сожалению, в литовской литературе писателей этого типа почти не оказалось. То есть галилеевский путь они превратили в путь, я бы сказал, эзоповского разговора и общения с народом. Многие писали и говорили намеками, метафорами, аллегориями, и сегодня, когда все можно назвать своими именами, популярность, ценность их тогдашнего творчества значительно спала. Видимо, можно назвать и пятый путь, когда индивидуальное сознание писателя не идет на столкновение с массовым, а просто становится рупором этого массового, господствующего сознания. В таких случаях, как сказал вчера Даниил Гранин, личность отказывается от себя, но если продолжить его метафору о появлении такой «не-личности» на пороге вечности, то я думаю, что большинство таких писателей на этом пороге увидят, что страницы их книг пусты.

Конечно, дело совести, темперамента, судьбы каждого писателя, каким из этих путей идти. Но не всегда все зависит от воли писателя. Литовские писатели сегодня оказались в необычной, уникальной ситуации, где массовое сознание и индивидуальное сознание обрели неожиданные формы. Массовое — как имперское сознание, индивидуальное — как национальное сознание... Конфликт здесь неизбежен и особенно болезнен: каждый писатель обязан занять совершенно четкую позицию, не считаясь ни с какими индивидуальными целями, личными соображениями. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Прибалтика 1990-го стала бы Венгрией 1956 года или Прагой 68-го. Тут, конечно, вся наша надежда на политиков, однако, как мне лично кажется, она невелика. И все же в утопическую часть понятия «постмодерн» господина Кюнга, я думаю, можно было бы вписать и такую надежду: международное милосердие — вместо чужестранного бессердечия и безразличия. Я думаю, наша задача, чтобы это понятие стало действительно принадлежностью массового сознания повсюду — и в СССР, и в Европе, во всем мире. Сегодня мы все в ответе, и ничем, как мне кажется, нельзя оправдать молчание и даже малейшую пассивность. Не случайно Альберт Швейцер говорил, что чистая совесть суть изобретение дьявола.

Задачу нашего, уже называемого старшим, поколения я вижу в том, чтобы закончить сведение счетов с прошлым в пределах наших старших поколений. Надо защитить младшие поколения людей, писателей от эпохи компромиссов и трагедий. Это сделать тоже трудно, потому что в той ситуации, какая сейчас, например, в Литве, политизация литературы, казалось бы, неизбежна.

К счастью, когда стали появляться бесцензурные издания в свободной продаже, в киосках и книжных магазинах, я удивился тому, что в молодежных изданиях и произведениях действительно нет политики — огромное место занимает в них религия, поиск веры и доверия, притом не религиозный фанатизм или псевдорелигия, а истинно христианские, католические идеи. Один из таких журналов, «Сетинас», издавала группа из 5—6 молодых людей. Издательство хотело их прибрать к рукам, давало им бумагу и деньги на издание; они от всего отказались и дальше издавали журнал на пожертвования. Об уровне этого журнала могу сказать только одно: его инициатор Дарюс Куолис нынче входит в новое правительство Литвы, он стал министром культуры, ему 27 лет. Могу сказать, что это не только первый культурный министр, но и истинный знаток культуры. Откуда берутся такие молодые люди? Думаю, не только потому, что Литва издавна страна католическая. Число их увеличилось и потому, что во времена застоя, да и нынче массовое имперское сознание в облике внутренних войск, избивающих молодежь в Литве дубинками, прямо загоняет молодежь к алтарям, где они ищут поддержки своей веры в добро и справедливость. И я думаю, что эта молодежь — не только наша надежда, но и гарантия. Мы долго строили, как сказал уважаемый Д. Гранин, но оказалось, что разрушали. Надо надеяться, нашим опытом огорченное и нашим покаянием защищенное молодое поколение действительно сможет честно и конструктивно строить, воскресить в человеке божественное.

Д. ГРАНИН. Я по поводу выступления А. Бучиса. Оно было очень интересно, особенно этот магический четырехугольник — четыре судьбы. Но я бы хотел попутно пояснить одну вещь насчет Ахматовой. Да, Ахматова, подобно Галилею, отреклась. Это было вызвано не только галилеевским желанием работать, но, как она мне рассказывала, как это известно, и другим, более важным обстоятельством. Ее сын, Гумилев, в это время сидел. Он был заложником, и она была заложницей, и она спасала сына. Это, может быть, ничего не меняет в вашем построении, но в то же время это очень много значит для ее самооправдания.

П. РЕНЦ. ...Кажется, часть советских писателей перед лицом трагического исторического опыта встала на религиозную позицию, чтобы таким образом дать писательский ответ на жгучие вопросы современности. Я могу понять такую реакцию. Однако я вижу здесь две опасности. Прежде всего, с водой можно выплеснуть и ребенка, то есть вместе со справедливой критикой развития технологии, а также деформаций сталинского тоталитаризма вообще будет поставлен под сомнение исторический смысл общественных утопий. Во-вторых, при слишком тесной связи литературы с религиозными представлениями и образом мысли она может снова превратиться в простую служанку.

Я хочу, напротив, подчеркнуть относительную автономию литературы. Г-н Кюнг говорил вчера о способности религии так же, как и искусства, становиться функцией

и приводил пример, согласно которому музыку можно использовать и для того, чтобы посылать людей на войну и смерть. Я убежден, что есть музыка, непригодная для таких целей, например «Волшебная флейта» Моцарта. Более того, я утверждаю, что существует такая структура или, лучше сказать, такие отличительные признаки литературы и искусства, которые в определенной степени сами являются защитой от функционализации в системе тоталитарного режима.

Итак, следовало бы спросить: какие отличительные признаки литературы способны к сопротивлению идеологической функционализации?

Должен напомнить — прежде всего для советских коллег,— что мой ответ на этот вопрос — ответ писателя, который живет в высокотехнизированном западном массовом обществе и для которого эти общественные и культурные условия являются основой его работы и его позиции. Я думаю, и для советских коллег будет интересно узнать, с какими проблемами массового сознания сталкивается писатель в этой части Европы.

На вопрос, влияют ли участившиеся сегодня катастрофы на содержательные и формальные стороны моего творчества, ответить очень легко: нет. Тот, кто ждал Чернобыля, чтобы задать себе вопрос, должно ли его литературное творчество сейчас измениться, уже тогда опоздал. Уже более двадцати лет здесь, на Западе, существует достаточное количество информации и «мнений» о технологическом, экономическом и военном безумии современности, как сказал бы Мартин Вальзер.

Напротив, нищета просвещения на Западе состоит именно в том, что люди сегодня уже обо всем знают. Последние 20 лет наше общество в такой степени и так основательно осведомлено об эксплуатации, подавлении, катастрофических ситуациях в мире и лживости политики, что потеряло способность слышать и видеть.

Чего нам не хватает — так это воли к возмущению.

Причина этого недостатка заключена в судьбе наших желаний. Вместо того чтобы действительно их осуществлять — в том числе и потребность в трансценденции,— мы удовлетворены обещаниями счастья, которые в нашем необозримом мире товаров имеют материальную предметность. Как в истории о состязании в беге между зайцем и ежом, желание, еще прежде чем оно осознает себя как индивидуальный, открытый вопрос, уже нейтрализовано обещанием выполнимости в мире потребления.

Эта мечта о выполнимости всех желаний, которую наша система каждый день внушает заново и одновременно пробуждает в странах Восточной Европы, в конце концов приводит к деформации самих желаний.

Литература должна сегодня видеть в разоблачении этой взаимозависимости одну из наиболее благородных своих задач. «Потеря утопии», «уничтожение смысла» коренятся не только в безумии современной действительности, они коренятся прежде всего в отказе от непреклонного поиска иного мира, который был бы построен на признании этого ослепления. Только в этом истинном облике реальности, который стал бы к тому же историей страданий человеческого начала в современном мире, будет утолена жажда смысла.

Судьба наших желаний — это и судьба нашей фантазии. Запертая в гетто общественных отношений и осуществимости, окруженная прекрасными обещаниями, фантазия стоит перед стеной. Она может окрасить эту стену. Но она может и повернуться к ней спиной и бросить несентиментальный взгляд на собственные раны и унижения. Этот взгляд не должен окончиться отчаянием и разочарованием: поскольку ничего другого не остается, он может и пробудить готовность добраться до глубины надежды. Это стало бы второй, я думаю, самой благородной, задачей современной литературы.

Эта работа осуществима только с большой симпатией, я хочу сказать, только с любовью. Только любящий рассказывает и описывает так точно, что в боли от преодоления ложного, от признания слабости все еще остается момент счастья, и лишь благодаря ему перемена становится желанной.

Надежда находит свой импульс в неустрашимости желания. Но оно давно уже деформировано и стало цементом правящего порядка. Я думаю, что литература не может больше довольствоваться тем, чтобы варьировать эту печальную истину. Перед лицом «конца времени» ее смысл лишь в том, чтобы обнаружить условия, дающие возможность если не свободы, то хотя бы способности субъекта к сопротивлению.

Литература находит источник своего движения в несовершенстве мира и человека. Уже в этом смысле она направлена на трансцендирование, на изменение. Литература снова, сегодня больше, чем когда-либо, должна быть направлена на возрождение образа свободной, осознающей себя и свою ответственность, мужественной индивидуальности, способной к любви...

О. ЧУХОНЦЕВ. Я не историк культуры, не богослов, не романист, наконец, потому позвольте предложить вашему вниманию разрозненные соображения, нечто вроде необязательных маргиналий.

Сугубая политизация нашей жизни и культуры — вещь очевидная и, по-видимому, неизбежная, однако лично я не могу не относиться к ней с изрядной настороженностью, сообразуясь хотя бы с тем, какое место занимает политика вообще в ряду высших человеческих проявлений. Да, она на слуху, она помыкает общественным мнением, диктует свою волю народам и континентам, но художник все-таки — носитель другой, органической правды, и само художество — цельное знание о мире, чья суть не в обладании, а в постижении.

По мне, художник тот, кто в злободневном ищет метафизический смысл, во временном видит вечное, кого интересуют конечные вопросы бытия. Эту тривиальность неловко повторять, но что делать, если теперь, когда публицист потеснил художника и слово откровенное задвигает знание сокровенное, мы бываем похожи на щедрин-

ского Степана Головлева, который окончил Московский университет, пришел босиком в свою родную Головлевку и все забыл. Решительно все!

И все же есть вещи, не отменимые никакой остротой ситуации. Я имею в виду не пресловутую художественность, а внутренне противоречивую имманентную природу художественного текста и творчества вообще. Я понимаю Мартина Вальзера, что, высказавшись, часто хочется говорить прямо противоположное. И это не от отсутствия точки зрения на предмет, а опять-таки, я думаю, от желания охватить его целиком, взять с разных сторон и как можно полнее.

Не забудем, однако, и то, что главный признак таланта — убеждение в абсолютной правоте высказывания, пафос Правды. И здесь нет противоречия. Просто правда художественная, как мне представляется, гораздо глубже и теснее связана со словом как таковым. Это именно то Слово, которое было вначале у Бога и которое Он заповедал нам. Кстати, именно поэтому я разделяю мысль К.-Й. Кушеля, что имитации и декоративное отношение к Преданию имеют сомнительное отношение к духу вообще, и часто вопль и томление богооставленности больше говорят о мучительном пути приобщения к Нему, чем рассудочные конструкции на тему о Божественном. Это похоже на практику исторических романистов, изобретших свои беллетристические приемы для полного извращения истории.

Возвращаясь к известным примерам, хочу подчеркнуть, что русская литература, в отличие от немецкой, развивалась во многом — и это ее историческая, родовая особенность — в условиях внешней несвободы. Чуть ли не с «Моления Даниила-заточника» через всю нашу словесность вплоть до Солженицына мотивы узилища и тоски по воле, мотивы тайной свободы были не только собственно мотивами многих произведений, но едва ли не доминантой их морального пафоса и художественного строя. В этом величие этой традиции, в этом и ее ущербность.

Деспотизм способствует расцвету искусств, считал обратившийся к католичеству Чаадаев, поскольку стимулирует личность на противостояние вызову. А Гоголь с малороссийским лукавством, отточенным в школе иезуитской логики, заметил, что цензура — безусловно полезное изобретение, заставляющее ум идти непроторенными путями. Это понимание определило во многом характер всей нашей литературы, целостный в своей уже исторической двойственности. «Певец империи и свободы»,— скажет позднее о Пушкине Георгий Федотов.

У меня нет времени развивать здесь эту тему. Сошлюсь — для экономии места — на древнюю богословскую формулу, вошедшую в язык нашей культуры в начале века: нераздельность и неслиянность. Такое понимание, с далеко идущими последствиями, это двуединство особенно актуальны теперь, когда есть опасность слиться с властью, проводящей либеральные реформы сверху, и потерять то последнее, что даровано художнику свыше,— его независимый дар.

И все же эта установка, то есть во многом вынужденная двойственность русской литературы, была жизнеспособной и, если хотите, продуктивной до известного предела — то, что было по-своему оправданным в условиях деспотизма, в новую эпоху, в тоталитаризме, оказалось сомнительным, а по большей части разрушительным и гибельным для самих основ культуры.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея»,— этот мощный образ Мандельштама надолго определил отношения художника и власти в условиях неслыханного давления на личность. При грубом и садистическом насилии ни о какой теплоте в компромиссе не могло быть и речи, и тот, кто вовремя осознал это, имел еще шанс духовно выстоять. Опыт жизни в тоталитаризме не мог не породить как чувства подавленного протеста, так и тотального безверия. Евгений Сидоров, я думаю, все-таки не прав, относя Шаламова, например, к писателям религиозным. Наоборот, в своих рассказах Шаламов — откровенный атеист, точнее, в том мире, где он оказался, он принципиально отказывает бытию в Боге (или Богу в бытии). Да он и не ставит подобного вопроса. Это другая традиция, может быть римская. Для меня он скорее стоик, чем христианин. Не Орфей, выходящий из Ада, а Плутон, спустившийся в Ад,— так полемически обозначил он сам свою новую прозу. Опыт этой страшной жизни, считает Шаламов, спорящий прежде всего с Солженицыным, целиком отрицательный.

Тем не менее, уходя от своего прошлого и оглядываясь назад, мы можем идти только по стопам Орфея, даже если придется оставить самое дорогое. Опыт пребывания в большом лагере реального и развитого социализма был для всех слишком долгим, а плоды слишком горькими, вследствие чего преодолеть подпольного человека в себе оказалось гораздо труднее, чем выйти из подполья. Приходится сполна платить по старым счетам. Не отсюда ли немота, поразившая многих из нас в новых условиях относительного освобождения, в том числе и от цензурных притеснений. Причем она коснулась и тех, кто бурно цветет сейчас, пытаясь наверстать упущенное. Но это — та же немота, поскольку разрешенная смелость имеет другую цену, а тиражирование поощряемых новаций художественными открытиями и не пахнет.

Может быть, наша теперешняя несамодостаточность — следствие давней российской ставки на противостояние. Отсутствие внешнего давления привело к короткому дыханию. Эмпирика, аргументы и факты вместо созерцания и размышлений. Только длинная мысль держит художника в узде формы. Приходится, отбросив костыли политической конъюнктуры, учиться ходить свободно.

Не провозгласить, а построить правовое общество оказалось делом длительным и трудоемким, зависящим от состояния самого исторического фундамента, подорванного энтузиазмом строителей российской Ком-Утопии и судорожным спехом прорабов перестройки, от психологической деградации населения и его обнищания после

долголетнего террора и принудительного единомыслия и многого другого. В условиях, когда надо не только чему-то противостоять, а свободно определяться в меняющемся мире, не таиться, а искать свое место вместе со всеми, опыт самодостаточной мысли, опыт европеизма и свой христианский опыт — вот краеугольные камни нашего общего дома. И здесь верховная ценность и надежнейшая опора — свободная личность. Индивидуальное сознание, ответственное прежде всего за себя. Личный суверенитет в рамках общественного договора. Спасемся поодиночке — спасемся все. Спасем себя — спасем и других.

Я не способен, подобно доктору Кюнгу, исчислить будущее. Я могу только надеяться на лучшее, готовясь к худшему.

К. БАШЕ. Как гражданке ГДР мне хотелось бы высказать несколько замечаний по поводу проблематики вины, проблемы самосознания, точнее — протестантизма в самосознании. Мне кажется, что ГДР именно сейчас является примером того, насколько возможно было бы срастание — и, думаю, не в самом удачном смысле — двух блоков, обеих систем. Прежде всего я очень рада уже тому, что вообще могу присутствовать здесь: ведь еще в прошлом году это было чем-то абсолютно невозможным...

А сейчас по поводу выступления Бучиса мне хотелось бы сказать, что в ГДР галилеев ответ, собственно говоря, повторялся миллионы раз. То есть духовное порабощение происходило вопреки знанию, вопреки чувствам, развился целый комплекс, направленный лишь на одно — на вытеснение мысли, и прежде всего это происходило в 70-е годы. Однако теперь, к сожалению, наблюдается новый комплекс вытеснения, а именно — вытеснение воспоминаний о том, что произошло в прошлом. Пример ГДР особенно очевиден, потому что процессы перемен идут здесь столь стремительно. По поводу высказываний Айтматова и Гранина — относительно поисков виновных. В ГДР поиски виновных означали бы: 40 лет развала в экономике, 40 лет несложившейся судьбы. И этот необычайный феномен вытеснения — господин Латман упоминал об этом в связи с национал-социализмом — рассматривает в этом смысле коллективную вину как некое средство самоуспокоения. И конечно, в ГДР теперь прошлое представляется таким образом, что виновна была либо только «группа четырех», то есть правящая верхушка, либо какие-то отдельные злые личности — но не я. Но что может означать нежелание народа верить в новые утопии? Здесь я вижу очень большую опасность. И мне хотелось бы высказать следующую мысль: большинство населения в ГДР в настоящий момент находится в положении неуспевающего школяра, интерес к которому ограничивается лишь тем, чтобы его натаскать. Кроме того, мы сейчас оказались в положении наивного идеалиста, ждущего поучений, как ему следует жить. Ведь до сих пор он жил, как выясняется, неправильно...

Мне кажется, что объединенная демократическая Германия может быть создана только слиянием духовного потенциала обеих ее частей. Иначе произойдет — может быть, против воли — манкуртизация миллионов граждан. А народ не сможет достичь оздоровления без осознания своего прошлого. Иначе вновь на этой почве вырастут нетерпимость и агрессивность...

В одном из выступлений была высказана чрезвычайно интересная мысль — я теперь не помню уже кем: кто сегодня может заполнить вакуум, возникший в мире на месте институционализированного образа врага, сейчас, когда социалистических стран уже нет? Мне кажется, что наши, в социалистических странах, заблуждения свойственны человеку вообще, и та боль, которую мы сейчас чувствуем,— это общая человеческая боль. В этом смысле нельзя искать вину за крах реального социализма в теории общества, каковой является марксизм. Так как и христианство никто не собирается искоренять из этого мира только лишь потому, что некогда организовывались рыцарские крестовые походы. Как будет выглядеть общий путь человечества, мне это сейчас не ясно, я знаю лишь, каким он не должен быть. И в завершение я хотела бы напомнить об одной книге, которую написала Рут Фишер, жена Эрнста Фишера, в те времена, когда еще было запрещено читать книги левых интеллектуалов. Она писала о своей жизни в эмиграции в Советском Союзе. Представления ее сводились к тому, что в мире должно произойти объединение хороших людей. Как это может произойти, в то время когда интеллектуалы все еще находятся в меньшинстве, как смогут интеллектуалы пробиться к хорошим людям, которые, разумеется, встречаются и среди консерваторов,— вот вопрос, занимающий нас постоянно.

И. ДРУЦЭ. Германия — это одна из тех стран, которые на протяжении всего XX века остаются на сцене, в центре внимания, в качестве одного из главных действующих лиц. И не случайно мы встречаемся здесь, в Вайнгартене, в стенах знаменитого монастыря, чтобы обсудить за круглым столом насущные проблемы народов Европы, а может быть, и всего мира.

Из всех западных стран ФРГ несомненно одна из самых преуспевающих, с ее неслыханно здоровой экономикой. В свою очередь ГДР была для стран Восточной Европы баловницей судьбы, наиболее состоятельной и преуспевающей. Но вот на горизонте заполыхала Гласность, Демократизация, Перестройка всего уклада жизни. Оказалось, что тоталитарные системы являются системами тупиковыми. И от Монголии до Берлинской стены волны народного пробуждения сотрясли, казалось, извечные устои.

Можно без преувеличения сказать, что сегодня глаза всего человечества обращены на эти две Германии, которые в ближайшем будущем должны стать единым государством. Именно здесь, на германской земле, будет коваться облик будущей Европы. Как произойдет срастание двух противоположных систем? Как демонополизировать тоталитарный режим? Как вернуть измученному человеческому существу его почти отмершие трудовые навыки, его достоинст-

во, его нравственность, его независимость в поступках и мышлении?

Мне кажется, мы уже вступили в ту эпоху, когда сознание того, что все мы принадлежим к одной семье, к одному сообществу, должно доминировать надо всеми нашими замыслами, словами, поступками. В истинной семье, конечно же, красота не может соседствовать с уродством, богатство не может соседствовать с бедностью.

Рассчитывать на то, что богатые будут бесконечно делиться с бедными,— значит тратить время впустую. Нужно найти какой-то новый путь к моральной и материальной стабилизации мира.

Мне очень понравилось замечание господина Латмана о том, что первые христиане были ближе всего к истинному социализму. Позволю себе добавить, что, как мне кажется, первые христиане были и ближе всего к Богу. В холле принимающей нас Католической академии висит плакат, изображающий крест, треснувший от оснований высоко вверх, и видны тонкие ниточки, покрывающие гигантскую расщелину. Такое впечатление, что любящие женские руки, не в силах вынести больше вид этого треснувшего креста, быстро взяли иголку и нитку и попытались хоть наспех, хоть кое-как, сшить, укрепить, преодолеть эту грозящую всем катастрофу.

Я стоял перед плакатом и думал, что в каком-то смысле этот образ представляет собой автопортрет, кардиограмму состояния современного мира. Гигантские разрушительные силы крошат нашу жизнь и жизнь нашей планеты во всех направлениях. Ядерный меч, экологические катастрофы, нравственное одичание — нет конца этим обвалам, и вот поди ж ты, слабые руки наших матерей, кажется, спешат откуда-то из другого мира прийти к нам на помощь и сшить, соединить то, что уже вряд ли соединимо.

Мы говорим сегодня много об индивидуальном и массовом сознании, но главное заключается в том, что ни Европа, ни мир не могут дольше пребывать без единой общечеловеческой крыши. И дело не в том, что мы пришли из взбудораженной страны в относительно спокойную и хотим заразить вас своими тревогами. Дело в том, что волны наших этнических и социальных потрясений подходят уже к фундаменту вашего собственного дома. Сегодня вопрос стоит так: либо мы все вместе найдем единую формулу нашего совместного обитания, под единой крышей, либо планета наша обречена.

Из того, что человечество накопило до сих пор, как мне кажется, христианство — единственный продукт человеческого ума и духа, создавший вненациональную, внегосударственную крышу, которая худобедно, а укрывает нас от непогоды вот уже скоро две тысячи лет. Задумывая новый дом, мы должны изучить и использовать то, что нам служило так хорошо и так долго. И откладывать до бесконечности создание нового мирового сообщества тоже нельзя. Мне кажется, смысл нашего симпозиума состоит еще и в том, чтобы сказать своим братьям на Западе и на Востоке: поезд нашего спасения вот-вот уйдет. Как известно, мало кому удалось догнать поезд на ходу.

В. КАЗАК. Происходящий сегодня в мире перелом начался в СССР с приходом к руководству страной Михаила Горбачева. Последствия этого перелома мы наблюдаем не только в Восточной Европе, где один за другим сходят со сцены социалистические режимы, но даже и в Южной Африке. Одним из важнейших процессов современности — причем не только для нас, немцев,— является объединение Германии.

Встреча для беседы ученых и писателей из обоих немецких государств и из СССР — событие радостное, потому что оно свидетельствует о нормализации отношений. Для людей одной профессии политические границы не должны быть препятствием, наоборот — принадлежность к различным культурам должна способствовать развитию взаимосвязей.

Можно сказать, что результаты перестройки на сегодняшний день заметны прежде всего в литературе и публицистике. Русская литература вновь обретает единство, уничтоженное в 1917 году. Средства массовой информации отказались от той лжи, которую они распространяли в течение десятилетий. Искусство снова становится независимым. Разрешено признание духовной основы нашего бытия. Есть надежда, что религия займет подобающее ей место в советском обществе.

Немецкая литература тоже становится единой. Разделенная сорок пять лет назад, она по-разному развивалась и теперь сливается воедино. Вобрав в себя многовековую традицию, она становится новой, органически многообразной. На путях к единству русскую и немецкую культуры подстерегают опасности. Поэтому во всех сферах необходимо выделить общее, не разделяющее.

Людей в Германии и в СССР волнуют серьезные проблемы: преувеличенное национальное самосознание и ненависть к инородцам, экстремизм в политическом мышлении, приоритет материальной стороны жизни и пренебрежение духовной.

Лишь часть людей осознает, что социализм — это утопия, которая терпит крах на наших глазах. Осознается идеологический вакуум. Многие указывают на то, что его можно и необходимо заполнить религиозным содержанием. В Советском Союзе началось религиозное Возрождение (оно существенно способствует процессу перестройки), но велики и противоречия: наряду с глубокими религиозными изысканиями, которые находят свое отражение в литературе, имеет место поверхностное исповедывание религии, замкнутость на традиционных формах и обусловленное марксизмом мышление — как будто божественная истина подчиняется представлениям людей.

Германия же, напротив, страдает от широко распространившейся религиозной индифферентности, от того безразличия, в котором Достоевский видел большее зло, чем в настоящем атеизме, потому что последний ближе к вере. Германия страдает от идеологии потребления, но это не чуждо и советскому человеку. Различны лишь причины. Здесь — предложение, превышающее спрос, и богатый выбор, там — спрос, превышающий предложение, и низкое качество.

Говоря о негативном, не следует забы-

вать и о позитивных явлениях; в Германии тоже есть религиозно и метафизически ориентированная молодежь как внутри различных религий, так и вне церкви.

Что касается будущего, то есть люди, которые боятся в него заглядывать. Они считают, что опасаться наихудшего разумно и необходимо. Такая позиция ошибочна. Мы должны отдавать себе отчет в том, что своим страхом мы усиливаем как раз то, чего боимся. Верующий знает о силе молитвы и благословения, о силе добрых мыслей. Далекому от веры нужно лишь осознать силу любящей матери, которая обнимает свое больное дитя и уже этим помогает ему. Когда мы поверим в эту позитивную силу, мы сможем понять, что нашими мыслями мы укрепляем движение за мир, спокойствие, понимание между народами.

Итак, давайте не будем ожидать самого страшного, осознаем, что основой для изменений стали духовные корни. Русская интеллигенция отказалась жить по предписанной лжи. Солженицын призвал в 1974 году: «Жить не по лжи!» Этот текст во времена перестройки опубликовали — и не один раз. Тоже знамение времени.

Давайте верить, что перестройка необратима. Поверим в советскую молодежь. Она выросла за пять лет, прошедших под знаком гласности и разнообразия мнений. Теперешним молодым людям не вдалбливалось в голову, как их родителям, что иное мнение чуждо, преступно, а следовательно, и наказуемо. Их новое мышление уже неискоренимо.

Путь перестройки, основополагающие принципы которой — мир, терпимость, уважение к личности,— путь не гладкий и не простой, но он ведет к свету, и мы хотим (каждый со своей стороны, каждый в своей области) содействовать ей.

А. ХАМПЕЛЬ. В начавшемся в СССР процессе преодоления прошлого мы, немцы, видим внушающие доверие перемены. Мы с радостью готовы приветствовать наших советских коллег как спутников на этом крестном пути, дать им ободряющий совет, а возможно, и урок.

До сих пор мы, немцы, страдали от одиночества, осуществляя мучительную работу национальной самокритики. Не всякий, кто покаялся в грехе, может рассчитывать на получение прощения,— а именно эта гарантия облегчает каждому католику унизительные признания на исповеди. Хотя гитлеровская Германия в своем преступном шествии по Европе имела многочисленных соратников, расчет с прошлым свободная послевоенная Германия вела в одиночестве. Японцы, итальянцы и другие союзники не видели никакой необходимости в том, чтобы как нация принять участие в этом, как его называют, «мазохистском копании в прошлом». ГДР удалось уклониться от исторической ответственности, так как она была «первым государством рабочих и крестьян» на немецкой земле и в соответствии с этой формулой считала, что национал-социализм есть неизбежное порождение капитализма. Австрия тоже считает себя скорее жертвой, чем преступником. Сейчас — для многих совершенно неожиданно — у Германии появился «товарищ по несчастью» в лице Советского Союза, перед которым стоит задача осуждения точно таких же кошмарных и в количественном, и в качественном отношении преступлений. В то время как западногерманской самокритикой приоритет в совершении преступлений отдан Гитлеру, советские критики не побоялись сравнить двух величайших преступников нашего столетия...

Тот факт, что Советский Союз и Германия объединены необходимостью расчета с прошлым, заключает в себе наряду с разнообразными искушениями также и позитивные моменты. Искреннее признание вины способно указать пути ее преодоления не только в смысле взаимного освобождения от ответственности, но и в понимании неделимости прав человека.

Германия в 1945 году прошла через так называемую «нулевую отметку», чего не сумел или не захотел сделать Советский Союз. Германия не самостоятельно освободилась от своих тиранов. Нацистский режим пал под напором внешних сил. При этом на суть дела не влиял тот факт, что один из освободителей — Советский Союз — сам был несвободной страной. И если сегодня Советский Союз стремится — встречая на этом пути множество трудностей и идя на сомнительные компромиссы — к своему освобождению, то мы, памятуя о собственном освобождении, не имеем никаких оснований для того, чтобы держаться заносчиво и высокомерно. Разве мы сделали бы это, если бы Германия выиграла войну?

Первым шагом к моральному исцелению будет беспощадная правда. Утверждая, что все, что известно об Освенциме,— ложь, мы не смогли бы наладить мало-мальски нормальных отношений ни с евреями, ни с поляками. Соглашаясь с ложью о жертвах Катыни, о добровольном присоединении Прибалтийских республик, Западной Украины и Бессарабии к Советскому Союзу, с ложью о добровольном установлении советского строя в странах Восточной Европы и о многом другом, Советский Союз не смог бы ни ликвидировать белые пятна в своей истории, ни завоевать доверие партнеров. Партии, совершившей в прошлом преступления, последствия которых ощущаются и сегодня, бесконечно трудно произвести расчет с этими преступлениями.

Используя привычную фразеологию о дружбе народов, о возникновении единого советского строя, об образцовом исполнении принципа свободы вероисповедания и т. д., нельзя решить этих проблем.

Расчет Советского Союза с прошлым так труден еще и потому, что, начатый честно, он нашел бы прямые последствия для советского политического строя. Признание вины может только тогда считаться искренним, если оно связано с желанием возместить причиненный ущерб...

Если сегодня социалистическое государство начинает в определенной мере признавать за своими гражданами человеческие права, то это не следует расценивать как проявление великодушия со стороны правящих там партий. Преступно, что эти права так долго не предоставлялись народу. Рано установившийся на Западе дуализм церкви и государства явился плодотворной предпосылкой последующего разделения влас-

тей, без чего гарантии основных прав личности представляются невозможными...

Умирающий социализм оставляет после себя пустое пространство. Кто и что заполнит этот вакуум?

Будет ли это самодовлеющий национализм, признающий христианство лишь постольку, поскольку оно повышает его пробивную способность? Будет ли это потребительское упоение, которое на несколько шагов приблизит человечество к экономическому коллапсу?

Одно лишь крушение социализма — если уж процесс зашел так далеко — еще не является гарантией сохранения мира и сохранения жизни на Земле.

Люди всех вероисповеданий и мировоззрений призваны вступить в борьбу за защиту человеческого достоинства, мира на Земле и сохранение пригодности ее для жизни. Мы, христиане Востока и Запада, убеждены, что должны внести в это дело существенный вклад. Наши возможности, как и наша ответственность, возросли благодаря переменам в Восточной Европе.

Международный конгресс «Церковь в беде», проводившийся в Кёнигштайне, который в течение десятилетий поддерживал связь с христианами Восточной Европы, в то время как широкая общественность не видела в этом никакого смысла, призван мобилизовать европейские церкви на осознание этой ответственности.

Кое-что из того, что требовали делать для христиан Восточной Европы Кёнигштайнские конгрессы, стало ближе к своему осуществлению. Многое еще не сделано. Многое еще предстоит осуществить. Возьмемся же за работу!

А. МЕНЬ. Дорогие друзья! Сейчас много говорят о достоинстве человека. Однако если не верить в смысл мироздания, эта идея повиснет в воздухе. Если во Вселенной, в бытии нет глубинного смысла, то человек — такая же ошибка природы, как динозавры. Но динозавры не портили планету так, как люди. И может быть, исчезновение человека помогло бы жизни на Земле. Поэтому мы должны отдать себе отчет в том, что тезис о достоинстве человека неотделим от веры. И только исходя из этой точки зрения, можно рассуждать дальше. Сошлюсь на прекрасное сообщение профессора Кюнга. Он предполагает наступление новой экуменической эры. Напомню, что «эйкумена» — значит «вселенная человека». Но я добавлю, что он не подчеркнул наличия альтернативы; потому что, если человек не выработает каких-то высших принципов, которые помогут ему преодолеть конфронтацию, сегодня он обречен. Н. Анастасьев в начале привел слова Ортеги-и-Гассета. Это очень уместное напоминание. В наш век человек предстает в виде «массы». И иногда казалось, что это и есть демократия, так называемая воля народа. Но это фикция. Человек в толпе — самое беспомощное существо. Толпу легко направить в любую сторону. И все наше столетие красноречиво показывает это. Даже почтенные кардиналы и прелаты на втором Ватиканском соборе, когда их было уже две тысячи, в какие-то моменты стали вести себя как толпа. Им запрещали аплодировать, а они все равно стучали и аплодировали. Синдром массы, синдром толпы. На Западе этому противостоял индивидуализм. Он проявлялся и в философии, и в поэзии, и в науке. Во всех видах субъективного идеализма от Беркли, Юма, Фихте и так далее до таких вызывающих, как у Штирнера. Но это весьма сомнительная альтернатива «массе».

В свое время Анри Бергсон подчеркивал, что у разума могло быть две формы проявления. Во-первых, термитник, муравейник, во-вторых, небольшие группы. Человек возник в небольших группах. В «муравейнике» он деградирует. Какой же выход? Думается, он в рождении духовного персонализма. Он открывает нам, что в каждой личности отражается вечное. Христос говорит, что Богу дорога каждая душа, а не масса или народ. Это не позитивный или естественнонаучный факт. Это откровение. Его невозможно добыть с помощью научных методов. Но, утверждая абсолютную ценность человеческой личности, Бог до Христа открывает нам и другое: подлинная жизнь личности — в открытости другим личностям, в служении другим личностям. В этой отдаче самих себя, в этом персонализме утверждается тайна любви и тайна служения. Только на таком основании возможна будущая экуменическая модель мира. Конкретная задача здесь — научить людей этой открытости. Возможна ли она? Как, в частности, ее совместить с многообразием религий? Напомню, что Евангелие отличается от других религий не только этикой, а тем, что в нем через Иисуса открыт Бог как личность, но в этическом плане у нас много общего. Я с радостью принимаю слова Корана, где в 5-й суре сказано, что все верования не должны конкурировать на путях добра. Подобные же идеи можно найти и в буддизме, и в иудаизме, и в других религиях.

На деятелях культуры лежит большая ответственность. Они тоже призваны внести какой-то вклад в будущую экумену. Это касается писателей, философов, теологов, педагогов. Но профессор Кюнг прав, что здесь нужны соединенные усилия. Центробежные элементы сейчас гораздо сильнее. На схеме Кюнга это не очень заметно.

Чудесное многообразие людей, прекрасное многообразие языков, темпераментов, культур, истории, многообразие, которое создает красоту жизни, превращается сейчас в повод для конфронтации. Это массовое сознание деградирующего человека. Напомню, что ксенофобия — зоологического происхождения.

И последнее. Считает ли человек себя верующим или нет, без духовности у человека нет будущего. Западный индифферентизм есть симптом опасной болезни. Апостол Павел говорит: «Духа не угашайте». Если у нас будет угасать дух, будь мы на Западе или на Востоке, мы будем постепенно катиться вниз либо в условиях комфорта, либо в условиях бедности. Человек создан как явление духа во Вселенной, как отображение тайны, которая создает весь мир. Если мы изменим своему призванию, Бог создаст новое человечество. Надо, чтобы этого не случилось.

Перевод выступлений немецких участников: Е. Инглрайт, Л. Колесниковой, И. Ланина, Д. Палиевской, М. Ратгауза, Е. Драновой.

ХАНС КЮНГ

РЕЛИГИЯ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Тринадцать тезисов

А. О взаимодействии модернизма и постмодернизма

Тезис 1. Исследователь, анализирующий ту или иную эпоху без учета религиозных аспектов жизни общества и не рассматривающий религию (наравне с искусством или правом) в качестве универсального, хотя и амбивалентного феномена жизни человечества, обречен на неудачу.

а. Религия, так же как искусство или право — рассматриваемая диахронически и синхронически,— представляет собой **универсальный** феномен, связанный с «исполнением древнейших, сильнейших и жизненно необходимых желаний человечества», как писал З. Фрейд. О ее «иллюзорном» характере ни в коем случае нельзя говорить как о чем-то безусловно доказанном (на это также указывал в свое время З. Фрейд). В гораздо большей степени основное содержание религии определяется разумно-доверительным отношением человека к ее истинам. Пренебрежение этим общечеловеческим феноменом при анализе (будь то в результате небрежности, незнания или под влиянием враждебного чувства) означало бы, что существенный аспект жизни человека и истории человечества, безразлично от того, как к нему относятся сейчас, положительно или отрицательно, выпал бы из поля зрения исследователя и не был бы оценен по достоинству.

б. Религия — в отличие от философии, возвещающая человеку о спасении и указывающая путь к нему,— представляет собой трансцендентную в своей основе и оказывающую имманентное воздействие теоретически-практическую систему координат для исполненного верой мировоззрения, жизненной позиции и образа жизни. В своей доктрине, этике и ритуале религия раскрывает перед человеком широкий горизонт понятий, объясняет ему смысл жизни, гарантирует высшие ценности и нормы, делает человека членом духовного сообщества, наделяет его духовной родиной, дает обоснование для протеста и сопротивления против всего неправедного. Говоря языком социологии религии (по Ф. К. Кауфману), религия (разумеется, не только она одна!) позволяет осуществить: 1) утверждение личности, формирование личностного сознания, 2) ритуализацию, 3) освобождение из-под власти роковых случайностей, 4) социальную интеграцию, 5) космизацию человеческого бытия, выход его за пределы узкоземного существования, 6) профетическую миссию, то есть предвидение будущего развития.

в. Религия — **двуликий** феномен. Исторические факты свидетельствуют о том, что даже высокоразвитые религии оказывали (и на личность, и на общество) двойственное влияние — как регрессивное, подавляющее и реакционное, так и освобождающее, гуманное, прогрессивное.

г. Эта двуликость, двойственность присуща не только религиям мистического склада, устремленным к созданию некоего сверхчувственного единства человека и божества (таковы индуизм и буддизм — религии, ведущие свое происхождение из Индии), религиям рационально светским, ориентированным на овладение мудростью жизни в миру (таковы конфуцианство и даосизм, религии китайского происхождения), но и религиям профетическим, зародившимся на Ближнем Востоке,— иудаизму, христианству и исламу.

Тезис 2. Как и остальные высокоразвитые религии, христианство в различные эпохи своего существования претерпело немало изменений своей парадигмы, затронувших всю систему его учения. И в наше время до известной степени существуют исторически изжившие себя парадигмы, соперничающие друг с другом.

а. «Смена парадигмы» — первоначально такой «диагноз» поставил американский историк науки Томас С. Кун, исследуя с помощью системно-теоретического анализа переворот в науке, произведенный Коперником, и процесс поиска и обретения истины в ходе научно-естественного познания — означает не только изменение метода или теории, но и изменение **«всей системы** убеждений, ценностей и образа поведения, признаваемой членами определенного сообщества» (Т. С. Кун, «Постскриптум»). Применительно к религии смена парадигмы означает изменение основной модели мировосприятия, ориентируясь на которую люди осознают самих себя, общество, мир и Бога.

б. Перенося понятие **смены парадигмы** с истории науки на историю вообще и историю христианства в частности, нельзя представлять себе процесс изменений как некое единовременное событие, наподобие качания маятника или всплеска волны, и видеть в нем просто смену общественных настроений или какие-то политические сдвиги. В гораздо большей степени такая смена означает **основополагающие и долговременные** изменения и в конечном счете воспринимаемые и усваиваемые **широкими слоями общества** перемены во взглядах на вещи вообще, то есть смену макропарадигмы. Решающую роль в смене парадигмы играет «прорыв» множества разрозненных сигналов, поступающих из прошлого (продуцируемых новаторски мыслящими деятелями культуры, обогнавшими свое время, критически относящимися к традиции группами и течениями любого рода, каким был, например, постмодернизм «avant le lettre» в эпоху, когда он не получил еще своего формально-теоретического выражения), и превращение их в общую тенденцию, осознаваемую широкими слоями общества. Решающее значение имеет не то обстоятельство, что те или иные индикаторы кризиса и перемен «уже имели место», а то, в какой степени эти явления нашли свое реальное воплощение в исторической действительности.

в. В истории христианства прослеживаются **шесть эпохальных моделей,** до сих пор соперничающих друг с другом:

1 — иудейско-христианская эсхатологическая парадигма первоначальной церкви;

2 — греко-эллинистически-византийская парадигма древней церкви;

3 — римско-католическая парадигма средневековой церкви;

4 — реформаторско-протестантская парадигма лютерански реформированного христианства;

5 — просветительски-модернистская парадигма либерального протестантизма;

6 — современная постмодернистская парадигма экуменического христианства.

г. В отличие от естествознания, где прежние парадигмы просто ликвидируются математически экспериментальным путем, в области религии они продолжают существовать для различных людей и группировок. Следствием этого является то, что ряд верующих и конфессий в духовно-религиозном смысле по-прежнему живут в прошлом — в эпоху восточной патристики, католического средневековья (относясь к модернизму столь же отрицательно, как в свое время сторонники средневековой церкви относились к Реформации), в эпоху Реформации, еще не знакомую с открытиями Коперника и Дарвина, или в эпоху протестантского либерализма прошлого столетия. В наши дни положение в религиозной жизни характеризуется одновременным конфликтным существованием разновременных парадигм в рамках различных церквей и вероисповеданий.

Тезис 3: Модернизм (то есть европейское Новое время) начинается в XVII веке с возникновения новой веры — веры в Разум и Прогресс, что, вопреки всем противодействующим течениям, привело к господству четырех начал, четырех доминирующих сил — естествознания, техники, индустрии и демократии. Против этого процесса — процесса секуляризации, обмирщения жизни человека резко выступала религия, прежде всего в лице католической церкви, которая все больше игнорировалась, оттеснялась на задний план и, в конце концов, подвергалась преследованиям.

а. «Модернизм» не новое слово. Оно возникло еще в эпоху поздней античности, но лишь в период раннего французского Просвещения XVII века стало использоваться в качестве позитивного определения нового чувства времени, для обозначения эпохи. Понятие «модерн» применялось для выражения протеста против регрессивно-ориентированного, основанного на представлениях об античности исторического образа Ренессанса. Теперь девизом стало не возрождение греко-римской древности, а начало нового времени, новой жизни.

б. Только в XVII веке утверждается новое, небывалое прежде доверие к **автономному Разуму**, развивается рационально обоснованное чувство превосходства по отношению к прошлому и **прогрессистское мышление**, подкрепляемое со времен Декарта и Галилея успехами «современной», «модернистской» философии и «точного» естествознания. Практическим выражением всех этих идей и представлений явилось общество, опирающееся на развитие науки и техники, научно-техническое общество, которое в процессе индустриализации, происходившей в XVIII—XIX веках, развилось в современное индустриальное общество. В политическом плане эта типично модернистская вера в Разум и Прогресс и связанное с ней понимание государственно-правовых проблем достигают первого пика своего развития в период Американской и Французской революций, выразившись в принятых в ту эпоху декларациях прав человека, от которых берет свое начало современная демократия.

б. Процесс модернизации был одновременно процессом секуляризации, в ходе которого наука, экономика и государство и, в конечном счете частная жизнь человека высвободились из-под опеки религии, претендовавшей на роль духовного вождя и руководителя общества. С точки зрения социологии (согласно концепции Карела Доббелера) секуляризация означает раскрепощение культуры, ослабление религиозной интеграции и изменение социальных форм религии.

в. В эпоху европейского модернизма (то есть в европейское Новое время) институциализированная религия (и в особенности католическая церковь) выступила **против** угрожающих ее власти великих **сил современности** — естествознания, техники, индустриализации и в особенности демократии. Поэтому она в эпоху модернизма, само собой разумеется, все больше вытеснялась с авансцены общественной жизни, игнорировалась и зачастую — как в эпоху Французской и Российской революций — насильственно подавлялась. Модернизм видел свою «модерность», свою «современность» именно в том, что он критиковал, разоблачал, вытеснял и исключал религию из жизни общества. Еще Макс Вебер расценивал исчезновение религии как признак перехода к современным общественным формам. Для того, кто хотел быть современным, «модерным», религия была далеким, навсегда оставленным прошлым! Но сегодня уже сама эпоха модернизма для многих находится в прошлом.

Тезис 4: Постмодернизм — это не всеобъясняющее волшебное слово или словоярлык, не полемический девиз или лозунг, помогающий уязвить противника в споре, а необходимое, хотя и неверно интерпретируемое эвристическое понятие, проблемно-структурирующий «поисковый термин», применяемый для анализа явлений, отличающих нашу эпоху от эпохи модернизма.

а. Не следует выстраивать ложных антитез — «модернизм» и «постмодернизм» нельзя определять как противоположность между рациональным и иррациональным, рациональным мышлением и иррациональным ощущением и переживанием; рациональность и иррациональность не являются признаками эпохи, они представляют собой постоянные, вечные, антропологические и исторические константы. Человек и человечество всегда в одно и то же время рациональны и иррациональны, меняются лишь «акценты», преобладание того или иного качества.

б. Не следует думать, что модернизм — это нечто, возникшее не очень давно, мнение, будто поворот от «модернизма» к «постмодернизму» произошел лишь в 70—80-е годы, является крайне поверхностным. Надлом системы модернизма, затронувший основы всех его ценностей, необходимо свя-

зывать с крушением буржуазного общества и европоцентристского мира в эпоху первой мировой войны.

в. Не следует идти на поводу у модных тенденций; решающим является даже не **слово** «постмодернизм», часто приобретающее весьма туманное, эссеистски расплывчатое истолкование, а сама суть дела, сам факт глобального перелома эпох. Слово «постмодернизм» следует использовать не столько в литературоведческом или искусствоведческом плане, связывая его с явлениями литературы или архитектуры, сколько во **всемирно-историческом плане.** Следует обратить внимание на то, что в качестве всемирно-исторического понятия, обозначающего эпоху, термин «постмодернистский» появляется в период первой мировой войны (см. работу Р. Паннвица «Кризис европейской культуры», 1917). В 1947 году А. Тойнби употребляет его для определения современной эпохи западной культуры, начало которой он относит к еще более раннему периоду, до начала первой мировой войны. У Тойнби это понятие заимствуют американские литературоведы, вкладывая в него теперь совершенно новый, гораздо более узкий смысл.

г. Не следует превращать термин в догму. Слово «постмодернизм» — это всего лишь **предварительный шифр,** отражающий то затруднительное положение, в котором оказывается исследователь, пытающийся дать определение новой эпохе, начавшейся в период первой мировой войны, эпохе, содержание и специфика которой исследуются все тщательнее и глубже, но все еще не определены с исчерпывающей точностью и полнотой. Должно быть ясно одно: когда я говорю «постмодернизм», это не значит, что речь идет о раздутом рекламой модном словечке или космологически возвышенном определении смены эпох (таком, например, как «век Водолея»). Дело также не в узкоэстетическом понимании этого термина, используемого для обозначения весьма недолговечного художественного стиля в литературе, дело в необходимости трезвого анализа **эпохи, смены времен, перелома эпох,** в условиях которого мы сейчас, по всей видимости, живем. Короче говоря, речь идет об эпохальной смене парадигм.

Б. Индикаторы и характеристики постмодернизма

Тезис 5: Всемирно-историческими индикаторами наступления эпохальной смены парадигм являются: замена модернистского европоцентризма постмодернистским глобальным полицентризмом и впервые возникшая возможность самоуничтожения человечества.

а. Только теперь мы целиком и полностью осознаем, какой вехой в развитии общечеловеческой культуры явились две **мировые войны,** когда война впервые обрела глобальный, а затем и тотальный характер. Теологи Карл Барт, Рудольф Бультман и Пауль Тиллих, писатели Томас Манн и Герман Гессе, философы Витгенштейн, Ясперс и Блох уже в 1918 году восприняли войну как крушение современного им буржуазного общества. Многие из них перешли на позиции пацифизма и социализма, возлагая надежды на послевоенное развитие.

б. Конец первой мировой войны означал не только крушение тысячелетней германской империи, протестантских церквей, насчитывающих четырехсотлетнюю историю, и современной либеральной теологии; с окончанием второй мировой войны наступил распад гомогенной конфессиональной среды. В ходе первой мировой войны была до основания потрясена старая система модернистских ценностей и прежде всего мировое господство европейских держав (на мировой арене появились новые силы в лице США и СССР!), а в результате второй мировой войны эта система была окончательно разрушена. Третья глобальная и тотальная, теперь уже ядерная война означала бы конец человечества.

в. Выдвинувшиеся в результате второй мировой войны великие державы — США и СССР — ослабили, однако, свои позиции лидеров военно-политических блоков как в области политики, так и в области экономики. Прежний двухполюсный военно-экономический антагонизм сменяется постепенно все более усиливающейся многополюсностью, мультиполярностью. Возникли новые центры, новые силовые поля — новая Европа, создавшая Европейское экономическое сообщество, Япония, вскоре таким центром станет Китай, а возможно и Индия. Таким образом, во всемирно-историческом отношении новая постмодернистская парадигма означает возникновение постколониальной, постимпериалистической модели или — если дать этому явлению позитивную формулировку — **полицентричного мира** (становящегося все более тесным благодаря современной технике связи и коммуникаций и, возможно, более мирным).

Тезис 6: Культурно-политическим индикатором эпохальной смены парадигмы является утрата господствующими, доминирующими силами и ценностями современной, модернистской европейской культуры, естествознания, техники, индустрии и демократии своего абсолютного характера. Автономный Разум, верховный судья во всех вопросах знания и веры для европейского модернизма, сам теперь нуждается в легитимации.

а. Неоспоримое господство социокультурных сил и ценностей, которые придали столько величия модернистской парадигме и неустанно содействовали ее дальнейшему развитию, сейчас **подвергается сомнению;** это господство принадлежало 1) свободному от власти этических норм естествознанию, 2) всемогущей индустриальной технике, 3) промышленности, разрушающей окружающую среду, 4) чисто формальной правовой демократии. «Диалектика Просвещения» (о которой говорили Хоркхаймер и Адорно) в действительности стала ключевым понятием, определяющим этот процесс самопроблематизации модернизма.

б. Современный прогресс грозит превратиться в **свою противоположность,** как это наглядно продемонстрировали две мировые войны, сталинский ГУЛАГ и совершенные нацистами массовые убийства, поставленные на промышленную основу.

в. Неконтролируемый современный прогресс привел нас сегодня к величайшей социальной нестабильности. Мы являемся свидетелями апокалипсического зрелища, видя, как на земле создается не рай, а ад; нехватка ресурсов, загрязнение окружающей среды, озоновая дыра, проблема уборки мусора, демографический взрыв, массовая безработица, международная финансовая задолженность, гонка вооружений, угроза всеобщей гибели, ядерная катастрофа и в конечном счете возможное самоуничтожение рода человеческого — вот лишь некоторые из постоянных, все увеличивающихся проблем, которые ясно дают понять, что убеждения, основанные на вере в Разум, свойственной эпохе модернизма, поколеблены, и в особенности расшатана **вера в верховное божество модернизма** — в вечный, всемогущий, всезнающий и разумный, мудрый и всевидящий, всеблагой **Прогресс.**

г. Кризис прогрессистского мышления в своей сущности есть **кризис модернистского понимания Разума.** Объявивший себя абсолютным, требующий от всего сущего доказательств права на существование, легитимации, Разум в наше время сам подвергается всеобъемлющему сомнению с позиций целостного подхода к действительности, сам вынужден доказывать свое право на существование, легитимировать себя. Прежний верховный судья становится обвиняемым. В естествознании также — с момента возникновения общей теории относительности Эйнштейна и квантовой механики Хайзенберга — утверждается «холистическое», целостное мышление, что означает смену классической модернистской парадигмы в физике новой парадигмой.

Тезис 7: Определение «радикальный плюрализм» не является достаточным для характеристики постмодернизма. Гораздо более типичным признаком постмодернизма является глобальное утверждение изначальных, более важных, чем любые интересы государства, прав человека и зарождающееся релятивистское, гуманное отношение к тем четырем доминирующим силам модернизма, о которых говорилось выше.

а. «Радикальный плюрализм» («истина, справедливость, человечность во множественном числе») не является символом постмодернизма, как считает В. Вельш в книге «Наш постмодернистский модернизм», а типичен для позднего модернизма. Подлинно постмодернистская парадигма требует большего, чем просто плюрализм, релятивизм и историзм. Без основополагающего, базисного консенсуса в отношении определенных человеческих ценностей и прав не существует нормально функционирующей демократии — вот почему в 1948 году Организацией Объединенных Наций была провозглашена Всеобщая декларация прав человека, излагающая свободы, политические и социальные права человека, а в 1949 году принята Конституция ФРГ, во втором абзаце первого раздела утверждающая «неприкосновенные и неотъемлемые права человека как основу любого человеческого сообщества, мира и справедливости на земле». Сегодня, однако, представляется особенно необходимым новое гуманное отношение именно к науке, технике, индустрии и демократии, которое разделяло бы большинство представителей различных общественных групп. Именно это явление вырисовывается вопреки всем противоборствующим факторам и тенденциям.

б. Как бы положительно ни относиться к достижениям естественных наук, в условиях, когда физика, химия, биология и медицина добились ряда сомнительных успехов и результатов, необходимо, чтобы наука сознавала свою ответственность перед требованиями этики, чтобы естественные науки признали относительный характер своих ценностей.

в. Признавая все значение техники, необходимо, однако, перед лицом ее устрашающих «достижений», нашедших свое применение в различных областях — от ядерной энергетики до генной инженерии, поставить технику на службу идеалам человека и человечности (именно эту цель преследуют, в частности, требования наложить табу на эксперименты над людьми).

г. Несмотря на все достоинства индустрии, учитывая катастрофические для экологии последствия ее развития, настоятельно необходима **природоохраняющая, экологичная индустрия,** отвечающая подлинным интересам и потребностям человека.

д. Признавая все достоинства демократии, необходимо — учитывая огромное множество негативных явлений, порождаемых мнимой демократией или псевдодемократией,— создать подлинно **социальную демократию,** способную сочетать принципы свободы и справедливости.

Тезис 8: Дополнительные аспекты постмодернистской парадигмы выражаются в новом, вдохновленном нонконформистскими («альтернативными») социальными движениями, отношении к расам, классам, полу, природе, войне, миру, то есть в выработке постматериалистических ценностей, убеждений, норм и стереотипов поведения.

а. Сегодня можно констатировать новое отношение к тем, кто в условиях модернистской демократии был обделен, принижен, подвергался преследованиям,— впервые оно проявилось в движении **борцов за гражданские права** в Соединенных Штатах, а затем в латиноамериканских и африканских **освободительных движениях и,** наконец, во всемирном **движении за права человека.**

б. Новое понимание отношений между полами, отвергающее господствующую роль мужчины, проявилось в **феминистском движении;** новое отношение к природе, осознающее пределы роста промышленности и опасность разрушения природных основ нашей жизни,— **в движении за охрану окружающей среды;** новое отношение к войне и бесконечной гонке вооружений как инструменту политики — **в движении за мир.**

в. В отношении чисто **материалистических** потребностей человека, связанных с обеспечением безопасности, поддержанием жизнедеятельности, со стремлением сделать карьеру, потребительскими нуждами, возникли потребности в таких ценностях, этических нормах и критериях, которые можно назвать **постматериалистическими.** Если раньше предпочтение **отдавалось**

развитию таких качеств человека, как усердие (столь необходимое в процессе индустриального производства!), любовь к порядку, основательность, пунктуальность и работоспособность, то теперь гораздо большее значение приобретают человечность, сила воображения, эмоциональность, душевная теплота, нежность. Замечается углубленный интерес к самопознанию и самоосуществлению личности, повышенная чувствительность и обостренное восприятие тонких и хрупких межличностных отношений и связей, чуткость к восприятию социальных проблем, забота об окружающей среде, природе, животном и растительном мире, исторически сложившейся среде обитания, растущая убежденность в необходимости общеобязательной этики в интересах выживания человечества. Происходит, таким образом, не утрата ценностей, а их изменение, следствием которого, по всей вероятности, будет борьба между старой и новой системами ценностей и переориентация стиля жизни.

B. О роли религии в эпоху постмодернизма

Тезис 9: Постмодернизм открывает новые возможности для религии. Модернистский процесс просвещения и секуляризации не может и не должен быть повернут вспять. Но одной из великих задач постмодернизма является создание очищенной, облагороженной религии. Если верить имеющимся данным, эта религия не будет ни секуляризированно-безбожной, ни клерикально-ханжеской. Возвращение религий не идентично возрождению церквей.

а. Во всяком случае образованные люди из числа противников религии должны сегодня открыто признать, что ожидавшегося в эпоху позднего модернизма — со времен диагнозов и прогнозов Фейербаха, Маркса, Ницше и Фрейда — **отмирания религии** не произошло, а безотчетная детская вера бесчисленных поклонников этой теории по праву поставлена под сомнение и опровергнута!

б. Религия вновь обрела свое существование в обществах Запада и Востока. И этот процесс (вопреки всем функционалистским теориям религии, выдвигавшим тезис о ее приватизации) также носит **общественный** характер: он происходит в культуре и субкультуре, в сфере научных дискуссий и средств массовой информации, в небольших организациях (молодежные группы, интеллигентские кружки, общины) и крупных религиозно-политических движениях — как консервативных, так и прогрессивных, в Польше и США, Израиле и Южной Америке, Иране и на Филиппинах.

в. Если верить всему, что известно на этот счет, мы уже находимся внутри процесса **нового открытия религии** — он происходит во всех странах мира, как высокоразвитых, так и развивающихся, в христианстве и в нехристианских религиях. **Переход к постмодернизму** ни в чем так ярко не проявляется, как в возвращении религиозной культуры, носящей **амбивалентный** характер.

г. Возвращение религиозной культуры означает не **возрождение церквей**, которые **все** (по крайней мере в Европе) страдают одним недостатком — снижением готовности деятелей церкви принять на себя заботу о судьбах людей, отчасти из-за либерального приспособленчества и утраты собственной независимой позиции (что выражается в секуляризованном конформизме протестантских церквей), отчасти из-за реакционного догматизма и ложно избранного направления (римский интегрализм католической церкви). В развитие тезиса 2 о различных исторических типах религиозной парадигмы можно привести большое количество разнообразных примеров, подтверждающих данный вывод.

Тезис 10: Постмодернизм (в области религии) не означает антимодернизма! Огульный антимодернизм религий, ориентирующийся на прошлое, не может способствовать преодолению эпохального кризиса. Необходимо отвергать любые формы программных антипросветительских выступлений и реставрации церкви. Ориентирующаяся на старые образцы решения конфликтов регрессивная, репрессивная, негуманная религия не имеет будущего.

а. Опасной и по большому счету непродуктивной была бы такая позиция **протестантского фундаментализма**, когда он, взяв на вооружение ложный лозунг «Никакого другого Евангелия!», стал бы требовать от своих приверженцев следования букве Священного писания, а не его духу, когда такой протестантизм нападал бы из религиозных побуждений на современную теорию развития и многое другое; когда он вознамерился бы вернуть евангелическую церковь вновь в эпоху, не знающую Дарвина и Просвещения, восстановив реформационно-ортодоксальную парадигму XVI—XVII веков.

б. Опасной и непродуктивной для религиозной ситуации в мире явится позиция **римского традиционализма и интегрализма**, если он, выступая под лозунгом «истинной католической веры», захочет вновь утвердить домодернистско-феодальные, догматически канонизированные, основанные на строгом соблюдении установленных норм и правил и в то же время мистифицированные организационные и доктринальные структуры; если католическая иерархия, несмотря на то, что замкнутая культурная среда католицизма давно утратила свои строго очерченные границы, вновь попытается найти спасение в централизации и бюрократизации (которые по своей природе являются типично модернистскими); если Рим захочет заставить всю католическую церковь с помощью авторитарных деклараций, дисциплинарных санкций, политических интриг, епископских назначений и теологической опеки вернуться к средневековой антиреформаторской и антимодернистской парадигме.

Величайшая заслуга папы Иоанна XXIII, наиболее выдающегося из римских пап нашего столетия, и созванного им 2-го Ватиканского собора (1962—1965 гг.) состояла именно в том, что им была предпринята попытка осуществления двойной смены католической парадигмы одновременно — тех изменений, которые совершила в свое

время Реформация (относительно толкования библейских текстов, отношения к мирянам, народного языка в богослужении и проч.), и тех, которые осуществил модернизм (в отношении свободы религии, иудейства, ислама и других мировых религий, а также общества и науки).

в. Занять позицию влюбленного в прошлое **консерватизма** — не значит решить вопрос. Клерикальному или секулярному антимодернизму необходимо противопоставить (как считает философ Юрген Хабермас) «проект модернизма», который еще не завершен. Права человека должны соблюдаться и внутри церкви, в особенности для женщин и теологов. Ватикану следовало бы признать Декларацию прав человека ООН и Европейского Совета и сделать из этих документов выводы в пределах своей компетенции. В то же время следует иметь в виду, что, как гласит

Тезис 11: Постмодернизм не означает также и ультрамодернизма! Апологетически относящийся к современности модернизм также не способствует решению эпохального кризиса. Простая модернизация модернизма, постмодернизм как дальнейшее развитие и совершенствование модернизма не являются решением вопроса. Модернизм также может стать в свою очередь традиционализмом.

а. Не всякая критика модернизма может рассматриваться как консерватизм, вопреки утверждению Юргена Хабермаса.

б. Разум не должен просто устраняться посредством разума, основные недостатки науки и ущерб, наносимый техникой, не должны устраняться простым развитием науки, ростом техники, как думают многие «практики» от науки и политики, объединяющиеся в странную коалицию с «несгибаемыми просветителями».

в. Естественные науки и техника могут упразднить унаследованную от прошлого этику, но они не в состоянии выработать или основать свою собственную этику. Абсолютные (и тем самым универсальные) этические ценности и критерии могут быть созданы только в сфере Абсолютного.

Тезис 12: Модернистская парадигма должна быть «снята» (в гегелевском смысле) в парадигме постмодернистской — сохранив свое человеческое содержание, отвергнув свои негуманные качества, она должна перейти в новое состояние, создав множественно-целостный, плюралистически-холистический синтез.

а. Те измерения человеческого, которые в эпоху модернизма вытеснялись и находились в небрежении, в постмодернистской парадигме должны приобрести первостепенное значение; это должно произойти с помощью новых, освобождающих, просвещающих и обогащающих человека средств и способов. Упадок крупных модернистских идеологий — марксистско-революционной прогрессистской идеологии Востока и технологически-эволюционной прогрессистской идеологии Запада — столь же неоспорим, как и происходящее одновременно возрождение религий.

б. Сегодня человек, придерживающийся религиозных взглядов, уже не видит необходимости в том, чтобы выступать (как это делали римские папы прошлого столетия) против «современных достижений», против свободы, равенства и братства, против демократии, прав человека и социальной справедливости. Сегодня **религиозное** мировоззрение и **научное** мировосприятие столь же мало исключают друг друга, как **религиозная** вера и **политическая** деятельность.

в. Многие люди, сегодня полностью отрицающие все мистическое, магическое, эзотерическое, иррациональное, все же убеждены в том, что (говоря словами престарелого Макса Хоркхаймера) без «совершенно Иного», без «теологии», без веры в Бога в жизни нет никакого иного смысла, кроме стремления к самосохранению; что без религии не существует различия между истиной и ложью, любовью и ненавистью, благотворительностью и корыстолюбием, нравственностью и безнравственностью; что без «совершенно Иного» жажда полной справедливости остается неутоленной и убийцы — в том числе и организаторы массовых убийств — торжествуют над своими безвинными жертвами.

Тезис 13: С точки зрения религии новую модель постмодернизма можно определить как экуменическую парадигму, ставящую своей целью единство христианской церкви, мир между религиями и содружество наций. В будущем возможна лишь открытая, освобождающая душу и общество, устремленная в будущее, истинно гуманная религия и религиозность.

а. Здесь нет необходимости, да и возможности, разворачивать широкую программу религиозной деятельности. Во всяком случае, постмодернистская парадигма будет полицентричной не только в индустриально-экономическом и общественно-политическом отношениях, но и в духовно-религиозном плане — переход к эпохе транскультурного и **мультирелигиозного постмодернизма** связан прежде всего с решением проблем, стоящих перед мировыми религиями.

б. Постмодернизм затрагивает **все мировые религии;** тем временем многие приверженцы римско-католической церкви, ортодоксальные иудеи, агрессивные мусульмане настойчиво придерживаются своей «средневековой» парадигмы. Таким образом, не только диалог с христианскими церквами (где спорные вопросы, приведшие к разделению церквей, разрешены в теории, но на практике это еще далеко не так), но и диалог с другими мировыми религиями покажет, способны ли христианские церкви адекватно реагировать на «вызов» постмодернизма.

в. Экуменизм («экумена» буквально означает «обитаемая, населенная земля») не должен сегодня пониматься в узкоцерковном или христианском смысле, ограничиваясь лишь проблемой единства христианских церквей. Ему необходимо во все большей степени стремиться установить мир (но не единство!) среди крупных религий мира. Ведь **без мира между религиями** не может быть **мира между народами** — от Дальнего Востока до Индии, от Ближнего Востока до Южной Африки и Северной Ирландии! Но мира между рели-

гиями не может быть **без диалога между религиями.**

г. Диалог — начиная с улицы и начальной школы и до официальных диалогов между представителями различных религий, учеными и политиками — означает взаимную информацию, широкую дискуссию и в конечном счете всестороннее преобразование.

д. Глубочайшая преданность своим религиозным убеждениям (перспектива внутреннего развития) и максимальная открытость по отношению к другим религиозным традициям (перспектива внешнего развития) отнюдь не исключают друг друга. Таков путь, ведущий к пониманию, позволяющий не создать **единую религию,** а способствующий истинному **примирению** между религиями — на благо единого человечества, жизнь которого, достойная подлинного назначения человека, должна стать предметом наших забот и усилий.

Перевод с немецкого Е. ДРАНОВОЙ

Памяти отца Александра

Когда этот номер готовился к печати, пришла трагическая весть об убийстве отца Александра Меня.

У отца Александра были тесные связи с нашим журналом. Здесь появилась одна из его первых работ в советской печати — послесловие к роману Грэма Грина «Монсеньор Кихот» «Трудный путь к диалогу». Эта статья дала название и сборнику статей, публичных выступлений отца Александра, который выйдет в издательстве «Радуга» — теперь уже посмертно. Отец Александр часто выступал в журнале, обсуждал новые публикации и новые имена, принимал участие вместе с другими сотрудниками редакции в международных симпозиумах. В минувшем году он стал лауреатом премии журнала «Иностранная литература». И в последние дни жизни его мысли были о будущих совместных планах с журналом, о новых изданиях.

Священник, выдающийся теолог, самобытный философ, писатель, блестящий проповедник, удивительный лектор, поэт, художник, о. Александр был и переводчиком. Мало кто знает, что он перевел на русский язык роман Грэма Грина «Сила и слава». Этот же роман на русский язык перевела Наталья Альбертовна Волжина. Когда же речь зашла о публикации романа по-русски, в журнале, о. Александр сказал: «Конечно, надо печатать перевод Н. А. Волжиной. Она — мастер». При этом скромно добавил: «Может быть, мой перевод кому-нибудь будет полезен хотя бы на предмет исправления отдельных реалий и неточностей». Перевод о. Александра, который и поныне существует лишь в «самиздатовской» рукописи, очень помог при подготовке текста романа к печати, за что редакция и теперь приносит о. Александру свою благодарность.

Вообще его щедрость была удивительной. Идеи, новые, самые дерзкие, и, казалось бы, самые невыполнимые проекты рождались у него мгновенно. Более того, они и осуществлялись благодаря его фантастической энергии, энциклопедическим знаниям, поразительной харизме. Он умел в каждом из окружающих его людей (а их были сотни, и он всех знал не только в лицо, но и по имени) разглядеть искру Божью и помочь человеку служить в жизни данным ему даром. Он щедро дарил идеи, говоря: «Если кому-нибудь хотя бы одна из них пригодится, берите ее». Он щедро тратил свое время на всех, кто его об этом просил и кто в нем нуждался. Если не служил и совершал многочисленные требы, то ездил из Семхоза, где он постоянно жил, в Москву причащать больных, навещать немощных в больницах, домах престарелых. Он участвовал в детских праздниках, находил слова утешения и любви для павших духом. Он многих вынул из петли, сотни людей он привел к вере. Всю свою жизнь, которая оказалась, как мы теперь знаем, недолгой, он проповедовал Евангелие, Благую Господню весть.

Роман «Сила и слава» был одним из самых любимых произведений о. Александра. Он наговорил его на пленку с тем, чтобы его прихожане, занятые какими-нибудь бытовыми, каждодневными проблемами, могли слушать эту книгу. Тем самым он раскрыл еще одну грань своего щедрого дарования — талант актера-чтеца. Кстати, устное, записанное на пленку наследие отца Александра составляет по предварительным подсчетам более 300 кассет.

Роман «Сила и слава» стал пророческим для жизни и для смерти о. Александра. В этой книге тоже убивают священника: враги заманивают его в ловушку, призвав исповедать умирающего. Смерть священника в романе Грэма Грина становится торжеством веры. Смерть отца Александра — это и страшная жертва, и жестокий укор всем нам за наши грехи — раздражение, злобу, отчаяние, неверие.

Сотни, тысячи людей не только у нас в стране, но в мире осиротели без о. Александра Меня. Трудно, невозможно смириться с этой утратой, невозможно поверить, что он больше никогда не войдет в двери редакции, не подарит всех своей улыбкой, не поделится с каждым радостью, из которой он был создан.

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ

Убит священник-интеллигент. Это сочетание не столь частое на Руси. А тем более в таком тонком сопряжении, которое состоялось в этом человеке. Высокообразованный священник, высокоодухотворенный интеллигент. Лично знал я Александра Меня лишь те несколько дней, которые мы вместе провели в западногерманском городе Вайнгартене. Поразила духовная строгость и одновременно доброта лица, внимательные и умные глаза. Уверенное спокойствие. При затаенном беспокойстве, скорби. Я как раз доклад приготовил: «Много знания — много печали». О мучительном превосходстве нашего народа и нашей истории в знании бездн человеческих страданий.

Может быть, и это еще притягивало в его лице: наша горькая история, наложившаяся на иудейскую извечную горечь, знание на знание, скорбь на скорбь.

Отец Александр не уходил, не прятался от своей судьбы. Он шел ей навстречу безбоязненно. Даже тогда, когда жить так, как жил он, говорить, и писать, и действовать, как он,— много лет назад — значило притянуть недоброе внимание тоталитарного государства, его щупальца к себе. А они уж если присосутся...

И вдруг ситуация изменилась: стало и жить и дышать свободнее — облегчение, вера, что, если будем людьми, все образуется, будет по-людски. Он и говорил об этом, когда выступал.

И вот именно в это время — топором по голове.

О, этот российский топор! Топор чаще всего с идеей. Не случаен, никак не случаен, для нашей страны гениальный роман о Раскольникове. Мне молдаванин рассказывал, как поссорился с братом и шел к нему через всю деревню с топором в руке, на виду у всех,— тоже жутко, но не по-нашему. У нас, где топор, там обязательно тайна, петля, пришитая на отвороте одежды. Или как это, наверное, происходило в подмосковном лесу: где натуральнее, безобиднее, чем прогуливающийся по утреннему лесу человек с топором: жердочку вырубить решил, огород, дачку подправить. Как раз вблизи той дорожки, по которой проходит к заутрени отец Александр...

Тайна топора — это почти что ницшеанская «радость ножа». К топору у нас позвать — ничего привычнее, знакомее. Ну, а какая за ним идея: анархистская или государственная, это уже оттенки. Главное: «убий!» — вместо «не убий!». Когда-то предсказал Достоевский, что, единожды запущенный, топор летать будет над нами, как спутник. Так что постоянно под рукой. Лишь руку протяни.

Следователь по делу об убийстве священника Александра Меня уже сообщил в печать: злодейство было тщательно подготовлено. Подумалось: значит, и сокрытие преступления может быть теми же людьми организовано тщательно, тоже профессионально.

Но были же у преступления мотивы! Чем-то перед ним, убийцей (индивидуальным или коллективным), «провинился» Александр Мень. Ясно, что провинился, еще бы. Во-первых, священник, во-вторых, интеллигент — значит, дважды виновен, дважды приговорен. Ведь мы живем в стране, где сан или социальное положение столько лет считались «виной» достаточной, чтобы тебя сделали заложником (во времена Ленина) или чтобы на тебе красноармейцы покатались, как дети малые, а затем выкололи глаза и убили (недавно о тех годах, о судьбе священника такое вот сообщалось), ну, а в сталинские времена уже и национальность стала преступлением: быть калмыком, «другом степей», быть крымским татарином или евреем — преступление, подлежит каре.

Так что Александр Мень уже трижды подлежал: священник, умник-интеллигент, а тут еще и еврей!

Но это когда было, бывало, а мы живем во времена перестройки, когда заявлены приоритеты ценностей общечеловеческих над зверино-классовыми.

Все так. Но разве не сегодня и не кто-нибудь, а мои коллеги по писательскому союзу открыто исповедуют приоритет крови, понятное дело, «чистой» над «нечистой». И когда громил в кои века посадили на скамью подсудимых, как же запричитали: «Остановитесь!», «Опомнитесь!». Так называлась статья критика Бондаренко в «Литературной России». Не замахивайтесь на топор!.. Напомнило одну из притч поляка Мрожека: какой-то усатый с двуствольным ружьем бегает по сцене и во всех, кто попался на глаза, целится. В ребенка прицеливается, в женщину. Люди вокруг возмущены, пытаются остановить его, ружье отнять, но два молодца рядом с маразматиком, они укоряют: что вы, люди, нехорошо! Дядек хце щелять! Дедушка хочет стрелять!

Хочет, и не трожь его, он «щелят», стрелять, хочет, а вы — мешать. Остановитесь!

Уже там, при первой встрече в ФРГ, мне подумалось про Александра Меня, когда я узнал, что приход у него — за городом, среди простых рабочих людей: как им повезло. Как им, видимо, хорошо и просто: и ему с ними, и им с таким пастырем — делиться друг с другом знанием о себе и скорбью о жизни нашей. Как просветляются души.

А чью-то и кто-то в это время накачивал тьмой, вооружал топором.

Бессчетное число раз наша действительность, круто замешенная на государственной лжи и насилии, рубила самые зеленые ветки на дереве жизни. И на этот раз не промахнулась. Кто убил Александра Меня? Да она и убила, та жизнь, с которой сегодня не хотят мириться все, у кого хотя бы крупица совести.

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

ВЛАДИСЛАВ АНДЕРС

БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ

■

Перевод с польского Т. УМАНСКОЙ

Год 1939: война в Польше

Лидзбарк: 1 сентября 1939

1 сентября 1939-го. Я в Лидзбарке на границе Восточной Пруссии — как командир Новогрудской бригады кавалерии, состоящей из четырех полков, усиленных артиллерией, батальоном пехоты, легкими бронемашинами и другими мелкими частями. Мы входим в состав армии «Модлин», большая часть которой защищает Варшаву от ожидаемого удара из Восточной Пруссии. Моя бригада обороняет направление на Плоцк. В Лидзбарке, маленьком, но красивом и чистом городке, мы стоим с середины июля. Рядом озеро и чудесные старые леса. Лидзбарк лежит на перекрестке дорог. До границы всего 25 км. Недалеко, за границей, находится поле битвы под Грюнвальдом, где в 1410 году Польша разгромила войска крестоносцев. Рядом — поле другой битвы, происшедшей на пятьсот лет позже — Танненберг, год 1914. Немцы соорудили здесь грандиозный памятник в честь победы Гинденбурга над русскими.

Уже несколько недель со дня на день мы ждем немецкой атаки. Каждый кавалерийский патруль, посланный к границе, докладывает о постоянно растущих немецких силах. Люди, бегущие из Восточной Пруссии, приносят известия о танковых частях, большом количестве пехоты и артиллерии. Немецкая пресса и радио непрерывно атакуют Польшу. Говорят и пишут о репрессиях по отношению к немцам, да что там — прямо-таки о погромах. Это, конечно, гнусная ложь, но весьма показательная. Именно так год назад началось с Чехословакией. Мы также знаем, что немецкая армия фактически уже мобилизована и сконцентрирована на наших границах.

1 сентября на рассвете мы видим вражеские эскадрильи — журавлиными треугольниками они летят к Варшаве. Скоро по телефону приходит известие, что на столицу сброшены бомбы. Почти одновременно мы получаем донесение от передовых патрулей, что немцы перешли границу. Есть убитые и раненые. Война началась.

25 лет назад

Когда война прямо заглядывает в лицо солдату и он осознает свой долг, то, даже не будучи человеком сентиментальным, как бы оглядывается на прожитые годы и оплачивает счета совести. А что уж говорить о сентябре 1939-го, когда каждый из нас, солдат, даже и на менее ответственных постах, понимал трудность, почти безнадежность польской военной ситуации. Ничего странного, что я вспомнил всю свою солдатскую жизнь, надеясь в минувших трудностях найти источник веры и оптимизма, без которых солдат сражаться не может.

Итак, годы 1911—1914 — Рижский политехнический институт и столь дорогая моему сердцу студенческая корпорация «Аркония». Оттуда вырвала меня первая мировая война, и как раз в сентябре 1939-го минуло 25 лет с того дня, как я, офицер резерва русской армии, въезжал в составе кавалерийского корпуса хана Нахичеванского в ту самую Восточную Пруссию, границу которой, границу Речи Посполитой, защищаю сейчас во главе бригады польской кавалерии. За долгие годы той войны 3-й драгунский полк, в котором я служил, прошел вдоль всей линии фронта, от Балтики до Черного моря. Бои, кавалерийские атаки, вылазки в пинских болотах, раны, блеск и нищета солдатской жизни. Наконец, учение в Академии в Петербурге. Незадолго до первой, еще не большевистской, революции, в середине февраля 1917-го, царь Николай вручал нам дипломы об окончании Академии. Это происходило в Царском Селе. Царя окружала многочисленная, сияющая орденами свита. Я вспоминаю эту минуту, потому что потом, когда революция лишила российского самодержца и его семью не только трона, но и жизни, торжество в Царском Селе не раз представало перед моим мысленным взором. Как же хрупка и ненадежна любая форма автократии или дик-

татуры. Пока самодержец или диктатор является источником благ, его окружает толпа придворных, выпрашивающих улыбку или приветливое слово. Но когда катаклизм лишает его власти, он остается один. Во время революции на защиту царя Николая и его семьи не встал никто из толпы военных и штатских вельмож. На месте казни в Екатеринбурге до конца остался верен царской семье лишь князь Долгоруков, кстати сказать, бывший командир моего полка. Но в тот торжественный день, когда нам вручали дипломы, заходящее солнце царского счастья еще отражалось в звездах и орденах нарядной свиты, соревнующейся в выражении верноподданнических чувств.

Добольшевистская революция застала меня в Румынии, где я исполнял обязанности начальника штаба 7-й стрелковой дивизии. С энтузиазмом приветствовали революцию все угнетенные народы России, прежде всего поляки, которые в течение 150 лет неустанно боролись с царизмом.

В моих воспоминаниях о революции особенно радостно сияет минута, когда я мог приколоть к форме польского орла, вступая в 1-й полк креховецких улан.

Тогда начались бои с большевиками над Днепром, в которых я принимал участие, будучи начальником штаба 7-й дивизии польских стрелков в составе польского корпуса. Я пережил тяжкие минуты принудительной демобилизации корпуса, но вскоре наступил великолепный перелом 1918 года и возрождение польского государства. После Кракова, Львова и Варшавы пришел черед Великопольши, где сигналом к изгнанию немцев стал приезд Падеревского в Познань. Как начальник штаба Познаньской армии я пережил триумф участия в очищении от немцев древних польских земель.

В апреле 1919-го я принял командование над 15-м полком познаньских уланов. Сначала мы бились с немцами на великопольской земле, а потом на востоке в боях с большевиками дошли до Березины. Сдерживая московский натиск на Польшу, в 1920 году мы принимали участие в исторической битве за Варшаву, всем сердцем переживали победу и гнались за отступающим врагом до самого Несвежа и Столбцов. Мы понимали, что не только завоевали независимость нашей Родины, но и отбили атаку красного империализма на Европу.

Мир, заключенный в Риге в 1921 году, большевики считали для себя весьма выгодным. Мы — нет. Слишком большие территории, населенные миллионами поляков, остались по ту сторону. Ленин сначала готов был отдать Польше значительно больше. Наше правительство было сдержанным, не желая в будущем каких-либо конфликтов с Москвой...

Я вспоминаю учение в Ecole Supérieure de Guerre, во Франции. Из Парижа я вернулся в 1924 году. Многим я обязан этой великой школе, а проведенные там два года — одни из счастливейших в моей жизни.

Живо встает в моей памяти трагедия переворота Пилсудского в 1926 году, когда я был обязан, подчиняясь солдатской присяге, защищать законное правительство и Президента, сражаться в Варшаве со своими же братьями-поляками. Потом началась служба командиром кавалерийской бригады на рубежах Польши: в Ровно, Кременце, Бродах и, наконец, в Барановичах. Это дало мне возможность как следует изучить наши восточные земли. В марте 1939 года меня перевели в район Серпеца, на границу с Восточной Пруссией. А теперь Лидзбарк.

Ожидание

Уже весной 1939-го мы знали, что война с немцами неизбежна. Концентрация немецких войск на плацдарме в Восточной Пруссии, а также в Чехословакии свидетельствовала о том, что немецкие клещи сжимаются вокруг Польши. Мучительное ожидание. Меня привел в ярость запрет приближаться к границе даже небольшим отрядам, а также запрет на строительство оборонных укреплений. Казалось, что верховные власти колеблются и не знают, будет война или нет. Только в июле принялись рыть окопы, тянуть заграждения из колючей проволоки, готовить дзоты для пулеметов и противотанковых орудий. Какие жалкие времянки! Разве могли мои легонькие, маленькие бронемашины противостоять мощным немецким танкам! Я чувствовал, что война будет страшно тяжелой. Надо было, чтобы солдат проявил высочайшее мужество, выстоял и дал возможность союзникам оказать нам помощь.

Тяжкое ожидание, граничащее с отчаянием. Общая мобилизация, назначенная на 29 августа, отменена. Поймите: буквально за три дня до войны. Сегодня мы знаем, что это произошло вследствие демарша послов — британского, Кеннарда, и французского, Ноэля. Мир не хотел верить, что война близка. Дорого это обошлось Польше — по крайней мере, на несколько недель ускорило наш разгром.

Все эти мысли проносились тогда в моей голове. Но, как всегда, реальность не дает солдату много раздумывать, направляя его мысли на день сегодняшний, на выполнение приказов...

Первые выстрелы

Приходят сообщения, что немцы наступают по всему фронту. Батальон моей пехоты под Дзялдовом в тяжелом положении. Я должен им помочь и посылаю резерв. Мощная атака идет на 20-ю пехотную дивизию в Млаве. Бой разгорелся и налево от меня. На нашем участке натиск сравнительно слабый. Мои полки удачно отбивают атаки передовых частей противника.

С тревогой гляжу я в небо, где лишь сильные авиационные соединения немцев и ни одного нашего самолета. По радио постоянно слышно: «Внимание, воздушная тревога!» Приходит известие, что бомбили не только Варшаву, но и города и местечки в глубоком тылу. Железнодорожные коммуникации разрушены во многих местах.

Я уже предвижу трудности, которые нам придется преодолевать из-за толп беженцев. Повозки с узлами и скот начинают забивать дороги. Завидев военные части, беженцы останавливаются и задерживают всякое нормальное движение.

Я приказываю ускорить строительство укреплений под Плоцком, которые прикрывают переходы через Вислу, потому что в этом

направлении мне придется отступать. Млава, несмотря на превосходство сил противника, держится хорошо. Но в ночь с 3 на 4 сентября я узнаю, что защитники ее получили приказ отступить на рассвете. Что же будет? Как они пройдут среди бела дня под огнем вражеской артиллерии и авиации?

4 сентября примерно в 11 часов я получаю приказ принять под командование также 20-ю и 8-ю пехотные дивизии. Вижу, что дело плохо. Оставляю своего заместителя, полковника Казимежа Желиславского, предупредив его, что придется отходить по направлению к Плоцку. Он должен ждать приказа, но уже сейчас приготовиться к немедленному отступлению.

Еду с моим начальником штаба, майором Адамом Солтаном, и капитаном Гилем на машине в Млаву. Напрямик проехать нельзя, приходится добираться в объезд, с другой стороны. По дороге вижу горящие деревни и много убитых среди гражданского населения. Особенно страшно видеть детские трупы.

Вижу, как немецкий летчик кружит над толпой детей — около ста человек,— учительница вывела их из местечка к ближайшему лесу. Самолет снижается до 50 метров, сбрасывает бомбы и стреляет из пулемета. Дети разлетаются в разные стороны, как воробьи, но около двадцати разноцветных пятен остаются на поле. Я предчувствую, какой будет эта война.

Мы заезжаем в тылы 20-й пехотной дивизии. Дороги забиты автоколоннами, орудиями, повозками с пулеметами и полевыми кухнями. Сотни вражеских самолетов бомбят не только колонны, но и отдельные группы солдат, уходящих по полям. Это уже нельзя назвать организованным отступлением.

Отступление

При таком положении вещей я не вижу иного выхода, кроме отступления обеих дивизий на левый берег Вислы через мосты в Плоцке и Вышогруде. Посылаю двух офицеров к полковнику Желиславскому, чтобы он немедленно оторвался от неприятеля, оставив за собой отряды прикрытия, и направился в Плоцк для подготовки оборонных позиций. Я боюсь, как бы немцы не окружили нас. Сам я еду в Плоцк, чтобы организовать оборону и принять разбитые дивизии. Приехал я позже, чем хотелось бы. Нас атаковали неприятельские самолеты. Я ранен в позвоночник осколком. На десять минут у меня парализовало ноги, но, слава Богу, все кончилось благополучно. Удалось отремонтировать машину, в которой было около тридцати дыр. С огромным трудом мы пробирались то по дороге, забитой войсками и беженцами, то напрямик через поле. В ночь с 4 на 5 сентября приехали в Плоцк. Меня перевязали, наложили гипс. Я почувствовал себя гораздо лучше и принял командование.

Оказывается, в Плоцке есть большая фабрика мясных консервов, что дает возможность накормить армию. На складах лежат огромные запасы ветчины в банках. Хорошо, что их не успели отправить за границу.

Я узнаю, что мост на Висле под Вышогрудом, к сожалению, взорвали раньше времени. Вследствие этого основные силы пехоты должны перейти по мосту в Плоцке. Часть ее вдоль Вислы спускается к Модлину.

Я испытал большое облегчение, узнав, что приказ мой дошел до кавалерии, которая движется к Плоцку, атакуемая лишь вражеской авиацией. Однако потери серьезны. 5 сентября вечером новогрудская бригада вошла в Плоцк, оставив на подступах к городу спецотряды.

Мы занимаем оборонные позиции. Подходят и остатки батальона майора Петра Перуцкого из-под Дзялдова. Нам противостоят не слишком большие части противника. Немцы бомбят Плоцк. Мы сбиваем 4 самолета, в том числе, к сожалению, один свой. 6 сентября мне удается наладить телефонную связь с генералом Бортновским, и мы обсуждаем возможность использования моей кавалерийской бригады: все ее полки сохраняют боеспособность. Однако я получаю приказ взорвать мосты в Плоцке и перейти с бригадой через Кампиноскую пущу на правый берег Вислы. Вечером 8 сентября я взрываю два моста в Плоцке, оставляю отряды, которые должны продержаться до подхода армии «Поможе», и начинаю отход.

Нас обстреливают неприятельская артиллерия и пулеметы с другой стороны Вислы, из-под Вышогруда.

Тяжелые, сыпучие пески страшно затрудняют продвижение. Совершенно нечем поить лошадей. Под самым Модлином я получаю приказ вернуться на прежние позиции. Однако сам я должен прибыть в Рембертов под Варшавой для получения дальнейших распоряжений. Задание трудное, поскольку все дороги так забиты войсками и беженцами, что едва ли можно пробиться. Мне не раз приходилось объезжать заторы полями. На рассвете 10 сентября я добираюсь до Рембертова и являюсь к генералу Крукович-Пшеджимирскому.

В общем, положение наше весьма тяжелое. Польские части разбиты всюду. Немцы уже под Варшавой. Верховное командование выехало в Брест на Буге.

Генерал Юлиуш Руммель, назначенный руководить обороной Варшавы, передал мне по телефону приказ Верховного Главнокомандующего — я перехожу в его распоряжение. Мне следует отправиться в район Вёнзовны и принять командование над оперативной группой, которая будет оборонять Вислу к югу от Варшавы. С моими частями в Кампиноской пуще нет никакой связи, и я решил вернуться, чтобы лично организовать переход. Это было нелегко. Мы удачно прошли по мостам под Модлином, выдержав неприцельный огонь тяжелой артиллерии немцев...

Я дважды приезжаю в Варшаву: 11 и 12 сентября. Дорога через Прагу [1] разрушена бомбами. Вокруг руины. На улицах — баррикады из перевернутых трамваев. Душевный подъем у варшавян — небывалый. Бои идут в предместье, но приказы, отданные перед этим для гражданского населения, вносят путаницу и хаос необыкновенный. В

[1] Прага — район Варшавы. (*Здесь и далее прим. перев.*)

одних говорится об эвакуации всех, способных к ношению оружия, другие велят оставаться на месте.

Я узнаю, что немцы обошли Варшаву в районе Минска-Мазовецкого и перерезали шоссе между Гарволином и Люблином. Люблин подвергся тяжелейшей бомбежке. Все труднее становится доставать продовольствие и фураж. Не хватает боеприпасов и бензина.

Получив известие, что части генерала Пшеджимирского отступили от Буга и что немцы движутся с севера на Минск и Дубы Великие, генерал Руммель приказывает мне 12 сентября ударить на Минск, одновременно прикрывая переходы через Вислу и на юг от столицы.

Из-под Варшавы на юг

В разгар боя я получил по радио приказ, переданный через полковника Александра Прагловского (начальника штаба генерала Руммеля): прекратить бой и, по распоряжению Верховного Главнокомандующего, немедленно присоединиться к его резервным частям в районе Прачева. Варшава будет защищаться до последнего. Я лично разговаривал по радио с полковником Прагловским, который на прощание, желая мне удачи, добавил:

— Мы остаемся в Варшаве.

Гораздо позже я узнал, что генерал Руммель приказ Главнокомандующего о моем отходе задержал на четыре дня, что имело катастрофические последствия для нашей группы войск.

Я приказал немедленно оторваться от противника. Сумерки немного облегчили нам задачу. Однако из-за разбросанности частей и потери связи под очень сильным огнем неприятельской артиллерии были и трудности. Я знал, что придется еще пробиваться через окружившие нас немецкие части: они перерезали шоссе Варшава—Люблин. Я решил сконцентрировать свои части в лесах на юго-запад от Гарволина...

Переход был необыкновенно мучителен. Мосты были взорваны диверсантами, немецкими колонистами. Огонь немецкой артиллерии с востока, а также из-за Вислы, хотя и неприцельный, вносил тревогу в толпы беженцев. Моя машина тоже была продырявлена осколками, а офицер-связист, ехавший со мной, ранен.

Мы прошли через Гарволин, застав там лишь догорающие развалины и, как и на дорогах, множество трупов, человеческих и лошадиных. В Гарволине, повятовом центре [1], было несколько кожевенных мастерских, большинство населения составляли бедные евреи. Немецкая авиация стерла этот городок с лица земли за день до нашего прихода.

Я разослал офицеров-связистов, чтобы они собрали части. Я лично повернул несколько эскадронов 11-го уланского полка и 1-й полк легкой кавалерии Варшавской кавалерийской бригады, которые направлялись к Варшаве, но не могли объяснить, кем был отдан такой приказ. Сбор я назначил в лесу западнее шоссе Гарволин—Люблин. Постепенно части удалось собрать и привести в порядок. Нам предстояло выбираться из «котла». Мы видели немецкую авиацию, которая шла на помощь своим частям, отрезая нам путь к отступлению. Я провел отвлекающий маневр, атаковав немцев вдоль шоссе Гарволин—Люблин небольшим отрядом, а основные части совершили обход по бездорожью и удачно добрались до Вепша. Нам удалось вывести часть бронемашин, несколько легковых автомобилей и — самое главное — почти все обозы с боеприпасами и продовольствием.

Большую трудность представляла переправа через Вепш, уцелел лишь один мост, остальные были разрушены. Я не застал там не только никаких приказов Верховного Главнокомандующего, но и вообще никаких польских частей. Люди были измучены, кони тоже. В сущности, никто не спал с самого начала войны. Воспользовавшись тем, что у меня было несколько автомобилей, я отправился в Люблин, который сильно пострадал от бомбардировки 8 сентября. Самая большая гостиница была сожжена. Многие дома лежали в развалинах.

В Люблине польских войск не было, они ушли по направлению к Хелму. Осталось несколько маленьких отрядов под командованием полковника Петра Бартака. Великолепно проявил себя бывший депутат сейма, ротмистр запаса Дудзинский, который по собственной инициативе организовал партизанский отряд, посадил его на реквизированные машины и велосипеды и успешно воевал с передовыми немецкими частями. Я сам видел, как его отряд возвращался с вылазки, захватив около 150 пленных. Дудзинский проявил талант военачальника и огромное личное мужество. Он погиб в этих боях вместе с сыном.

Немцев в пригороде еще не было. По счастливой случайности я нашел склад с боеприпасами, продовольствием и бензином, которых нам так не хватало. К сожалению, не удалось достать карты территорий на восток от Вислы. Надо быть солдатом, чтобы понять, каково это — воевать без карты.

Я поехал в Хелм, где, по слухам, находился штаб генерала Стефана Домб-Бернацкого. С большим трудом я отыскал его в сторожке около леса. Он был в полном отчаянии. Я просто не узнал этого самоуверенного и деспотичного офицера. Я предложил ему как старшему принять командование. Он об этом и слышать не хотел, твердя, что все пропало. Я просил его приказать своим частям не разрушать мостов и переправ, по которым мне придется отходить на юг. Он твердил о какой-то фантастической операции в районе Владимира-Волынского, по плану которой мне пришлось бы пройти 180 км за несколько часов. После резкого разговора я уехал, оскорбленный и — предоставленный самому себе.

Вернувшись к себе, я понял, что принужден потерять еще 24 часа на подготовку частей к дальнейшему движению. Из Люблина прибыли боеприпасы и продовольствие. Тем временем немцы наступали нам на пятки. Они заняли Люблин. Следовало спешить, чтобы проскочить между Люблином и Хелмом.

[1] Повят — одна из основных единиц территориального деления в ПНР.

Я приказал выступать в ночь с 17 на 18 сентября в направлении Рейовице. Последний ужин в Козлувке. Мы обсуждаем новости и слухи о положении дел на Западе. Когда же наконец Франция и Англия начнут наступление? Мы не можем понять, почему они нам не помогают.

Нож в спину: Россия

Я включаю радио и узнаю, что советские войска перешли границу Польши и движутся на запад. Все глаза впиваются в меня. И ниоткуда никаких приказов, никаких инструкций. Что делать?

Еще перед началом войны нас застал врасплох так называемый пакт о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года между Германией и советской Россией; врасплох — потому что мы знали, что в мае в Москве была и английско-французская миссия. Мне и в голову не приходило, что советская Россия выступит против Англии и Франции, а опосредованно и против Америки. Думаю, что и верховное командование Польши оценивало обстановку подобным образом. В противном случае оно не стало бы перемещать оборудование и предприятия на восток, да и само бы не переехало в Брест. Правительство вместе с иностранными посольствами не эвакуировалось бы в Кременец и Тарнополь. Оказалось, что наши тылы, открытые и беззащитные, отданы на милость советской армии, и как раз в ту минуту, когда натиск немцев стал ослабевать, когда растянутые на сотни километров немецкие коммуникации стали рваться, когда мы могли бы еще сопротивляться некоторое время и дать союзникам возможность ударить на открытые западные границы Германии.

Советская Россия в одностороннем порядке разорвала договор с Польшей о ненападении в самую тяжелую для Польши минуту и, как шакал, набросилась со спины на истекающую кровью польскую армию.

Я не изменил своих планов. Мы идем на юг, где, я был уверен, нужно создать плацдарм на венгерско-румынской границе. Ведь с Румынией у нас заключен военный союз, а с Венгрией нас всегда связывала дружба. Мы сделаем все, чтобы пробиться. В конце концов, мы будем продолжать битву за Польшу, хоть и на чужой земле.

Сегодня мы знаем, что германо-советский пакт спровоцировал начало войны. Сегодня мы знаем, что советская Россия — искренне или нет — завязала самую тесную дружбу с Германией с целью раздела не только Польши, но и всего мира. Именно поэтому в тот период вся советская пресса резко нападала на Англию и Францию как на государства империалистические и агрессивные. Сегодня мы знаем, что Россия сделала все, чтобы морально разоружить французский народ. Для этого она использовала свое влияние на французских коммунистов.

Но тогда не было времени на размышления. Следовало во что бы то ни стало пробиться на юг. Мы удачно пересекли шоссе Люблин—Хелм, а идущей позади 10-й дивизии пришлось вступить в неравный бой с немцами. В районе Рейовице мы пережили несколько сильных бомбежек. Только благодаря тому, что части быстро рассеялись, удалось избежать больших потерь. Открыв огонь из автоматического и ручного оружия, мы сбили несколько самолетов. В сущности, это не имело никакого значения, но придало бодрости солдатам. Среди взятых в плен немецких летчиков я впервые увидел женщину. Она была бортрадисткой.

Догоняем части генерала Домб-Бернацкого. Я еду к нему, чтобы согласовать действия. Генерал Домб-Бернацкий принял командование над всеми нашими войсками. Его приказ наступать по всему фронту без какой-либо общей стратегической мысли я считаю совершенно ошибочным. Предлагаю сконцентрировать силы и пробиться через линию фронта, а дальше, в тылу у немцев, идти на юг. К сожалению, он не соглашается отменить уже отданные распоряжения. Я должен атаковать противника между Замосцем и Тарноваткой в направлении Суховоля—Краснобруд. 10-я пехотная дивизия поступает под командование генерала Яна Крушевского, а я получаю остатки кавалерии, да и то лишь теоретически, потому что они разбросаны по разным местам, я даже не знаю толком где. Единственная часть, которая находится в хорошем моральном состоянии, обеспечена боеприпасами и продовольствием,— это моя старая новогрудская бригада. Способны воевать также волынская и остатки приграничной и вильненской бригад. Вот и все, чем я практически командую. Я вижу, что дивизии генерала Домб-Бернацкого измучены и неспособны выдержать бой. Я убежден, что новогрудская бригада смогла бы прорвать фронт и оборонять место прорыва, пока не пройдут все войска. Генерал Домб-Бернацкий в это не верит. Я предупреждаю, что долго этот «коридор» не удержу, потому что туда сразу же устремятся резервные части неприятеля и его авиация. Пехоте надо сконцентрироваться непосредственно за кавалерией и отказаться от атаки на Замосць.

Операция начинается вечером 22 сентября. Солдаты сражаются с беспримерной отвагой. В 23 часа окружение прорвано. Я приказываю выступать и по радио сообщаю об этом другим частям.

Бензина нет, поэтому мы уничтожаем бронемашины и легковые автомобили. Обозы пройти не могут, потому что пойдем напрямик, по бездорожью. В орудия запрягаем по четыре лошади — дорога через поля тяжела, а кони измучены. Я еду верхом вместе со штабом. При переходе через шоссе Томашув — Замосць волынская бригада принимает бой с немецкими частями. Немцы разбиты в штыковом бою, много пленных.

Мы идем дальше. Бой на переправах в Краснобруде. Великолепный, неутомимый 25-й полк великопольских улан стремительной атакой занимает переправу. К сожалению, гибнет целый эскадрон. Полк берет пленных и освобождает несколько сот захваченных немцами поляков. Отбит также госпиталь с ранеными. Потери у немцев довольно велики.

Немцы напирают со всех сторон. Надо защищать фланги, а сзади слышна артиллерийская канонада. Мы, однако, останавливаемся, чтобы как можно больше войск смогли пройти вслед за нами.

Я получаю донесение, что 4-й стрелково-кавалерийский полк, который удерживал проход через шоссе, понес огромные потери и практически перестал существовать. Действительно, к нам присоединяются лишь отдельные солдаты. По-моему, за нами войск уже нет.

Мы получаем известие, что Львов — героический Львов и другим никогда не был — защищается, и немцы не могут сломить обороны. Советские войска продвигаются в глубь Польши.

Нельзя терять ни минуты, надо немедленно пробиваться на юг. Как назло, с самого начала войны не выпало ни капли дождя. Стоит прелестная солнечная погода. Сухое лето, низкий уровень воды в реках. Немецкие танки не встречают никаких преград. Великолепная видимость для немецкой авиации — польской авиации уже не существует.

Мы измучены. С 1 сентября непрерывно ночью — переходы, а днем — бои. Не всегда попадаются леса, где можно укрыться. Офицерам приходится все время ездить вдоль колонн и будить спящих солдат. Почти невозможно сойти с коня, потому что спешившийся солдат тут же засыпает и добудиться его нет никаких сил. Наконец, все вздыхают с облегчением: небо хмурится, и все с радостью чувствуют первые капли дождя. Он льет все сильнее: теперь мы хотя бы отчасти защищены от воздушных налетов.

Постоянно натыкаемся на немецкие тыловые части. У меня такое впечатление, что немцы отходят на запад. Мы идем день за днем, ночь за ночью.

Шоссе Нароль—Любачув занято немцами. 24 сентября — тяжелый бой под Плазовом. Мы ждем ночи, чтобы пробиться. Идем двумя колоннами. Вдруг похолодало, пошел первый снег. Он тут же тает и превращается в грязь, артиллерия еле плетется. Мы преодолеваем и эти трудности. Боковыми дорогами продвигаемся дальше, доходим до района Горынце.

Еще около Суховоли к нам присоединился поручик Антоний Бондзынский из 1-го полка конных стрелков со знаменем полка. Он рассказал, как сдалась группа генерала Тадеуша Пискора, в том числе мотобригада полковника Стефана Ровецкого, будущего генерала Грота [1], руководителя Армии Крайовой. В замойских лесах мы прошли там, где сдалась 6-я пехотная дивизия генерала Бернарда Монда: он через своих представителей уговаривал нас сделать то же самое. Мне кажется, что они поторопились. Если бы они продержались до нашего прихода!

Я приказываю двигаться дальше на Яворув—Самбор. Все измучены беспредельно, кони едва идут. Я ожидаю встречи с немцами на шоссе Яворув—Ярослав. Принимаю решение двумя параллельными колоннами пробиваться на юг. Сам я в одной колонне. Другой командует полковник Гробицкий. Вдруг колонна останавливается. Разведчики докладывают, что немцы окопались у деревни Брошки на шоссе Яворув—Краковец. 26 сентября. Светает.

Раздается одиночный выстрел с немецкой стороны. Сейчас начнется пулеметный огонь. Сворачивать некуда. Я посылаю в кавалерийскую атаку оба головных полка, 26-й и 27-й уланские. Немцы захвачены врасплох, частью вырублены, частью взяты в плен. Командование немецкой 28-й пехотной дивизии присылает парламентеров с предложением сдаться, утверждая, что вся страна занята немецкой армией и продвигающимися на запад советскими войсками. Наконец, я предлагаю отдать пленных в обмен на обещание не атаковать нас первыми. Я отдаю пленников, да и что мне с ними делать, тем более что неприятель упорно защищается в следующей деревне, Мораньце. У нас серьезные потери.

Я решаюсь продолжать движение. Я уже знаю, что фланговая колонна полковника Гробицкого, которая шла на Рогожно, вступила в бой, но все-таки продолжает двигаться на юг. Мы идем к местечку Дернаки, где назначена встреча обеих колонн.

К сожалению, Дернаки заняты большевиками. Вечер 26 сентября. Идет мелкий дождь. Передовые отряды, встреченные пулеметным и орудийным огнем, вступают в бой. Я приказываю продолжать марш, стараясь пройти между советскими и немецкими войсками. По пути приходится вести непрестанные бои с советскими частями.

Мы натыкаемся на крупное соединение советской армии. Я пытаюсь договориться с ними, чтобы они без боя пропустили нас на юг и позволили уйти в Венгрию. Посылаю парламентером одного из лучших моих офицеров, ротмистра Станислава Кучинского. Увы, напрасно. Он был ограблен до нитки и едва ушел живым. Почти в ту же минуту большевики начинают заранее подготовленный артиллерийский огонь. Трещат пулеметы, появляются первые танки. Разгорается бой. 9-й дивизион конной артиллерии, который был примером в труднейших боях, необыкновенно точным огнем поддерживает наши действия. При помощи противотанковых пушек он уничтожил немало советских танков. К сожалению, и невооруженным глазом видны тучи советских войск, которые окружают нас. 25-й уланский полк истекает кровью, прикрывая наш фланг.

Я вижу ясно, что на столь удобной территории, как румыно-венгерская граница, не организовано никакого плацдарма, хотя и не могу понять почему. Уже после войны я узнал, что такой плацдарм был приготовлен на линии Днестра, чтобы дать армии возможность уйти за границу, но вступление советских войск в его тылы лишило нас возможности спасти по крайней мере 200—300 тысяч человек, которые так пригодились бы нам потом на Западе.

С тыла все сильнее напирают советские части. Бой продолжается. Артиллерия выпустила последний снаряд. Кончаются патроны. Совершенно нет медикаментов, нечем перевязывать раненых. Кони давно некормлены и непоены. Мы не прорвемся.

Иного выхода нет, надо разделиться на мелкие группы и, пользуясь ночной темно-

---

[1] Стефан Ровецкий, псевдоним «Грот» (1895—1944) — генерал, публицист. В 1939 г.— командующий Варшавской бронетанковой бригадой. После сентябрьского разгрома — один из руководителей подпольной военной организации, с 1942 г.— главный комендант Армии Крайовой. Арестован гитлеровцами в 1943 г., погиб в Заксенхаузене.

той, уходить лесами в Венгрию. Шансов почти никаких.

Вместе с группой офицеров и рядовых нам удалось пройти между советскими частями, иногда в ста метрах от стоящих лагерем отрядов. Только тогда я понял, какое огромное количество советских войск находилось на этой территории. Все деревни, даже хутора заполонила большевистская армия. Мы прошли около Самбора и при помощи великолепных проводников добрались по горам к местечку Турку.

Мы остановились в лесу, чтобы дать отдых измученным коням, и собирались отправиться в путь под вечер. Вскоре мы заметили, что со всех сторон нас окружают советские части. Они явно были заранее предупреждены и подготовлены к охоте на польские отряды. Кони не могли пройти сквозь болота и чащи, нам пришлось их бросить и укрыться в гуще леса. Цепь советских солдат прошла в нескольких шагах от нас. Мне пришлось следить, чтобы кто-нибудь в возбуждении не выстрелил.

На закате мы двинулись на юг. Когда мы обходили деревню Застувку, в темноте на нас напала банда, состоявшая, видимо, из русских солдат и украинских партизан. Началась стрельба и даже рукопашная. Как великолепна была в ту минуту горстка поляков!

Меня ранило раз, а потом другой. Я чувствовал, что поврежден позвоночник. Хлестала кровь из раны в бедре. Не желая затруднять соратникам дальнейшее продвижение, я просил их оставить меня. Я решил, что живым не сдамся. Но мои однополчане и слышать об этом не хотели. С огромным трудом, жертвуя собой, они вынесли меня на руках. Я почувствовал, что истекаю кровью, и приказал им идти в Венгрию. Прощайте, солдаты.

Тюрьмы

Из боя в тюрьму

Утром 29 сентября я решил на авось пробраться к ближайшей деревне, Стасёвой Ясёнке. Со мной, несмотря на мои уговоры, остались ротмистр Кучинский и улан Томчик. Как только мы подошли к деревне, один из ее жителей немедленно оповестил милицию, а затем и советских солдат, которые были расквартированы в каждом доме. Под экскортом бронемашин нас отвезли через Турку в Старый Самбор, где расположилось командование Красной Армии.

По дороге мы убедились, что в деревне обосновались части всех видов оружия. Во многих местах, особенно около Турки, мы видели сотни людей, строивших полевые укрепления. Меня удивило, что все укрепления предназначались для отражения удара с севера, так же как и около 20 орудий тяжелой артиллерии, которые я успел разглядеть. На мой вопрос советский майор, не смущаясь, ответил, что они уже неделю находятся в этом районе, а их задача состоит в том, чтобы разбить или выловить все польские части, пробирающиеся с севера на юг. Большевики не хотели допустить возможной организации польской армии за границей; тогда, после очередного раздела Польши, они были искренними союзниками немцев.

Именно тогда я впервые услышал это характерное мнение: мы с Германией теперь настоящие друзья и вместе выступим против мирового капитализма. Польша выслуживалась перед Англией, поэтому гибель ее была неминуема. Польши больше никогда не будет. Немцы подробно извещают нас о всех передвижениях польских частей, которые стремятся пробиться в Венгрию или Румынию.

Я видел огромное количество танков, бронемашин и артиллерии. Правда, большинство солдат были плохо обмундированы, кони тощие, хворые, транспорт и оружие нечищены, но в целом армия выглядела куда лучше, чем в 1920 году. Чувствовались дисциплина и субординация. Тогда я впервые столкнулся с офицерами в красно-голубых фуражках. Мне объяснили, что это офицеры НКВД. Сразу было заметно, что все их боятся.

В Старом Самборе меня отвели к командарму Тюленеву. Он принял меня, окруженный по крайней мере двадцатью офицерами. И сразу набросился с упреками — зачем я не сдался сразу, оказал сопротивление, вследствие которого Красная Армия, которая по-братски вошла в Польшу, чтобы освободить народ от «бар и капиталистов», потеряла 18 танков и много «бойцов» (солдат). На мое замечание, что Советы нарушили договор и без каких-либо на то оснований заняли польскую территорию, я получил такой ответ:

— У Советского Союза своя политика.

Этот аргумент мне приходилось слышать еще не раз.

Тюленева интересовало, где наши солдаты и где спрятаны знамена, почему польские части уничтожают оружие и не хотят сдаваться Красной Армии, зачем стараются пробиться в Венгрию и Румынию, почему Польша является «агентом» Англии и т. д. При этом он показал мне знамя, которое им удалось захватить. Знамя было очень красивое, шитое золотом и серебром, поэтому он упорно твердил, что оно принадлежало какой-то гвардейской части. Тюленев был ужасно недоволен, когда я объяснил ему, что это знамя провинциального общества ветеранов силезского восстания.

Мне пришлось выслушать весьма длинную лекцию, которая содержала такие интересные тезисы:

— заключенный с Германией дружественный союз вечен, поэтому править миром будут только большевики и немцы;

— советская Россия поможет немцам побить Англию и Францию, чтобы раз и навсегда покончить с главным врагом советской России — Англией;

— можно не считаться с Соединенными Штатами, которые никогда не вступят в войну, потому что Советы этого не допустят через свои коммунистические организации;

— нет политики мудрее, чем политика Советского Союза, а Сталин — гений;

— Советский Союз значительно сильнее Германии.

Спор, который возник между нами, был

бессмысленным. Самые очевидные, казалось бы, аргументы до него не доходили. Все в Советском Союзе было самое лучшее и всего было очень много. Хотя разговор шел в достаточно спокойной атмосфере, он произвел на меня угнетающее впечатление, и было ясно, что окружающие абсолютно согласны с рассуждениями товарища Тюленева. И с подобным мнением я встречался потом на каждом шагу.

Тюленев, по моей просьбе, обещал отослать меня в госпиталь во Львове, потому что передвигался я с большим трудом, а раны кровоточили непрестанно и были очень болезненны.

В комнате, куда меня затем препроводили, я встретил некоторых моих офицеров. И там нас не оставили в покое. Нам пришлось выслушать многочасовой пропагандистский доклад о мудрости и всемогуществе Советского Союза и плохой политике Польши, которую могло спасти лишь присоединение к Советскому Союзу.

В тот же день меня отослали в госпиталь в Стрые, где, в сущности, впервые перевязали. На другой день утром пришел автобус с группой наших офицеров под сильной охраной. Я поехал вместе с ними, и вечером 1 октября мы прибыли во Львов.

Во Львове мы остановились около гостиницы «Жорж», где нам позволили купить немного хлеба. Никто и слышать не хотел о том, чтобы оставить меня в госпитале, мне сказали, что приказы командарма Тюленева тут никакой силы не имеют. Автомобиль двинулся через город по направлению к Тарнополю и... как тут не поверить в провидение? Машина заглохла при выезде из города, на Лычаковской. После долгих телефонных совещаний решили наконец вернуть нас в городскую комендатуру, чтобы на следующий день ехать на другой машине. Нас всех поместили в маленькой комнатке. Я кричал, что истекаю кровью, что вообще не могу двигаться, и в конце концов получил разрешение отправиться вместе с моим ординарцем Томчиком в госпиталь. Вез меня энкаведешник с револьвером в руке. Мы ездили от больницы к больнице, всюду не было мест, наконец, меня под расписку поместили в военный госпиталь на Лычаковской. Вот так, по чистой случайности я не был вывезен в лагерь и не разделил в Катыни судьбу моих соотечественников.

В госпитале еще были наши врачи и сестры. Я оказался под опекой известного хирурга, подполковника Адама Солтысика и его персонала. Мне рассказали о вступлении Красной Армии в Польшу, о лжи, о массовых арестах. Тут же мне показали обращение командующего фронтом Тимошенко к солдатам с призывом убивать офицеров. Я узнал подробности обороны Львова: о том, как вошли большевики, как грабили имущество не только частное, но и государственное, как НКВД все сильнее проникает во все сферы жизни, о толпах беженцев, которые, узнав, каково жить при большевиках, несмотря ни на что, хотят уйти на земли, оккупированные немцами.

Через некоторое время советские власти постановили отдать госпиталь на Лычаковской исключительно советским солдатам. Раненых и больных поляков перевезли в другие больницы. Я оказался в больнице общества социального страхования на Курковой. Хотя и она находилась под строгим контролем большевиков, но все-таки тут было посвободнее. Ко мне приходило много людей — друзей, знакомых, а часто и вовсе не знакомых. Я получал информацию о создании подпольных организаций. Все были потрясены несчастьями Польши, однако никто не пал духом. Твердо верили, что в конце концов Германия и советская Россия будут разбиты. Надеялись на могущество Англии. Были убеждены, что Америка вступит в войну.

Сколько же тогда носилось слухов! Одни говорили, что организуется миллионная армия в Сирии, эта армия должна ударить на Кавказ. Другие утверждали, что вот-вот начнется французское наступление. Или что Италия присоединится к союзникам, что некоторые итальянские части уже в Румынии.

Уравнение злотого с рублем стало причиной страшного повышения цен. Грабежи и разбой — организованные оккупационными властями и стихийные — подтачивали доверие к новым хозяевам. Особенно трудно было тем, кто бежал от немцев с наскоро собранными пожитками, с небольшими деньгами и оказался в переполненных городах. Толпы беженцев шли на запад, надеясь уйти из-под советской оккупации.

Большевики все строже охраняли границы, особенно румынскую и венгерскую. Ежедневно через Львов шли десятки вагонов с польской молодежью, схваченной при попытке перейти границу. Измученные, втиснутые в запломбированные вагоны, они в голос рыдали от голода, жажды и холода. Хотя советские охранники стреляли в каждого, кто приближался к вагонам, львовяне, рискуя жизнью, старались помочь узникам хотя бы куском хлеба или одеждой. Все поезда шли на восток.

22 октября 1939 года прошли так называемые выборы. Уже сам факт выборов был беззаконием, потому что они проводились на оккупированной территории под чужими штыками и при терроре НКВД. Можно было голосовать лишь за назначенных властями кандидатов, подавляющее большинство которых состояло из граждан Советского Союза, членов большевистской партии, часто привезенных на оккупированную территорию только на время выборов. Кроме того, избирательные урны были под опекой коммунистических комитетов и агентов НКВД. Лучше всех охарактеризовал ситуацию старый еврей из Вишнёвца — в его корчме я не раз останавливался во время маневров,— навестивший меня в больнице:

— Я вам скажу. У нас в местечке велели нам голосовать за двух кандидатов-коммунистов, которых никто не знал. Я договорился со всей моей семьей и со многими знакомыми, что бросим белые карточки. Может, они забоялись, но я-то точно бросил белую. А оба кандидата были выбраны единогласно. В урне не нашли ни одной белой карточки.

В больнице, несмотря на самый заботливый уход, раненых умирало очень много. Никогда еще мне не приходилось видеть столько заражений крови при осколочных ранениях. Врачи стали подозревать — не

было ли в снарядах отравляющего вещества.

Меня беспокоил интерес советских властей к моей особе. Меня все чаще навещали разные высокопоставленные чины, пока не появился сам комендант города генерал Иванов с группой энкаведешников. Имела место длинная политическая беседа. Он предложил создать польское правительство под покровительством советских властей. Суть дела выглядела туманно. Я не мог понять, почему Советы думают о создании польского правительства, потому что не знал тогда, что, согласно первому советско-немецкому договору, Советы получали польские земли до Вислы. Я предполагал, что речь идет лишь о диверсии по отношению к нашему легальному правительству, которое находилось в Париже в новом составе, сформированное генералом Сикорским.

После многократных долгих разговоров мне предложили вступить в Красную Армию, обещая всяческие блага:

— Мы вас назначим командармом.

Я отказался.

— Вы подумайте как следует, мы еще об этом деле поговорим.

Я не знал, была ли это угроза, но почувствовал, что из больницы следует уносить ноги, и как можно скорее.

Ходить я еще не мог, потому что пулю из бедра не вынули и раны меня мучали. Бежать в такой ситуации в Венгрию или Румынию? Никаких шансов! Укрываться во Львове было очень трудно. Я решил перейти в зону немецкой оккупации и после выздоровления пробираться в Венгрию через Словакию. Я знал немецкий язык, кроме того, я рассчитывал на офицера, служившего под моим командованием в кампании 1919—1920 годов; сейчас он был инспектором пограничных частей на словацкой границе. Он даже приготовил фальшивые документы. Мы должны были ехать в Закопане, а оттуда дальше.

А тем временем десятки тысяч ожидали под открытым небом на официально указанных пограничных пунктах, пока им разрешат перейти на территории, занятые немцами. Большевики несколько раз открывали ненадолго границу. Кроме того, распространились слухи, что все тяжелораненые, родившиеся на территориях, оккупированных немцами, могут вернуться туда. Начали готовить транспорт. Поскольку я был ранен восемь раз, мне удалось получить инвалидное свидетельство. Начальник госпиталя производил впечатление спокойного и доброжелательного человека. Он получил от меня деньги на подкуп чиновников и устроил, чтобы меня и еще нескольких польских офицеров включили в списки отправляемых.

Около середины октября мне удалось переслать генералу Сикорскому рапорт о ситуации в Восточной Малопольше. Мне также удалось успокоить взбудораженную львовскую молодежь, я посоветовал им соблюдать осторожность. В городе был арестован весь городской совет и все члены общественных организаций. Аресты производились ночью в квартирах и на улицах; жертвами их стали прежде всего государственные служащие. В тюрьмы были брошены также судьи, а затем врачи, адвокаты, католические священники. Часть евреев, особенно молодежь, которая с самого начала демонстративно и радостно приветствовала наступающее советское войско, начала сотрудничать с НКВД. Милиция, собранная из всяких отбросов общества, выслуживаясь перед новыми властями, доносила на каждого, неугодного советскому режиму.

В первых числах ноября я получил известие, что один из моих соратников, генерал Мечислав Борута-Спехович, находится во Львове, что он принадлежит к тайной организации и хочет увидеться со мной. Через несколько дней он действительно пришел. Он был в темных очках, мы разговаривали шепотом по-французски. Он рассказал о положении дел в подполье, а также сообщил, что идет курьером через Венгрию в Париж, чтобы встретиться с генералом Сикорским и получить указания. Я не совсем понял, зачем он идет сам, почему оставляет свой пост. Я сказал ему о своих планах и попросил передать о них генералу Сикорскому. Мы торжественно условились, что, независимо от того, как обернутся дела, а особенно если один из нас будет арестован, факт пребывания генерала Боруты у меня в больнице должен остаться абсолютной тайной. Мы договорились, что последний раз мы виделись перед войной в Варшаве. Я отмечаю это потому, что позже у меня было много неприятностей из-за этой нашей встречи.

Я был очень рад, когда в больницу пришел полковник Бронислав Раковский, бывший командир 12-го уланского полка в моей бригаде и мой близкий друг. От него я узнал точно и подробно о героической обороне Львова и о том, как вели себя большевики, войдя в город. Вопреки заключенному договору, они обманным образом арестовали несколько тысяч наших офицеров и вывезли их на восток. Полковник Раковский сопровождал генерала Лангнера, когда тот летал в Москву на переговоры. Много было обещано, но ни одно обещание не исполнено. Часть этих офицеров, как выяснилось позже, оказалась в Катыни, остальные были в Старобельске, а после 1940 года о них ничего не было слышно.

Неожиданностью для меня был приход в больницу ротмистра Згожельского и поручика Кедача. Оказалось, что, расставшись со мной, когда я был ранен, они дошли пешком до самой венгерской границы. Там их захватили спящими и вывезли в лагерь в Шепетовке, откуда им чудом удалось бежать вместе с капитаном Кошутским. Теперь они решили пробираться во Францию. Но никак не могли отказаться от встречи со мной. Зашли попрощаться и узнать, что передать от меня. Сохрани вас Господь, отважные парни!

А тем временем эшелон как-то сформировали. В канун отъезда начальник госпиталя вручил мне документы, с которыми я мог бы уйти из больницы. Однако он советовал мне ехать именно с этим эшелоном, потому что, насколько ему было известно — и это так и было в действительности,— более 20 000 человек ожидали разрешения на переход границы в самых ужасных условиях. Кроме того, он показал мне документ — согласие немецких властей на прием эшелона с тяжелоранеными.

В первых числах декабря 1939 года нас отправили в Перемышль под немногочисленным конвоем. В Перемышле отъезд наш откладывался со дня на день. Мы даже на минуту не выходили из поезда, опасаясь, как бы он не тронулся без предупреждения.

Однажды высоко в небе чуть заметной точкой показался самолет. Наши солдаты, для шутки, убедили советский конвой, что это английский самолет, который не имеет права тут летать, и что надо стрелять в него. Несколько советских солдат стали стрелять из обычных винтовок, через пару минут стрельба грохотала не только на станции, но и во всем городе. Советским властям не удавалось прекратить эту канонаду до тех пор, пока самолет не исчез.

Мы стояли на станции в Перемышле почти неделю. Условия ухудшались с каждым днем: беспорядок, грязь, ни воды, ни продуктов. Я поддался на уговоры и поехал на квартиру к семейству М., где смог, наконец, помыться и отдохнуть.

Через несколько дней пришло «абсолютно точное» известие, что поезд отправляется на другой день, на рассвете, но все должны быть в поезде еще вечером. Я почуял что-то недоброе; всюду полно НКВД, усиленные патрули. Через некоторое время явились энкаведешники и объявили, что все офицеры обязаны еще раз заполнить свои формуляры в городской комендатуре, причем дали честное слово, что через час мы вернемся. Они настаивали, чтобы я переночевал в ближайшем госпитале, так как в вагоне было тесно и неудобно. Мои протесты не помогли. Конечно, мы поехали в НКВД, где на допросе нам задали сотни глупых, совершенно не относящихся к делу вопросов.

Наконец, поздно ночью мы поехали в госпиталь. У двери комнаты конвой, который сопровождает даже в туалет. Два красноармейца с винтовками наизготовку ждут, пока не выйдешь из уборной. Утром приходят энкаведешники, заявляют, что поезд вот-вот отойдет. По дороге мы несколько раз останавливаемся, в автобус садятся офицеры из поезда, которые должны были заполнить формуляры. Все они избиты и ограблены; их держали в подвалах, без пищи и воды. Вместе с ними в автобус входят и конвоиры, которые весело подшучивают над буржуями, возвращающимися в Польшу. Автобус движется по направлению ко Львову. Я чувствую, что начинается новая страница моей жизни: я в когтях НКВД, нового воплощения знаменитой ЧК и ГПУ.

19 декабря 1939 года, мороз градусов под двадцать, поля заносит снегом. Мы едем на большом автобусе, реквизированном большевиками где-то во Львове или Перемышле. На каждого польского офицера приходится по охраннику-энкаведешнику с револьвером или винтовкой в руках. Все офицеры — раненые, кто-то на костылях, у кого-то рука на перевязи. Почти все жадно едят хлеб, который нам выдали в дорогу. Мы проезжаем деревни и местечки, полные советских солдат. Видны отряды советской кавалерии, скачущей полями. Сердце болит при виде исхудавших, запущенных коней, нечищеной, драной сбруи.

Въезжаем во Львов. Что за горестный вид! Магазины разграблены, витрины разбиты, лишь на одной — несколько шляп. Бесконечные очереди у продуктовых магазинов. Где он, прекрасный, чистый, смеющийся Львов!

Настроение у людей мрачное. На улицах полно энкаведешников и солдат.

Мостовые и тротуары грязные, заваленные снегом. Впечатление ужасное.

Допрос в НКВД во Львове

Нас долго возят по львовским улицам, пока автобус не останавливается у особняка, когда-то красивого и ухоженного, а теперь запущенного, с выбитыми окнами.

Нас всех ведут в подвал с одним крохотным, зарешеченным окошком. Два-три поломанных стула и немного соломы. Три дня подряд нас по очереди вызывают наверх, где подробно записывают все сведения о каждом. Причем не только паспортные данные и биографию, но и всех знакомых, где они сейчас, что делают. Допрашивают офицеры НКВД, двадцатилетние мальчишки, высмеивают поляков, повторяя те же аргументы, которые я слышал в штабе советской армии от Тюленева. Упрекают нас в том, что не все фабрики были переведены на восток, не весь скот туда согнан, потому что лучше, чтобы все это попало в руки Советов. Висла должна быть границей Германии и Советского Союза. Польша никогда больше не возродится. Надо мыслить реально, потому что Германия и Советский Союз — друзья на вечные времена, а при помощи Советов немцы разобьют Францию и Англию.

Через три дня меня перевезли в главное здание НКВД на ул. Пелчинской, 1. Несколько часов мне пришлось просидеть в коридоре под стражей, поскольку НКВД начинает работу в 22 часа. И с этого времени до 6 утра меня допрашивали по очереди несколько следователей, предъявляя самые разные обвинения.

Итак, оказывается, предательством интересов международного пролетариата было то, что мы воевали против большевиков в 1919—1920 годах и не допустили их распространения по всей Европе. Преступлением было то, что поляки в момент вступления советских войск в Польшу продолжали борьбу. Преступлением было то, что Польша заключила союз с Великобританией и верит в ее победу. Меня лично обвиняли в том, что в сентябре я воевал с советскими войсками, и войска эти понесли большие потери в танках и живой силе. Выходит, я шпион, раз не согласился ни сформировать польское правительство, ни вступить в советскую армию. Я же организовал во Львове подпольное движение, направленное против Советов.

Они оскорблялись, когда я говорил, что советская политика ошибочна, что ошибка — угнетение и уничтожение всего польского, что дружба Советов с Германией недолговечна и рано или поздно между ними вспыхнет война. Меня с издевкой спросили, как же может вспыхнуть война, раз немцы связаны военными действиями на западе и знают, какова мощь Советского Союза, каким огромным количеством танков и самолетов он располагает и уже давно го-

тов к любой войне. И где же, по-моему, немцы могут атаковать советскую армию? Я тогда нарисовал на листке бумаги цветным карандашом предполагаемое направление немецкого наступления и удары немецких армий, как я себе это представлял. (Этот несчастный клочок бумаги еще причинит мне в будущем немало неприятностей.) Меня все время убеждали, что имеются неоспоримые доказательства моей вины, но никаких фактов не предъявляли.

— Мы все знаем, но вы сами должны сознаться и рассказать.

Я чувствовал, что эти полуграмотные люди действуют по заранее установленному плану.

В шесть часов меня привели в роскошно обставленный кабинет начальника НКВД полковника Краснова. Там было еще десятка полтора людей в мундирах НКВД и в штатском. Он заявил мне, что я арестован за тягчайшие преступления против Советского Союза, и спасти меня может только вступление в советскую армию, так что я должен немедленно подать соответствующее заявление. Я, понятное дело, отказался. Я объяснил, что едва могу передвигаться с помощью костылей, что все время находился во Львове под наблюдением советских властей и что они обязаны обращаться со мной по крайней мере как с военнопленным. Естественно, никаких результатов это мое заявление не принесло; меня отвезли в львовскую тюрьму для уголовных преступников, называвшуюся «Бригидки».

Камера в «Бригидках»

Меня поместили в тюремную больницу, где я встретил кое-кого из знакомых. Я узнал, что во Львове арестовали всех отставных офицеров; мне перечислили около сотни знакомых фамилий. Вообще, аресты шли непрерывно, люди пропадали по ночам. Уже тогда было известно, что во время допросов применяются пытки. Били и мучили средневековыми методами, нередко до смерти. Не щадили ни женщин, ни детей.

Камеры были переполнены. В помещения, предназначенные для 10—12 человек, набивали по 100 и больше. Условия были страшные. Грязь, насекомые, воды не было не только для умывания, но даже и для питья, голодный паек еле удерживал человека на грани смерти. В такой ситуации тюремная больница казалась раем: здесь у каждого была отдельная кровать, каждый день давали хлеб, что-то вроде чая и так называемый суп.

Увы, через несколько дней, еще до 1 января 1940 года, ночью в палату ворвались несколько энкаведешников, стащили меня с постели и поволокли в другое здание, в одиночку. Вежливостью они не отличались. Когда я с трудом стал на своих костылях спускаться по лестнице, они специально толкнули меня, так что я не удержался и покатился по ступеням. Это повторялось на каждом этаже. Я был весь в синяках и ранах. Просто чудо, что я не переломал себе руки и ноги. Меня провели через множество зарешеченных дверей и наконец втолкнули в комнатушку с разваленной печкой и зарешеченным окном без стекла.

Одежду мне взять с собой не разрешили. Я был в одном белье. Зима в тот год была суровая, морозы стояли ниже 30 градусов. Мне принесли ведро с водой, которая тут же замерзла. И другое — для отправления физиологических потребностей. Раз в два-три дня мне бросали кусок хлеба и ставили на пол тарелку отвратительного варева. За восемь недель, которые я там провел, меня лишь один раз выводили из камеры.

Через шесть недель появился следователь; я выразил протест против методов тюремных властей и против условий, в которых меня содержали. Я показал ему отмороженные, нарывающие щеки, руки и ноги. Сообщил, что никто не обращает внимания на мои протесты, ни разу меня не осматривал врач. Я потребовал возвратить мне одежду, застеклить окно и выдавать хлеб хотя бы раз в день. Мне пришлось подписать так называемый ордер на арест, после чего он обещал удовлетворить мои требования.

Еще раз следователь спросил меня, согласен ли я подписать заявление о вступлении в Красную Армию. Я отказался. Он ушел в бешенстве, угрожая, что я сгнию в этой камере.

И снова потянулись недели, а все оставалось по-старому. Я убедился, что конец мой близок. Несмотря на сильный организм, я очень похудел и так ослаб, что уже не чувствовал боли от ран и язв. Думаю, что в подобных условиях я не протянул бы даже двух недель. Стучать в дверь и звать охранников было совершенно бесполезно.

Зато по ночам то и дело врывались энкаведешники и производили тщательный обыск. Смешно — они не могли найти гвоздя, который легко вытаскивался из пола, и тридцатирублевую купюру, лежавшую в ведре на виду, зато личный досмотр проводился профессионально и грубо, заглядывали, что называется, во все дырки, не давали спуску и моей длинной, отросшей в тюрьме бороде, которая — облитая гноем, текущим с отмороженных щек,— смерзлась намертво. При этом меня били и пинали ногами.

В Москву

И вдруг, 29 февраля 1940 года, мне принесли одежду и отвели в тюремную канцелярию. Мне отдали также мой чемоданчик, а когда я спросил про часы и деньги, ответили:

— Вам перешлют.

Ясно, куда-то повезут.

Нас поодиночке вталкивают в закрытые машины. Под конвоем энкаведешников мы едем на вокзал. Пешком, с трудом пробираясь по путям и насыпям, наконец, доходим до поезда, где меня загоняют в специальный вагон, так называемую «столыпинку». Это вагон-тюрьма. Камеры большей частью одиночные, без окон, с зарешеченными дверями, чтобы стоящий в коридоре охранник мог следить за каждым моим движением. Тут несравненно теплее, чем в камере. Впрочем, ведь и одежду мою вернули. Ежедневно дают примерно полкило хлеба, кусочек селедки и два раза в день горячую

воду, которая притворяется чаем. Начинают болеть обмороженные места, потому что гной в тепле растаял. Раз в день меня водят в туалет. Воды для мытья нет. Проходя по коридору, я соображаю, что нас везут на восток по направлению к Киеву. Рядом, в общей камере, слышны голоса женщин, говорят по-польски. Потом направление движения изменяется, и через десять дней мы у цели.

Снова каждого по отдельности вталкивают в машину (так называемый «черный ворон»). Автомобиль без окон, только маленькая электрическая лампочка. Каждый сидит в крохотной каморке, тесной настолько, что нельзя пошевелиться. Куда едем, не знаю. Лишь доносятся отзвуки многолюдной улицы. Мне кажется, это Москва.

Медальон с Девой Марией

Во дворе мне велят выйти. Это явно тюремный двор. Ведут по бесконечному лабиринту коридоров. Несколько раз обыскивают. При первом обыске отбирают все вещи вместе с чемоданчиком. Оставляют только одеяло, мыло, зубную щетку и кружку. Одежда, обувь — все изрезано и распорото. И вот находят медальон с образом Девы Марии. Сбиваются в кучу над бедным образком, хамский гогот и:

— Ну, поглядим, как тебе эта б.... поможет в советской тюрьме.

Медальон брошен на землю и растоптан ногой. До сих пор я не могу забыть той минуты. Позже, в тюрьме, мне часто снился этот медальон. Перед глазами вставало личико Матери Божьей Ченстоховской, чаще всего похожей на св. Тересу. Я чувствовал Ее неустанную опеку и помощь. И чем громче раздавался вокруг меня смех безбожников, тем тверже становилась вера в Бога. Она придавала сил в борьбе со слабостью людской в те тяжкие для меня минуты.

Наконец я вхожу в камеру без окон, ярко освещенную. Койка, на ней матрац, набитый сеном. Маленький, привинченный к полу столик. Негде сделать и двух шагов, можно только сидеть. Мне дают чай с двумя кусочками сахара и ломтик хлеба, а потом ведут в баню. Там парикмахер стрижет меня, подравнивает бороду. Я иду под душ. Какое наслаждение! Наконец-то впервые за несколько месяцев, можно вымыться, обмыть раны. После бани мне помазали каким-то жиром обмороженные места. Вернувшись в камеру, я получаю водянистый супчик. Но он горячий! Есть и второе: две ложки каши. Мои тогдашние чувства и то, что я помню это до сих пор, может понять лишь человек, долго голодавший.

Я снова заполняю формуляры. И меня опять ведут по бесконечным коридорам, время от времени закрывая в специальных боксах, находящихся по обе стороны коридора. Все это исполняется под команду энкаведешников, звуки которой напоминают аистиный клекот. Это затем, чтобы один узник не встретился с другим.

После нескольких обысков, лифта и лестниц вхожу в камеру номер 34. Три часа ночи. Камера маленькая, четыре койки, три заняты, четвертая для меня. Чисто. На столе вода в чайнике; я чувствую приятный запах лука.

Сокамерники просыпаются и шепотом спрашивают, кто я и когда арестован. Что нового в мире? И я узнаю, что нахожусь во всемирно знаменитой Лубянке.

Лубянка, сокамерники и все время НКВД

Тюрьма на Лубянке размещается в центре города, в бывшей гостинице, соответственно перестроенной. Старый дом окружен со всех сторон современным зданием, в котором расположились высшие руководители НКВД — того, что сначала называлось ЧК. Во главе НКВД в тот период, когда я впервые попал в камеру на Лубянке, стоял член Политбюро Берия, грузин, личный друг Сталина, самая важная — после Сталина и Молотова — особа в стране.

Как я уже говорил, в камере было три человека, все трое — члены коммунистической партии.

Самым интересным был Дунаевский, еврей по происхождению. Когда-то он работал в отделении русского Красного Креста и во время прошлой войны был в Персии. До ареста занимал пост заместителя наркома легкой промышленности. Трудно было дознаться, за что его арестовали. Он неохотно говорил об этом. Однако относились к нему совсем не так, как к другим. Он был прекрасно одет и — единственный из всех заключенных — получал передачи и деньги, на которые мог покупать в тюремном ларьке продукты на 75 рублей ежемесячно. Он сидел уже три года. Каждый день он писал какие-то дополнительные показания и мечтал лишь о том, чтобы его дело тянулось как можно дольше. Он панически боялся лагеря, повторяя, что с его слабым здоровьем он там не протянет и нескольких месяцев.

Другой был грузин, инженер, я не уверен, что правильно запомнил его фамилию, кажется, Кавнадзе. Его арестовали в Баку в июле 1939 года и привезли в Москву; он так и сидел в чем был в момент ареста — в тонкой рубашке, белых брюках и полотняных туфлях. И он говорил, что понятия не имеет, за что сидит, да еще искренне хохотал, когда я удивлялся. Мне объяснили, что по крайней мере девять десятых заключенных в России не знают, за что их взяли; достаточно пустякового доноса, и человек исчезает.

Как Дунаевский, так и Кавнадзе предупредили меня, чтобы я был осторожен с третьим сокамерником, по фамилии Молчанов, поскольку это майор НКВД. Был это человек необразованный, на редкость некультурный, он все время подслушивал наши разговоры. И каждый день по-новому объяснял причину своего ареста.

Меня поразил вопрос Кавнадзе, разобьют ли немцы союзников и как скоро это произойдет. Мое мнение, что война будет долгая, а после вступления в нее Соединен-

ных Штатов судьба Германии будет решена, очень его расстроило.

— Только Германия,— говорил он,— могла бы победить Советы и изменить нашу паршивую жизнь. Франция и Англия, если разобьют Германию, не сумеют, да и не захотят ничего сделать для народов, чудовищно задавленных советской властью и террором.

Режим дня на Лубянке соблюдался весьма строго. Разговаривать можно было только шепотом. Еда и хождение в туалет — точно по часам. Каждую минуту в глазок заглядывает охранник. Ежедневно заключенные убирались в камерах и мыли пол. Зато было чисто и никаких тараканов. Зимой в тюрьме топили. Раз в 10—12 дней парикмахер стриг бороду машинкой, выдирая, впрочем, при этом часть волос. Раз в 10—12 дней давали в камеру несколько книжек для чтения и водили в баню, после которой выдавали чистую рубаху, кальсоны и постельное белье. Все это было тесное и рваное, но стираное.

Тюрьма на Лубянке выгодно отличалась от других российских тюрем, где царили неописуемая теснота, грязь, вши и тараканы. Ничего странного, однако, в этом не было: тюрьма на Лубянке предназначалась для людей, которые особенно интересовали НКВД.

Меня сразу же научили помнить о трех вещах: во-первых, не бояться, когда следователь станет говорить, что все знает и на все у него есть доказательства, потому что никаких доказательств у него нет; во-вторых, ничему не верить, потому что в советской России никто никогда не говорит правды; в-третьих, ни на что не надеяться, потому что не было случая, чтобы к кому-то отнеслись по справедливости и выпустили из тюрьмы. Каждый должен подтвердить все предъявленные ему обвинения. Если не сделать этого по доброй воле, заставят пытками.

Через несколько дней меня вызвали к следователю, как обычно, ночью. Сначала со мной обошлись хорошо, даже любезно и ограничились общими вопросами. Лишь на последующих допросах следователь стал все настойчивее требовать показаний о государственных деятелях Польши, их взглядах и местопребывании. От меня хотели, чтобы я выдал структуру подпольной организации Львова, рассказал, что я докладывал в Париж, кто приходил ко мне в госпиталь, о чем мы говорили. Допросы длились целыми ночами, а часто и днями.

Чаще всего меня допрашивал следователь НКВД Кондратик. Когда я отрицал все и подчеркивал, что я солдат, несколько раз раненный на войне, он напоминал мне, что не было еще заключенного, который не признался бы во всем на допросах НКВД. Шутил: «Вы что же думаете, вам памятник в Варшаве поставят»,— указывал на лозунг, висящий на стене. Лозунг этот гласил, что НКВД никогда не ошибается. Принцип деятельности НКВД таков: лучше расстрелять сто невинных, чем оставить на свободе одного виноватого.

Мне грозили переводом в Сухановку или Лефортово. Позже я узнал, что это были тюрьмы, где специально пытали заключенных, чтобы вырвать у них признание. Много поляков прошли через муки, многие оттуда не вернулись.

Помню случай, весьма точно характеризующий нравы НКВД.

Во время довольно неприятного допроса зазвонил телефон на письменном столе. Слышу обрывки разговора:

— Кто? Лиарус? Сейчас, подожди.

Следователь, рукой прикрывая трубку телефона, обращается ко мне, знаю ли я такую фамилию. Я говорю, что не знаю.

— Да ведь я знаю, что вы с ним знакомы. Мы все знаем.

Я говорю, что, возможно, речь идет о Ларуссе, авторе самой популярной в мире энциклопедии. Он недоверчиво расспрашивает меня — неужто и в самом деле был такой? Уверяю, что был. И он тут же кричит в телефонную трубку:

— Ты, неуч! Ты что ли не знаешь, что Лиарус энциклопедию написал? Не знаешь, что такое энциклопедия? Так узнай. А я с таким дураком говорить не буду, только время терять.

Однако больше всего меня тревожила необыкновенная открытость, с какой иногда говорилось о делах, казалось бы, совершенно секретных. Из этого следовал вывод, что советские власти уверены в своем всемогуществе и не считаются с тем, что я когда-нибудь смогу выйти на свободу.

— Вы не думайте, что мы и в самом деле обожаем немцев. Мы просто гораздо сильнее ненавидим англичан. Но когда немцы, разбив Францию и Англию, истощат свои силы, мы нападем на них и завоюем всю Европу.

Они, не стесняясь, показывали мне мое досье. Я с изумлением обнаружил там документы, касающиеся не только мельчайших подробностей моей служебной карьеры, но и многих совершенно частных эпизодов. Мне, например, показали совершенно незнакомые мне фотографии моей поездки на Олимпиаду в Амстердам и на международные конкурсы в Ниццу. Видя мое удивление, они хвастались:

— У нас есть такие досье на всех интересующих нас военных и политиков всего мира. У Советского Союза длинные руки.

Через две недели меня вызвали из камеры привычным приказом:

— Собирайтесь на допрос.

Я был убежден, что еду в знаменитое Лефортово. После многочисленных обысков я оказался в Бутырках.

Я просидел там до первых чисел сентября 1940 года, все время в одиночке, на допросы меня ни разу не вызывали. Режим был весьма суровый. Резкий свет постоянно бил в лицо. Глаза у меня болели, гноились. Я боялся совсем ослепнуть.

В сентябре 1940 года, после многомесячного пребывания в Бутырках, меня опять перевезли на Лубянку.

Новости!

Вхожу в общую камеру на Лубянке. После осторожного знакомства с семерыми однокамерниками на вопрос, что в мире слышно, новости: немцы заняли Данию, Нор-

вегию, Голландию, Бельгию, Париж взят! Франция капитулировала! Скоро будет разбита и Англия! Италия вступила в войну на стороне Германии!

Впечатление было столь сильным, что у меня ноги подкосились.

Что случилось? Неужели Германия настолько всемогуща, что никто не может устоять перед ней? Значит, напрасны были жертвы Польши? Ведь мобилизация во Франции уже закончилась, и нападение немцев никак не могло застать ее врасплох. Ведь в предыдущей войне миллионы французов героически сражались под Верденом и по всему фронту. Я знал на собственном опыте, как идеально вышколены французские офицеры. Должно было случиться что-то сверхъестественное.

Но даже если Германия действительно так необыкновенно сильна, раз она в столь краткий срок разбила Францию, то ведь это еще не значит, что с Англией пойдет так же легко. Даже захват Британских островов не означал бы конца войны, у Великобритании есть доминионы и мощный флот. Уже во Львове я слышал о потоплении броненосца «Адмирал граф Шпее». Ну, и есть еще Америка, со своими неисчерпаемыми материальными и людскими ресурсами. Америка, которая не позволит уничтожить Англию.

В камере на Лубянке я узнал также, что Россия заняла без боя часть Румынии, Литву, Латвию и Эстонию, что она заключила мирный договор с Финляндией. Значит, сообщники продолжали пожинать плоды своего сговора!

С другой стороны, теперь возможно столкновение между Германией и советской Россией. Мне казалось логичным, что Германия, захватив Европу, выиграет время на подготовку к тому, чтобы избавиться от «друга» на востоке. Ведь есть же какой-то смысл в том, что энкаведешники недвусмысленно утверждали: советская Россия только и ждет, чтобы западные державы обескровили друг друга, тогда она вступит в войну и легко установит свои порядки в Европе. Ведь я так часто слышал как от офицеров НКВД, так и от сокамерников-коммунистов:

— Ах, только бы нам удалось спокойно выполнить эту пятилетку!

Немцы наверняка это понимают.

Обдумав ситуацию, я успокоился, придя к выводу, что война между Германией и советской Россией близка и неизбежна.

Русские на Лубянке

Меня несколько раз переводили из камеры в камеру. Наконец, я задержался в камере № 11. Соседи тоже то и дело менялись. Дни тянулись один за другим. Уже много месяцев меня не вызывали на допросы. Хорошо это или плохо? Опытные товарищи по несчастью отвечали одно и то же: тут никто никуда не торопится, у советской власти время есть. Меня удивляло, что три четверти заключенных было членами коммунистической партии. Они неохотно говорили, за что сидят. Только в самые горькие минуты, когда они возвращались ночью с допроса, окровавленные, избитые, срывались с их уст проклятия и жалобы. В обычном своем состоянии они сверхлояльно восхваляли режим.

Почти все евреи — а было их очень много — сидели по обвинению в симпатии к троцкизму, который является одним из основных этапов перерождения большевизма.

Польское общественное мнение в свое время внимательно следило за этими метаморфозами. Ничего странного: наш народ не мог забыть того потрясения, когда большевики в 1920 году стояли у ворот Варшавы. Они были уверены в своей победе, а Ленин говорил тогда: «...Наступая на Польшу, мы тем самым наступаем на самую Антанту; разрушая польскую армию, мы разрушаем тот Версальский мир, на котором держится вся система теперешних международных отношений».

Для нас, военных, политическая доктрина советской России вовсе не была областью так называемой чистой политики, то есть исключительно политики. С доктриной политической была тесно связана военная доктрина. Еще, кажется, никогда в истории представители никакого другого общественного течения не интересовались в такой мере проблемами стратегии и войны, как марксисты, а прежде всего большевики. Ленин сделал из учения прусского теоретика Клаузевица вывод, согласно которому партия не должна рассматривать войну иначе, чем определенную форму политики, что каждая война, служащая целям революции, будет «справедливой» и будет встречена поддержкой и одобрением коммунистов всего мира. Нетрудно понять, что этот образ политического мышления абсолютно совпадал с устремлениями советских молодых военных, каждый из них «носил маршальский жезл в ранце».

Преемник Ленина, Сталин, видимо, так уверовал в свою силу еще в дореволюционном подполье, что уже не скрывал ни своих политических взглядов, ни диктаторских претензий и планов. Уже на посту наркома по делам национальностей, а позже наркома рабоче-крестьянской инспекции он подчеркивал, что стремится к мировой революции. Из того, что он говорил и писал — а по сравнению с Лениным говорил и писал он скупо,— было совершенно ясно: пока он не соберет все силы, не отважится на агрессию; когда же силы будут накоплены, ничто не остановит его...

Как известно, большевизм отвергает так называемые буржуазные принципы этики и морали. Так что и теория Ленина, и практика Сталина являются конечным продуктом развития простой формулы всех узурпаторов мира: цель оправдывает средства.

Советские тюрьмы и лагеря могут в некотором смысле служить опытными лабораториями в области истории партии, а тем самым и истории послереволюционной России. Как на геологическом срезе видны наслоения разных эпох и исторических периодов, так почти в каждом лагере или тюрьме, да что там! — даже в каждой общей камере или бараке можно встретить жертвы тех или иных партийных чисток, внутрипартийных конфликтов, столкновений, переворотов. Страшно жаль, что люди так редко выходят из тюрем и лагерей и еще

реже удается им вырваться за границу СССР, и поэтому мир приговорен к познаванию истории России только по официальным советским учебникам. Я убедился, что университетский диплом в этой области можно получить лишь в тех опытных лабораториях.

Кого только там не встретишь!

Смешенье всех стихий: начиная от жертв различных национальностей еще со времен гражданской войны и военного коммунизма, жертв борьбы большевиков с эсерами (самой многочисленной революционной партией в России в период революции, которая была раздавлена чудовищно жестоким террором после неудачного покушения на Ленина в 1918 году), с меньшевиками и кончая жертвами массового террора последних лет, то есть показательных и непоказательных процессов, которыми так богата история сталинского периода...

Когда читаешь официальную историю большевизма, кажется, будто лишь отдельные люди или небольшие группы «мешали» большевикам в «строительстве социализма», в то время как весь народ, особенно рабочий класс, верно следовал сталинским лозунгам. Советская тюрьма показывает нечто совершенно противоположное: как одиночки («вредители»), так и «небольшие группы», отраженные в официальной истории, были выразителями воли народа. И чем сильнее выражалась эта воля в каком-либо социальном процессе, тем больше было жертв советского террора. За рабочими процессами шли аресты и ликвидация десятков и сотен тысяч рабочих, за процессами времен коллективизации — ликвидация миллионов крестьян.

В рассказах узников больше всего поражало то, что Сталин и его партия, покончив с той или иной оппозиционной группировкой, с циничной откровенностью принимали программу своих противников, вроде того, как это сделал Ленин с эсерами в 1917 году, приняв их крестьянскую программу.

В 1940 году в тюрьмы и лагеря все прибывали и прибывали жертвы последней, прямо-таки чудовищной по своим размерам и формам, чистки троцкистов, которая — начавшись в 1935 году — не была еще как следует закончена к началу войны с немцами.

Чисткой этой Сталин уже окончательно рассчитался со всеми группировками партийной и внепартийной оппозиции, то есть прежде всего с «чистым» троцкизмом с международным оттенком, с так называемым левым уклоном, ставящим во главу угла диктатуру пролетариата в буквальном, а не сталинском понимании этого слова, когда «пролетариат» на практике подменялся «партией», а точнее, только партийной верхушкой, и с правым уклоном, который, в свою очередь, высказывался против поспешной индустриализации и за либеральную политику по отношению к деревне.

Две военные школы

Ни один из процессов не вызвал столько толков, как процесс высшего военного командования, на котором были приговорены к смертной казни заместитель наркома обороны маршал Тухачевский, командующий киевским округом Якир, его заместитель Примаков, бывший командующий ленинградским округом Корк, командующий белорусским округом Уборевич, командующий военным флотом Орлов, командующий авиацией Алкснис, начальник службы гражданской обороны Эйдеман, бывший военный атташе в Лондоне Путна и многие другие. Перед самым процессом покончил с собой начальник Политуправления Красной Армии Гамарник, а сразу же после процесса «исчезли» еще два маршала: командующий Дальневосточной армией Блюхер и начальник генштаба Егоров. Им обоим пришлось перед собственным концом разыграть роль судей на процессе Тухачевского. Из пяти красных маршалов остались двое: Ворошилов и Буденный. Кроме тех лучших военачальников, которых я перечислил, были арестованы тысячи офицеров. А если вспомнить о том, что большевистская юрисдикция, единственная в мире, руководствуется принципом коллективной ответственности и что рядом с виноватыми в тюрьмах и лагерях оказываются их родственники, друзья и знакомые, легко себе представить, какие массы потекли в советские тюрьмы, и сколько рук для принудительного бесплатного труда получила третья пятилетка.

Процесс Тухачевского вызвал среди нас, военных, наибольший интерес. Не только потому, что еще по кампании 1920 года мы помнили фамилии Егорова, Якира или Примакова, а прежде всего — самого Тухачевского, но, конечно же, потому, что и в этом случае, так же как в процессах так называемой старой гвардии большевиков, Кремль озабочен был вовсе не уничтожением «фашистской агентуры». В послевоенные годы мы пристально следили друг за другом — как развивается военная мысль. Польские военные журналы были заполнены обзорами советской военной прессы и перепечатками советских статей, было много переводов советских книг, посвященных военному искусству. То же самое делали и большевики; у меня даже иногда складывалось впечатление, что в определенные периоды польские военные журналы становились предметом пристального изучения советских военных специалистов.

Скоро стало очевидно, что уже в первые послевоенные годы в этой области завязалась весьма оживленная дискуссия, которая со временем переросла в беспощадную борьбу. Советская военная мысль неизменно опиралась на ленинскую концепцию непрекращающегося «наступления революции», но как между Троцким и Сталиным разгорелся спор о понимании тактики этого наступления, так в кругах чисто военных столкнулись две концепции — не сущности войны, а ее формы. Сущность оставалась неизменной: Красная Армия становится авангардом мировой революции, а революцию эту некоторые примитивно отождествили с московским империализмом. Так говорил Троцкий, так говорил и его анта-

гонист и преемник на посту наркома обороны Фрунзе, который вскоре умер в больнице при несколько странных обстоятельствах. Но воплощение в жизнь этого наступательного принципа вызывало споры.

Если не вдаваться в подробности, то можно сказать, что в 1924—1929 годы существовали два лагеря: Свечина и Тухачевского. Свечин исповедовал принципы старого, суворовского, национального русского военного искусства. Он утверждал, что Россия должна избегать ведения «атакующей» войны, но стремиться к войне, изматывающей противника. Такая война дает России, по его мнению, наибольшую выгоду, потому что полностью уничтожает противника и позволяет затем перейти в ничем не сдерживаемое наступление. Тухачевский, с его темпераментом, презирал всякую медлительность. Темперамент Троцкого создал доктрину «перманентной революции», темперамент Тухачевского — доктрину «великих масс» и «сметающих таранных ударов». Укротитель кронштадтских моряков с истинно наполеоновским упорством шел к маршальскому жезлу. С той же безжалостностью, с какой сам был потом ликвидирован, он убрал Свечина и уничтожил его учеников. Он, бывший немецкий военнопленный, был горячим сторонником Рапалльского договора. Он восхищался немецкими теориями блицкрига, предоставляя немцам советскую территорию для учений, а советские фабрики танков и авиации — для снабжения рейха вооружением. Своим неоспоримым стратегическим талантом он умел покорить даже Сталина, который еще в 1936 году, не стесняясь, публично заявлял, что ни одна капиталистическая свинья не сунет свое рыло в нашу страну, мы будем бить врага на подступах к нашим границам; ему, видимо, и в голову не приходило, что он выдает насквозь агрессивный характер советского плана войны.

Когда я был в советских тюрьмах, да и позже, уже на свободе, мне приходилось видеть в советских учреждениях плакаты, на которых огромная свиная морда получала удар русским прикладом где-то примерно в районе Варшавы. Разве мы в Польше не должны были сделать из этого определенных выводов при организации обороны страны? Должны были пройти годы, прежде чем Сталин и партия сообразили, что их «оборонный» план создания государства совершенно не соответствует той наступательной динамике, которую представляла доктрина Тухачевского — верное отражение теории Троцкого о «перманентной революции». Согласно этой доктрине советские войска уже в мирное время были сконцентрированы на польской границе, а базы снабжения продвинулись далеко на запад.

Не было другого процесса по обвинению в связях с Троцким, в котором эти связи чувствовались бы столь ощутимо и реально, как это было в процессе Тухачевского. После ликвидации маршала, его сотрудников и широких кругов его поклонников немедленно вернулись к теории Свечина. Два новых маршала, Шапошников и Тимошенко, выступили уже с совершенно суворовскими, национальными концепциями ведения войны ценой территории, масс, человека. Все для царя и Отечества! В царские времена в этом лозунге фигурировал еще и Бог, но красный царь сам стал «Богом» и о революции говорил по примеру французского абсолютизма: «Революция — это я»

Что рассказывали

Как-то привели в камеру молодого энкаведешника по фамилии Попов.

Оказалось, что он работал в отделении НКВД на станции Сибирской железной дороги, где арестовывал и допрашивал железнодорожников. Однажды его вызвали к начальнику в вышестоящую ячейку НКВД в Чкалове.

— Очень плохо работаешь,— сказал начальник.— Слишком мало у тебя арестованных, а в лагерях нужны рабочие руки.

Не помогли объяснения, что большинство арестованных железнодорожников не признает своей вины и доказательств никаких нет.

— Езжай обратно и привези своих арестованных.

Поехал и привез их в Чкалов.

— Садись рядом,— сказал начальник,— учись, как вести следствие.

Привели одного из арестованных.

— Признаешь свою вину? — спрашивает начальник.

— Да я ни в чем не виноват, ей-богу, не виноват.

— Да за одно это «ей-богу» тебя посадить следует. Не признаешься? Спускай штаны и клади... на стол.

Допрашиваемый, естественно, сопротивлялся, но, после нескольких ударов в лицо, выполнял приказ. Тогда начальник НКВД тяжелым металлическим пресс-папье бил по лежащей части тела. Допрашиваемый терял сознание. Облитый водой, приходил в себя. Снова тот же вопрос. Не признается? То же самое... Естественно, признался во всем.

Таким образом допросили всех арестованных, привезенных в Чкалов, и все как один признались.

— Видишь, как надо вести следствие? Возвращайся и работай.

Молодой энкаведешник вернулся на свою станцию, и, по его словам, результаты у него всегда были прекрасные, только я так и не узнал, за что его посадили.

Недолго пришлось мне сидеть с очень веселым парнем, офицером НКВД, который вернулся из Китая. Из его рассказов я понял, что он был сыном ротмистра русского 16-го гусарского полка, насколько я помню, по фамилии Чернявский, которого я знал еще до первой мировой войны. Он рассказывал о больших успехах советской пропаганды среди китайских коммунистов. Говорил об организованной в широком масштабе переброске оружия из России через Монголию. Я тогда не очень верил в эти блестящие успехи, но сейчас, когда у нас есть данные о росте коммунистической партии в Китае, я думаю, что он не слишком преувеличивал.

Люди в камерах все время менялись. С каждым днем все труднее было выдержать

страшный, монотонный и безнадежный тюремный режим. Иногда в камере было лишь несколько человек. Иногда трудно было повернуться из-за тесноты. Со многими товарищами по несчастью вообще невозможно было понять друг друга. Некоторые из молодого поколения никогда в жизни не не слышали слова «Иисус Христос». Все без исключения насмехались над Богом, не верили, что в Европе каждый может найти себе работу, какая ему нравится, что магазины доступны для всех без исключения, что можно без специального разрешения ездить из города в город или получить номер в отеле.

Питание — это был принципиальный вопрос. Я узнал, что только крупные города, такие как Москва, Ленинград, Киев, Одесса, Баку и Тифлис, неплохо снабжаются, а вся остальная Россия голодает. Не голодает лишь коммунистическая аристократия и НКВД. У этих всего навалом. Более-менее снабжается армия.

Бомбы: война!

Однажды мы услышали взрывы бомб в Москве и беспорядочную стрельбу зенитных орудий. Сердце мое замерло. Итак, наконец-то — война! Мое натренированное ухо не могло меня обмануть. На следующий день начали красить окна в синий цвет. В тюремных коридорах появились мешки с песком. Советские власти объявили, что идут учебные воздушные тревоги, но налеты все повторялись. Редкие пятнадцатиминутные прогулки по тюремному двору прекратились совсем. Даже мои сокамерники пришли к выводу, что это не учения. Начались споры, английские это самолеты или немецкие.

Странно, но ненависть русских к Великобритании была необыкновенно сильна. «Проклятый Альбион» не сходил у них с уст. Немцев боялись и в то же время питали к ним какое-то странное уважение. Может быть, потому, что в течение многих десятилетий, вплоть до последней войны, немцы занимали ключевые посты в Российской империи. А может, и потому, что в предыдущей войне немцы не раз били русских и явно ни в грош их не ставили. Или потому, что немцы в запломбированном вагоне переслали в Россию в 1917 году Ленина с товарищами, чем немало помогли большевикам в захвате власти. Имело значение и пребывание в России большого количества немецких инженеров, которые создавали тяжелую промышленность.

Я лично не сомневался. Мне казалось совершенно невозможным, чтобы англичане, не разгромив немцев, напали на Россию.

Я молился о войне между Германией и Россией: я не верил в возрождение Польши, если дружба между тигром и шакалом продлится.

И снова были у меня большие неприятности. Меня вызвали к следователю, который, показав забытый уже мною клочок бумаги, на котором я нарисовал предполагаемое направление ударов немецкой армии, внушал мне, что я знал об этом от немцев, значит, я — немецкий шпион. Объяснения мои, что, будучи профессиональным военным и опытным боевым офицером, я не мог не предполагать некоторых очевидных вещей, его совершенно не убеждали. Гораздо позже я узнал, что действительно правильно угадал направление немецкого наступления.

Невероятные немецкие успехи, разгром советских армий, необходимость обратиться за помощью к союзникам — все это создало ситуацию, которая спасла меня от последствий моей неуместной проницательности.

Признаки перемен

Вскоре меня вызвали к следователю. Не знаю, случайно или нет, но это был тот самый человек, который первым допрашивал меня в Москве и сказал, что польские генералы — трусы, потому что не хотят говорить правду. Он подробно расспрашивал меня о моем здоровье, которым до сих пор никто не интересовался. Спросил, что слышно, а я ответил:

— Это я должен вас спросить, правда ли, что началась война.

— Какая война?

— Ну, между вами и Германией. Я же своими ушами слышал бомбежку и стрельбу зенитной артиллерии.

— Это не война, а учения.

— Это вы кому-нибудь другому скажите. Я в таких вещах разбираюсь. Вы заключили союз с Великобританией?

— Да.

— Спасибо.

— Вам что-нибудь нужно?

— Конечно. Поесть и сигарет.

— Мы скоро еще увидимся.

На другой день меня повели к парикмахеру, и впервые за двадцать месяцев тюрьмы я был побрит и даже надушен очень плохим, но очень пахучим одеколоном, тем самым, которым обливались все вахтеры в тюрьмах.

Тем временем в камере появился первый немец, Ганс Шинке, майор немецкого генерального штаба. Перед самым началом войны русские арестовали его, обвинив в шпионаже. Думаю, обвинение было обоснованным. В день, когда началась война, его вызвал к себе заместитель шефа НКВД Меркулов, молча ударил кулаком в лицо и велел отвести обратно в камеру.

Шинке был убежден в победе Германии. Он твердил, что немцы на днях войдут в Москву, а небольшое количество налетов объяснял хорошей противовоздушной обороной. Он говорил, что русские давно разрабатывают новые виды оружия, и не исключал возможности, что при обороне Москвы используются «лучи смерти». Еще он говорил, что немецкий штаб располагает абсолютно точными данными о вооружении Красной Армии и что к началу войны в армии было 18 000 танков и 35 000 самолетов. Естественно, большая часть вооружения давно устарела, добавлял он.

Я в этих цифрах сомневался; но, судя по информации, впоследствии полученной мною от разных советских офицеров, он был бли-

зок к правде. Танков действительно было много, но низкой боеспособности, самолетов — очень много, но главным образом почтовых, транспортных, истребителей и штурмовиков. Бомбардировщиков я почти не видел.

Необыкновенные гости и... свобода

Меня теперь брили через день. Наконец 4 августа в 4 часа дня открылась дверь камеры, и я услышал вопрос:

— Кто тут на букву «а»? Живо, живо, собирайтесь на допрос.

Уже в коридоре я почувствовал, что творится что-то странное. Заместитель коменданта тюрьмы и несколько старших надзирателей ожидали меня. Повели по разным лестницам, потом повезли в лифте. Никто не выкручивал рук за спину, не толкал, как это обычно бывало. Я шел свободно. К нам присоединился даже комендант тюрьмы. Я шел на костылях, меня поддерживали на ступеньках. Любезность необычайная. Коридоры все чище и краше. Наконец меня завели в небольшую комнату, где находились офицеры НКВД и несколько машинисток. А затем я попадал в огромный, великолепный кабинет, весь в коврах, обставленный мягкой мебелью. Из-за стола встали двое в штатском.

— Как вы себя чувствуете?

— С кем имею честь?— спрашиваю я.

— Я Берия,— отвечают они по очереди.— А я Меркулов.

Спрашивают, не хочу ли я чаю или сигарету. Я, в свою очередь, спрашиваю, заключенный я или уже свободен. Ответ:

— Вы свободны.

Тогда я прошу чаю и сигарету.

И начался длинный разговор о том, как вероломны немцы, как они предательски напали на Советский Союз, и что теперь надо жить в дружбе, забыть прошлое, потому что самое важное — это разбить немцев. Поэтому заключен союз с англичанами и подписан договор с поляками. Все поляки будут «амнистированы», и, согласно договору, будет создана польская армия; причем, с согласия советского правительства, я назначен польскими властями командующим этой армией. Они очень рады, что выбор пал именно на меня, потому что они это знают, я самый популярный среди поляков в России. Якобы 90% поляков высказались за меня. До сегодняшнего дня остается для меня загадкой эта точная цифра, поскольку я ничего не знаю о подобном референдуме, и, конечно же, никакого референдума и не было. Мне объявили, что моей скромной особой интересуется сам Сталин.

Я узнал, что для меня приготовлена отдельная квартира. Советские власти обеспечат меня всем необходимым. Им очень важно, чтобы я как можно скорее выздоровел. Мне дали большую сумму денег, объяснив, что часть моих вещей пропала. Я взял эти деньги с чистой совестью, так как при аресте во Львове у меня действительно все отобрали. Мой бывший следователь полковник Кондратик был отдан в мое распоряжение. Он весьма неловко объяснял свое поведение во время допросов. Сам начальник тюрьмы нес за мной чемодан. Я, однако, заметил, что чемодан не мой. Начальник тюрьмы ответил, что вещи переложили в этот, потому что он лучше; не хватает лишь бритвенного прибора, но завтра утром я его получу. Потом оказалось, что в чемодане было лишь старое, рваное и чужое... белье. Бритвенного прибора и своих вещей я так никогда и не получил.

Я вышел из тюрьмы без носков, в рубахе и кальсонах с печатью: «Внутренняя тюрьма НКВД», но зато из тюремных ворот выехал в лимузине самого наркома внутренних дел. Я покинул здание НКВД после двадцати месяцев заключения, из них семь месяцев я провел в одиночке. Чудом мне удалось выбраться на свободу.

Еще несколько часов назад я был рядовым узником Лубянки. А сейчас я не только свободен, но и буду командующим польской армией, которую должен организовать в СССР. Я буду воевать за Польшу!

Польская армия в СССР

В преддверии свободы

В восемь часов вечера 4 августа 1941 года автомобиль отъехал от главного подъезда здания НКВД. Улицы слабо освещены. Редкие прохожие, зато много машин, все военные, злоупотребляющие клаксонами. Проведя почти два года в тюремной камере, я был ошеломлен воздухом, шумом и движением.

Чувства мои трудно описать. Я на свободе, но что-то давит в груди. Через несколько минут машина въезжает во двор. С трудом я вскарабкиваюсь на третий этаж на своих костылях. Лифта нет.

Предназначенная для меня квартира состоит из четырех прилично обставленных комнат и кухни. Есть повар Иван Васильевич и горничная Марушка. Я не сомневаюсь, что они работают на НКВД. Большой стол в столовой уставлен бутылками и закусками. Шампанское, коньяк, красные и белые вина — не хватало, кажется, только виски. Зато много русской водки. Закуски великолепные, как в доброе довоенное время, с икрой во главе. Повар спрашивает, что приготовить на ужин. Я просто испугался этого изобилия.

Я вспомнил, как мы, оголодав в камере, постоянно рассуждали о еде и каждый рассказывал, что бы он съел, если бы вышел на волю. Я всегда настаивал на яичнице с ветчиной. И теперь я поблагодарил за деликатесы и попросил яичницу из одного яйца и кусочек ветчины.

В тот день меня ожидал еще один сюрприз. Полковник Кондратик сообщил мне, что часть наших офицеров уже освобождена и находится в Москве и что двоих из них, а именно подполковника Зигмунта Берлинга и подполковника Дудзинского, он мог бы еще сегодня привезти ко мне. Конечно же, я немедленно согласился. С пер-

вым я был почти незнаком, знал только, что незадолго до войны он ушел в отставку. Со вторым я встречался, когда служил в 20-й пехотной дивизии под Млавой. Потом он заболел и выехал с другими больными офицерами на восток, где и попал в руки большевиков.

О своих перипетиях они рассказывали довольно невнятно. Их отделили от остальных офицеров, держали сначала в тюрьме, потом в специальном особняке под Москвой, а последний месяц они вместе с другими (всего около двадцати человек) живут в Москве. Троих из этих «остальных» — майора Леона Букоемского, капитана Казимежа Розен-Завадского и поручика Вихеркевича — я знал лично, причем с самой худшей стороны. Они подтвердили то, что я узнал от капитана Кушеля: поляки были собраны в трех основных лагерях в Старобельске, Козельске и Осташкове, причем в Старобельске и Козельске — только офицеры. Все три лагеря ликвидированы в 1940 году; что стало с узниками — неизвестно. Знали только, что 400 офицеров из этих лагерей какое-то время находились в лагере Павлищев Бор, оттуда их перевезли в Грязовец и там объединили с группой, состоящей примерно из тысячи польских офицеров, доставленных из Литвы.

Я был с ними осторожен. Слишком настойчиво они подчеркивали необходимость сотрудничества с советской Россией и драматизировали ситуацию в довоенной Польше: фальшивость этого драматизма я видел тем лучше, что и сам относился к политической ситуации в Польше перед войной без особого восторга. Особенно раздражал меня этот фальшивый тон у Берлинга, который был офицером Первой бригады [1].

Долгое время я не мог отделаться от чувства, что за мной постоянно наблюдают — как в камере, через глазок. Я с удовольствием закрывался ночью на ключ. Часами просиживал на балконе, наблюдал за жизнью улицы. Не только бедная и потрепанная одежда останавливала мой взгляд, но и медленные движения, как будто никто и никуда не спешил, угрюмые, злые лица. Ни тени улыбки и радости, даже дети — во всем мире такие беззаботные — здесь были тихими и задумчивыми. Меня возили на прогулки в городские сады, но и там толпа была все та же: молчаливая и грустная.

На обычный советский манер всюду были выставлены огромные портреты вождей, прежде всего Сталина, «солнышка» Советского Союза, обычно рядом с Лениным. Следовало вбить в головы, что Ленин и Сталин — это одно и то же. На самом деле отношение Ленина к Сталину было недоверчивым и критическим.

В армии на место ликвидированных маршалов — Тухачевского, Егорова, Блюхера — назначили трех новых: Шапошникова, Тимошенко и Кулика, который до этого в течение нескольких лет был начальником снабжения и вооружения армии. Портреты этих троих и выживших из предыдущей пятерки Ворошилова и Буденного висели повсюду. Однажды я заметил, что портрет Кулика исчез. Естественно, я спросил об этом полковника Кондратика, который сопровождал меня. Он взглянул на меня изумленно, а потом ответил, многозначительно подчеркивая каждое слово:

— У нас о таких вещах спрашивать не полагается. Подобный вопрос у нас считается преступлением. Был, а теперь нету!

Невольно мне вспомнились рассказы сокамерников о том, что люди исчезают тысячами, и никому, под угрозой немедленного ареста, нельзя интересоваться ими или спрашивать про них: просто — они были, а теперь нету!

Уже в тюрьме я обратил внимание на то, что в книгах, которые нам иногда давали, бывали вырезаны фамилии авторов. Естественно, это касалось современных авторов. Мне объяснили, что каждый арестованный автоматически становится врагом народа и как таковой умирает для общества, а значит, и имя его должно исчезнуть навеки.

Члены различных миссий, выезжающие за границу, обязаны были, вернувшись, представить отчеты, то есть описать все, что они там видели, с большевистской точки зрения. Я читал немало этих произведений: они состояли из лжи и сотен больших и маленьких выдумок о жизни людей на Западе. Впрочем, вернувшись, все выезжающие рано или поздно оказывались в тюрьме, обвиненные в шпионаже, а если не в шпионаже, то по крайней мере сотрудничестве с капиталистами. Советский режим не терпит людей, которые могут сравнивать и делать из этого выводы.

Первые люди из Лондона

Из газет я узнал о прибытии в Москву польской военной миссии во главе с генералом Зигмунтом Богуш-Шишко, но лишь через несколько дней мне удалось узнать его адрес, и я смог с ним встретиться. Вид польского мундира и польского орла произвел на меня сильное впечатление. В гостинице «Националь», где остановился генерал Богуш-Шишко, я несколько часов подряд расспрашивал его о том, что делалось на свете с сентября 1939 года. То есть о положении на Родине, оккупированной немцами, об участии наших войск во французской кампании, о ситуации в Норвегии, о перемещении президента, правительства и части наших войск в Великобританию, о беззаветном героизме наших летчиков в битве за Англию. Все это рассказал мне генерал Богуш-Шишко. А также о том, что генерал Сикорский после капитуляции Франции заявил, что союз Польши с Великобританией нерушим, что плечом к плечу мы будем биться до победы. Он подтвердил мои догадки о том, что Соединенные Штаты щедро помогают Великобритании. Рассказал мне о польско-советском договоре от 30 июля 1941 года и о планах создания польской армии в СССР.

Когда генерал Богуш-Шишко подробно информировал меня о разногласиях в правительственных и неправительственных кругах по вопросу о договоре с Россией, я, расспросив его о всех деталях и подумав как следует, ответил так:

[1] Первой бригадой в Польских легионах командовал Ю. Пилсудский.

— В данный момент мне трудно оценить, права или неправа оппозиция и каковы ее аргументы. Генерала Сосновского я знаю как человека серьезного и умного. Не думаю, что он высказал свое мнение, не исследовав предварительно всех аспектов проблемы. Теоретически он и его единомышленники, может, и правы, но практически Сикорский куда ближе к правде. В тюрьмах я имел возможность познакомиться с произведениями Ленина, Сталина и других крупнейших большевиков. Я основательно изучил их образ мысли, их подход к проблемам большой политики и их тактику. И видел, как они вели себя у нас на Родине. Я им не верю. Сейчас в безнадежной ситуации они любезны и на все согласны. Но ситуация может измениться очень быстро. Либо они окрепнут, либо сдадутся немцам. В том и в другом случае мы снова окажемся в тупике. Нам следует спешить. Мы должны организовать сильную армию. Мы должны спасти наш народ. Я считаю, следует полностью поддержать Сикорского.

Пока что я был один-одинешенек, полководец без армии, однако постепенно стали выходить из тюрем друзья. За многих пришлось бороться с властями НКВД. Я убедился, что военные не имели права голоса, во всех сферах военной и гражданской жизни безраздельно царил НКВД. Характерен был мой разговор с полковником НКВД Кондратиком, когда я настойчиво требовал освободить Брониславу Выслоухову, которая впоследствии работала инспектором Вспомогательной женской службы и много сделала на этом посту.

— Зачем вам эта вредная баба? — упорствовал он.

С трудом удалось мне вырвать ее из тюрьмы, а потом оказалось, что именно Кондратик лично пытал ее, выбивая нужные показания. Многие офицеры долгое время не были уверены, что выживут, месяцами ожидая казни в камерах смертников.

Я посетил шефа британской военной миссии генерала Мак-Фарлейна, человека необыкновенно сердечного и доброжелательного, с которым позже мы стали близкими друзьями. Впервые в жизни я увидел военного в шортах. Он вручил мне письмо и инструкции от генерала Сикорского. На самом деле командующим польской армией в СССР должен был стать генерал Галлер, но поскольку его не смогли найти, на этот пост назначили меня.

Мне было важно только одно — как можно скорее организовать армию и как можно больше людей спасти из тюрем и лагерей. Я не знал, какими человеческими ресурсами мы располагаем. Я не знал, где находятся офицеры, число которых, по оценкам освобожденных из лагерей коллег, составляло не менее 11 000. Что с рядовыми? Мне было известно заявление Молотова, сделанное 2 ноября 1939 года в Верховном Совете, после нападения Советского Союза на Польшу, в котором он утверждал, что в плен взято 300 000 солдат. Я ожидал, что власти меня проинформируют, тем более что армейская газета «Красная звезда» сообщила 17 сентября 1940 года, то есть через год после вступления большевиков на польскую землю, что в боях на украинском фронте, на Волыни, около Люблина, Гродно и т. д. в плен взято 12 генералов, более 8 000 офицеров и более 200 000 рядовых.

Полномочным представителем советского правительства по делам Польши был назначен генерал Жуков — прошу не путать с будущим маршалом Жуковым, а полномочным представителем генерального штаба — заместитель маршала Шапошникова, генерал Панфилов. С Жуковым я познакомился сразу после того, как вышел из тюрьмы. Он показался мне человеком умным и энергичным. Это был типичный русский коммунист молодого поколения, преданный Сталину душой и телом, но отношения между нами сложились самые дружеские.

Через несколько недель лечения я отбросил костыли и стал ходить с палочкой, хотя сначала это было трудно. И мундир мне сшили такой же, как у генерала Богуш-Шишко. 10 августа 1941 года я получил звание генерала дивизии.

Из Лондона в качестве поверенного в делах прибыл Юзеф Ретингер, личный друг генерала Сикорского, человек необыкновенного ума и обаяния, объездивший весь мир. Он познакомил меня с британским послом, сэром Стаффордом Криппсом, с которым его связывала давняя дружба. Мне показалось, что даже Криппс, опытный политик и дипломат, с трудом понимал, чего хотят Советы. Я, со своей стороны, свел Ретингера с важными советскими чиновниками, думаю, его встречи с ними пошли на пользу польскому делу. Характерно, что советские власти были особенно заинтересованы в том, чтобы получить помощь для своей разведки в Польше.

Не только солдаты, но и все поляки, освобожденные из тюрем и лагерей, узнав о том, что создается армия, старались добраться до района, где она организовывалась. Страшные морозы на севере страны и отсутствие теплой одежды вызывали в несчастных, естественно, желание двигаться на юг.

Военный договор

Польско-советский военный договор был заключен 14 августа 1941 года, и в нем, в частности, говорилось:

«Польская армия будет в кратчайшие сроки организована на территории СССР, причем она будет составлять часть военных сил суверенной Речи Посполитой Польши... Она будет предназначена для общей, с войсками СССР и других союзных держав, борьбы против германского рейха. После окончания войны она вернется в Польшу... Польские части будут отправлены на фронт после достижения ими полной боевой готовности... Солдаты польской армии на территории СССР будут подчиняться польским военным законам и приказам. Вооружение, боеприпасы, обмундирование, транспорт и т. д. будут предоставлены по мере возможности а) правительством Советского Союза из собствен-

ных средств, б) правительством Речи Посполитой Польши из доставок по ленд-лизу».

Один за другим появлялись офицеры, выпущенные из московских тюрем. Измученные, ослабшие, но в прекрасном состоянии духа. Начальником штаба я выбрал полковника Леопольда Окулицкого.

Первая официальная встреча с советскими властями по поводу организации армии состоялась 16 августа 1941 года, потом — 19, 22, 26 и 29 августа. Я был потрясен теми жалкими цифрами бывших пленных, которые назвал мне генерал Панфилов: в двух лагерях всего 20 000 рядовых, а в Грязовце 1 000 офицеров. А что с остальными? Ведь я же знал, что в лагерях в Старобельске, в Козельске и в Осташкове было около 11 000 офицеров, а в Осташкове, кроме того, несколько тысяч унтер-офицеров, особенно полицейских, жандармских и пограничных частей.

С большим трудом я получил согласие на формирование двух дивизий и одного резервного полка. Еще и комиссии не выехали для приема людей, а срок боевой готовности уже был определен — 1 октября 1941 года. Это было настолько нереально, что я не протестовал. Я заранее знал, что к этому времени даже люди не будут собраны, не говоря уж об оружии, мундирах, боеприпасах...

Лишь 22 августа мне сообщили, что штаб армии разместится в Бузулуке, 5-я пехотная дивизия — в Татищеве, а 6-я дивизия и резервный полк — в Тоцком. И только тогда я получил согласие послать мобилизационную комиссию в эти три населенных пункта. Руководили комиссией полковник Сулик, подполковник Вишневский, подполковник Станислав Пстроконский.

Советские власти назойливо требовали список офицерского состава, и я сделал его на скорую руку, что было нелегко. Я знал лишь тех офицеров, которые были в Грязовце, да и то понятия не имел, в каком моральном и физическом состоянии они находятся. Многие были стары и мало пригодны для службы. Лучшие офицеры приходили из тюрем, но невозможно было узнать, кто еще находится в заключении. Цвет нашей армии прошел через лагеря в Старобельске и Козельске. Но где они сейчас? Поскольку, судя по нашим источникам информации, очень много польских солдат содержалось в исправительно-трудовых лагерях, а приток добровольцев в польскую армию все возрастал, 12 сентября 1941 года я направил советскому командованию документ, обосновывающий необходимость формирования еще нескольких дивизий.

Москва военная

Я был свидетелем нескольких немецких налетов на Москву — наблюдал их с балкона моей квартиры. Налеты происходили ночью. Мне, однако, казалось, что в воздушных атаках никогда не участвовало более двадцати бомбардировщиков. Зато я убедился в правоте Ганса Шинке. Количество зенитных орудий и минометов, защищавших Москву, было просто фантастическим. Впрочем, что ж тут странного. При централизации управления Россией из Москвы не только шли все, даже самые мельчайшие распоряжения, она была еще и центром всей телефонной и телеграфной связи, а также главным транспортным узлом. Генерал Жуков заявил мне, что Москва не будет сдана ни в коем случае. Потери от бомбардировок были невелики, но зато осколки сыпались как горох.

До войны Москва снабжалась неизмеримо лучше всех остальных городов советской России. То же самое было и во время войны, но недостаток продуктов чувствовался все сильнее. Бросалась в глаза чудовищная, нигде более не встречавшаяся разница в жизни чиновников и офицеров, которые ни в чем себе не отказывали, и голодавшего народа.

Только пройдясь по улицам Москвы, можно было понять, как мало в течение этих двадцати лет советское правительство заботилось о нуждах народа. В сущности, ничего нельзя было купить, а то, что было в магазинах, отличалось крайне низким качеством. Впрочем, никто и не скрывал, что ценой именно этих насущных потребностей народа была построена колоссальная военная промышленность на Урале.

Из радиопередач и газет мы узнали, что 25 августа британские и советские войска вошли в Иран. Пресса захлебывалась описаниями подвигов советских солдат, упоминалось огромное количество пленных и трофеев. 16 сентября объявили, что шах отрекся от трона в пользу своего сына.

Тем временем немцы добились серьезных успехов. Советская армия лишилась миллионов солдат, попавших в плен, потеряла массу вооружения и боеприпасов. Ворошилов и Буденный были отозваны с фронта. Кому-нибудь другому такой разгром не прошел бы даром, а их не ликвидировали. Слишком велики были их заслуги в укреплении авторитета Сталина в партии и армии. Имена обоих, а особенно Буденного, кровью вписаны в память народов, порабощенных красной Москвой. Где бы ни оказались наши солдаты — в колхозах, лагерях, на лесоповале или строительстве дорог, на Украине, Кубани, северном Кавказе, в Узбекистане, Башкирии, Казахстане,— местное население рассказывало шепотом о кровавой бойне, которую устраивал советский режим под руководством Буденного, Ворошилова, Кагановича и т. п. и после которой оставались только пепелища, развалины и рвы, забитые тысячами безымянных трупов.

По отношению к другим Сталин не был так великодушен. В первый год войны после каждого поражения ликвидировали генералов, командующих армиями, корпусами и дивизиями, и не будет преувеличением, если я скажу, что от рук НКВД их погибло в первые годы войны больше, чем от рук немцев. Но советское командование поняло, что руководящие кадры армии должны быть принципиально обновлены в духе современной войны. Помню, какой шум вызвала пьеса «Фронт» Корнейчука, тогдашнего фаворита Сталина; в пьесе этой осмеивался тип военачальника, к которому как раз и принадлежали Буденный

и Ворошилов. Советская армейская молодежь всерьез восприняла призывы Сталина обновить армию, омолодить ее. Никому и в голову не приходило, что это одна из тактических уловок диктатора, о которой он заставит забыть, как только надобность в ней отпадет. Когда ситуация на фронте переменилась к лучшему, та же пропаганда, которая взывала к чувству народного и вечного российского солдатского духа, стала утверждать, что победы — исключительная заслуга большевистской партии. На пути от Сталинграда до Берлина стали происходить случаи гражданской смерти (а кто знает, только ли гражданской) многих быстро прославившихся новых маршалов и военачальников, которых после окончательной победы и вовсе убрали, чтобы поставить на их место старые, верные, хотя и поредевшие, сталинские кадры. Своей хитрой и жестокой политикой иллюзий, обещаний, заманивания грядущими переменами и намеками на вот-вот начинающийся либерализм и повышение жизненного уровня, умением осыпать орденами и разбудить амбиции у каждого нового поколения Сталин в первые годы войны потушил опасность, за которой всегда пристально следил, опасность армейского бонапартизма, не дал армии или одному из ее вождей захватить власть.

Но все-таки в тот период страшных поражений старым друзьям пришлось уступить свои места новым людям. Ворошилов и Буденный получили приказ формировать резервные армии за Уралом и Волгой. Такова была официальная версия. А неофициально — это были неисчислимые карательные экспедиции, ссылка десятков тысяч жертв, усмирение постоянных бунтов и восстаний среди населения разноязычных республик юго-востока европейской России и центральной части России азиатской. Народы, прикованные к СССР, встретили войну с облегчением. И не потому, что хоть в какой-то степени симпатизировали гитлеризму или даже Германии. Нет! Попросту рассчитывая на то, что война изменит их положение. Сколько раз наши солдаты выслушивали возмущенные речи от крестьян, рабочих и даже советских интеллигентов:

— Зачем вы идете помогать Сталину в борьбе с немцами? Мы надеемся, что война наконец освободит нас от большевизма.

Сама организация обороны на необъятном фронте вследствие внутренних трудностей велась большевиками политическо-полицейскими методами. Трудно было не заметить, что непрерывная советская мобилизация неравномерно поглощает разные народы. Наиболее эксплуатировались те, которые считались особо опасными для Советского Союза с точки зрения его централистской, тоталитарной политики. Каково было бы наше удивление, например, если бы мы тогда узнали, что Центральный Комитет украинской большевистской партии, который руководил всем украинским партизанским движением, расположился на окраине Москвы и что всех украинских партизан советское командование использует на московском фронте, а не на территории Украины. Ленинград защищали тоже украинцы, но мало их осталось в живых. На подступах к Москве гибли тысячи узбеков, татар и кавказцев и под Сталинградом — солдаты нерусского происхождения. Испокон веку Россия умела использовать янычаров. Когда нам рассказывали об этом умелом кровопускании порабощенным народам, мы помнили, что Суворов взял Прагу при помощи башкир и калмыков.

Советское командование не признавало и не учитывало ни в своей тактике, ни в стратегии экономии солдатской крови, так же как большевистская экономика не признает ценности человеческой жизни. Поэтому, несмотря на то, что немцы подошли к самой Москве, было ясно, что они держатся из последних сил. Мне кажется, что независимо от огромных усилий советских солдат, возбужденных надеждой на лучшее будущее, несмотря на большой вклад штабов и военачальников, немалую роль сыграло и запаздывание немецкого наступления. Российское бездорожье, плохое снабжение продуктами и горючим, износ техники, а потом — ранняя осень, дожди и распутица, затем — сразу снега и морозы — это были важные природные факторы, которые пришли на помощь советскому командованию. И самое важное: немецкое командование было так уверено в победе еще до конца 1941 года, что не подготовило своих солдат как следует к зиме. Да, генерал Мороз — это великий генерал! Самый лучший в советской России. Он же был самым лучшим под той же Москвой при Наполеоне в 1812 году.

Первые шаги в армии...

В конце августа мне с трудом удалось получить согласие на перелет в Грязовец. Приземлились мы в Вологде, где местные власти приняли нас неслыханно щедро. Я был еще слаб и не мог пить водку, а это было непременной принадлежностью ритуала. Генералу Богуш-Шишко, который сопровождал меня, пришлось меня выручать. Он знал немало русских анекдотов и умел их рассказывать, это производило большое впечатление, но еще большее впечатление произвели его великолепные английские ботинки — желтые, высокие, на шнуровке.

Мы долго ехали на дрезине по совершенно безлюдным местам и наконец добрались до Грязовца. Я медленно прошел вдоль строя, наконец-то глядя в глаза тому, общения с кем я долго был лишен,— польскому солдату. Дрогнуло сердце при виде исхудавших лиц друзей и однополчан. Я чувствовал, какую великую радость принесло им мое присутствие и сообщение о том, что скоро они станут свободными людьми и солдатами Польши.

Только здесь я подробно узнал о роли подполковника Берлинга и его друзей, которые еще во времена советско-германской дружбы объявили о желании вступить в Красную Армию, хотя бы и рядовыми.

Я потребовал снятия вооруженной охраны и разрешения выходить за окружающую лагерь колючую проволоку, а также согласовал с советскими властями сроки разделения офицеров на группы и размещения этих групп в отдельных лагерях, где должны были формироваться части поль-

ской армии. Обратно я долго-долго летел на допотопном самолете, который приходилось постоянно ремонтировать, над вологодской тайгой до Москвы; перед лицом стремительного немецкого наступления нельзя было терять ни минуты, следовало немедленно приступать к организационной работе.

22 августа 1941 года я уже мог отдать первый приказ по армии, в котором объявил, что на основании договоров, заключенных между правительством Речи Посполитой и правительством СССР на территории СССР формируются суверенные вооруженные силы Польши под моим командованием, и призвал польских граждан исполнить свой долг и встать под знамена Белого Орла.

Мне повезло — я получил согласие советских властей на присутствие в армии капелланов, что было неслыханным явлением в структуре советского общества. Кроме того, я добился разрешения сформировать Вспомогательную женскую службу. Я знал, что наравне с мужчинами в тюрьмы брошены тысячи наших девушек и женщин, которые тоже хотели бы отдать все силы Польше. Я знал, что в данных условиях это единственный способ спасти им жизнь.

Знаменательной чертой была усилившаяся религиозность всех поляков, откуда бы они ни прибыли. Я этому не удивлялся, поскольку чувствовал то же самое. Вера в божественное Провидение, которое чудесно спасло нас всех, приговоренных, казалось бы, к медленной и страшной смерти, была вместе с любовью к народу и Отчизне нашей величайшей духовной силой. Я помню первое богослужение в Москве, во французской часовне. Я человек не сентиментальный, но у меня перехватило горло, и слезы наворачивались на глаза. Но я не стыдился этих слез, и вместе со мной плакали старые солдаты, не раз смотревшие смерти в лицо. Вот когда я вспомнил издевательства энкаведешников, топтавших мой медальон с Богородицей.

Во второй половине августа, когда уже достаточно большая группа поляков оказалась в Москве на свободе, советские власти организовали для нас экскурсию на корабле по каналу Москва—Волга. Большевики невероятно гордились каналом и часто им хвастались. Действительно, он стоил огромных трудов, а кроме того — был оплачен жизнями сотен тысяч заключенных. Канал этот, как и так называемый Беломорский, как тысячи других объектов, строил НКВД исключительно руками людей, приговоренных к каторжным работам. Когда во время экскурсии на корабле я спросил руководителя поездки, полковника НКВД Федечкина, правда ли, что на строительстве канала погибло столько людей, он ответил просто:

— А что люди! Одни мрут, другие родятся. А канал останется навеки.

...и первые шаги политиков

Мы ожидали приезда польского посла, профессора Станислава Кота. Он должен был привезти мне инструкции от генерала Сикорского и организовать помощь полякам, оказавшимся на территории СССР. Доктор Ретингер предупредил меня, что это человек очень умный, но и очень неискренний. Профессор был ближайшим другом генерала Сикорского, связанным с ним еще со школьных лет, а потом работой в НКН[1] при австрийцах.

Встреча моя с профессором Котом произошла в здании польского посольства, том самом, где оно находилось до 1939 года и где после заключения советско-немецкого пакта размещалось германское посольство. Профессор Кот вручил мне сердечное письмо от Президента, датированное 1 сентября 1941 года, и не менее сердечное письмо от генерала Сикорского, в котором также находились подробные инструкции. Я был очень рад, поскольку инструкции эти — как относительно принципа абсолютной независимости, так и использования армии,— совершенно совпадали с моими мыслями и убеждениями.

Профессор Кот был необыкновенно любезен, и казалось, что наше сотрудничество сложится как нельзя лучше. Однако уже при первой встрече произошло столкновение, поскольку он потребовал удалить из армии всех офицеров, бывших в свое время в легионах[2]. Я объявил ему, что при создании армии руководствовался следующим принципом: отбросим все, что нас разделяет, и примем все, что нас объединяет в труде и борьбе за свободу и независимость Польши. В то же время я ясно дал ему понять, что если он хочет быть со мной в хороших отношениях, то не должен вмешиваться в армейские дела. После чего беседа закончилась в дружеской атмосфере.

Через несколько дней ко мне пришли профессор Станислав Грабский, глубокий старик, и бывший член Польской социалистической партии Ян Щирек. Пришли по тому же делу, то есть с призывом немедленно убрать из армии так называемую санацию[3] и всех офицеров-легионеров. Я напомнил им, что в 1926 году я до последнего защищал Президента и правительство Витоса[4], что, несмотря на всю мою симпатию к Пилсудскому, я дрался против него, потому что того требовала от меня солдатская присяга. Сегодня я не могу убирать из армии моих коллег-офицеров, которые воевали в 1939 году и прошли через ад, я сам все это испытал. Я уверен, что в армию должен быть принят всякий, кто хочет биться за Польшу. Я добавил, что это последний разговор на эту тему. С тех

[1] НКН — Naczelny Komitet Narodowy, Верховный национальный комитет был созван в августе 1914 года.

[2] Легионы — во время первой мировой войны польские вооруженные формирования, действовавшие на стороне Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). Подчинялись НКН. В 1917 году распались вследствие отказа части легионеров присягать на верность Германии, вызванного стараниями Пилсудского и его сторонниками.

[3] Санация — общепринятое название лагеря «пилсудчиков» в 1926—1939 годах, возникло в связи с лозунгом «моральной санации» общественной жизни в Польше, который выдвинули руководители этого лагеря после майского переворота 1926 года.

[4] Винценты Витос (1874—1945) — общественный деятель, политик, публицист. Был премьер-министром в мае 1926 года в правительстве, свергнутом Пилсудским.

пор меня довольно долго никто не беспокоил по этому поводу.

Тем временем я получил известия от офицеров, направленных в лагеря, которые были указаны советскими властями, для мобилизации. Они застали там только солдат, которые работали на польской территории, оккупированной Советами и в момент немецкого наступления были высланы на восток пешком. (Замечу в скобках, что слабых и больных, которые не выдержали этого адского перехода, пристрелили по дороге.) Солдаты эти находились в несравненно лучшей физической форме, чем бедняги, выходившие из тюрем и лагерей. Сначала они не верили, что это мобилизация в польскую армию, и только когда посланные к ним полковники нашли среди них знакомых и давних подчиненных, лед был сломан. К изумлению НКВД, оказалось, что среди рядовых укрывались 23 офицера и один полковой священник.

Профессор Кот, который совершенно не знал России и не понимал по-русски ни слова, обратился ко мне с просьбой, чтобы я устроил ему встречу с высокопоставленными советскими чиновниками. К сожалению, после завтрака, который я устроил для профессора Кота и русских, я пришел к убеждению, что лучше этих экспериментов не повторять. Он слишком старался быть любезным, сыпал неуместными комплиментами, а поскольку водки не пил, был принят как «хитрый». А что еще хуже, произвел неприятное впечатление (хотя и по другим причинам) на поляков, находящихся в Советском Союзе. Он был удивительно бездушен по отношению к людям, а что касается организационной стороны дела — большей бездарности я не встречал. К сожалению, все время, пока профессор Кот находился в России, поляки за границами СССР были неправильно информированы о его детельности. Генерал Сикорский все еще доверял профессору Коту и совершенно незаслуженно осыпал его благодарностями, к великой горечи поляков в Советском Союзе, которые знали правду.

Среди заключенных, прибывших с Лубянки, оказался также бывший премьер-министр Леон Козловский, от которого я узнал о смерти бывшего премьер-министра Александра Пристора в Бутырской тюрьме [1].

Наша резиденция: Бузулук

Примерно 10 сентября я вылетел вместе со штабом, слепленным на скорую руку, в Бузулук, приказав доставить туда по железной дороге машину, которую мне подарил Сталин. Мы летели довольно низко, можно было подробно рассмотреть все, что происходило на земле. Больше половины хлеба не убрано. Коней и скота почти не видно. Картофель никто не выкапывает. Не видать ни стогов, ни дров, запасенных на зиму, нет даже заборов вокруг изб. По дороге мы останавливались в Куйбышеве, где принимали меня необыкновенно богато, как обычно — море водки и горы икры. Это вечный способ завоевывать симпатии заграничных гостей, казалось бы, примитивный, но я убедился, что, к сожалению, многие приезжающие в Россию ловятся на показное богатство.

Бузулук был типичным русским деревянным городком. Нищета и убогость бросались в глаза. Всюду грязь по колено. Лишь две улицы вымощены булыжниками, да и то давно неремонтированная мостовая рассыпается. Польское командование разместилось в большом каменном здании. Я был глубоко тронут, увидев, что над ним уже развевается польский флаг. Я знаю, что это производило сильное впечатление на всех, прибывавших из тюрем и лагерей. Понимаете: вот, после безнадежных лет медленного умирания человек видит, как польское знамя развевается над штабом.

В историю войдет так называемый Резервный центр в Бузулуке, куда направляли только что прибывших. А приезжало много — и все в ужасном состоянии. Не хватало абсолютно всего. Раздобыть гвоздь или доску — это была проблема.

14 сентября я выехал в лагерь в Тоцком. Маленькие палатки посреди леса. Там формировалась 6-я пехотная дивизия. Впервые я столкнулся с тем, что меня ждали семнадцать тысяч солдат. До конца жизни не забуду этого зрелища. Почти все — босые и без рубашек. Какие-то лохмотья, обрывки старых польских мундиров висели на исхудавших телах, почти скелетах, покрытых язвами из-за авитаминоза. Но, к изумлению сопровождавших меня большевиков во главе с генералом Жуковым, все они были тщательно выбриты. И что за выправка! Сердце мое сжалось при виде этих бедолаг, я спрашивал себя, удастся ли создать из них армию, смогут ли они вынести солдатскую долю. Ответ последовал немедленно: достаточно было заглянуть в эти глаза, в которых сияла вера и несокрушимая воля. Я медленно пошел вдоль шеренг, мы смотрели в глаза друг другу, и возникало взаимопонимание, столь необходимое на трудных военных дорогах. Старые солдаты плакали, как дети, во время богослужения, первого после стольких лет, а когда зазвучала песня «Верни свободу Родине, Господь...» — казалось, что окрестные леса ответили нам стократным эхом. В первый и, дай Бог, в последний раз в жизни принимал я такой парад — босые солдаты маршировали передо мной на песке, четко отбивая шаг израненными ногами. Они хотели показать большевикам начало своего пути к Польше.

Примерно такие же условия были в Татищеве, где формировалась 5-я пехотная дивизия. Так называемый резервный полк квартировал в лесу, среди глубоких снегов, в местности Колтубанка. Невозможно передать, какие были трудности с устройством обозов и получением хоть какого-нибудь обмундирования. На несколько топоров и лопат требовалось разрешение аж из Москвы.

[1] Леон Козловский (1892—1944)—политик, деятель санации, в 1934—1935 годах — премьер-министр Польши. Во время второй мировой войны находился в СССР, с 1941 года — в армии Андерса, откуда сбежал в Польшу, оккупированную немцами, за что был заочно приговорен военным судом Польской армии к смертной казни. Интернирован немцами в Берлин, где погиб во время бомбежки. Александр Блажей Пристор (1874—1941) — политик, один из ближайших сотрудников Пилсудского, премьер-министр в 1931—1933 годах.

В конце сентября я прилетел в Москву, где принял участие в предварительных англо-американских переговорах под председательством лорда Бивербрука, министра снабжения в правительстве Черчилля с июля 1941 года; лорд Бивербрук прибыл в Москву на совещание о поставках в Россию. А меня интересовало вооружение польской армии.

С большим сожалением я понял, что лорд Бивербрук занимается только советской Россией и что проблема вооружения наших дивизий решается плохо.

Пробыв в Москве несколько дней, я вернулся в Бузулук, где меня ждала работа.

Советские власти выделили мне три самолета, поскольку полное отсутствие дорог и огромные пространства делали самолет единственно возможным средством передвижения и поддержания связи: мне надо было посещать лагеря и как-то добираться до высшего советского командования. Самолеты, очень старые и полуразвалившиеся, иной раз теряли в воздухе различные детали, а однажды даже отвалился пропеллер. И мне пришлось возвращаться в Куйбышев пешком, на санях и, наконец, пароходом по Волге; это длилось десять дней. Было у меня еще несколько подобных вынужденных посадок, но все они кончались в основном благополучно.

Мы жили надеждой получить сто тысяч комплектов английского обмундирования, отправленного из Великобритании стараниями генерала Сикорского. Благодаря моему постоянному нажиму 5-я дивизия получила часть оружия и коней. Лошади были в ужасном состоянии, но в руках наших людей стали постепенно поправляться.

(Окончание следует)

■

Авторы этого номера

СОЛ БЕЛЛОУ (SAUL BELLOW; род. в 1915 г.) — американский писатель, лауреат Нобелевской премии. Сын петербургского коммерсанта, эмигрировавшего в Канаду в 1913 г. Учился в Чикагском и Северо-Западном университетах. Участник второй мировой войны, служил на флоте. Профессор, читал лекции в университетах США. Автор романов «Человек без опор» («Dangling Man», 1944), «Приключения Оги Марча» («The Adventures of Augie March», 1953; Национальная книжная премия), «Лови мгновенье» («Seize the Day», 1956), «Хендерсон, заклинатель дождя» («Henderson the Rain King», 1959), «Планета мистера Саммлера» («Mr. Sammler's Planet», 1969; Национальная книжная премия), «Дар Гумбольдта» («Humboldt's Gift», 1975; Пулицеровская премия), «Декабрь декана» («The Dean's December», 1982), «Чаще умирают от инфаркта» («More die of Heartbreak», 1987), повестей «Кража» («Theft», 1988), «Операция Белларoза» («The Bellarosa Connection», 1989) и др.
Роман «Герцог» («Herzog»), отмеченный Национальной книжной премией. печатается по изданию London, Penguin Books, 1964.

ЯН СКАЦЕЛ (JAN SKACEL; 1922—1989) — чешский поэт и публицист. Автор многих поэтических сборников, в том числе «Что осталось от ангела» («Co zbylo zndělа», 1960), «Час между псом и волком» («Hodina mezi psem a vlkem», 1962) и др., а также эссе и книг для детей.
Публикуемые стихи взяты из сборников «Отпечатки в утраченном воске» («Odlévání do ztraceného vosku». Brno, Blok, 1984) и «Пьющий впотьмах вино» («Kdo pije potmě vino», Brno, Blok, 1988), прозаические миниатюры — из книги «Одиннадцатый белый конь» («II. bílý kůň». Brno, Blok, 1966) и журнала «Host do domu» за 1969—1970 годы.

ШМУЭЛЬ ИОСЕФ АГНОН (1888—1970)— еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии. С 1930 г. жил в Палестине. Автор написанных на иврите романов «Песчаный холмик» (1920), «Выдача замуж» (1929), «Гость на одну ночь» (1939), «Совсем недавно» (1945), «В сердцевине морей» (1952), Главы из книги «Государства» (1955), сборников рассказов «Снопы» (1963), «Рассказы для всепрощения» (1967). В последние годы в Израиле вышло несколько сборников его рассказов в русском переводе.
Предлагаемый вниманию читателей роман печатается по изданию «Агнон. В сердцевине морей и другие рассказы», Jerusalem-Stockholm, Wahlström Publications, 1981.

Переводчики:

ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г.) — советский переводчик с английского, литературовед. В его переводах издавались романы Г. Грина «Меня создала Англия» (М., 1986), Г. Филдинга «Путешествие в загробный мир и прочее» (М., 1989), повести Дж. Херси, М. Спарк, Т. Вулфа, А. Грея, пьесы Дж. Ардена, Дж. Осборна, Ю. О'Нила, автобиографическая проза У. Сарояна, рассказы Ф. С. Фицджеральда, Ф. Кинга, У. Тревора, Ш. О'Фаолейна, В. Притчетта, В. Набокова и др.

СОКОЛОВА-ДЕЛЮСИНА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА — советский переводчик с японского. В ее переводе вышел сборник драм театра Но «Классическая японская драма» (1979), публиковались рассказы Дадзая Осаму (в сб. рассказов японских писателей XX века), стихи древних и современных японских поэтов («ИЛ», 1982, № 7).

ИСРАЭЛЬ ШАМИР (род. в 1947 г. в Новосибирске) — журналист и переводчик. В 1968 г. эмигрировал в Израиль. Автор книг о Вьетнаме и Конго, Англии и Швеции, Японии и Израиле. Переводил на русский язык произведения Ш. Агнона, Дж. Джойса, Р. Чандлера и др.

Удзиэ Минору. Пять религиозных аскетов.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130 — 6545 Иностранная литература, 1990, № 11, 1 — 256